Конст. СИМОНОВ

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

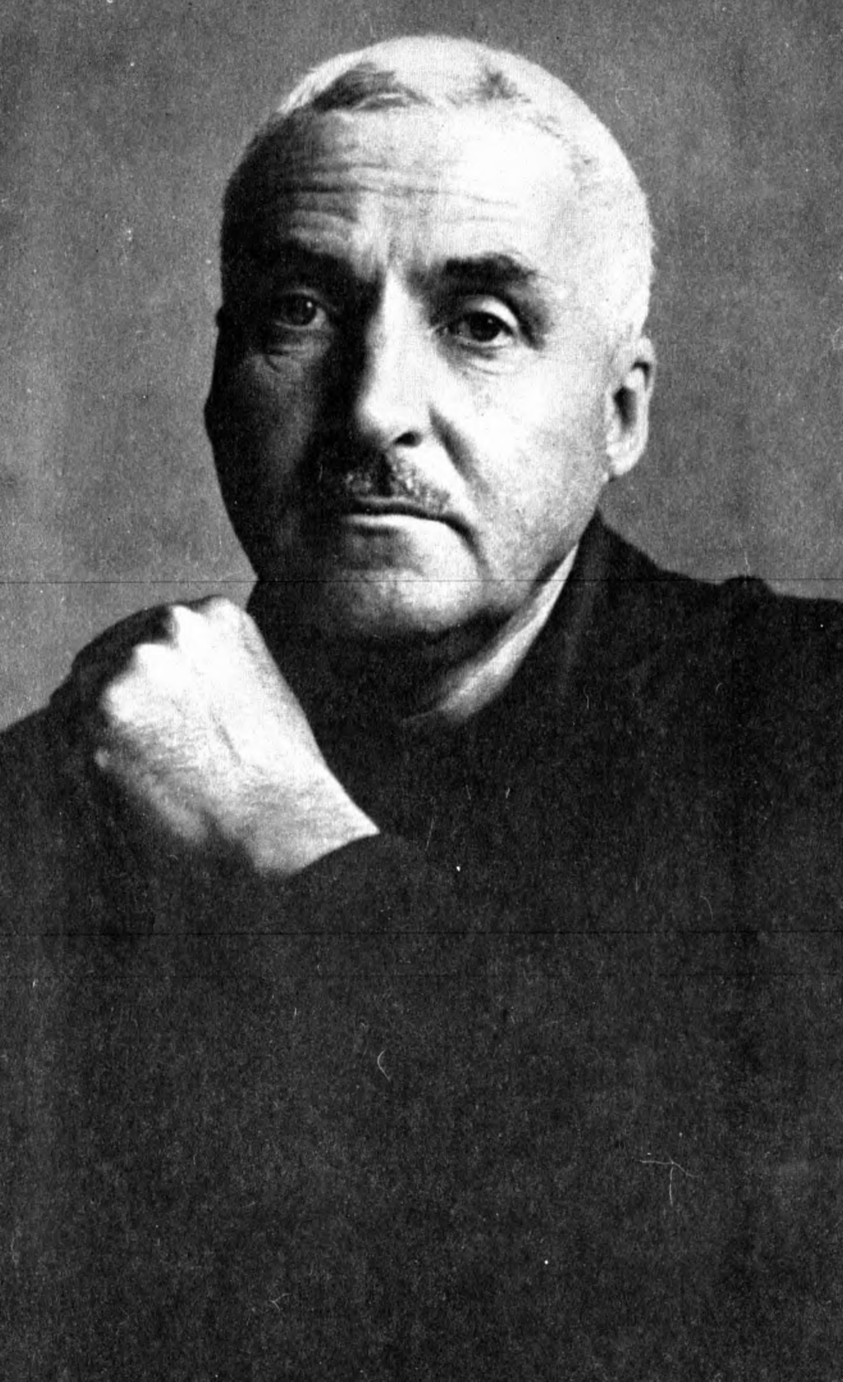
ВРЕМЯ СУДЬБЫ

М. «КНИГА» 1990

Размышления о И.В.Сталине

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

МОСКВА «КНИГА»



Конст. СИМОНОВ

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Размышления о И.В.Сталине

МОСКВА «КНИГА» 1990

ББК 84Р7-4
С37

Разработка серийного оформления
А. Т. Троянкера, Г. М. Грозной, Е. А. Родионовой

С $\frac{4702010201-020}{002(01)-90}$ 27-90

ISBN 5-212-00176-5

ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Он не любил разговоров о том, как себя чувствует, а если они все-таки возникали, старался отшутиться, когда очень уж приставали с расспросами и советами — а в таких случаях советы дают особенно охотно и настойчиво,— сердился. Но несколько раз при мне проговаривался — стало ясно, что он тяжело болен, что ему худо, что мысли у него о том, что его ждет, самые мрачные. Как-то пришлось к слову: «А я сказал врачам,— услышал я от него,— что должен знать правду, сколько мне осталось. Если полгода — буду делать одно, если год — другое, если два — третье...» Дальше этого, на более долгий срок он уже не загадывал, планов не строил. Разговор этот был в конце семьдесят седьмого года, жить ему оставалось меньше, чем два года...

Потом, разбирая оставшиеся после него рукописи, я наткнулся на такое начало (один из вариантов) задуманной пьесы «Вечер воспоминаний»:

«Белая стена, койка, стол, стул или медицинская табуретка. Все.

Может быть, самое начало — разговор или с человеком, стоящим здесь, или — за кулису:

— До свидания, доктор. До понедельника, доктор.

А после этого прощания с доктором экспозиция.

— Так я остался один до понедельника. Чувствовал я себя в общем неплохо. Но оперироваться было надо. Это, в сущности, как поединок, как дуэль. ...Не через полгода, так через год. Так мне сказали врачи, вернее, врач, перед которым я поставил вопрос прямо,— я люблю ставить такие вопросы прямо. И он, помоему, тоже был к этому склонен. Как быть? Чем мне это грозит? Решились на поединок. Но положение не такое, чтобы сразу и на стол. Можно было подождать несколько дней. Он хотел сделать сам, уезжал на несколько дней. Дело не горело, надо было просто решиться. Горело решение, а не операция. А меня это устраивало. Раз так, раз или да или нет, или выдержать все это или не выдержать, то надо что-то еще успеть. Вот что? Весь вопрос состоял в этом.

Жена согласилась. Мы откровенно с ней поговорили, как всегда. Она тоже считала, что только так. И от этого, конечно, мне было легче. А вот что? Что успеть? Состояние духа не такое, чтобы начинать что-то новое. А вот биография, с которой ко мне приставали, действительно не написана. Вот ее и надо, наверное, сделать. Пусть останется хотя бы черновик — в случае чего. А нет — будет достаточно времени, чтобы переписать набело».

Со странным чувством читал я это, словно Симонов угадал свой конец, как все будет, перед каким выбором он будет стоять, что решит делать, когда сил останется совсем мало. Или напророчил себе все это. Нет, конечно, врачи не сказали ему, каким временем он располагает, да и вряд ли они знали, какой срок ему отмерен. Но так уж случилось, что скверное самочувствие заставило его выбирать, что важнее всего, что делать в первую очередь, чему отдать предпочтение, и выбор этот, как намечалось и в пьесе, пал на произведение, представлявшее и расчет с собственным прошлым.

Даже в последний год жизни фронт намеченных и начатых работ был у Симонова очень широк. Он принялся за сценарий художественного фильма о пути одного танкового экипажа в последний год войны — ставить картину должен был Алексей Герман, до этого экранизировавший повесть Симонова «Двадцать дней без войны». Госкино СССР приняло заявку Симонова на документальный фильм о маршале Г. К. Жукове. Для им же предложенной серии телевизионных передач «Литнаследство» Симонов намеревался сделать ленту о А. С. Серафимовиче — военном корреспонденте во время гражданской войны. На основе многочисленных бесед с кавалерами трех орденов Славы, которые он провел во время съемок документальных фильмов «Шел солдат...» и «Солдатские мемуары», задумал книгу о войне — какой она была для солдата, чего ему стоила. И подобного же рода книгу на основе бесед с известными полководцами. А может быть,— он этого еще не решил,— надо делать не две, говорил он мне, а одну книгу, соединяющую и сталкивающую оба взгляда на войну — солдатский и маршальский. Он хотел написать еще несколько мемуарных очерков о видных людях литературы и искусства, с которыми его близко сводила жизнь,— вместе с уже опубликованными должна была в конечном счете получиться цельная книга воспоминаний. В общем, планов было хоть отбавляй.

Работоспособность и упорство Симонова известны, он и в больницу брал с собой рукописи, книги, диктофон, но болезни все больше давали себя знать, сил становилось меньше и меньше, пришлось одну за другой задуманные и даже начатые уже работы «консервировать», откладывать до лучших времен, до выздоровления. А часть их была кому-то обещана, включена где-то в планы, он говорил об этих работах в интервью, на читательских конференциях, что для него было равносильно взятому на себя обязательству.

Кроме только что перечисленных были задуманы еще два произведения, о которых Симонов особо не распространялся, публично не говорил. Но когда почувствовал себя совсем скверно, когда решил, что из того, что мог и хотел сделать, пришел час выбирать самое важное, он стал заниматься именно этими двумя замыслами, которые много лет все откладывал и откладывал, то ли считая, что еще не готов к столь сложной работе, то ли полагая, что она может подождать, время для нее не приспело, все равно

ведь это должно писаться «в стол», ибо не имеет в ближайшем обозримом будущем ни малейших шансов на публикацию.

С таким чувством в феврале — апреле 1979 года Симонов продиктовал рукопись, составившую первую часть книги, которую держит сейчас в руках читатель. В подзаголовке ее стоит «Размышления о И. В. Сталине». Однако это книга не только о Сталине, но и о себе. Рукопись вобрала в себя в трансформированном виде и идею, пафос и отчасти материал задуманной писателем пьесы «Вечер воспоминаний». Впрочем, что из этого могло получиться — пьеса, сценарий или роман,— автору было неясно. Он еще не выбрал путь: «Для начала назовем это «Вечером воспоминаний», а подзаголовок пусть будет «Пьеса для чтения». А может быть, это окажется и не пьеса, а роман, только немного непривычный. Не тот, в котором я буду рассказывать о себе, а тот, в котором будет сразу четыре моих «я». Нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только-только успел узнать, что началась гражданская война в Испании,— в тридцать шестом году. Вот эти четыре моих «я» и будут разговаривать между собой. ...Сейчас при воспоминании о прошлом мы никак не можем удержаться от соблазна представить себе, что ты знал тогда, в тридцатых или сороковых годах, то, что ты тогда не знал, и чувствовал то, что тогда не чувствовал, приписать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства. Вот с таким соблазном я вполне сознательно хочу бороться, во всяком случае, попробовать бороться с этим соблазном, который часто сильнее нас. Именно поэтому, а не по каким-нибудь формалистическим или мистическим причинам я избрал эту несколько странноватую форму рассказа о теперешнем поколении».

Так обосновывался прием, который должен был стать инструментом историзма. Симонов хотел выяснить, докопаться, почему до войны и в послевоенную пору он поступал так, а не иначе, почему так думал, к чему тогда стремился, что и как менялось затем в его взглядах и чувствах. Не для того чтобы подивиться неожиданным капризам памяти, ее небескорыстному отбору — приятное, возвышающее нас в собственных глазах она хранит цепко и охотно, к тому, чего мы сегодня стыдимся, что не соответствует нашим нынешним представлениям, старается не возвращаться, и нужны немалые душевные усилия, чтобы вспоминать и то, что вспоминать не хочется. Оглядываясь на прожитые нелегкие годы, Симонов хотел быть справедлив и нелицеприятен и к самому себе — что было, то было, за прошлое — ошибки, заблуждения, малодушие — надо рассчитываться. Симонов судил себя строго — чтобы показать это, приведу два отрывка из его заметок к пьесе, они о том, к чему прикасаться особенно больно. И они имеют самое непосредственное отношение к той рукописи «Глазами человека моего поколения», диктовать которую он закончил весной 1979 года:

«...Нынешнему кажется, что он всегда считал преступлением то, что было сделано в сорок четвертом году с балкарцами, или калмыками, или чеченцами. Ему многое надо проверить в себе, чтобы заставить себя вспомнить, что тогда, в сорок четвертом или сорок пятом, или даже в сорок шестом, он думал, что так оно и должно было быть. Что раз он слышал от многих, что там, на Кавказе и в Калмыкии, многие изменили и помогали немцам, что так и надо было сделать. Выселить — и все! Ему не хочется вообще вспоминать сейчас о своих тогдашних мыслях на этот счет, да он и мало думал тогда об этом, по правде говоря. Даже странно подумать сейчас, что он мог тогда так мало думать об этом.

А тогда, в сорок шестом году, именно так и думал, не очень вникал в этот вопрос, считал, что все правильно. И только когда он сам сталкивался — а у него были такие случаи — с этой трагедией на примере человека, который всю войну провоевал на фронте, а после этого, высланный куда-то в Казахстан или Киргизию, продолжал писать стихи на родном языке, но не мог их печатать, потому что считалось, что этого языка больше не существует,— только в этом случае поднималось в душе какое-то не до конца осознанное чувство протеста».

Речь здесь идет о Кайсыне Кулиеве, и стоит, наверное, справедливости ради сказать и о том, как Симонов выглядел в его глазах. Через много лет после этого, когда минули тяжкие, черные времена для Кулиева и его народа, он писал Симонову: «Помню, как приходил к Вам снежным февральским днем 1944 года в «Красную звезду». На стене у Вас висел автомат. Это были самые трагические для меня дни. Вы это, конечно, помните. Вы отнеслись ко мне тогда сердечно, благородно, как полагается не только поэту, но и мужественному человеку. Я помню это. О таких вещах не забывают».

Я привел это письмо, чтобы подчеркнуть строгость того счета, который предъявлял себе Симонов в поздние годы, он не хотел преуменьшать ту часть ответственности за происходившее, которая падала на него, не искал самооправданий. Он допрашивал свое прошлое, свою память без всякого снисхождения.

Вот еще один отрывок из заметок:

«— Ну, и как ты поступал, когда кто-то из тех, кого ты знал, оказывался там, и надо было ему помочь?

— По-разному. Бывало, что и звонил, и писал, и просил.

— А как просил?

— По-разному. Иногда просил войти в положение человека, облегчить его судьбу, рассказывал, какой он был хороший. Иногда было и так: писал, что не верю, что не может быть, чтобы этот человек оказался тем, за кого его считают, сделал то, в чем его обвиняют,— я его слишком хорошо знаю, этого не может быть.

— Бывали такие случаи?

— Случаи? Да, был один такой случай, именно так писал. А больше писал, что, конечно, я не вмешиваюсь, не могу судить,

наверное, все правильно, но... И дальше старался написать все, что знал хорошего о человеке, для того, чтобы как-то помочь ему.

— А еще как?

— А еще как? Ну, бывало, что не отвечал на письма. Два раза не отвечал на письма. Один раз потому, что никогда не любил этого человека и считал, что вправе не отвечать на это письмо чужого для меня человека, о котором я, в общем, ничего не знаю. А в другой раз хорошо знал человека, даже на фронте с ним был вместе и любил его, но, когда его во время войны посадили, поверил в то, что за дело, поверил в то, что это могло быть связано с разглашением каких-то секретов того времени, о которых не принято было говорить, нельзя было говорить. Поверил в это. Он мне написал. Не ответил, не помог ему. Не знал, что ему писать, колебался. Потом, когда он вернулся, было стыдно. Тем более что другой, наш общий товарищ, о котором принято считать, что он пожиже меня, потрусливее, как выяснилось, и отвечал ему, и помогал всем, чем мог,— слал посылки и деньги».

Не так часто встречаются люди, способные допрашивать свою память с подобной беспощадностью.

Симонов не стал кончать пьесу — можно только догадываться почему: видимо, дальнейшая работа над ней требовала преодоления прямого автобиографизма, надо было создавать персонажи, строить сюжет и т. д., а, судя по заметкам и наброскам, главным объектом этих нелегких размышлений о суровом, противоречивом времени, о порожденных им мучительных конфликтах и деформациях был он сам, его собственная жизнь, его причастность к тому, что происходило вокруг, его личная ответственность за беды и несправедливости прошлого. Создавая пьесу, придумывая сюжет, отдавая свои терзания и драмы вымышленным персонажам, он все это словно бы отодвигал, отделял, отстранял от себя. А в книге о Сталине все это было уместно, даже необходимо, такая книга не могла не стать для Симонова книгой и о себе, о том, как он тогда воспринимал происходящее, как поступал, за что отвечает перед своей совестью,— иначе в его глазах работа лишилась бы нравственного фундамента. Лейтмотив книги Симонова — расчет с прошлым, покаяние, очищение, и это выделяет, возвышает ее над многими мемуарными сочинениями о сталинском времени.

Нужно иметь в виду, что перед нами только первая часть задуманной Симоновым книги. Вторую часть — «Сталин и война» — он, увы, написать не успел. Сохранились объемистые папки самых разных подготовительных материалов, собиравшихся не один год: заметки, письма, записи бесед с военачальниками, выписки из книг — иные из них, представляющие самостоятельную ценность, вошли в эту книгу. И для того чтобы правильно понять первую часть, надо знать, куда во второй хотел двигаться автор, в каком направлении, какой должна была быть итоговая оценка деятельности и личности Сталина. Впрочем, и в первой части, в

основном построенной на материале вполне «благополучных» (где вождь не лютовал) встреч со Сталиным, на которых довелось присутствовать автору (это были фарисейские спектакли театра одного актера, раз в год устраиваемые в поучение писателям диктатором, установившим режим никем и ничем не ограниченной личной власти), Симонову удалось убедительно раскрыть его иезуитство, жестокость, садизм.

Речь на этих встречах шла главным образом о литературе и искусстве. И хотя завеса, прикрывающая подлинный смысл и внутреннюю кухню сталинской литературной — и шире — культурной политики, там лишь слегка приоткрывалась, некоторые черты этой политики явственно проступают в симоновских записях и воспоминаниях. И крайняя вульгарность исходных идейно-эстетических установок Сталина, и требование примитивной дидактики, и неуважение к таланту как следствие пронизывающего сталинский режим полного пренебрежения к человеческой личности — это ведь из того времени присказка: «У нас незаменимых нет»,— и потребительское отношение к истории — отвергаемый на словах, официально осуждаемый принцип: история есть политика, опрокинутая в глубь веков,— без тени смущения на деле неукоснительно проводился в жизнь. Все это внедрялось при помощи пряника (премий, званий, наград) и кнута (широкой системы репрессий — от разгрома по команде сверху книг в печати до лагеря для неугодных авторов).

В одной из папок с подготовительными материалами есть листок с вопросами, касающимися Великой Отечественной, которые Симонов, приступая к работе, сформулировал для себя и для бесед с военачальниками, они дают некоторое — разумеется, далеко не полное — представление о том круге проблем, которому должна была быть посвящена вторая часть:

«1. Было или не было происшедшее в начале войны трагедией?

2. Нес ли Сталин за это наибольшую ответственность по сравнению с другими людьми?

3. Было ли репрессирование военных кадров в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах одной из главных причин наших неудач в начале войны?

4. Была ли ошибочная оценка Сталиным предвоенной политической обстановки и переоценка им роли пакта одной из главных причин наших неудач в начале войны?

5. Были ли эти причины единственными причинами неудач?

6. Был ли Сталин крупной исторической личностью?

7. Проявились ли в подготовке к войне и в руководстве ею сильные стороны личности Сталина?

8. Проявлялись ли в подготовке к войне и в руководстве ею отрицательные стороны личности Сталина?

9. Какая другая концепция в изображении начала войны может существовать, кроме как периода трагического в истории

нашей страны, когда мы были в отчаянном положении, из которого вышли ценой огромных жертв и потерь, благодаря неимоверным и героическим усилиям народа, армии, партии?»

Почти каждый из этих вопросов стал затем для Симонова темой серьезного исторического исследования. Так, например, во включенном в эту книгу докладе «Уроки истории и долг писателя» (сделанный в 1965 году, к двадцатилетию Победы, он был опубликован лишь в 1987 году) обстоятельно и многосторонне проанализированы тяжелые последствия для боеспособности Красной Армии массовых репрессий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Вот несколько кратких выписок из этого доклада, дающих представление о выводах, к которым пришел Симонов. Говоря о состоявшемся в июне 1937 года сфальсифицированном процессе, на котором по ложному обвинению в измене Родине и шпионаже в пользу фашистской Германии была осуждена и расстреляна группа высших командиров Красной Армии: М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, А. И. Корк и другие, Симонов подчеркивал, что этот чудовищный процесс был началом событий, носивших потом лавинообразный характер: «Во-первых, погибли не они одни. Вслед за ними и в связи с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей, составлявших значительную часть цвета нашей армии. И не просто погибли, а в сознании большинства людей ушли из жизни с клеймом предательства. Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов стоило армии — в данном случае я говорю только об армии — начать приходить в себя после этих страшных ударов». Но к началу войны это так и не произошло, армия до конца не оправилась, тем более что «и в 1940 и в 1941 году все еще продолжались пароксизмы подозрений и обвинений. Незадолго до войны, когда было опубликовано памятное сообщение ТАСС с его полуупреком-полуугрозой в адрес тех, кто поддается слухам о якобы враждебных намерениях Германии, были арестованы и погибли командующий ВВС Красной Армии П. В. Рычагов, главный инспектор ВВС Я. М. Смушкевич и командующий противовоздушной обороной страны Г. М. Штерн. Для полноты картины надо добавить, что к началу войны оказались арестованными еще и бывший начальник Генерального штаба и нарком вооружения, впоследствии, к счастью, освобожденные». Целиком на совести Сталина и то, что Гитлеру удалось застать нас врасплох. «Он с непостижимым упорством,— пишет Симонов,— не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагающих неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению».

В журнале «Знание — сила» (1987, № 11) напечатан тоже в свое время не опубликованный по не зависящим от автора обстоятельствам обширный фрагмент «Двадцать первого июня меня вызвали в Радиокомитет...» из комментария к книге «Сто суток войны», в котором тщательно рассматриваются военно-политическая ситуация предвоенных лет, ход подготовки к надвигающейся войне и прежде всего роль, которую сыграл в этом деле советско-германский пакт. Симонов приходит к недвусмысленному выводу: «...Если говорить о внезапности и о масштабе связанных с нею первых поражений, то как раз здесь все с самого низу — начиная с донесений разведчиков и докладов пограничников, через сводки и сообщения округов, через доклады Наркомата обороны и Генерального штаба, все в конечном итоге сходится персонально к Сталину и упирается в него, в его твердую уверенность, что именно ему и именно такими мерами, какие он считает нужными, удастся предотвратить надвигающееся на страну бедствие. И в обратном порядке — именно от него, через Наркомат обороны, через Генеральный штаб, через штабы округов и до самого низу — идет весь тот нажим, все то административное и моральное давление, которое в итоге сделало войну куда более внезапной, чем она могла быть при других обстоятельствах». И далее о мере ответственности Сталина: «Говоря о начале войны, невозможно уклониться от оценки масштабов той огромной личной ответственности, которую нес Сталин за все происшедшее. На одной и той же карте не может существовать различных масштабов. Масштабы ответственности соответствуют масштабам власти. Обширность одного прямо связана с обширностью другого».

Отношение Симонова к Сталину, которое, конечно, не сводится к ответу на вопрос, был ли Сталин крупной исторической личностью, в самом главном определилось тем, что писатель услышал на XX съезде партии, который был для него огромным потрясением, и узнал потом, занимаясь историей и предысторией Великой Отечественной войны (для выработки своей собственной позиции эти исторические штудии были особенно важны). Надо со всей определенностью сказать, что чем больше углублялся Симонов в этот материал, чем больше накапливалось у него свидетельств самых разных участников событий, чем больше он размышлял над тем, что было пережито народом, над ценой Победы, тем обширнее и строже становился счет, который он предъявлял Сталину.

В книге «Глазами человека моего поколения» сказано не обо всем, что в жизни Симонова было связано со сталинскими порядками, с давящей атмосферой того времени. Не успел автор написать, как было им задумано, о зловещих кампаниях сорок девятого года по борьбе с так называемыми «космополитами-антипатриотами»; за пределами книги осталось и то дурное для него время после смерти Сталина, когда у себя дома в кабинете он вдруг повесил как вызов наметившимся в обществе переменам его портрет. Непросто давалась Симонову затем переоценка прошло-

го — и общего, и своего собственного. В день своего пятидесятилетия он говорил на юбилейном вечере в Центральном Доме литераторов: «Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо,— я это понимаю,— не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». Он это не только помнил, но делал из этого для себя самые серьезные выводы, извлекал уроки, старался все, что мог, исправить. Будем же и мы помнить о том, как нелегко и непросто человеку себя судить. И будем уважать мужество тех, кто, как Симонов, отваживается на такой суд, без которого невозможно очищение нравственной атмосферы в обществе.

Не стану характеризовать отношение Симонова к Сталину своими словами, оно выразилось и в трилогии «Живые и мертвые», и в комментарии к фронтовым дневникам «Разные дни войны», и в письмах читателям. Воспользуюсь для этого одним из писем Симонова, приготовленных им в качестве материала для работы «Сталин и война». Оно выражает его принципиальную позицию:

«Я думаю, что споры о личности Сталина и о его роли в истории нашего общества — споры закономерные. Они будут еще происходить и в будущем. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет сказана, а до этого изучена вся правда, полная правда о всех сторонах деятельности Сталина во все периоды его жизни.

Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, в том числе в годы войны, наше преклонение перед ним в годы войны,— а это преклонение было, наверно, примерно одинаковым и у Вас, и у Вашего начальника политотдела полковника Ратникова, и у меня,— это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами. Да, мне сейчас приятнее было бы думать, что у меня нет таких, например, стихов, которые начинались словами «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?». Но эти стихи были написаны в сорок первом году, и я не стыжусь того, что они были тогда написаны, потому что в них выражено то, что я чувствовал и думал тогда, в них выражена надежда и вера в Сталина. Я их чувствовал тогда, поэтому и писал. Но, с другой стороны, тот факт, что я писал тогда такие стихи, не зная того, что я знаю сейчас, не представляя себе в самой малой степени и всего объема злодеяний Сталина по отношению к партии и к армии, и всего объема преступлений, совершенных им в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, и всего объема его ответственности за начало войны, которое могло быть не столь неожиданным, если бы он не был столь убежден в своей непогрешимости,— все это, что мы теперь знаем, обязывает нас переоценить свои прежние взгляды на Сталина, пересмотреть их. Этого требует жизнь, этого требует правда истории.

Да, в тех или иных случаях того или другого из нас могут уколоть, могут задеть упоминанием о том, что ты, мол, в свое время

говорил или писал о Сталине не то, что ты говоришь и пишешь сейчас. Особенно легко в этом смысле уколоть, задеть писателя. Книги которого существуют на книжных полках и которого можно, так сказать, уличить в этом несоответствии. Но что из этого следует? Следует ли, что, зная объем преступлений Сталина, объем бедствий, причиненных им стране начиная с тридцатых годов, объем его действий, шедших вразрез с интересами коммунизма, зная все это, мы должны молчать об этом? Я думаю, напротив, наш долг писать об этом, наш долг поставить вещи на свое место в сознании будущих поколений.

При этом, конечно, нужно все трезво взвешивать и нужно видеть разные стороны деятельности Сталина и не надо изображать его как какого-то ничтожного, мелкого, мелкотравчатого человека. А попытки к этому иногда уже проскальзывают в некоторых литературных сочинениях. Сталин, конечно, был очень и очень крупным человеком, человеком очень большого масштаба. Это был политик, личность, которую не выбросишь из истории. И этот человек, в частности если говорить о войне, делал и много необходимого, много такого, что влияло в положительном смысле на ход дела. Достаточно перечесть его переписку с Рузвельтом и Черчиллем, чтобы понять, какого масштаба и какого политического дарования был этот человек. И в то же время именно на этом человеке лежит ответственность за начало войны, стоившее нам стольких лишних миллионов жизней и миллионов квадратных километров опустошенной территории. На этом человеке лежит ответственность за неготовность армии к войне. На этом человеке лежит ответственность за тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда он разгромил кадры нашей армии и когда наша армия стала отставать в своей подготовке к войне от немцев, потому что к тридцать шестому году она шла впереди немцев. И только учиненный Сталиным разгром военных кадров, небывалый по масштабам разгром, привел к тому, что мы стали отставать от немцев и в подготовке к войне, и в качестве военных кадров.

Конечно, Сталин хотел победы. Конечно, когда началась война, он делал все, что было в его силах, для победы. Он принимал решения и правильные и неправильные. Были у него и ошибки, были у него и удачи и в дипломатической борьбе, и в военном руководстве войною. Вот все это и надо постараться изобразить так, как оно было. В одном месте моей книжки (речь идет о романе «Солдатами не рождаются».— *Л. Л.*) один из ее героев — Иван Алексеевич — говорит о Сталине, что это человек великий и страшный. Я думаю, что это верная характеристика и, если следовать этой характеристике, можно написать правду о Сталине. Добавлю от себя: не только страшный — очень страшный, безмерно страшный. Подумать только, что и Ежов, и этот выродок Берия — все это были только пешки в его руках, только люди, руками которых он совершал чудовищные преступления! Каковы же масштабы его собственных злодеяний, если мы об этих пешках в его руках с полным правом говорим как о последних злодеях?

Да, правда о Сталине — это правда сложная, в ней много сторон, и ее в двух словах не скажешь. Ее и надо писать и объяснять как сложную правду, только тогда она будет подлинной правдой.

Вот, собственно говоря, то главное, что мне хотелось Вам ответить. Нет времени на то, чтобы, как говорится, подыскивать наиболее точные формулировки для своих мыслей — это не статья, а письмо, но в основном я, кажется, сказал Вам то, что хотел сказать».

Это письмо Симонов написал в 1964 году. И в последующие пятнадцать лет, когда разговор в печати о преступлениях Сталина стал невозможен, когда стала всячески замалчиваться его вина за тяжелейшие поражения сорок первого — сорок второго годов, за понесенные нами неисчислимые потери, когда даже решения XX съезда партии о культе личности и его последствиях поминались все реже и реже — лишь для проформы, Симонов, на которого шло в этом направлении очень сильное давление — и с помощью запретов (не увидели света «Сто суток войны», заметки «К биографии Г. К. Жукова», доклад «Уроки истории и долг писателя»), и с помощью изматывающих конъюнктурных замечаний, касавшихся почти всего, что он писал и делал в то время (совершенно изуродовали экранизацию романа «Солдатами не рождаются» — так, что Симонов потребовал, чтобы из титров были сняты название романа и его фамилия), твердо стоял на своем, не отступил, не попятился. Он надеялся, что правда в конце концов восторжествует, что скрывать ее можно только до поры до времени, что придет час и фальсификации будут разоблачены и отброшены, выйдет на свет то, что замалчивалось и скрывалось. Отвечая на грустное и растерянное письмо одной читательницы, которая пришла в уныние, столкнувшись в литературе с беззастенчивым искажением исторической правды, Симонов заметил: «Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсификации ее — главным образом при помощи умолчаний.

А что касается того, чему больше будут верить, когда мы все помрем, будут ли больше верить, в частности, тем мемуарам, о которых Вы пишете в своем письме, или тому роману, о котором Вы пишете, то это еще, как говорится, бабушка надвое сказала.

Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».

При всем своем оптимизме Симонов надежду на торжество «здравого смысла» относил все-таки лишь к «отдаленному будущему», он не мог представить, что не пройдет и десяти лет после его смерти и будет напечатана книга о Сталине. Тогда это казалось немыслимым. Однако он и весной 1979 года, когда диктовал

«Глазами человека моего поколения», повторял формулу героя своего романа, написанного в 1962 году: «...Хочется надеяться, что в дальнейшем время позволит нам оценить фигуру Сталина более точно, поставив все точки над «i» и сказав все до конца и о его великих заслугах, и о его страшных преступлениях. И о том, и о другом. Ибо человек он был великий и страшный. Так считал и считаю».

Вряд ли сегодня можно принять эту формулу «великий и страшный». Быть может, доживи Симонов до наших дней, он нашел бы более точную. Но и тогда она не была для него безусловной и безоговорочной, тем более не было у него и тени снисхождения к злодеяниям Сталина — он считал, что его преступлениям нет и не может быть никаких оправданий (вот почему, как мне кажется, напрасны опасения некоторых журналистов, что симоновские воспоминания могут использовать нынешние сталинисты). Тот же Иван Алексеевич из «Солдатами не рождаются», размышляя о Сталине в связи со словами Толстого в «Войне и мире»: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», ее опровергает. Один из руководителей Генерального штаба, изо дня в день общающийся со Сталиным, имеющий возможность довольно близко его наблюдать, он про себя хорошо знает, что простота, добро и правда совершенно чужды Сталину и поэтому речи не может быть о каком-либо его величии.

Из подготовительных материалов ко второй части книги Симонова особый интерес и ценность представляют записи его бесед с Г. К. Жуковым, А. М. Василевским, И. С. Коневым и И. С. Исаковым. Большая часть записей бесед с Г. К. Жуковым вошла в мемуарный очерк «К биографии Г. К. Жукова». Эти «Заметки...» и записи бесед с другими военачальниками вошли во вторую часть книги — «Сталин и война».

Обращают на себя внимание откровенность и доверительный тон собеседников писателя. Они рассказывают ему и то, что по понятным причинам не могли тогда написать в собственных мемуарах. Эта откровенность объяснялась их высоким уважением к творчеству и личности Симонова; беседуя с писателем, они не сомневались, что он распорядится рассказанным ему самым лучшим образом.

Как известно, Г. К. Жуков был человеком, не терпевшим панибратства и чуждым сентиментальности, но, поздравляя Симонова с пятидесятилетием, он обратился к нему «дорогой Костя» и закончил свое письмо словами, которые предназначаются только близким людям — «мысленно обнимаю Вас и целую».

О том, каким авторитетом пользовался Симонов у И. С. Конева, рассказывает в своих воспоминаниях М. М. Зотов, возглавлявший в 60-е годы редакцию мемуаров Воениздата. Когда при подготовке к изданию книги И. С. Конева «Сорок пятый» автору сделали в издательстве несколько критических замечаний, он, свидетельствует М. М. Зотов, «решительно отверг их. И аргумент у него был один-единственный: „Рукопись читал Симонов“». Кстати,

когда эта книга вышла в свет, И. С. Конев подарил ее Симонову с надписью, подтверждающей рассказ М. М. Зотова,— Симонов не только читал рукопись, но и, как говорится, приложил к ней руку:

«Дорогой Константин Михайлович!
На память о героических днях Великой Отечественной войны. Благодарю Вас за инициативу и помощь в создании этой книжки. С товарищеским приветом и уважением к Вам

И. Конев
3 ноября 1966 года
Москва»

А. М. Василевский однажды, обращаясь к Симонову, назвал его народным писателем СССР, имея в виду не несуществующее звание, а народный взгляд на войну, который выражен в творчестве Симонова. «Очень важно для нас,— писал маршал Симонову,— и то, что все Ваши всенародно известные и безоговорочно любимые творческие труды, касаясь почти всех важнейших событий войны, преподносятся читателю наиболее капитально, а главное — строго правдиво и обоснованно, без каких-либо попыток в угоду всяким веяниям послевоенных лет и сегодняшнего дня отойти от порой суровой правды истории, на что, к сожалению, многие из писателей и особенно нашего брата, мемуаристов, по разным причинам идут так охотно». Эти слова помогают понять, почему самые прославленные наши полководцы с такой охотой и открытостью беседовали с Симоновым — их подкупало его редкое знание войны, его верность правде.

И. С. Исаков, человек литературно одаренный сам — что в данном случае существенно,— прекрасно владевший пером, писал Симонову, вспоминая керченскую катастрофу: «Был свидетелем такого, что, если напишу, не поверят. Симонову — поверили бы. Ношу в себе и мечтаю когда-либо рассказать Вам». Историю бесед с И. С. Исаковым рассказал сам Симонов в предисловии к письмам адмирала, переданным им в ЦГАОР Армянской ССР. Стоит ее воспроизвести здесь:

«В апреле 1962 года, как об этом свидетельствует письмо Ивана Степановича (Исакова.— *Л. Л.*), он прочитал опубликованные в газете первые главы романа «Солдатами не рождаются», и хотя прочитал их с интересом, но одновременно выразил некоторые претензии. «Как жаль, что Иван Алексеевич многого не знал, как жаль, что Иван Алексеевич не мог одновременно говорить о некоторых, как бы прослаивающих и человечных чертах». В сущности, эти слова в письме были адресованы не одному из героев романа, а, конечно же, автору: Ивану Степановичу хотелось, чтобы автор, продолжая работать над своим романом, знал больше, чем знает. Он хотел этого и осуществил свое желание. Вскоре после этого письма, едва-едва успев почувствовать себя немного лучше, Иван Степанович пригласил меня приехать к нему в Барвиху. Повторив и развив те мысли, которые он высказал мне в

письме, он сказал, что считает своим долгом поделиться со мной теми впечатлениями, которые сложились у него в результате многих встреч со Сталиным, происходивших в разные годы.

«Все мы люди — смертны, но я, как видите, ближе к этому, чем Вы, и мне хотелось бы, не откладывая, рассказать Вам то, что я считаю важным, о Сталине. Думаю, что и Вам пригодится, когда Вы будете дальше работать над своим романом или романами. Не знаю, когда я напишу об этом сам и напишу ли вообще, а у Вас это будет записано и, значит, цело. И это важно». После этого предисловия Иван Степанович перешел к делу и стал рассказывать о своих встречах со Сталиным. Разговор продолжался несколько часов, и мне самому пришлось наконец прервать этот разговор, потому что я почувствовал, что мой собеседник находится в опасном для него состоянии крайнего утомления. Мы договорились о новой встрече, и я, вернувшись домой, на следующий день продиктовал все рассказанное мне Иваном Степановичем на диктофон. Диктовал, как обычно в этих случаях, от первого лица, стремясь передать все точно так, как оно сохранилось в памяти.

Следующая, назначенная на ближайшие дни встреча с Иваном Степановичем не состоялась из-за состояния его здоровья, а потом из-за моего и его отъезда. Мы снова вернулись к теме этого разговора только в сентябре 1962 года. Уже не помню, где происходила эта вторая встреча, не то снова в Барвихе, не то дома у Ивана Степановича, но после нее так же, как в первый раз, я продиктовал на диктофон, главным образом от первого лица, содержание нашего разговора».

Я привел эту цитату еще и потому, что она раскрывает, как Симоновым делались записи бесед, раскрывает его «технологию», обеспечивавшую высокий уровень точности.

Остается сказать, что точка зрения Симонова, добросовестно воспроизводящего рассказанное ему, вовсе не всегда совпадает с точкой зрения его собеседников, да и вообще и беседы, записанные Симоновым, и «Глазами человека моего поколения», как и полагается воспоминаниям, субъективны. Было бы неосмотрительно видеть в них некий исторический приговор, это только свидетельские показания, хотя и очень важные. Симонов отдавал себе в этом ясный отчет и хотел, чтобы так понимали его читатели. Среди записей, сделанных им в больнице в последние дни жизни, есть и такая: «Может быть, назвать книгу „В меру моего разумения“». Он хотел подчеркнуть, что на абсолютную истину не претендует, что написанное и записанное им — лишь свидетельства современника. Но это свидетельства уникальные, огромной исторической ценности. Сегодня они для постижения прошлого нужны как воздух. Одна из главных задач, стоящих перед нами, без решения которой мы не сможем двинуться вперед в осмыслении истории,— ликвидировать создавшийся в последние десятилетия острый дефицит точных фактов и правдивых, достоверных свидетельств.

Составившие эту книгу рукописи, находившиеся в архиве

К. М. Симонова, который хранится в его семье, к печати автором не были подготовлены. Продиктовав первую часть книги, Симонов, к сожалению, даже не успел или уже не смог ее вычитать и выправить. В книге сохранены даты диктовок, чтобы таким образом напоминать читателям, что писателю не удалось завершить работу над текстом. При подготовке рукописи к печати были исправлены явные ошибки и оговорки, неверно понятые при перепечатке с диктофона на бумагу слова и фразы.

Л. Лазарев

*Ведь сколько у нас загублено замыслов,
столкнувшихся с суровым социальным заказом!
В судьбе Симонова это сказалось
большой мерой: все-таки «любимец» власти,
молодой человек, сделавший
головокружительную литературную и
литературно-командную карьеру,
лауреат 6 (!) Сталинских премий.*

*Надо было иметь твердость, чтобы
потом через все это переступить,
переоценить в себе и вокруг...*

Вячеслав Кондратьев

*Здесь Константин Михайлович подтвердил
в моих глазах свою репутацию
историка, исследователя.
Ведь каждая его запись, сделанная
по следам встреч с вождем после войны,—
бесценнейший документ, на который
никто больше не рискнул.*

*А его позднейший, 1979 года,
комментарий к стенограммам тогдашним —
это уже акт серьезнейшей внутренней
интеллектуальной работы.
Работы казнящей, самоочищающей.*

Академик А. М. Самсонов

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Размышления о И. В. Сталине

23 февраля 1979 года

Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда-нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.

В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти теперь уже почти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда проблема оценки личности и деятельности Сталина, его места в истории страны и в психологии нескольких людских поколений так или иначе не занимала бы меня — или непосредственно, впрямую, в ходе собственной литературной работы, или косвенно в переписке с читателями, в разговорах с самыми разными людьми на самые разные темы, не так, так эдак приводивших нас к упоминаниям Сталина и к спорам о нем.

Из сказанного следует, что Сталин — личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в истории нашего общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни, которая пусть бесконечно малая, но все-таки частица жизни этого общества.

Я буду писать о Сталине как человек своего поколения. Поколения людей, которым к тому времени, когда Сталин на XVI съезде партии ясно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь. В этом году, когда ему было бы сто, нам станет шестьдесят четыре.

Говоря о своем поколении, я говорю о людях, доживших до этих шестидесяти четырех лет: репрессии тридцать шестого — тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из

жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам; зато война вычеркивала нас через одного, если не еще чаще.

Поэтому оговорка первая: говоря как человек своего поколения, я имею в виду ту меньшую часть его, которая пережила Сталина, и не могу иметь в виду ту большую часть своего поколения, которая и выросла и погибла при Сталине, погибла если и не с его именем на устах, как это часто говорится в читательских письмах, которые я получаю, то, во всяком случае, в подавляющем большинстве с однозначной и некритической оценкой его действий, какими бы они ни были. И многое из того, о чем мне предстоит писать, они бы с порога не приняли — и за год, и за день, и за час до своей смерти.

Оговорка вторая: в своем поколении 1915 года рождения я принадлежу к очень неширокому, а точнее, наверное, даже к весьма узкому кругу людей, которых обстоятельства их служебной и общественной деятельности несколько раз довольно близко сводили со Сталиным. Я с двумя своими ныне покойными товарищами по работе на протяжении нескольких часов был на приеме у Сталина в связи с делами Союза писателей; один раз говорил с ним по телефону по вопросу, касавшемуся лично моей литературной работы; несколько раз присутствовал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению Сталинских премий и продолжавшихся каждый раз несколько часов. В этих обсуждениях участвовали и писатели, в том числе и я. Я слышал не только последнее выступление Сталина на XIX съезде партии, но и его, очевидно, самое последнее выступление на пленуме ЦК после этого съезда. Довелось мне потом много часов провести в Колонном зале, близко видя и мертвого Сталина в гробу, и людей, проходивших мимо этого гроба. В результате этого у меня отчасти были записаны, отчасти остались в памяти некоторые непосредственные впечатления, игравшие и продолжающие играть свою роль в моем восприятии личности и деятельности этого человека.

Оговорка третья. Как журналист и литератор, на протяжении сорока лет, неизменно, почти без исключений работавший над темою войны, прежде всего Великой Отечественной, я по ходу своей работы постоянно соприкасался с теми или иными сторонами вопроса о роли Сталина в Великой Отечественной войне, о причинах наших поражений и источниках наших побед, о мере внезапности войны и о мере нашей готовности или неготовности к ней.

Работа над трилогией «Живые и мертвые», а затем над комментариями к моим дневникам военных лет подвела меня к теме: Сталин и война — в упор, вплотную. Я не считал себя вправе писать во втором романе трилогии «Солдатами не рождаются» глав, связанных с прямым появлением Сталина, без того, чтобы составить себе возможно более ясное представление и о восприятии Сталина, и об отношении к нему — прежде всего именно как к человеку, до войны занимавшемуся военными вопросами, а в ходе войны ставшему Верховным главнокомандующим,— со стороны людей, сведущих в военном деле, знающих, чем была Великая Отечественная война, игравших в ней видную роль и в силу этого неоднократно или многократно имевших дело со Сталиным.

В течение нескольких лет работы над романом «Солдатами не рождаются» я разговаривал на эти темы со сведущими военными людьми, записывал после этих разговоров их воспоминания, их высказывания, а также в дополнение к этому иногда и собственные, возникавшие у меня соображения,— разумеется, четко отделяя одно от другого. Я продолжал заниматься этим и в дальнейшем, уже закончив роман «Солдатами не рождаются» и работая на протяжении десяти лет с некоторыми перерывами над комментариями к своим дневникам «Разные дни войны». И многие причины, и многие следствия происходивших в годы войны событий были связаны с личностью Сталина, с характером его руководства войною. Для того чтобы прийти к собственным выводам по целому ряду вопросов, которые я затрагивал в комментариях к дневникам, мне было необходимо, насколько я только мог, широко познакомиться с теми мнениями, которые сложились по этим вопросам у военных людей. Это были, разумеется, люди разных поколений, что я считаю необходимым оговорить, но выводы из всего услышанного и сопоставленного делаю я сам, человек своего поколения, само собой разумеется, всецело берущий собственные выводы на собственную ответственность.

И, наконец, оговорка четвертая. Сколько бы я ни получал читательских писем за последние двадцать лет со времени начала публикации трилогии «Живые и мертвые» и по сей день от читателей многих моих книг о войне, если не каждое третье, то по крайней мере каждое четвертое письмо так или иначе, в том или ином повороте касалось темы: Сталин и война. На многие письма я отвечал,

с одними соглашался, с другими спорил, но так или иначе я двадцать лет имел дело с непрекращающимся потоком информации о том, как самые разные люди — разных общественных положений, поколений, профессий — смотрят на эту тему: Сталин и война. В данном случае поводом для их высказываний были мои книги, но они были только поводом, а не причиной для размышлений. Причиной для размышлений была реальная история нашего общества перед войной, во время войны и после нее. И этот двадцатилетний, непрекращающийся поток информации все на ту же самую тему оказывал и продолжает оказывать влияние на меня, было бы странно, если бы это было иначе — и это найдет свое отражение в рукописи, к которой я приступаю.

По всем этим причинам, которые отмечены в моих четырех оговорках, содержание рукописи может оказаться, с одной стороны, ýже, а с другой стороны, наоборот, шире ее названия «Глазами человека моего поколения».

* * *

Обращаясь к давнему прошлому, к своей юности и молодости, труднее всего совладать с соблазном привязать свои нынешние мысли к тогдашним, оказаться в результате прозорливее, чувствительнее к ударам времени, критичнее к происходящему — короче говоря, умнее, чем ты был на самом деле. Всеми силами постараюсь избежать этого соблазна. Чуркой в те молодые годы я, очевидно, не был, но вспомнить какие-нибудь свои заслуживающие внимания размышления о Сталине в те годы не могу. Политических разговоров, которые велись в семье в моем присутствии, почти не помню. Глухо помню в тот период, когда мой отчим был преподавателем тактики в Рязанской пехотной школе, оттенок недовольства деятельностью Троцкого в качестве наркомвоенмора. Помню, что в нашей семье он не нравился. Допускаю, что это было связано с его отношением к служившим в Красной Армии военспецам, к числу которых принадлежал и мой отчим. Помню, что приход Фрунзе на место Троцкого был встречен хорошо, помню, как были огорчены потом его смертью. Замена его Ворошиловым была воспринята с некоторым удивлением и недовольством,— видимо, среди таких людей, как мой отчим, существовало мнение, что на опустевшее после смерти Фрунзе место наркомвоенмора следовало назначить

более значительного и более военного, чем Ворошилов, человека. Кто имелся в виду — не знаю, но оттенок такой в домашних разговорах существовал.

Впечатление от смерти Ленина в семье было очень сильное, глубокое и горестное. Может быть, оно еще было усилено и тем обстоятельством, что в тот год мы были в Москве, отчим проходил переподготовку на высших педагогических курсах и в качестве курсанта этого военного учебного заведения стоял в караулах во время похорон Ленина. Помню, что в семье были слезы. Ощущения того, что на смену Ленину пришел Сталин, ни у меня, тогдашнего мальчишки, ни в нашей семье не было. Троцкого не любили, о борьбе с его сторонниками-троцкистами слышали и знали, тем более что борьба эта происходила и в армии, отзвуки ее наиболее непосредственно доходили до отчима. К троцкистам относились отрицательно, а к борьбе с ними как к чему-то само собой разумеющемуся. Но представления о Сталине как о главном борце с троцкизмом, сколько помню, тогда не возникало. Где-то до двадцать восьмого, даже до двадцать девятого года имена Рыкова, Сталина, Бухарина, Калинина, Чичерина, Луначарского существовали как-то в одном ряду. В предыдущие годы так же примерно звучали имена Зиновьева, Каменева, позже они исчезли из обихода. Понимание того, что Сталин во главе всего, что происходит, сложилось где-то между началом коллективизации, первой пятилетки и XVI съездом партии, который застал меня в седьмом классе школы, как тогда говорилось, в седьмой группе.

С той жестокой действительностью, которая много лет спустя была определена формулой «годы необоснованных массовых репрессий», я столкнулся очень рано, в двенадцатилетнем возрасте, в 1927 году, когда этих массовых репрессий еще не было. Мы с матерью и моею двоюродной сестрой гостили под Кременчугом в селе Потоки у жившей там двоюродной сестры моего отчима, фамилия ее была Каменская, звал я ее тетя Женя, отчества не помню. Тетя Женя была человеком добрым и деятельным, вполне практичным и в то же время, как показала ее дальнейшая судьба, благородным. Она жила там, в Потоках, в своем небольшом домике вместе с безнадежно больным мужем Евгением Николаевичем Лебедевым. Он был уволенным еще до первой мировой войны в отставку генерал-лейтенантом царской армии и уже много лет лежал неподвижно с парализованными ногами, а тетя Женя ходила за ним.

Она была уже немолода, но все-таки на много лет моложе его, и, очевидно, некогда в том, что она согласилась быть при нем, парализованном, в качестве не столько жены, сколько сиделки, имели место свои практические соображения. Но когда все переменилось, перевернулось, она не бросила бедного старика и продолжала нести свой крест. Старик, кажется, был из числа офицеров либерального толка, неподвижность свою переносил мужественно и с достоинством, на судьбу не жаловался и на Советскую власть не ворчал. Был хорошо образован, и мне, двенадцатилетнему мальчишке, было интересно слушать его, о чем бы он ни брался рассказывать. Я это хорошо помню, хотя, о чем он рассказывал, в памяти не сохранилось.

И вот однажды я, мама и моя двоюродная сестра отправились в лес за грибами, как водится, минут через пятнадцать выяснилось, что дома что-то забыли — не то какой-то мамин платок или кофточку, не то еще что-то, и, разумеется, как самого младшего за этим погнали обратно меня. Я постучал к тете Жене, но мне открыла не она, а какой-то незнакомый человек, пропустивший меня в комнату и закрывший за мной дверь. В комнате был еще другой человек — в тот момент, когда я вошел, он, приподняв матрас, на котором неподвижно лежали парализованные ноги старика, заглядывал куда-то между этим верхним матрасиком и пружинным матрасом — не то чего-то искал, не то хотел что-то там поправить — этого я не разобрал, только понял, что что-то случилось, и случилось необычное. Уже поняв это, я все-таки по инерции спросил у стоявшей тут же, около кровати, тети Жени про ту вещь, которую забыла мама, где она, и сказал, что мне нужно ее взять и бежать обратно, но прежде чем она успела ответить, человек, который впустил меня в дом, показал мне на стул и сказал: «Ты посиди, мальчик, посиди и подожди». Я ответил что-то вроде того, что меня же будет ждать мама. «А будет ждать мама, она придет за тобой сюда. Посиди»,— он показал мне на стул не грубо, но властно, так, что я понял, что надо сесть, и послушался его. А еще несколькими минутами позже понял все, что происходило, потому что старик Лебедев, остановившийся на полуслове, когда я вошел (а я еще через дверь слышал, что он что-то громко говорит), поняв теперь, что меня оставили здесь, продолжал, не обращая внимания на мое присутствие, договаривать то, что он начал. Двое людей в штатском, пришедшие производить у него обыск, хотя

и предъявили ему свои документы, но ордера на производство обыска не предъявили, и он ругательски ругал их за самоуправство, грозил, что будет жаловаться, стыдил, горячился, и тетя Женя, кажется, довольно равнодушная к обыску, больше всего боялась, что у него от волнения будет удар, и успокаивала его, как могла, но из этого ничего не выходило. Люди, пришедшие с обыском, продолжали делать свое дело, пересматривали одну за другой, лист за листом книжки, стоявшие на этажерке, лежавшие на столе, заглядывали под клеенки, под вышивки, лежавшие на полочках. Старик, прислонившись к стене, полулежа на кровати, продолжал ругать их, а я сидел на стуле и смотрел на все это.

Через час ко мне присоединилась моя двоюродная сестра, которую послала обеспокоенная моим отсутствием мама. Ее посадили на другой стул. Потом появилась мама, ее посадили на третий. Обыск в конце концов закончился, и, ровным счетом ничего так и не взяв с собой, производившие его люди ушли. Вели они себя сдержанно, не отругивались, может быть, потому, что имели дело со старым и парализованным человеком, но все, вместе взятое, осталось в памяти как что-то долгое и тягостное. Кто его знает, может быть, это была чья-то, как мы теперь говорим, самодеятельность. Евгений Николаевич, как он и обещал, написал и послал жалобу, но возымела ли она результат, я не слышал. Правда, в последующие годы его больше никто не беспокоил, и он через несколько лет умер там, в Потоках, о чем мы узнали из письма, потому что сами больше там не бывали.

Я записал случившееся таким, каким оно осталось в детской памяти, думаю, без преувеличений. В памяти это осталось не как встреча с чем-то ужасным, или трагическим, или потрясшим меня. В душе было не потрясение, а сильное удивление: я вдруг столкнулся с чем-то, казалось бы, совершенно не сочетавшимся с той жизнью, какой жила наша семья...

Годом позже в Саратов, где к этому времени служил мой отчим в школе переподготовки командиров запаса, до нас дошло известие, что сослан в Соловки один из дальних родственников отчима, из тех, что называют седьмая вода на киселе, муж сестры его шурина или что-то в этом роде, я всегда в таких случаях путаюсь. Отчим еще с мировой войны не любил и, пожалуй, даже презирал этого своего дальнего родственника. Будучи сам боевым

офицером, пять раз раненным, отравленным газами и много раз награжденным за личную храбрость, отчим не мог простить, что тот — тоже офицер — ухитрился так и не попасть на фронт и всю войну прослужить где-то по провиантской части, и называл его за это «мучным кирасиром». «Мучной кирасир» был, в представлениях нашей семьи во всяком случае, довольно заядлым антисоветчиком, но, насколько я помню разговоры того времени, попал в Соловки он не только и не столько за это, сколько за участие в каких-то валютных делах вкупе с другими, более заметными лицами, посаженными по одному делу с ним. К происшедшему, как это ему было свойственно, отчим отнесся однозначно и бескомпромиссно. Жене сосланного посочувствовал как женщине, а о самом пострадавшем отозвался как о человеке, который получил то, что ему причиталось. Сказано это было другими словами, но смысл был именно таков.

Была в разгаре первая пятилетка, у нас в школе были кружки по изучению обоих вариантов — и основного и оптимального — пятилетнего плана: я увлекался этим куда больше, чем школьными предметами. Недалеко от Саратова, на Волге, гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это, вместе взятое, сыграло свою роль в том, что, вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто, и при нейтралитете матери я после седьмой группы школы вместе с половиной своих одноклассников пошел в ФЗУ.

Принимали нас по тогдашней системе ЦИТа — Центрального института труда,— мы выполнили какие-то тесты, и по результатам этих тестов определялась наша будущая специальность. Мне выпало быть токарем, и с осени тридцатого года я начал учиться во 2-м механическом ФЗУ на токаря, а несколькими месяцами позже начал проходить практику как ученик токаря на расположенном тут же по соседству с ФЗУ небольшом заводе «Универсаль», изготовлявшем американские патроны для токарных станков. Одни ребята работали вместе со мной, другие — на других заводах, на «Двигателе Революции» — котельном заводе, на заводе тракторных деталей. Специальность токаря давалась мне с трудом, руки у меня оказались отнюдь не золотые. Некоторая дополнительная

сложность заключалась еще и в том, что большую часть нашего курса ФЗУ составляли воспитанники детских домов, а нас, как называли нас — домашних, было сравнительно немного. Успевать лучше их в теоретических дисциплинах не было доблестью, а вот отставать от них на производстве для меня как для «домашнего» мальчика значило попасть в число презираемых белоручек, а я этого не хотел и поэтому старался как мог.

Курс ФЗУ был тогда двухлетний, и весною тридцать первого года передо мной стояла уже довольно близкая перспектива — перейти на второй год обучения и начать получать зарплату уже не по первому, а по второму разряду, почти вдвое больше. Это было существенно для бюджета нашей семьи, жившей, как говорится, впритирку, без единой лишней копейки. Стремление не оплошать на производственной практике и получить второй разряд было связано и с затянувшимся взаимонепониманием с отчимом. Он считал — так я думаю, хотя не говорил с ним на эту тему,— что, женившись на моей матери, тем самым взял на себя обязательство довести до конца мое образование, чтоб я кончил девятилетку, кончил вуз и стал инженером. Он хотел этого и только этого, отчасти, может, еще и потому, что сам в свое время, окончив реальное училище, надеялся после него получить высшее техническое образование, но это у него не получилось, и он, совершенно не думавший раньше о военной профессии, из-за отсутствия денег на дальнейшее образование оказался в юнкерском училище. В общем, почти весь тот год, что я учился в ФЗУ, ничего, кроме «здравствуй» и «прощай», я от него не слышал. Он не мог мириться ни с моим непослушанием, ни с моим решением. При том, что он затаенно любил меня, а я так же затаенно любил его.

Мы жили в казенном военном доме в двух смежных комнатах, в квартире с общей кухней, где жили еще в двух комнатах двое соседей с женами, тоже военные. Однажды вечером, не очень поздно — но мы уже легли спать, свет в доме уже не горел, мы все, сколько помню себя, рано ложились спать, в десять часов,— к нам в дверь постучали. Мать была нездорова, болела, лежала с небольшой температурой. Отчим открыл дверь; услышав голоса, проснулся и я. Я спал за шкафами в первой, проходной, комнате. Мне никогда не приходило в голову, что это может быть у нас, но это было у нас дома,— происходил обыск. Я зажег свет, вскочил босиком с постели

и увидел троих незнакомых мне людей и отчима — наспех, но одетого. Он, как уже потом сказала мне мать, не открывал дверь до тех пор, пока не оделся, так и сказал: «Пока не оденусь — не открою». И оделся — сапоги, бриджи, гимнастерка с ремнем,— оделся так, как ходил всегда. Тоже потом уже сказала мне мать — в дверь долго стучали, не желая ждать, пока отчим одевается, но я, очевидно, не сразу проснулся, спал крепким мальчишеским сном. Когда я вскочил, то увидел, что отчим, надев очки и вооружившись вдобавок лупой,— после отравления газами у него было плохо со зрением и он часто добавлял к очкам еще лупу,— стоял и читал бумажку — ордер на обыск. Прочел — и отдал. Он был спокоен. Мать тоже. Надев халат, она стояла в дверях в соседнюю комнату.

— А ты ложись,— сказал отчим строго, как он обычно говорил с матерью.— Тебе тут нечего делать. Ты больна — и лежи.

Но мать так и не легла, только села на стул и так просидела много часов.

Обыск длился очень долго, вели его аккуратно, так тщательно, что смотрели все подряд в обеих комнатах, даже мои тетрадки ФЗУ по технологии металлов, школьные тетрадки, оставшиеся от седьмого класса, и бесконечные мамины письма — она любила много писать и любила, чтоб ей много писали все родные и знакомые. По-моему — но не поручусь за память,— это было где-то в апреле, светлело не так еще рано, а когда кончился обыск, было совсем светло, значит, он продолжался по крайней мере часов шесть, если не больше.

Когда обыск кончился и люди, которые производили его, забрав пачку бумаг и писем и, кажется — хотя, может быть, я и ошибаюсь,— составив какой-то список взятого, собрались уходить, мне показалось, что уже все кончилось,— один из них вынул из кармана бумагу и предъявил ее отцу. Теперь это был уже ордер не на обыск, а на арест. В тот момент я этого не подумал, но потом понял, что, значит, арест предполагался с самого начала, независимо от результатов обыска. На мать было тяжело смотреть, хотя она была женщина с сильным характером, видимо, сказалось то, что она была больна, просидела всю эту ночь на стуле с температурой, ее всю трясло. Отчим был спокоен. Прочитав — опять-таки с лупой — бумажку, которую ему предъявили, вынув для этого из кармана гимнастерки лупу,

удостоверившись в том, что это действительно ордер на арест, он коротко поцеловал мать, сказал ей, что вернется, как только выяснится, что произошло недоразумение. Молча, но крепко пожал мне руку и ушел вместе с арестовавшими его людьми.

А мы с матерью остались. Ее продолжало трясти, она не любила выражения слабости ни в себе, ни в других и стыдилась того, что ее трясет и что она не может ничего с собой поделать. Потом легла в кровать и, посмотрев на часы, сказала: «Ты сам согрей себе там кашу и чай, тебе скоро надо идти, а то опоздаешь в ФЗУ». Я сказал, что не пойду, останусь с нею. Она сказала, что я должен пойти, она быстрее придет в себя, если останется одна, а мне нужно идти и нужно там, в ФЗУ, сразу же сказать о том, что произошло у нас дома,— иначе это будет трусостью с моей стороны, если я не скажу.

Недоразумение не выяснилось — ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Я сказал о том, что произошло у меня дома, в ФЗУ и продолжал учиться и работать. Ко мне продолжали относиться так же, как относились, как будто ничего не произошло, только о заявлении в комсомол, о котором я как раз в те дни договорился и собирался подать, сказали, чтоб я подождал с этим, пока не освободят моего отчима. Сказали, как я сейчас понимаю, деликатно, тогда мне казалось, что именно так только и могли сказать. Я ни минуты не сомневался, что это недоразумение и что мой отчим вернется, хотя знал, что после процесса промпартии у нас в Саратове было арестовано какое-то количество людей из числа старой интеллигенции и вообще так называемых «бывших», в том числе, помнится, еще один бывший офицер той же военной школы, где служил отчим. Но это для меня не связывалось одно с другим: кого-то другого могли арестовать, кто-то другой мог быть в чем-то виноват так же, как те люди из промпартии, а с моим отчимом этого быть не могло, с ним могло быть только недоразумение.

Если в ФЗУ, где я учился, к тому, что произошло в нашей семье, отнеслись спокойно и по-доброму, то в военной школе, где преподавал и был на самом хорошем счету отчим, все произошло наоборот. Думаю, что при всей суровости и даже жестокости того и последующего времени в данном случае, как и во многих других, все-таки, наверное, многое или хотя бы что-то зависело и от людей, которым приходилось непосредственно решать такие вопросы. Ко-

мандир и комиссар школы распорядились немедленно выселить семью арестованного комбата А. Г. Иванишева из занимаемого ею казенного помещения. На второй день, когда я пришел из ФЗУ, мать сказала, что ей показали подписанную ими бумажку о том, чтобы она к следующему дню освободила квартиру. Она хотела ехать к ним, порывалась,— соседи отговорили. Может быть, и не отговорили бы, но она еще продолжала болеть. Это сыграло свою роль.

На следующее утро явился, не помню уж, командир или младший командир с красноармейцами. Вещей из своих двух комнат мы никуда не забирали, и нам было сказано, что или мы их заберем, или их без нас вынесут, а комнаты опечатают. Помогли соседи: то, что можно было перенести к ним, перенесли к ним, что-то поставили по стенам в прихожей, то, что не влезло в прихожую, мешало ходить там, очевидно, оставалось выносить во двор. Мать махнула рукой и сказала, чтоб выносили во двор. Вещей у нас, по счастью, было немного: обеденный стол, несколько ломберных стульев, две этажерки для книг, два шкафа для одежды, кровать и так называемый гинтер, на котором спал я,— офицерский складной сундучок времен первой мировой войны, соединявший в себе и маленький сундук, и узкую раскладную койку. Шкафы и обеденный стол вытащили на улицу, остальное как-то разместилось в передней и у соседей, которые приютили нас, пока мы не найдем какой-нибудь комнаты, где могли бы дальше жить.

Мать осталась лежать у соседей, а я пошел искать комнату, снабженный добрыми советами соседок. Пошел на так называемые Саратовские горы через Глебычев овраг в верхнюю часть города, на окраину его, тогда выглядевшую как взбиравшаяся в гору деревня. Там, по сведениям соседок, вдовы — хозяйки этих домиков — иногда сдавали комнаты. Да я и сам тоже знал это, потому что, когда учился в школе и у нас был бригадный метод, при котором мы помогали друг другу готовить уроки, ходил туда, на горы, помогать готовить уроки кому-то из нашей бригады — девочке, родители которой снимали комнату вот в таком частном доме. Мне повезло: походив там по улице, я через какой-нибудь час или два нашел хозяйку, которая была готова сдать нам одну из двух комнат своего домика, даже довольно большую, в которой могли поместиться наши немногочисленные вещи. Мы переночевали эту ночь у соседей, а утром опять-таки кто-то из соседей достал грузовик

и помог нам погрузить на него вещи — большего сделать не мог, ему надо было идти на службу. У матери все еще была температура, я упросил ее остаться еще до следующего дня у соседей, обещав, что я все сделаю сам.

Так и поступили. Правда, мне не повезло, потому что в этот день пошел дождь, дорога раскисла. Там, где стояло наше нынешнее жилье, дорога поднималась круто в гору и начиная с какого-то места была уже немощеной, грузовик забуксовал и дальше ехать не мог. Шофер помог выгрузить вещи на землю и уехал, посочувствовав мне. У него вышло то казенное время, которое ему дали для этой поездки, и он ничего не мог сделать сверх того, что сделал. А я постепенно перетащил на себе на один квартал вверх весь наш скарб. Как ни странно, доволок на спине и пустые платяные шкафы. Было мне тогда, весной 31-го года, пятнадцать с половиной лет, был я худой и отнюдь не богатырского сложения малый, но самому себе на удивленье оказался довольно жилистым и вещи перетащил, хотя и запомнил этот день надолго, пожалуй, на всю жизнь. Запомнил без злобы, даже с некоторым самодовольством, что вот справился с тем, с чем не приходилось справляться, и так, как не ожидал сам от себя. Обида была, но больше за мать. Она потом сколько ни вспоминала эту историю, никогда не могла простить выселения тем людям, от которых оно зависело. Наверное, поэтому из-за ее обиды так с юности и помню фамилии обоих этих людей, забыв сотни других имен и фамилий. Но называть их здесь не хочу. Судьба одного из них спустя шесть лет, в тридцать седьмом году, завершилась трагически, о чем я узнал еще на двадцать лет позже. Судьбы другого не знаю и не хочу брать греха на душу.

Если мне не изменяет память, почти все то лето я работал. В ФЗУ продолжались и занятия, и практика на заводе, каникул, как в школе, не было, был только недолгий отпуск. Помнится, после этого отпуска мне присвоили второй разряд, и я стал получать не семнадцать, как вначале, а не то тридцать два, не то тридцать четыре рубля, что было нам тогда с матерью очень кстати.

Тюрьма, в которой сидел отчим, была на одной из улиц где-то недалеко от центра города, свиданий с ним не давали, потому что он находился под следствием, но передачи принимали — два раза в неделю. Обычно передачи носила мать, но иногда носил и я. Как все это происходило, совершенно не запомнилось, видимо, потому, что все было

просто и без проволочек, которые, наверное, запомнились бы.

Мать, поправившись, сразу и вполне взяла себя в руки и договорилась об устройстве с первого сентября на преподавательскую работу, преподавать не то французский, не то немецкий язык — она владела обоими. До этого год или два она по настоянию отчима не работала, у него на этот счет были свои, достаточно домостроевские взгляды. И хотя при одном его заработке мы жили в обрез, он предпочитал это: зарабатывать на жизнь считал всецело своей обязанностью, обязанностью матери — готовить, содержать в порядке дом и воспитывать сына, а моей — учиться.

Хотя мать и договорилась об устройстве на работу, это не значило, что она перестала верить в скорое возвращение отчима. Во всяком случае, вслух никаких сомнений на этот счет она не высказывала, наоборот, уверенно говорила, что, если он вернется до того, как она начнет работать, она все равно на работу поступит, на этот раз он ее не отговорит. А если он вернется после того, как она уже начнет работать, то работы не бросит, как бы он на нее за это ни сердился. Короче, его возвращение она под сомнение не ставила, хотя, может быть, оттенок излишней уверенности и отсутствие всяких сомнений предназначались для меня, но кажется, она и на самом деле в глубине души не сомневалась, что раньше или позже недоразумение, как она продолжала все это называть, непременно выяснится.

Помню вечер, кажется, в самом конце августа. Лето кончалось, но было очень жарко и душно. После того как я пришел с работы и мы поужинали, мать сказала, чтоб я вынес коврик во двор под дерево около нашего домика, мы посидим там, а то в комнате чересчур душно.

Я сделал, как она велела, мы сидели во дворе и о чем-то разговаривали, как вдруг калитка открылась и во двор вошел отчим — такой же, как всегда, обычный — в фуражке, в форме, со шпалами на петлицах и с наганом на боку. Он обнял и поцеловал вскочившую ему навстречу мать, поцеловал меня, что бывало очень редко. Я не сразу понял, что было в нем непривычным, вроде все, абсолютно все было как всегда. Потом сообразил: у него было зимнее, белое, а не летнее, бурое от загара после постоянных выездов на занятия в поле, лицо.

Не помню, какие разговоры были в тот вечер, сразу после его возвращения, и какие потом. Твердо запомни-

лось только два разговора, точнее две темы, потому что подробностей, конечно, не помню. Узнав о том, как нас в срочном порядке вышвырнули из казенной квартиры, отчим глубоко оскорбился за мать и сказал о начальнике и комиссаре школы, что они поступили по-свински. Когда он говорил о ком-то или кому-то, что тот поступил по-свински, это было выражением его самого крайнего возмущения. Слов этих обратно он никогда не брал, о сказанном не жалел, наоборот, если приходилось возвращаться в воспоминаниях, даже спустя много лет, к чьему-то возмутившему его поступку, жестко, в тех же самых выражениях повторял свою оценку. Так это бывало и раньше, и так это было и потом — всю его жизнь.

О том, как он провел в тюрьме четыре месяца, в подробностях, во всяком случае при мне, не рассказывал. Может быть, что-нибудь и говорил без меня, отвечая на вопросы матери, а при мне не говорил. При мне рассказал только о допросах, сказав, что все выдвинутые против него нелепые, как он выразился, обвинения были одно за другим полностью сняты. Рассказал, что, вызывая его на допросы, очевидно, не всегда понимали, с кем имеют дело, и считали, что если в течение десятка часов не будут давать ему спать при очень ярком свете, от которого у него начинали болеть глаза, то в конце концов добьются от него той дурацкой лжи о себе и о других, которую, по так и оставшимся для него непонятным причинам, зачем-то хотели от него услышать. Но, разумеется, не дождались, заключил он.

Думаю, что, не рассказывая при мне ничего другого, это — о допросах — он рассказал при мне намеренно, в воспитательных целях, о которых он ни при каких случаях не забывал, считая их своим главным долгом по отношению к пасынку, ответственность за воспитание которого он взял на себя с четырех лет. Со мной в детстве, хотя и не слишком часто, случалось, что я лгал матери и ему. Он этого никогда не прощал и навсегда запоминал каждый такой случай. Очевидно, он и сейчас, даже когда речь шла о достаточно драматических для него обстоятельствах, не пренебрег возможностью преподать мне урок, что лгать не следует ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, как бы к этому ни вынуждали.

На следующий день или через день после возвращения он явился к начальнику школы, не знаю, какой там произошел разговор, но в том, что отчим высказал на-

чальнику школы, в соответствующих выражениях свою оскорбленность за то, как обошлись с матерью, нисколько не сомневаюсь. Тогда меня не посвящали в эти подробности, единственное, что я слышал от отчима насчет начальника школы, что с этим человеком или в подчинении у этого человека он далее служить не будет. Других подробностей я не знаю, очевидно, как я сейчас понимаю, была медицинская комиссия, а за ней — демобилизация из армии. Чисто медицинских оснований для этого было достаточно и раньше, учитывая и последствия ранения, и состояние зрения. Допускаю, что были и другие причины — может быть, столкновение с начальником школы. Во всяком случае, отчим принял решение — а решения его всегда были безапелляционными — оставить Саратов, переезжать в Москву. Жить временно у его родной сестры на Петровке — она обещала для этого временно перегородить свою комнату — и идти преподавать на военную кафедру в одном из московских вузов. Отчим об этом говорил с абсолютной уверенностью, так что остается предполагать, что последние аттестации перед демобилизацией открывали полную возможность для такой работы, а то, что произошло в предшествующие месяцы этой весны и лета, было положено считать не бывшим,— очевидно, так.

Примерно через месяц после этого мы перебрались в Москву, я поступил доучиваться на второй курс ФЗУ точной механики имени Мандельштама, а отчим приступил к работе преподавателем военной кафедры Индустриального института имени Карла Либкнехта на Разгуляе — почему-то всегда вспоминаю об этом, когда езжу в находящееся теперь неподалеку, за два квартала, издательство «Художественная литература».

Спрашиваю сейчас себя: наложило ли какой-то след все происшедшее тогда, тем летом, в Саратове на мое общее восприятие жизни если угодно, на психологию пятнадцати-шестнадцатилетнего подростка? И да, и нет! Самое главное, с отчимом все в конце концов получилось так, как оно должно было быть. Он — мерило ясности и честности для меня с первых детских лет — таким мерилом и остался, и люди, которые с ним имели дело, убедились в этом, то есть что-то самое главное оказалось правильным. И в трудные для нас месяцы почти все люди, с которыми мы сталкивались и имели дело, отнеслись к нам хорошо — и это все тоже оказалось правильным, таким, каким мы и могли ожидать. Рассказ отчима о допросах, кончившихся

для него благополучно, потому что он был человеком очень сильным, цельным, оставил в душе осадок какого-то неблагополучия, ощущения, что с другим человеком в этих обстоятельствах могло выйти по-другому, другой человек мог не выдержать того, что выдержал он. Эта тревожная нота осталась в памяти, наверное, отчетливей и существенней, чем тот некрасивый поступок начальства, который отчим коротко назвал «свинским поведением».

А кроме всего другого, пришло еще ощущение некоторого, может быть, неосознанного возмужания, я оказался на что-то способным в критических обстоятельствах, хотя бы на то переселение, которое я совершил отчасти на собственном горбу. Отчим не хвалил меня за это, вообще не любил хвалить меня, но я, хотя он по-прежнему был недоволен тем, что я учусь и собираюсь продолжать учиться в ФЗУ, почувствовал, что он стал спокойнее относиться к этому. Видимо, после того, как я провел с матерью четыре месяца без него, отчим признал мое право на самостоятельность решений, и это смягчило его недовольство моим выбором жизненного пути, хотя недовольство все равно осталось, еще долго оставалось. В общем, происшедшее немножко поглубже ткнуло меня носом в жизнь, и это было жестокое, но благо, если говорить о духовном развитии начинающего жизнь человека.

Таким же жестоким благом были для меня месяц или полтора, которые я два года спустя провел в больнице в Москве на Собачьей площадке, в больнице, превращенной в изолятор для больных брюшняком. Брюшняк этот — так запомнилось мне с тех времен — был занесен в Москву как одно из последствий голода 33-го года на Украине. В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах — это было одной из причин эпидемии брюшняка,— так я об этом слышал тогда в больнице.

Я лежал в палате для тяжелых, пятеро из нас умерли, трое выжили. В первые дни один из потом умерших рассказывал об этом голоде в полубреду, рассказывал горячечно, но понятно. Он был из подобранных на вокзале. Конечно, и в Саратове я жил не в безвоздушном пространстве, в городе не было и того, и другого, и третьего, к карточкам была уже привычка нескольких лет. Еда в той заводской столовой, где мы обедали, учась в ФЗУ, была странно запомнившейся: в тот год, когда не было многого другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там

вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою — и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей. Но с прямым рассказом о том, что такое голод, с прямым видением его последствий я столкнулся лишь тогда, в 33-м году, в больнице, жизнь сунула меня носом в это только там. И это запомнилось и тоже было какою-то жестокою частицей возмужания.

Возвращаясь в воспоминаниях к саратовским годам — к тридцатому, к тридцать первому,— вспоминаю какие-то подробности, говорящие мне сейчас о том, что в воздухе витало разное. Запомнилась какая-то частушка того года: «Ой, калина-калина, шесть условий Сталина, остальные — Рыкова и Петра Великого». Я ее петь — не пел, но слышать — слышал. Значит, кто-то ее пел, как-то она переносилась. Было в воздухе такое, было и другое. Помню кем-то, кажется, в ФЗУ показанную мне бумажку вроде листовочки,— трудно сейчас сообразить, просто ли это было рисовано от руки, или переведено в нескольких экземплярах через копирку, или сделано на гектографе,— но ощущение какой-то размноженности этого листочка осталось, во всяком случае. На листке этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом — Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе — в общем, кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси». Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может, этот листок показывали мне не в ФЗУ, а еще раньше, в школе. Но было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу или заставившее задуматься.

Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало. Я был забронирован от этого мыслями о Красной Армии, которая в грядущих боях будет «всех сильнее», страстной любовью к ней, въевшейся с детских лет, и мыслями о пятилетке, открывавшей такое будущее, без которого жить дальше нельзя, надо сделать все, что написано в пятилетнем плане. Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, погибнем, не сможем воевать, если на нас нападут,— это было совершенно несомненным. И, может быть, поэтому когда я слышал о борьбе с правым уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заменой Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым

уклоном приходится бороться, потому что они против быстрой индустриализации, а если мы быстро не индустриализируемся, то нас сомнут и нечем будет защищаться,— это самое главное. Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты симпатии к Рыкову, к Бухарину, в особенности к последнему, как к людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб было побольше всего, как к радетелям за сытость человека, но это были только ноты, только какие-то отзвуки чужих мнений. Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту,— его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет.

Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год почти до самого его конца остался в памяти как год самых светлых надежд моей юности. Чувствовалось, что страна перешагнула через какие-то трудности, при всей напряженности продолжавшейся работы стало легче жить — и духовно, и материально. Я ощущал себя причастным к этой жизни, потому что у меня было ощущение, что я работал почти всю пятилетку, ведь ФЗУ — это были и занятия, и четыре часа ежедневной работы. Потом, окончив ФЗУ, я одно время работал на авиационном заводе, а после него токарем в механической мастерской тогдашней кинофабрики «Межрабпомфильм». Это была маленькая мастерская, восемь человек, один токарный станок, находившийся в моем распоряжении, разнообразная и поэтому интересная работа. Кроме того, я за год до этого начал всерьез писать стихи, очень плохие, но мною воспринимавшиеся уже как нечто серьезное, связанное со всей моей будущей жизнью.

Среди других стихов я под влиянием прошлогодних поездок писателей по Беломорско-Балтийскому каналу и вышедших после этого очерков, книг и пьес написал неумелую поэму «Беломорканал» — о перековке уголовного элемента. Несколько кусочков из этой поэмы у меня после того, как я ее долго носил в литконсультацию, взяли для сборника молодых, выпускавшегося этой консультацией в Гослитиздате. Вдобавок в свой очередной отпуск я получил командировку и некоторое количество денег от массового сектора работы с начинающими авторами, существовавшего в Гослитиздате, и поехал по этой командировке в качестве молодого рабочего автора — а у меня действительно уже

был трехлетний рабочий стаж — на Беломорканал для того, чтобы посмотреть самому то, что там происходило, и, может быть, наново написать свою поэму, из которой сколько-нибудь удачными — я уже и сам понимал это — получились только отдельные кусочки.

И строительство Беломорканала и строительство канала Москва — Волга, начавшееся сразу же после окончания первого строительства, были тогда в общем и в моем тоже восприятии не только строительством, но и гуманною школою перековки людей из плохих в хороших, из уголовников в строителей пятилеток. И через газетные статьи, и через ту книгу, которую создали писатели после большой коллективной поездки в 33-м году по только что построенному каналу, проходила главным образом как раз эта тема — перековки уголовников. О людях, сидевших за всякого рода бытовые преступления, писалось гораздо меньше, хотя их было много, но они как-то мало интересовали и журналистов, и писателей. Сравнительно мало писалось и о работавших на строительстве бывших кулаках, высланных из разных мест страны на канал, хотя их там тоже было много, не меньше, чем уголовников, а, наверное, больше. Чуть побольше — эта тема не обходилась — писали о бывших вредителях, которые занимали различные инженерные посты на стройке. По уделяемому им вниманию они занимали второе место после уголовников. Но как бы то ни было, все это подавалось как нечто — в масштабах общества — весьма оптимистическое, как сдвиги в сознании людей, как возможность забвения прошлого, перехода на новые пути. Старые грехи прощались, за трудовые подвиги сокращали сроки и досрочно освобождали, и даже в иных случаях недавних заключенных награждали орденами. Таков был общий настрой происходящего, так все это подавалось, и я ехал на Беломорканал смотреть, не как сидят люди в лагерях, а на то, как они перековываются на строительстве. Звучит наивно, но так оно и было.

Строительство канала уже было закончено, во всяком случае его первая очередь, достраивались различные дополнительные объекты — на них работали еще десятки тысяч людей. Достраивались дороги, разрастались подсобные хозяйства, убирались следы строительства, благоустраивалась местность. Я попал на канал именно в это время и большую часть месяца, который у меня был, провел на одном из лагерных пунктов, где работали главным образом люди, так или иначе причастные в прошлом к уго-

ловщине. Меня пристроил на дополнительную койку в своей отгороженной от общего барака каморке начальник КВЧ — культурно-воспитательной части — лагерного пункта, москвич, заключенный, так же, как и все другие на этом лагерном пункте. Не знаю, какая у него была статья, скорее всего политическая, 58-я, наверное, антисоветская агитация,— статья, по которой в то время попадали в лагеря люди, причастные или считающиеся причастными к троцкистской и вообще левой оппозиции. Про статью я его не спрашивал, что он заключенный, понял не сразу, потому что он вел себя как опытный партийный агитатор. Был это симпатичный тридцатилетний человек, судя по всему, имевший большое и благотворное влияние на тот уголовный и полууголовный элемент, который составлял рабочий класс этого лагпункта.

Мною особенно никто не интересовался, мне было без малого девятнадцать лет, по виду я мало чем отличался от других находившихся там людей — разве что был одним из самых молодых. Когда же случайно узнавали, что я молодой рабочий автор и пишу стихи, то относились ко мне сочувственно и даже отчасти покровительственно — мол, давай, давай, напиши о нас,— сроки у людей там были небольшие, работали они добросовестно, делая их еще короче, надеясь на скорое освобождение. Допускаю, что я был поглощен своим, поэмой, стихами, вообще был еще, как говорится, молод и глуп, но из этой странной, на нынешний взгляд, лагерной командировки я вернулся без ощущения тяжести на душе. Наоборот, с готовностью писать заново поэму о перековке людей трудом, с ощущением, что я пусть недолго, но своими глазами видел, как это реально происходит, и с верою в то, что, наверное, так оно и должно быть,— какой же другой путь, кроме работы, которая списывает с человека его прошлые грехи, может существовать в таком обществе, как наше?

С вредителями из инженерной элиты мне сталкиваться самому не доводилось, но я знал от одной из знакомых нашей семьи, что человек, за которого она несколько лет назад вышла замуж, в прошлом военный инженер и по стечению обстоятельств при Временном правительстве чуть ли не последний комендант Зимнего дворца, будучи арестован по 58-й статье и получив по ней не то восемь, не то десять лет, проработав два или три года на Беломорканале главным инженером одного из узлов канала и блестяще выполнив свои инженерные задачи, был

освобожден и теперь как вольнонаемный поехал главным инженером на какой-то еще больший строительный узел канала Москва — Волга. Такого рода сведениями были дополнены мои личные впечатления от поездки.

То, что происходило на XVII съезде партии, как будто свидетельствовало о правильности моих юношеских радужных взглядов: бывшие оппозиционеры каялись, признавали свои ошибки, им предоставляли возможность для этого, публиковали их заявления, прощали, принимали обратно в партию — в общем, верили людям, и это создавало атмосферу и единства, и общей целеустремленности, и веры в будущее страны и свершение всех намеченных планов.

Тому, в чьей памяти не остался декабрь 34-го года, наверное, даже трудно представить себе, какой страшной силы и неожиданности ударом было убийство Кирова. Во всей атмосфере жизни что-то рухнуло, сломалось, произошло нечто зловещее. И это ощущение возникло сразу, хотя люди, подобные мне, даже не допускали в мыслях всего, что могло последовать и что последовало затем. Было что-то зловещее и страшное и в самом убийстве, и в том, что оно произошло в Смольном, и в том, что туда сорвался и поехал из Москвы Сталин, и в том, как обо всем этом писали, и как хоронили Кирова, и какое значение все это приобрело.

Я не представлял себе тогда реального места Кирова в партии, знал, что он член Политбюро, и только. Он для меня не стоял в ряду таких имен, как имена Калинина, Ворошилова или Молотова. Но когда его убили, это имя — Киров — вдруг стало для меня, как и для других, какой-то чертой, до которой было одно, а после стало другое. Словно в воздухе повисло что-то такое, что должно было разразиться, чем — неизвестно, но чем-то разразиться. Мы в силу возраста и опыта своего не были и не могли быть пророками, не могли предвидеть будущее, но факт остается фактом: с убийством Кирова в сознание нашего поколения вошел элемент чего-то трагического. Это трагическое не только произошло, но оно еще и нависло где-то в будущем. Думаю, что я не пишу сейчас неправды; думаю, что это, может быть, тогда бы по-другому сформулированное ощущение было, и если говорить о моем поколении тогдашних девятнадцатилетних, было не только у меня.

А два или три месяца спустя вдруг началась совершенно непонятная для меня тогда, не до конца понятная

по своей специфической направленности даже и сейчас высылка из Ленинграда всякого рода «бывших», в том числе таких «бывших», которые, собственно говоря, никакими «бывшими» никогда и не были, а просто-напросто носили аристократические и дворянские фамилии.

---

27 февраля 1979 года

То, что произошло с так называемыми «бывшими» в Ленинграде, коснулось и нашей семьи: там жили почти все мои родственники со стороны матери — три ее родные сестры, два моих двоюродных брата и двоюродная сестра.

Мать была самой младшей в семье. Ее самая старшая сестра, старше ее на пятнадцать лет, Людмила Леонидовна, была замужем за артиллерийским полковником, происходившим из семьи обрусевших немцев, за Максимилианом Генриховичем Тидеманом. Помню по детским годам, как старшая тетка, склонная к юмору, в послереволюционные годы посмеивалась над своей немецкой фамилией, которую иногда запросто переделывали из Тидема́н — в Ти́деман, в Ты-деман или в Ты-демон, и говорила про свое семейство: «Мы Ты-демоны», или просто: «Мы демоны». Юмора она не теряла до конца жизни (умерла она уже за восемьдесят лет, живя в Москве), но жизнь ей выпала нелегкая: у мужа ее, командовавшего артиллерийским полком, на фронте обострился давний туберкулез, и он умер в шестнадцатом году, в разгар войны. Полк, с которым он уходил на фронт, стоял до этого не то в Рязани, не то под Рязанью, и тетка с тремя детьми осталась там, в Рязани. И это, вероятно, во многом определило и мою собственную жизнь, потому что мать, оставшись одна, после того как мой родной отец пропал без вести на фронте, тут же переехала из Петрограда в Рязань, где жила тетка. Тетка потом вместе со своими детьми вернулась в Ленинград, где жили остальные сестры, а мать так и осталась в Рязани, выйдя замуж за моего отчима.

К 35-му году, о котором идет речь, уже не было в живых ни бабки моей, умершей в 1922 году, ни деда, который умер еще раньше, в 1911 году,— в Ленинграде жили три сестры матери. Людмила Леонидовна, имевшая педагогическое образование и работавшая на Петроградской стороне в здании, если мне не изменяет память, бывшего училища правоведения, где помещалась школа-интернат для дефективных детей; там же, при этом интернате, она и жила.

В предыдущие годы, приезжая в Ленинград, я часто бывал у нее. У нее, как я говорил, было трое детей. Двоюродный брат Андрей был старше меня на три года, двоюродная сестра Маруся — на восемь, а старший двоюродный брат Леонид — на десять лет. К 35-му году все они были самостоятельные люди: Маруся работала учительницей, Андрей начинал как архитектор, работал в ленинградском Гипрогоре — Государственном институте проектирования городов, а Леонид, человек блестящих способностей, химик, был начальником одного из главных цехов на заводе «Красный треугольник».

Жили в Ленинграде еще две мои тетки — на двенадцать и на тринадцать лет старше матери — Софья Леонидовна и Дарья Леонидовна. Тетя Долли (в противоположность матери и остальным, вполне демократически настроенным теткам она любила, чтобы ее звали не Дарья, а, как это было принято в таких семьях до революции, Долли) была старой девой и притом еще калекою: когда-то в детстве от испуга у нее отнялась одна сторона тела, было искривлено плечо, на ноге она носила ортопедический ботинок и сильно хромала. Все это в семейных анналах было записано как вина моего деда — человека, в гневе бывавшего невоздержанным и в приступе такого гнева вогнавшего в паралич чем-то взбесившую его девочку. Не знаю уж, как это было на самом деле, но примерно так, не очень ясно, рассказывала мне об этом мать, не оправдывая деда, которого сама она очень любила — может быть, и потому, что к ней, к самой младшей, моложе других на двенадцать лет, он относился совсем по-другому, чем к старшим,— любила, но не оправдывала, а говорила все это в объяснение характера тети Долли — желчного и язвительного. Советскую власть тетя Долли не любила, не скрывала этого и спорила об этом с сестрами. Она была догматически религиозна, по-моему, не столько из собственной веры в бога, сколько в пику и назло родственникам и окружающим; была религиозна не только догматически, но даже агрессивно. Она приезжала к нам в Рязань, когда мне было лет двенадцать, и богословские споры с ней окончательно выбили из меня веру в бога, и главным следствием ее религиозных поучений было то, что я перестал ходить в церковь, впрочем, одновременно с родителями. Процесс расставания с верой в бога происходил в семье параллельно у всех троих — у матери, отчима и у меня.

В общем, тетя Долли была человеком несчастным, озлобленным и вопреки своей вере в бога скептическим.

Насколько я помню, в последние годы своей жизни в Ленинграде она вообще постриглась в монахини. Монастырей тогда не было, но были какие-то потайные религиозные общины вот таких одиноких монашек, общавшихся друг с другом.

Приезжая в Ленинград вдвоем ли с матерью, или один — бывало и так,— я в те юношеские годы должен был обязательно хотя бы один раз зайти к тете Долли. Шел я туда с неохотой, но это считалось обязательным еще и потому, что именно тетя Долли до последнего дня жила вместе с умиравшей бабушкой и оставалась жить именно в той комнате, в которой та умерла. К тете Долли я заходил один раз или два — после приезда и перед отъездом, по обязанности. В дружной и насмешливой семье Тидеманов бывал с удовольствием, но больше всего времени проводил и обычно жил у третьей своей тетки Софьи Леонидовны на Суворовском проспекте; у нее была там большая светлая комната, много книг, и я спал у нее за книжными шкафами, отгораживавшими кушетку от ее стародевичьей узкой кровати.

Людмила Леонидовна и моя мать были очень красивы в молодости и остались по-своему красивы и в старости, у тетки Долли было лицо калеки, но при этом сохранившее следы тонкой, как иногда об этом говорят, породистой красоты, а Софья Леонидовна, которой в тридцать пятом году было пятьдесят восемь лет, была пожилая, курносая, круглолицая, веселая и бесконечно обаятельная русская женщина с крепкими, прочными руками, ногами, широкими плечами, с доброй улыбкой, веселым смехом и открытой душою — не просто открытой, а распахнутой навстречу людям. Глядя на нее, так и казалось, что она должна была быть матерью многих детей и бабкой многих внуков, но неизвестно как и почему она в молодости не вышла замуж — об этом никогда не говорили ни с ней, ни о ней за глаза. Должно быть, ее внешность очень уж выбивалась из круга представлений о привлекательности, существовавших в том обществе, в котором она росла в юности, а приданого за нею в семье деда, человека с княжеским титулом, но всю жизнь служившего и щепетильного, дать не могли. Так это мне представлялось, когда думал о судьбе этой своей любимой тетки. Но в те годы, что я ее помню — а хорошо помню я ее, когда ей начало идти к пятидесяти,— несчастной она себя ни с какой стороны не чувствовала, наоборот, была самым веселым, жизнерадостным человеком

среди своих сестер. Получив педагогическое образование, занялась библиотечным делом и долгие годы заведовала библиотекой где-то там у себя на Суворовском проспекте, неподалеку от дома. Увлекалась всякими нововведениями и вообще жила и дышала этим, общалась с читателями, советовала, составляла круг чтения, увлеченно рассказывала об этом — вообще очень любила людей, читавших книжки и ценивших книжки. Отчасти за это любила и меня. Самые последние годы, перед высылкой из Ленинграда, она перешла — не знаю уж по какой причине — работать в библиотеку Института растениеводства, работала там в институте у Вавилова на Невском и даже рассказывала мне о нем что-то интересное, но что, я не запомнил.

Когда у нее бывали отпуска, обычно приезжала гостить к нам. Если у нас не хватало денег на то, чтоб я поехал в Ленинград, добавляла на дорогу в одну сторону, чтоб я все-таки смог приехать и пожить у нее. Она, видимо, как-то удовлетворяла свои неосуществленные материнские чувства в отношении к своей племяннице и племянникам, последние годы в особенности ко мне. Может, потому, что она была ближе с матерью, чем с другими сестрами, а может, потому, что я был самый младший из всех ее племянников и дольше всех оставался для нее ребенком.

В тридцать четвертом году я ее не видел, последний раз видел в тридцать третьем, когда приезжал в Ленинград, жил у нее и именно там, у нее в комнате, сочинил первые, казавшиеся мне серьезными стихи — сонеты о Ленинграде, написанные под влиянием книжки сонетов Жозе Мария Эредиа, вышедшей у нас в переводах Глушкова-Олерона и почему-то произведшей на меня сильное впечатление.

И вот зимой тридцать пятого года мы узнали из писем, полученных уже не из Ленинграда, а из Оренбурга, что все — за одним исключением — наши родные, жившие в Ленинграде, высланы в Оренбургскую область или край — не помню, как тогда это называлось. Выслали и тайную монашку, не любившую Советскую власть тетю Долли; выслали любившую Советскую власть, начиная с семнадцатого года преданно помогавшую ей на своей скромной библиотечной работе тетю Соню; выслали и крутую и властную, бестрепетно и преданно работавшую с дефективными детьми тетю Люлю; выслали молодую советскую учительницу, мою двоюродную сестру Марусю; начинающего одаренного архитектора Андрея. Оставили в Ленинграде только старшего сына Людмилы Леонидовны — Леонида Максимилиановича.

Старший сын старшей из сестер, он по традиции был назван Леонидом в честь деда, а уж немецкое отчество ему досталось от отца. Его отстоял завод «Красный треугольник»: кто-то на заводе, а может быть, и не только на заводе встал на дыбы, заявил, что такого блестящего специалиста, как он, завод терять не может, и мой самый старший двоюродный брат Леонид — при своем княжеском происхождении по матери и немецкой фамилии и отчестве по отцу — остался работать у себя на «Красном треугольнике» в Ленинграде. В начале войны Леонид пошел в ленинградское ополчение, как командир запаса был назначен командиром роты. Погиб в бою от смертельной раны в живот. Его младший брат Андрей работал в Оренбургской области, куда его выслали, по своей специальности, хотя не помню, сразу ли это произошло, но потом было именно так,— в сорок первом году попал в армию и всю войну прошел солдатом без единой царапины. Их мать, Людмилу Леонидовну, вместе с моей старшей двоюродной сестрой Марусей и ее дочкой Наташей, которая уехала вместе с ней в ссылку ребенком, в разгар войны мне, к тому времени ставшему довольно известным писателем и военным корреспондентом, удалось после восьми лет высылки перетащить в Москву, где в 1955 году Людмила Леонидовна еще успела встретить свое восьмидесятилетие в кругу оставшихся в живых своих родичей.

А две другие мои тетки погибли там, куда их выслали, погибли не сразу, а в конце тридцать седьмого — в тридцать восьмом году, когда их, живших там в ссылке, кому-то понадобилось еще и посадить в тюрьму, где обе они умерли. Не знаю, могу только догадаться, как это вышло,— может быть, одна из сестер, не питавшая нежности к Советской власти, что-то кому-то сказала, а вторую забрали потому, что она ее сестра,— не знаю, может быть, так, а может быть, и не так.

Но это все было потом. А тогда, в тридцать пятом году, мать, узнав из писем, что сестры высланы так же, как и многие другие уже старые люди, которых она с юных лет знала по Петербургу, опечаленно сидя вечером со мной и с отчимом, вдруг сказала, хорошо помню это: «Если бы я тогда, как Люля, вернулась из Рязани в Петроград, конечно, я сейчас была бы вместе с ними».

Я помню, как меня поразило тогда то, как она это сказала. Сказала с каким-то ощущением своей вины за то, что она не с ними, что ее миновала та чаша, которая не

миновала их, ее сестер. Потом спросила отчима: «Может быть, и отсюда нас будут высылать?» — сказала «нас» не как о семье, а имея в виду себя, свое происхождение и свою девичью фамилию Оболенская.

— Ну что же, будут высылать — поедем! — сказал отчим, сразу отсекая то, что отторженно от него подумала мать о самой себе.

Когда мать что-то еще добавила на ту же тему, рассердился и стал, как это с ним бывало, сразу резок, почти груб, сказал что-то вроде того, что довольно болтать языком, придумывать то, чего пока нет. Если о чем-нибудь надо думать, то надо будет думать о том, чем мы сможем помогать им. Людмиле Леонидовне помогать — это дело ее сына, а вот Софье и Дарье Леонидовне придется помогать нам, больше некому, и надо подумать, чем мы сможем помогать, в каком размере, как это можно будет сделать и когда.

Помню этот разговор, но не помню своего собственного душевного состояния. Знаю, что я не мог быть к этому равнодушен, хотя бы потому, что одну из трех теток очень любил. Когда узнал, что ее там, в ссылке, посадили, а потом от нее перестали приходить всякие известия, и через кого-то нам сообщили, что она умерла неизвестно где и как, без подробностей, помню, что у меня было очень сильное и очень острое чувство несправедливости совершенного с нею, больше всего с нею. Это чувство застряло в душе и — не боюсь этого сказать — осталось навсегда в памяти как главная несправедливость, совершенная государственной властью, Советской властью по отношению лично ко мне, несправедливость горькая из-за своей непоправимости, потому что, будь тетя Соня жива, первой из всех людей, кому мне довелось помогать, когда я смог что-то сделать и чем-то помочь, была бы именно она, мне не пришло бы в голову помогать никому, прежде чем я не помог бы ей. Все так. И в то же время не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял для себя происшедшее. Лес рубят — щепки летят, так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся гораздо более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества был еще не так далеко, на памяти, и когда без этого выражения вообще редко обходилось в разговорах на разные такого рода драматические темы.

Отчим был последователен. Разговаривать на эти темы он не желал, а помогать считал нашим общим долгом.

Помню, как туда в тридцать пятом — тридцать шестом годах, уже не помню, в самый ли Оренбург или в какой-то из городов Оренбургской области стали посылаться вещи, посылки и деньги.

Как раз тридцать пятый год был последним годом, когда я хорошо по тому времени зарабатывал. Я поступил в Вечерний рабочий литературный университет, созданный по инициативе Горького, по вечерам занимался, а днем работал в тот год на кинофабрике «Техфильм». Работа была сдельная, мы оборудовали лихтваген. Заработок, который я получал, позволял не только вносить свою долю в общий семейный котел, но выделять еще и какие-то деньги для посылки теткам вместе с теми деньгами, которые могли наскрести отец и мать. Так было до следующего года, когда я перешел на дневное отделение, работу оставил, печататься по-настоящему еще не начал, дела мои в материальном отношении стали намного хуже, и свою лепту в помощь теткам я вносил уже и меньше, и реже — когда что-то вдруг печатал и получал за это деньги.

Не могу утверждать с точностью, по-моему, мать ездила навещать теток два раза — и в тридцать шестом, и в тридцать седьмом годах, но может быть, память меня подводит, и это было только один раз. Тогда, если так, то скорее это было, пожалуй, уже в тридцать седьмом году. Во всяком случае, сама эта поездка была уже после нескольких происходивших в Москве процессов, после того как уже началось то, что потом было названо «необоснованными массовыми репрессиями». Поездка эта воспринималась драматически отчимом, мною, очевидно, в глубине души и самой матерью, но она твердо решила поехать, увидеть сестер. В ответ на доводы отчима, который боялся за нее и говорил, что, может быть, правильнее продолжать делать то, что мы делаем,— писать, помогать, как можем, материально,— чем ехать с перспективой в дальнейшем лишиться этой возможности помогать, она сказала, что все-таки она поедет, потому что если не поедет, то перестанет быть самой собой, что она не может не поехать. Вот пишу это и не могу точно вспомнить, один или два раза она ездила. Если два, то первая поездка была в начале тридцать шестого года, когда общая атмосфера еще не стала такой, какой она стала впоследствии, и к этой поездке не относились те драматические разговоры, которые я вспоминаю.

Помню, как мать вернулась из этой поездки тридцать седьмого года — измученная, печальная, усталая от дороги

и жизни там, где она была, но при этом не потеряв надежд на будущее. Видимо, ей казалось, может быть, именно потому, что сестры ее жили очень плохо и тяжело, что уже ничего худшего, чем случилось с ними, случиться не может. Но будущее показало, что может случиться и худшее. И случилось это, как я уже сказал, потом, позже, в разгар всего того, что было закручено в тридцать шестом году и раскрутилось с такой страшной силой в конце тридцать седьмого. Я помню только свои чувства, связанные с происшедшим с тетками, а никаких действий, поступков не помню, очевидно, никакие поступки и действия были в то время или невозможны, или казались невозможными, а точнее, и казались и на самом деле были невозможными и поэтому просто-напросто не очень-то приходили в голову, мне, во всяком случае.

Что еще добавить связанного с атмосферой тех лет и с моим восприятием этой атмосферы, а может, точнее сказать, с отсутствием нормального, с нашей нынешней точки зрения, ее восприятия? Скажу только о том, что было как-то связано с моим собственным непосредственным жизненным опытом, если это можно назвать опытом для того времени.

Среди молодых, начинающих литераторов, к которым примыкала и среда Литературного института, были аресты, из них несколько запомнившихся, в особенности арест Смелякова, которого я чуть-чуть знал, больше через Долматовского, чем напрямую. Было арестовано и несколько студентов в нашем Литературном институте. На старшем курсе считавшийся немножко странным и чуть-чуть юродствующим, но едва ли не самым способным, Александр Шевцов, затем Поделков. На нашем — один парень, который не запомнился ничем — ни стихами, ни поведением своим в институте, не запомнился мне и фамилией, дальнейшей судьбы его так и не знаю, может быть, она впоследствии оказалась и не самой худшей из судеб, но, во всяком случае, не литературной. Был арестован и поэт с нашего курса Валентин Португалов, поклонник Багрицкого, ездивший к нему, еще когда тот жил в Кунцеве, совсем мальчик,— изящный, тонкий, красивый юноша, писавший тогда довольно вычурные, не нравившиеся мне стихи. С ним я встретился только двадцать с лишним лет спустя, когда он приехал в Москву с Колымы, где сначала отбыл срок, а потом остался работать, собирал там фольклор, переводил, писал, приехал в Москву с книгой стихов — очень крепкий на вид, квадратный, бывалый человек с кирпичным северным загаром. Он выпустил книгу стихов — мужественных, северных и по

теме, и по звуку своему, и работал потом на Высших литературных курсах. Хотя на вид был очень крепок, умер рано, лет в пятьдесят. Видимо, все-таки прожитая жизнь сделала свое дело, хотя он никогда ни на что не жаловался в разговорах. Как-то однажды, когда мы с ним сидели, занимались подготовкой к печати его книги, вдруг назвал мне продолжавшего здравствовать человека, в свое время своим заявлением на его счет посодействовавшего его отъезду на Колыму. Сказал об этом человеке с полупрезрением, с полупониманием, что, наверное, тому действительно померещилось что-то неподходящее в том, что говорил он, Португалов, во время их разговоров между собою с глазу на глаз. Хотя ничего особенного Португалов не говорил, и все это не стоило выеденного яйца и не заслуживало того, чтобы писать куда-то. А тот посчитал, что заслуживало, и написал. Мог не писать. Однако написал. Допускаю даже, что полагал, что делает доброе дело, что это его обязанность.

Как ни странно может это показаться, но сейчас, оглядываясь на те годы, я не помню, чтобы у меня возникало хотя бы подобие мыслей, что кто-то в том институте, где я учился, мог написать про кого-то — про меня или про другого — заявление. Вот не приходило тогда в голову это, да и все тут. И спустя семь или восемь лет, в разгар войны, я, уже бывалый и опытный человек сравнительно с тем временем, о котором пишу сейчас, оглушенно слушал ничем, никакими обстоятельствами и внешними причинами не вызванную, просто вырвавшуюся из души отчаянную исповедь одного из бывших студентов Литинститута, у которого в те годы, оказывается, был посажен отец, чего я не знал, и которого «сговорили» сообщать о наших настроениях и разговорах. Он был предельно искренним со мной, когда исповедовался, ничто не вынуждало на эту исповедь, просто в разгар войны у меня дома, куда он пришел, ему стало нестерпимо стыдно за какой-то кусок жизни, вот за этот, и он, говоря, конечно, правду — убежден в этом! — говорил мне, что он, наверное, просто что-то бы сделал с собой, если бы из-за того, что он записывал, сообщал, кто-то пострадал, но, к его счастью, никто не пострадал, может быть, потому, что он ничего особенного не записывал и не мог записывать, но сам этот факт в его жизни для него остается ужасным. Но этот разговор был во время войны, а разговор с Португаловым уже после смерти Сталина, а тогда, в тридцать пятом и в тридцать шестом годах, мне не приходило в голову, что кого-то из нас могут сговаривать писать про то, о чем

мы говорим друг другу, и про наши настроения. Не приходило в голову, да и все.

Впервые жизнь меня с чем-то похожим столкнула и заставила думать об этом позже, летом тридцать седьмого года.

Летом тридцать седьмого года Владимир Петрович Ставский — в то время секретарь Союза, уделявший довольно значительное внимание нашему Литературному институту, поддержал идею нескольких прозаиков — наших студентов Льва Шапиро, Всеволода Саблина и Зиновия Фазина поехать по местам событий гражданской войны на Северном Кавказе и написать коллективную документальную книжку о Серго Орджоникидзе. Мои товарищи привлекли к этому делу и меня — уж не помню, то ли потому, что я хотел попробовать свои силы в прозе, то ли полагая, что в такой книжке могут оказаться уместными и стихи об Орджоникидзе, и, по их мнению, я мог их написать,— в общем, я вошел в эту тройку четвертым.

Ставский не только одобрял идею, но и помогал нам, сводил нас даже на московскую квартиру к тогдашнему секретарю — не то Северо-Кавказского, не то Ростовского обкома — Евдокимову, с которым вместе участвовал когда-то в гражданской войне. Мы несколько часов просидели у этого хмурого, мрачноватого человека, как мне казалось, думавшего о чем-то другом, далеком, не то угрюмого, не то подавленного чем-то, но при этом откликаясь на воспоминания Ставского, тоже вспоминавшего какие-то интересные для нас подробности того времени.

Все было решено, и мы должны были уже ехать, когда вдруг меня после занятий вызвали к Ставскому, сказали, чтоб я немедленно шел к нему в Союз писателей. Членом Союза я тогда еще не был, был просто студентом, автором нескольких циклов стихов в журналах и одной поэмы.

— Ну, рассказывай, что ты там за несоветские разговоры ведешь в Литинституте. Собираешься ехать писать об Орджоникидзе, а в разговорах восхваляешь белогвардейщину,— примерно так начал Ставский, а я буквально онемел от неожиданности, потому что никаких несоветских разговоров ни с кем не вел, никакой белогвардейщины не восхвалял и вообще не понимал, что произошло.

— Вот я имею такие сведения о тебе,— сказал Ставский,— давай выкладывай правду — это единственный способ разговора, который у тебя со мной возможен.

Но хотя я был совершенно огорошен этим началом, на самом деле единственный способ говорить правду значил

начисто отрицать то, о чем меня спрашивал Ставский, то, что ему кто-то наговорил про меня, причем мне даже в голову не приходило, кто.

Разговор продолжался минут десять, может быть, пятнадцать и кончился тем, что я так и не признал того, чего не мог признать, не рассказал того, чего не мог рассказать, потому что этого не было, а Ставский рассердился и сказал, что раз так, то те трое поедут, а ты не поедешь. Нечего тебе писать об Орджоникидзе, раз ты не хочешь даже здесь со мной начистоту разговаривать. Пропагандирует, понимаешь, контрреволюционные стихи, а собирается ехать по следам Орджоникидзе. Это он сказал уже под конец вслед мне.

Я вышел от него подавленный всем этим, чтобы в следующий раз увидеть его в Монголии, на Халхин-Голе, через два года, в роли человека, который впервые в моей жизни вывез меня, как говорится, под огонь или, во всяком случае, в зону огня и несколько дней там, на передовой, обращался со мной, как грубоватая, но заботливая нянька.

Но это все было потом, а в тот день было именно так, как я вспоминаю, хотя, может быть, я вспоминаю и не совсем те слова, которые были сказаны, слова на самом деле были, может быть, немного другие, мягче или грубее. Гораздо точнее вспоминается душевное состояние. Оно было тяжелым, очень тяжелым, а в голове крутилась последняя фраза Ставского, наводившая на какую-то, еще не пойманную мною мысль, фраза о том, что я хвалю контрреволюционных поэтов. Вдруг я вспомнил — меня осенило — вспомнил два или три разговора, совсем недавние, в последние вечера с нашим новым руководителем семинара, недавно пришедшим и разговаривавшим по душам то с одним, то с другим из нас, очевидно, знакомясь с нами, так мы это понимали.

Я в то время увлекался Киплингом, напечатал в «Молодой гвардии» несколько своих переводов из Киплинга, считалось, что удавшихся мне. И вдруг я вспомнил, что последний, кажется, второй по счету разговор с этим нашим руководителем семинара где-то на скамейке, в скверике перед домом Герцена, начался со стихов Киплинга, с того, почему они мне нравятся. Мне они нравились своим мужественным стилем, своей солдатской строгостью, отточенностью и ясно выраженным мужским началом, мужским и солдатским. Когда я сказал, за что и почему мне нравится Киплинг, он стал меня спрашивать: а как я отношусь к Гумилеву. К Гумилеву я относился довольно равнодушно, из

акмеистов любил Мандельштама. У Гумилева мне нравилось несколько стихотворений, а вообще его стихи казались мне по сравнению с Киплингом более эстетизированными, менее солдатскими и менее мужественными. В общем, Киплинг заслонил для меня Гумилева, хотя, казалось бы, по моим вкусам поэтика Гумилева должна была бы мне нравиться. Дальше, после этого разговора о Гумилеве («Ну, это напрасно, что вам не нравится, не привлек вас к себе Гумилев, хотя он и контрреволюционер, но поэт, и как поэт он вам не может не нравиться»), началось чтение стихов Гумилева, которые мой собеседник помнил наизусть. Что-то я знал, что-то я не знал, что-то мне понравилось, что-то я вспомнил из того, что мне нравилось и раньше — «Заблудившийся трамвай», «Леопард», еще что-то, уже не помню что,— и я сказал о том, что мне, конечно, нравятся эти стихи Гумилева, но я больше все-таки люблю Киплинга.

Вот примерно и весь разговор, который мог вызвать ту, последнюю фразу Ставского, брошенную мне вдогонку. Никакого другого разговора ни с кем другим не было. Просто-напросто не было. Значит, этот человек, новый руководитель семинара, совершил подлость, сказал не то, что было на самом деле. Ведь он сам пристал ко мне с Гумилевым, сам говорил мне, что он, хотя и контрреволюционер, но хороший поэт, сам читал мне его стихи, сам меня вызвал на то, чтобы я сказал, что, да, у Гумилева есть, конечно, хорошие стихи, хотя я все-таки больше люблю Киплинга.

Зачем же он все это рассказал Ставскому совсем не так, как это было на самом деле? Он, сам втянувший меня в этот разговор, рассказал о нем так, что Ставский вызвал меня, требовал, чтобы я признался в каких-то несоветских разговорах, и в результате не поверил мне и исключил меня из поездки с товарищами на Северный Кавказ, куда я так хотел ехать. Зачем ему это понадобилось? Выслужиться, что ли, он хотел, показать, какой он бдительный, или ему еще зачем-то понадобилось наговорить на меня, но почему, я ему ничего плохого не сделал, он ко мне как будто бы хорошо относился.

У нас после этого было, к счастью, всего одно семинарское занятие, но я не мог себя заставить смотреть на этого человека, мне было тяжело его видеть. Я поспешил поскорее уйти, чтобы он не успел заговорить со мной. Потом я, думая об этой, хорошо и надолго запомнившейся мне истории, видел в ней провокацию, при помощи

которой он, очевидно, укреплял или хотел укрепить свое собственное положение, в чем-то несчастный, очевидно, или в чем-то запутавшийся человек, вдобавок ко всему еще и тяжело больной, еле передвигавшийся. Больше я его не видел. Когда мы вернулись к занятиям осенью, он исчез, был арестован и, наверное, умер где-то там. Я никогда больше не слыхал ни от кого его фамилии.

Вот так странно год от года чему-то учила, а в чем-то запутывала нам мозги жизнь.

Мы уже давно мыкались по разным снимаемым нашей семьей комнатам, снимали мы их у тех, кто уезжал куда-то работать по броне. В квартире сестры отчима и ее родственников, где мы жили первую зиму после переезда в Москву, был арестован брат ее мужа. Снова арестован, первый раз его арестовывали еще в тридцатом году, раньше, чем отчима, и через несколько месяцев так же, как и отчима, освободили, но он был довольно крупный военный, по званию комкор, первый советский атташе в Турции, профессор военной академии и однокашник Тухачевского по пажескому корпусу — кажется, так.

В двадцатые годы, когда мы иногда наезжали в Москву на неделю или на полторы и примащивались на это время у тетки — других возможностей не было,— я видел пришедшего в гости к Ивану Александровичу (ее деверя звали Иван Александрович) высокого и красивого Тухачевского.

Тогда Ивана Александровича выпустили, но в армию он не вернулся, вел в каком-то высшем учебном заведении уже как штатский человек курс экономической географии. Человек он был весьма образованный. Вдруг его во второй раз посадили. Было это до начала процесса над Тухачевским, Уборевичем и другими или после, я не помню, но примерно в это время. Мать огорчилась, говорила, что не может быть, чтоб Иван Александрович был в чем-то виноват, отчим угрюмо молчал, не желая вообще разговаривать на эти темы, а я, что думал я?

Так же, как большинство, наверное, людей, во всяком случае, большинство молодых людей моего поколения, я думал тогда, что процесс над Тухачевским и другими военными, наверное, правильный процесс. Кому же могло понадобиться без вины осудить и расстрелять таких людей, как они, как маршалы Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник Генерального штаба,— о других я имел меньше представления, чем о них, но они

в моем юношеском сознании были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их приговорил к расстрелу, если бы они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это был какой-то страшный заговор против Советской власти. Сомневаться просто не приходило в голову, потому что альтернативы не было — я говорю о том времени: или они виноваты, или это невозможно понять. Я считал, что они, наверное, виноваты, наверное, виноват и Иван Александрович, тогда, раньше, не был виноват и его выпустили, а теперь, когда не выпустили, значит, не выпустили потому, что он виноват. Отчима же тогда выпустили, раз он был ни в чем не виноват. Сейчас он работает на своей военной кафедре в институте, ничего с ним не происходит.

Впрочем, об этом было немножко страшно думать, страшно было приближаться к этой теме, потому что с кем-то, где-то все чаще и чаще происходило то, что с Иваном Александровичем, но это были только отзвуки, это были люди, которых я не знал, о которых не имел представления.

Вот так смутно — кое-что подробно, кое-что с провалами — вспоминается мне это время, которое, наверное, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе. Не то что ты сделал что-то плохое сам, пусть ты ничего плохого не сделал, во всяком случае, на первый взгляд, но плохо было уже то, что ты к этому привык. Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого, как глухой, словно ты не слышал, что вокруг все время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди. Как будто это могло быть объяснимо, хотя это было необъяснимым. Наверное, разбираясь в тогдашних представлениях людей моего поколения, вернее, пробуя в них разобраться, и прежде всего, конечно, в своих собственных представлениях, надо провести какие-то грани между в одних случаях полною верою в правильность происходившего, а в других — полуверою, инстинктивными сомнениями — большими и меньшими.

В военный процесс я верил, ничего другого, кроме того, что так оно и было в действительности, представить себе не мог. Публичные процессы вызывали чувство некоторой

оторопи — от той готовности все рассказать о себе и все признать, которая переходила из показания в показание. Вроде бы странно и сомневаться в том, что говорят о себе эти люди,— все это, в общем, выстраивалось в казавшуюся по тем временам довольно стройной и последовательной картину. И в то же время почему же все-таки все они признавались, все считали себя виноватыми, никто не отрицал своей вины, или, наоборот, никто не настаивал на том, что он считал себя вправе поступать так, как он поступал?

К одним людям — таким, как Зиновьев,— у меня, например, было чувство какой-то давней неприязни, может быть, это шло от моих ленинградских впечатлений и разговоров, потому что в Ленинграде он оставил о себе особенно плохую память. К Бухарину, в какой-то мере к Рыкову было, наоборот, какое-то застарелое чувство приязни, в особенности к первому из них. Я помнил его заключительное слово после обсуждения доклада о поэзии на 1-м съезде писателей. Мы, будущие студенты Литинститута, получили входные билеты на хоры, каждый на какое-то заседание. Я получил на это. Сначала на Бухарина наскакивали наши поэты, и мне это нравилось; говорили хлестко, смело, задиристо — это было мне по душе. Но когда выступил с ответным словом Бухарин, он тоже говорил хлестко, смело и задиристо, и мне это тоже было по-человечески по душе, мне понравилось, как он заключал прения после доклада. Он был редактором «Известий» в бытность мою в Литинституте, он печатал там стихи некоторых литинститутских поэтов. Два раза печатал и мои стихи. Его самого я не видел, ходил в отдел литературы и искусства.

Один раз должен был увидеть — Бухарин прочитал какие-то новые, отданные мною в «Известия» стихи, заинтересовался ими, хотел со мной поговорить, и мне назначили час встречи, которая, конечно же, меня очень интересовала. Так как я перед этим условился с матерью, что приду к ней именно в этот час, то я забежал к ней заранее и оставил ей записочку. Но встреча не состоялась, Бухарин был чем-то занят или куда-то уехал, я его так больше и не видел. А эту свою записку я увидел у матери в сорок четвертом году, когда она вернулась из Молотова, куда увозила с собой часть моего юношеского литературного архива и все, что я ей писал когда бы то ни было. Я как-то зашел к ней, и она, перебирая мои старые письма, сказала вдруг: «Вот тут одна записочка, я хотела с тобой посоветоваться. Я ее берегла, но может быть, это не нужно».

Записочка была самая простая, записка начинающего поэта, студента, который должен был увидеться с редактором большой газеты, заинтересовавшейся его стихами. Но в свете того, что потом произошло с Бухариным, записка выглядела страшновато. Тогда у матери, в сорок четвертом году, я даже вздрогнул, когда прочитал ее и подумал, что она вот так с тридцать пятого или с начала тридцать шестого года и лежала у матери, ездила с ней в Молотов. Я писал в записке, помню ее наизусть: «Милая мамочка, я не приду, меня вызывают ровно на пять часов к Николаю Ивановичу Бухарину. Зачем — пока не могу тебе сказать, пока это секрет, скажу потом. Сын». Вот и вся записка. Секрет же состоял в том, что я еще не говорил матери, что отдал в «Известия» новые стихи и их вроде бы собираются напечатать, как и два раза до этого. Хотел сделать ей сюрприз.

Записку эту я тогда, в сорок четвертом году, конечно, порвал. Я, к тому времени уже обстрелянный, побывавший на двух войнах — сначала на маленькой, потом на большой — человек, подполковник, награжденный орденом боевого Красного Знамени, военный корреспондент, писатель, написавший «Жди меня», «Русские люди» и «Дни и ночи», получивший две Сталинские премии,— задним числом с ужасом думал: ну, а случись такие обстоятельства, что еще тогда, в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, кто-то бы заглянул в материнский архив и увидел эту записку,— пойди объясни по тому времени, что это у тебя за секреты насчет Бухарина. В те времена это могло бы кончиться плохо не только для печатавшего в «Известиях» свои стихи студента Литинститута, но и для его родителей. Да и не только тогда, но и в сорок четвертом году, когда происходил мой разговор с матерью, когда я порвал эту записку, сунь в нее нос какой-нибудь худой человек — хорошего тоже было бы мало. Я ничего не сказал матери, только покачал головой. Она в ответ тоже ничего не сказала, только пожала плечами, как бы говоря, что, наверное, она виновата, но привычка оставлять все целым, все, что я ей написал, для нее была сильнее всяких других мыслей или опасений.

Однако то, что я говорил только что о Зиновьеве, Бухарине, Рыкове, относится к каким-то очень индивидуальным оттенкам восприятия людей. Главные же сомнения стали возникать просто-напросто от массовости происходящего. Хотя надо учитывать, что это сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных репрессиях, когда чем

дальше, тем больше все происходило не в судах, а просто решалось где-то, в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. И конечно, я с моим кругозором, с тем, что я знал, с тем, кого знал,— я имел представление, может быть, о том, как исчезал один человек из очень, очень многих сотен, а про других я ничего не знал, так же, как другие не знали про других. Но даже при этом условии ощущение массовости происходящего возникало, возникало чувство, что все это быть не может правильным, происходят какие-то ошибки. Об этом иногда говорили между собой. Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений подтвердилась как бы в общегосударственном масштабе. Народное словечко «ежовщина» возникло не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых поколений, оно возникло где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникло, когда часть исчезнувших стала возвращаться, возникло словно само собой, как из земли, и его не особенно боялись произносить и вслух, насколько мне помнится. Я думаю сейчас, что Сталин при той информации, которой он располагал, знал распространенность и обиходность этого слова, и за употребление его не было приказано взыскивать. Очевидно, так. Очевидно, Сталина с какого-то момента устраивало, чтобы все происшедшее в предыдущие годы связывалось поначалу с Ягодой, а потом главным образом с его преемником Ежовым. Его устраивало, что все это прикреплялось к слову «ежовщина».

Кстати говоря, вспоминая то время, нельзя обойти наших тогдашних представлений — издали, конечно, понаслышке — о Берии. Назначение Берии выглядело так, как будто Сталин призвал к исполнению суровых, связанных с такой должностью обязанностей человека из Грузии, которого он знал, которому он, очевидно, доверял и который должен был там, где не поздно, поправить сделанное Ежовым. Надо ведь помнить, что те, кто был выпущен между концом тридцать восьмого года и началом войны, были выпущены при Берии. Таких людей было много, я не знаю, каково процентное отношение в других сферах, но в «Истории Великой Отечественной войны» записано, что именно в эти годы, то есть при Берии, было выпущено более четверти военных, арестованных при Ежове. Так что почва для слухов о том, что Берия, восстанавливая справедливость, стремился поправить то, что наделано Ежовым, была. Почва была до-

вольно основательная, и, наверное, большинству из нас, мне, во всяком случае, и во сне бы не приснилась тогда будущая деятельность Берии. Что он делал в Грузии до приезда в Москву в период «ежовщины», об этом я, например, в сколько-нибудь близких к действительности масштабах не имел ни малейшего представления.

Итак, в нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершенные до этого Ежовым и другими, всеми теми, кто наломал дров. Для исправления этих ошибок назначен был Берия. Когда уже при нем, при Берии, в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то скажу честно, несмотря на масштаб этих имен в литературе и в театре и на то потрясение, которое произвели эти внезапные — уже в это время — аресты, внезапные и, в общем, в этой среде уже единичные, именно потому, что они были единичные, и потому, что это было уже при Берии, который исправлял ошибки, совершенные при Ежове,— было острое недоумение: может быть, в самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чем-то виноваты? Вот другие, посаженные раньше, при Ежове, многие из них, наверное, были не виноваты, неизвестно, как все это было, но эти, которых при Ежове никто не трогал, а когда стали поправлять происшедшее, их вдруг арестовали, может, к этому были действительные причины?

Не знаю, как у других, у меня такие мысли были в то время, и я не вижу причин забывать о том, что они были. Это было бы упрощением сложности духовной обстановки того времени.

В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным литератором. Естественно, что к этому времени я больше знал, чем раньше, о том, что происходило в кругу литераторов, в том числе о событиях драматических.

Самым драматическим для меня лично из этих событий был совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота арест и исчезновение Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали — чуть ли не в кабинете Мехлиса.

Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том числе даже чем корреспонденции Эренбурга. Об «Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей Толстой. Вторая книга готовилась к публикации в «Новом мире», была уже чуть ли не верстка ее, ее с нетерпением ждали. Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании. О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными — некоторые вышли на волю, а некоторые погибли,— я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни поверить в это — в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И в общем, в это не поверили, надо сказать это так же без преувеличений, как я без преуменьшений говорил о других случаях, когда верили, и легко верили.

Очень характерно, что с самого начала Великой Отечественной войны пошли слухи, что то на одном фронте, то на другом фронте, в том числе и на Карельском фронте, видели Кольцова, который освобожден, вернулся из лагерей и находится в действующей армии. Находились свидетели этого, вернее, якобы свидетели, которые кому-то говорили об этом, а кто-то говорил об этом еще кому-то, и эти слухи снова и снова возникали, доходили до нас, до меня, например, на протяжении первых двух лет войны. У этих слухов была своя основа: возвращение в действующую армию ряда военных людей, которые затем отличались на фронте, о них было глухо известно, что они исчезли в предвоенные годы, о возвращении их в армию до войны не знали, а во время войны их имена появились сначала в списках награжденных, позже в приказах. Слухи о появлении на фронте Кольцова отличались особым упорством, связанным с особой симпатией к нему, к его личности, к его роли в испанских событиях, и к его «Испанскому дневнику», и к невозможности поверить в то, что этот человек в чем-то виноват.

В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности — а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды —

он после того, как я, не помню, по какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.

Через некоторое время Сталин принял Фадеева.

— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? — спросил его Сталин.

Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.

— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.

После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.

— Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении,— так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.

Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.

Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.

— И вообще чего там только не было написано,— горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей.— Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

— Ну как, теперь приходится верить?

— Приходится,— сказал Фадеев.

— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами,— заключил Сталин и с. этим отпустил Фадеева.

Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь оттого, что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как

Кольцов, а при другом — могло восприняться как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова: «Чего там только не было написано»,— толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, впрямую, потому что Кольцов — это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.

Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, трудно объяснимом и трудно переносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно не похожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело, хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину, не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия не пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не все. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований.

Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о том, дурном, что делается и только потом, не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти общие слова — «дурное» и «хорошее», потому что в другие не

вместишь то, что под этим подразумевалось в то время.

Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило — значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.

Мы были предвоенным поколением, мы знали, что нам предстоит война. Сначала она рисовалась как война вообще с капиталистическим миром — в какой форме, в форме какой коалиции, трудно было предсказать; нам угрожали даже непосредственные соседи — Польша, Румыния, Малая Антанта — это было до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке — Япония. Мы знали, что находимся в капиталистическом окружении, так и было на самом деле, а постепенно, с оккупацией Японией Маньчжурии, с приходом к власти Гитлера, с созданием антикоминтерновского пакта, оси будущее проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется воевать с Японией и Германией, может быть, присоединившейся к ним Италией. Враждебной нам оставалась и Польша, хотя было непонятно, как она может оказаться на стороне Германии, и тем не менее она осталась враждебной нам вопреки логике.

На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали еще мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили. Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Некоторые разочарования были, что-то не совпа-

дало с тем, чего я ожидал, в частности, японцы сначала били нас в воздухе, пока не появились наши новые самолеты, а главное, наши летчики с опытом боев в Испании, в Китае; поначалу не очень удачно действовала пехота, были случаи паники — этого я не застал, но об этом слышал. Однако танки наши там, на Халхин-Голе, оказались на высоте, в итоге на высоте оказалась и авиация, и, хотя осталось внутреннее ощущение, что наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.

Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полною мерою. Это вызывало чувство удовлетворения. По нашим тогдашним представлениям, Сталин как руководитель нашей страны, ее вождь сделал все, что мог, все, что было практически возможно. Мы были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом. Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали все, что могли. А персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот — в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.

К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика — спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер все-

народный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой Сталина. Мы не представляли себе возможности, самой возможности обвинений, выдвинутых впоследствии против Сталина в связи со смертью Кирова. Я их потом вместе со многими другими людьми слышал своими ушами с трибуны как подозрения почти несомненные, хотя впоследствии несомненность их, насколько я знаю, никому доказать так и не удалось. Этого всего мы себе не представляли даже как возможность. Но как Сталин шел за гробом Кирова — знали. Мы не знали того, что в действительности произошло в семье Сталина, не знали трагического поворота отношений его с женой, до нас не доходили слухи о нем как о виновнике ее смерти, но мы знали, что он шел за ее гробом, и сочувствовали его потере.

В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми — это мы иногда видели в кинохронике — держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии. В итоге Сталин был все это вкупе: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства.

Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а «Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило все случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далеких от понимания всех происходивших в деревне процессов, всей их сложности, к однозначному и полезному для авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти ошибки. И если бы он не остановил, не спас от дальнейших ошибок, то они нарастали бы. Он выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких людей, как я, слухи отдаленные, неясные, где-то, кажется, на пленуме ЦК,

очень жестко критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати появилось это слово «ежовщина». До такой степени кстати, что пустить его в оборот впору бы самому Сталину. Хотя, конечно, это было не так, и скорей всего это обозначение тех двух или трех лет, которые сами по себе составили короткую, но страшную эпоху, родилось сразу у многих людей и распространилось, как огонь по сухой траве, благодаря своей безотказной точности и простоте, соответствующей предыдущему, бывшему в ходу словесному обозначению, связанному с Ежовым,— «ежовые рукавицы». Об этих рукавицах писали, их рисовали, и довольно часто.

Сейчас мне думается, когда я вспоминаю то время, что раздувание популярности Ежова, его «ежовых рукавиц», его «железного» наркомства, наверное, нисколько не придерживалось, наоборот, скорее, поощрялось Сталиным в предвидении будущего, ибо, конечно, он знал, что должен когда-то наступить конец тому процессу чистки, которая ему как политику и человеку, беспощадно жестокому, казалась, очевидно, неизбежной; раз так, то для этого последующего периода наготове имелся и вполне естественный первый ответчик.

Но все это я думаю сейчас. Тогда не думал, даже не представлял себе, что когда-нибудь смогу это думать.

Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и все, с этим связанное, поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в мое представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, тряхануло меня так же, как и моих сверстников,— многих, наверное, довольно сильно. Что-то тут невозможно было понять чувствами. Может быть, умом — да, а чувствами — нет. Что-то перевернулось и в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта.

Это первое ощущение и самоощущение, наверное, было бы для меня более резким, если бы в дни, когда все это происходило, я не оказался на Халхин-Голе в разгар нашего наступления и окружения японских войск. И дело не только в том, что душевные силы, интересы поглощало происходившее непосредственно там — это ведь было для меня как для начинающего военного корреспондента боевое крещение, связанное и с многократным видом смерти,

достаточно ужасными картинами ее, и с моментами личной опасности. Но, кроме всего этого, было еще такое чувство — я потом о нем писал, стараясь точно выразить его, здесь хочу это повторить,— что вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда все нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией — мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторгались, вторглись в тридцать девятом году вовсе не в первый раз — до этого было несколько предыдущих проб,— все это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого удара исходила от японцев. Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину ножом связывалась с Германией, этот удар ожидался с запада, уже это было у нас за спиной. И вот вдруг наступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия: был заключен пакт о ненападении — с кем? — с фашистской Германией.

Когда началась война немцев с Польшей, все мое сочувствие так же, как и сочувствие моих товарищей по редакции военной газеты, где мы вместе работали, было на стороне поляков, потому что сильнейший напал на слабейшего и потому что пакт о ненападении пактом, а кто же из нас хотел победы фашистской Германии в начавшейся европейской войне, тем более легкой победы? Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошивала и тревожила.

Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня тоже еще на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное воздушное сражение над монгольской степью. В воздухе было несколько сотен самолетов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда того, что сейчас скажу, все-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боев над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою у меня над головой участвовало столько самолетов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел».

Я вспомнил об этом к тому, что, хотя мы окружили, разбили, в общем, разгромили, это не будет преувеличением сказать, японцев на монгольской территории, но что будет дальше и начнется ли большая война с Японией, было неизвестно, как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные коресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие с территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспомнить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идем освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию? Идем к той линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой и гражданской войны, разруха, неприконченный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина,— в общем, двадцатый год.

То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал. Сочувствовал, находясь еще на Халхин-Голе и попав неделей позже, обмундированный попрежнему в военную форму, с Халхин-Гола в уже освобожденную Западную Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в народное собрание, видел своими глазами народ, действительно освобожденный от ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании народного собрания. Я был молод и неопытен, но все-таки в том, как и чему хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие у них при этом лица, кажется мне, разбирался и тогда. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население — а его было огромное большинство — было радо

нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из головы не выходила еще и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до нее, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе — о чем приходилось догадываться — с договором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и села, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошел на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.

Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии,— все это было на памяти и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение — очевидно, так, именно ощущение, а не концепция,— что мы из-за договора о ненападении в чем-то из кого-то одного стали кем-то другим. С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом — мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким,— было что-то не то. В этом прежнем самоощущении было что-то утрачено. Я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.

Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что-то не принимавшего во всем этом,— думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова

была при этом в случае войны с Польшей не переступать линии Керзона, не доходить до наших границ, а, наоборот, дать нам дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?

Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные — не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них,— знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом — психологическим,— было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем-то другими, чем были?

---

2 марта 1979 года

Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем-то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы — «заклятые друзья» — немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке, в которой не будет среднего выхода, будет или — или, в которой мы обязаны победить.

Мне почему-то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось,— в этом была разница. Но может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые

одним за всех,— самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительных предполагаемых оппонентов — на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт — он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом,— ничем не хуже похабного Брестского мира,— что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей-либо еще,— эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, представлять себе ход его мыслей — эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности, не основаны, и все же не могу отказаться от мысли, что в них есть своя логика.

Если говорить о собственной жизни, то с моей стороны будет правильно именно здесь пропустить семь лет, переброситься из августа и сентября тридцать девятого года в август и сентябрь сорок шестого, в послевоенное время. Все те проблемы, связанные с личностью Сталина, которые вставали передо мной и другими людьми моего поколения в первый период войны, на протяжении ее и после нее, и сразу, и спустя много лет, и до, и после XX съезда партии,— все это и составит в конце концов основное содержание, главную часть этой рукописи и будет связано не только с личными ощущениями того времени, но гораздо более с последующими размышлениями, связанными с работой над моими послевоенными книгами, над дневником писателя «Разные дни войны», и со всеми теми многочисленными беседами, которые я вел с многими людьми, каждый из которых по-своему и несравненно ближе, чем я, сталкивался в своей жизни с темою «Сталин и война», «Сталин и подготовка к войне», «Сталин и начало войны». Это, собственно, и есть главный предмет и

моего изучения, и моих размышлений. Он и будет главным содержанием рукописи.

Для того чтобы перейти к этому, мне кажется необходимым еще одно преддверие, кроме того первого преддверия, которое составил рассказ о моих юношеских представлениях о Сталине и обо всем, связанном с ним.

Таким вторым преддверием будут некоторые, не слишком многочисленные, но все-таки имевшиеся в моей жизни впечатления о личном общении со Сталиным, о Сталине вблизи, увиденном собственными глазами в буквальном смысле этого слова. Все эти личные впечатления связаны не с войной, а с литературой, хотя случалось, что и Сталину, и нам как его собеседникам в том или ином случае приходила в связи с литературой на память война. Об этом я тоже расскажу.

Прежде чем перейти к этой части своих воспоминаний и связанных с ними мыслей, несколько слов о моей предвоенной жизни и предвоенных ощущениях между осенью тридцать девятого года и июнем сорок первого. Я, может, еще буду возвращаться к этой поре в связи с главной темой своей рукописи, а здесь хочу сказать именно о себе самом в то время.

В Белостоке — не то в первый, не то во второй день заседаний народного собрания — я чуть было не повалился без сознания от внезапно вспыхнувшей высокой температуры — за сорок. Уже плохо соображавшего, меня доставил в госпиталь Евгений Долматовский и трогательно заботился обо мне, пока мог, пока сам находился в Белостоке. Госпиталь был на базе польского госпиталя, какой-то в моих смутных воспоминаниях наполовину наш, наполовину иностранный. Тогда, в тридцать девятом году, я во второй раз чуть не умер — такое сильное крупозное воспаление легких у меня было, температура сорок держалась недели три, если не больше. Через какое-то время, добившись командировки в «Красной звезде», до меня добралась мать, другая б, наверное, в той обстановке не добралась, но у нее был такой характер, что в подобных обстоятельствах она могла и стены прошибить. Когда я начал поправляться, температура наконец спала, оставалась только страшная слабость, мать добилась, чтоб меня отправили долечиваться в Москву. Из Белостока до Минска мы летели с ней на санитарном самолете, по-моему, на Р-5, а от Минска ехали поездом. В Москве мне сначала резали руку, потому что на ней вздулась огромная

флегмона после уколов камфары и кофеина, наверное, занесли какую-то инфекцию. Потом я еще лежал дома, приходил в себя, а затем еще с ватными ногами перебрался на отдых в дом творчества в Переделкине,— был там тогда маленький домик, впоследствии сгоревший.

Я рассказываю обо всем этом еще к тому, что происходившее в тот период установление Советской власти в республиках Прибалтики прошло как-то совершенно мимо меня и мимо моего сознания. Попал я в те края только после войны, в сорок седьмом году, и думал о том, как это все было там тогда, в тридцать девятом, уже задним числом, встречаясь с Вилисом Тенисовичем Лацисом, кое-что рассказывавшим мне о сложностях того времени с присущей ему строгой сдержанностью, прямотой и органической нелюбовью к смягчению острых углов истории.

Психологически мимо меня прошло и начало финской войны. Скажу правду, было больше чувство неловкости перед уехавшими прямо оттуда, из дома творчества, где мы вместе жили, на эту войну товарищами — Горбатовым, Долматовским, Хацревиным, чем собственное желание оказаться на этой войне. Отвлекаясь от всего — от государственных задач, стратегии, необходимости предвидеть всю опасность ситуации, которая может сложиться в случае войны с немцами,— отвлекаясь от всего этого, было нечто, мешавшее душевно стремиться на эту войну Советского Союза с Финляндией так, как я стремился, даже рвался попасть на Халхин-Гол в разгар событий, которые могли перерасти в войну с Японией. Стратегия — стратегией, мысли о государственной необходимости и о будущей опасности ситуации не были чужды, как мне помнится, мне, во всяком случае, я стремился понять правильность происходящего или, точнее, его необходимость, а все-таки где-то в душе война с Японией была чем-то одним, а война с Финляндией — чем-то совсем другим.

В январе сорокового года были созданы двухмесячные курсы при академии Фрунзе по подготовке военных корреспондентов. Я был еще не совсем здоров, но на курсы эти пошел. Война с Финляндией к этому времени уже оказалась не такой, какой, очевидно, многие поначалу ее себе представляли, в какой-то мере, наверное, и я, хотя к тому времени у меня, может быть, от отцовского воспитания плюс опыт Халхин-Гола уже укрепилось довольно стойкое противодействие шапкозакидательским настроениям и шапкозакидательским разговорам — они мне

в ту пору претили, это я говорю, не преувеличивая. В чем-то я был еще наивен, в этом, пожалуй, уже нет. Финская война затягивалась, и молчаливо предполагалось, что, окончив в середине марта двухмесячные курсы, на которых мы много и усердно занимались основами тактики и топографии и учились владеть оружием, мы поедем как военные корреспонденты на фронт. Очевидно, на смену тем, кто поехал раньше, в том числе заменяя тех, кто уже погиб там к тому времени. На Халхин-Голе всех, как говорится, бог миловал, а здесь, на финской, трое писателей, работавших военными корреспондентами, погибли. На эту войну меня, как я уже говорил, не тянуло, но после Халхин-Гола я внутренне ощущал себя уже военным или, во всяком случае, причастным к армии человеком, и если бы мир не был подписан как раз в день окончания нами курсов, конечно, оказался бы и на этой войне. Но она кончилась, кончилась в итоге удовлетворением именно тех государственных требований, которые были предъявлены Финляндии с самого начала, в этом смысле могла, казалось бы, считаться успешной, но внутренне все мы пребывали все-таки в состоянии пережитого страной позора,— с подобной прямотой об этом не говорилось вслух, но во многих разговорах такое отношение к происшедшему подразумевалось. Оказалось, что мы на многое не способны, многого не умеем, многое делаем очень и очень плохо. Слухи о том, что на сложившееся в армии положение вещей обращено самое пристальное внимание Сталина, что вообще делаются какие-то выводы из происшедшего, доходили и до таких людей, как я. А потом подтверждением этого стало снятие с поста наркома Ворошилова, назначение Тимошенко и очень быстро дошедшие слухи о крутом повороте в обучении армии, в характере ее подготовки к войне.

За этим последовало лето сорокового года, захват немцами Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Дюнкерк, разгром и капитуляция Франции — все эти события просто не умещались сразу в сознании. Хотя французы и англичане не помогли Польше, хотя война в Европе была названа «странной», но того финала этой «странной» войны, который произошел, я думаю, у нас не ожидали ровно в такой же степени — а кто знает, может быть, даже и в большей,— чем там, на Западе, где все это случилось.

То, что мы когда-нибудь будем воевать с фашистской Германией, для меня не составляло ни малейших сомне-

ний. Начиная с тридцать третьего года, с пожара рейхстага, процесса Димитрова, люди моего поколения жили с ощущением неизбежности столкновения с фашизмом. Испания еще более укрепила это ощущение, а пакт с немцами не разрушил его. Может быть, для кого-то и разрушил — не знаю. Для меня и для моих товарищей в тогдашней молодой литературе — нет, не разрушил. Просто казалось, что это будет довольно далеко от нас, что до этого будет долго идти война между Германией, Францией и Англией, и уже где-то потом, в финале, столкнемся с фашизмом мы. Такой ход нашим размышлениям придал пакт. В этом сначала было нечто успокоительное. Финская война, со всеми обнаружившимися на ней нашими военными слабостями, заставила задним числом думать о пакте как о большем благе для нас, чем это мне казалось вначале. Тревожно было представить себе после финской войны и всего, на ней обнаружившегося, что мы — вот такие, какими мы оказались на финской войне в тридцать девятом году,— не заключили бы пакта, а столкнулись бы один на один с немцами.

Естественно, что случившееся во Франции только обострило это чувство, и обострило многократно. То, что впереди война — рано или поздно,— мы знали и раньше. Теперь почувствовали, что она будет не рано или поздно, а вот-вот.

На курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии, занятия на которых начались осенью сорокового года, а закончились в середине июня сорок первого года, когда нам, вернувшимся из лагерей, присвоили воинские звания, я пошел с твердой уверенностью, что впереди у нас очень близкая война. В дальнейшем никакие перипетии отношений с немцами успокоения в мою душу не вносили — говорю о себе и говорю так, как оно было со мной. Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое, как потом много об этом говорили, кого-то демобилизовало, а чью-то бдительность усыпило, на меня, наоборот, произвело странное, тревожное впечатление — акции, имеющей сразу несколько смыслов, в том числе и весьма грозный смысл для нас. А после вторжения немцев в Югославию у меня было ощущение войны, надвинувшейся совершенно вплотную. Я знал не больше других, никакими дополнительными сведениями я не располагал, но просто чувствовал, что иначе оно, наверное, не может быть теперь, после того, что случилось с Югославией.

Пьесу «Парень из нашего города», хотя она была о Монголии и о разгроме японцев, я абсолютно сознательно закончил тем, что ее герои уходят в бой. Кончил не апофеозом, который был на самом деле на Халхин-Голе, а тем моментом, когда самые ожесточенные бои еще продолжались и многое было впереди. Об этом же я говорил при обсуждении моей пьесы за несколько недель до войны, говорил о том, что при всех своих недостатках пьеса написана так, а не иначе, потому что не нынче-завтра нас ждет война. И когда война началась, в то утро ощущение потрясенности тем, что она действительно началась, у меня было, разумеется, как и у всех, но ощущение неожиданности происшедшего отсутствовало. Да, конечно, началась внезапно,— а как еще иначе ее могли начать немцы, которые именно так и действовали во всех других случаях прежде, именно так начали и в этот раз. Почему они, собственно говоря, могли начать как-то по-другому?

С такими мыслями и ощущениями, которые отнюдь не значили еще, что я ожидал того трагического поворота событий в первые же дни войны, какой произошел, этого я, разумеется, никак не ожидал, не отличаясь от подавляющего большинства других людей,— я поехал через два дня после начала войны на Западный фронт в качестве военного корреспондента армейской газеты.

Все, что было потом на войне, присутствует в моей книге «Разные дни войны», и то, что я еще буду писать на тему «Сталин и война», не что иное, как, по сути дела, дополнительный комментарий к этой книге, связанный с дополнительным и многолетним изучением и обдумыванием этой проблемы.

Сейчас, как я уже сказал в начале этой части своей рукописи, мне остается перешагнуть через всю войну, прямо в сорок шестой год.

После конца войны я вернулся в Москву не сразу, уже где-то в июне, близко к Параду Победы. Потом дважды ездил в Чехословакию, а вернувшись из второй поездки, узнал, что есть решение послать меня в составе группы журналистов в Японию с тем, чтоб мы, прикомандировавшись там к штабу Макартура, познакомились с обстановкой, а впоследствии освещали имевший состояться в Японии процесс над японскими военными преступниками. Поездка, судя по всему, предполагалась долгая, и ехать не очень-то хотелось. Срок отъезда не был назначен, так же, как не был назначен, насколько я понимал тогда и пони-

маю сейчас, срок начала процесса, который мы обязаны были освещать. Группа наша состояла из Агапова, Горбатова, Кудреватых и меня, но в решении о нашей поездке не было записано, кто из нас должен возглавлять эту группу.

Я ждал, когда состоится премьера моей пьесы «Под каштанами Праги», появление которой мне казалось тогда важным — не только с личной, но и с политической точки зрения — и над которой я, вернувшись с войны, работал буквально как батрак — и пока ее писал, и когда ее репетировали. Спешить с поездкой в Японию очень не хотелось. Была такая усталость после войны, что даже не хотелось новых впечатлений, на которые я был очень жаден тогда.

В общем, как-то так вышло, что, поскольку мы ехали все от разных газет (я — от «Красной звезды», Горбатов — от «Правды», Кудреватых и Агапов — от «Известий»), среди нас не было ответственного за поездку, сроки были не обозначены, отъезд все оттягивался и оттягивался — то по просьбе одного, то по просьбе другого. В конце концов в ноябре месяце мы дооткладывали поездку до того, что это дошло до Сталина. Он был на юге в отпуску, за него оставался Молотов, и во время одного из его докладов по телефону Сталину тот вдруг спросил: «А как там писатели, уехали в Японию?» Молотов сказал, что выяснит, и, выяснив, сообщил, что нет, писатели пока еще не уехали в Японию. «А почему не уехали? — спросил Сталин.— Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются апеллировать к съезду партии?»

Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину. О шутке его были немедленно поставлены в известность редактора всех трех газет, и ровно через неделю — за меньший срок в то время невозможно было успеть обеспечить намечавшуюся на полгода командировку достаточными запасами продуктов, а без продуктов в сложившейся тогда обстановке ехать в Японию было нельзя,— ровно через неделю мы сидели в прицепленном к поезду служебном вагоне и ехали во Владивосток.

Возвращались домой мы тоже поездом, шедшим из Владивостока, тоже в прицепленном к нему служебном вагоне, через четыре месяца, в апреле сорок шестого года. С нами во время командировки была стенографистка, и

мои записи по Японии, большую половину которых составляли записи бесед, как выяснилось впоследствии, составили тысячу двести страниц на машинке. Но сам прочесть эти свои записи я сумел только через несколько месяцев, потому что где-то под Читой, на одной из станций, в вагон принесли телеграмму, подписанную тогдашним начальником Управления агитации и пропаганды ЦК Александровым. В телеграмме сообщалось, что я включен в делегацию советских журналистов на ежегодный съезд американских редакторов и издателей в Вашингтоне, состоявшую из трех человек — Эренбурга, Галактионова и меня, и что мне следует пересесть с поезда — уже не помню сейчас, в Чите или в Иркутске,— на отправляющийся оттуда в Москву самолет, чтобы не опоздать к началу съезда. «Получение подтвердите»,— говорилось в телеграмме. Я подтвердил получение прямо на бланке телеграммы, которую забрал с собой принесший ее товарищ, которому, видимо, было заранее поручено все сделать, и вылезши, по-моему, все-таки в Чите, наскоро простившись с товарищами, попросив стенографистку в возможно более короткие сроки расшифровать мои японские записи, полетел в Москву на «дугласе», или, точнее, на ЛИ-2, которые мы делали во время войны по лицензии фирмы «Дуглас». Не знаю, был ли это рейсовый или специальный самолет, но к тому времени, когда я приехал на аэродром, он уже стоял там, и пассажиры, которым предстояло лететь на нем, ожидали посадки. Скорости были тогда не нынешние, и хотя летели мы безостановочно, только заправлялись и где-то по дороге сменили экипаж, все-таки это заняло около суток.

Прилетел я в Москву на следующий день в четыре часа дня, в редакции, куда я явился прямо с аэродрома, мне сказали, чтобы я звонил Лозовскому, который был тогда заместителем наркома иностранных дел — впрочем, это оговорка, потому что к тому времени наркомы уже стали министрами. От Лозовского, к которому я поехал, я узнал, что мне предстоит в шесть утра лететь в Берлин, а после того, как закончится разговор с ним, с Лозовским, предстоит идти к Молотову.

С Лозовским разговор был о Японии, о наших впечатлениях и первых выводах, разговор довольно длинный и подробный, на него заранее было отведено два часа, потому что в конце этих двух часов Лозовский, посмотрев на часы, сказал:

— А теперь вам пора идти к Вячеславу Михайловичу,

у него вы узнаете все, что вам нужно знать о вашей предстоящей поездке.

У Молотова я пробыл тоже довольно долго, дольше, чем думал. Знаком я с ним не был, если не считать того, что во второй половине войны два или три раза был на приемах, которые он как нарком иностранных дел давал в особняке наркомата на Гранатном переулке главным образом для наших союзников, но с участием некоторого количества представителей нашей литературы и искусства. Знакомство ограничивалось рукопожатиями и самое большее — двумя-тремя словами, сказанными при этом.

Правда, в памяти сидела одна зарубка, связанная с именем Молотова,— зарубка в сугубо личном плане. Как это мне рассказал тогдашний редактор «Красной звезды» Ортенберг, в сорок втором году меня собрались было послать на несколько месяцев корреспондентом «Красной звезды» в Соединенные Штаты. В сами ли Соединенные Штаты или в действующие войска Соединенных Штатов, поскольку я был корреспондентом именно «Красной звезды», я так и не выяснил, могло быть и то, и другое, могло быть и то и другое вместе. О том, что меня намерены послать, Ортенбергу сказал по телефону Молотов. Ортенберг подтвердил, что как редактор считает мою кандидатуру подходящей. Но день или два спустя Молотов снова позвонил ему и сказал, что, видимо, посылать меня в Америку не будут, потому что есть сведения, что я пью. Ортенберг попытался оспорить это, сказал, что хотя я и не трезвенник, но когда пью, ума не теряю, но Молотов остался при своем, я поехал не в Америку, а — не помню сейчас уже — не то на Карельский, не то на Брянский фронт, а вернувшись, узнал от Ортенберга о своем несостоявшемся путешествии в Америку. Ортенберг смеялся, говорил, что, пожалуй, это к лучшему, тем более что не только меня, но и вообще никого не послали, а для корреспондента «Красной звезды» здесь куда больше дела, чем там. У меня было двойственное чувство: не то чтобы я так уж расстроился, но, с одной стороны, среди других поездок на фронт было бы интересно съездить и к американцам, в особенности, если бы удалось посмотреть, как они воюют, у меня было большое молодое любопытство к этому; с другой стороны, было досадно слышать о причине, по которой я не поехал. В своем самоощущении я твердо считал себя человеком, не способным пропить порученное ему дело — ни дома, ни за границей. А в общем, я отнесся к этому до-

вольно равнодушно — нет так нет. Но мотивировку, по которой не поехал в Америку, конечно, запомнил. В дальнейшей моей жизни я сталкивался с разными, правда, не слишком частыми, потому что ездил я много, мотивировками того, чтобы не посылать меня куда-то, куда первоначально намечалось. Один раз, весной пятьдесят третьего года, в связи с предстоящей поездкой в Стокгольм возникла даже такая мотивировка, как чрезмерное преклонение перед Сталиным, проявившееся в написанной наполовину мною передовой «Литературной газеты». Но мотивировки, что меня лучше куда-то не посылать, потому что я человек пьющий, не возникало ни до, ни после, поэтому, наверное, она особенно и запомнилась.

К Молотову я относился с уважением, цельной личностью он мне кажется по сей день, при всем резком политическом неприятии многих его позиций. Уважение это было связано больше всего с тем, что Молотов на нашей взрослой памяти, примерно с тридцатого года, был человеком, наиболее близко стоявшим к Сталину, наиболее очевидно и весомо в наших глазах разделявшим со Сталиным его государственные обязанности.

В разное время как ближайшие сподвижники Сталина на нашей памяти возникали и другие люди — какое-то время таким человеком казался Ворошилов, какое-то время Каганович, какое-то время даже Ежов. Молотов при этом существовал неизменно как постоянная величина, пользовавшаяся — боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя в данном случае они близки к истине,— в нашей среде, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и приоритетом. Так это было, во всяком случае, примерно до сорок восьмого года. К этому у меня лично добавлялось впечатление о его полете в Соединенные Штаты в сорок втором году, записанные мною рассказы летчика и штурмана об этом довольно тяжелом и опасном перелете, в котором Молотов сохранил неизменное спокойствие и мужество, замеченное этими людьми и оцененное ими по достоинству в разговорах со мной. А мужество и спокойствие перед лицом опасности были чертами, пожалуй, наиболее уважаемыми мною в людях.

Размышляя о Сталине, я, разумеется, еще не раз вернусь к этой фигуре, но почему-то мне хочется сказать уже здесь, заглянув на семь лет вперед, что Молотов, с которым я впервые подробно разговаривал в сорок шестом

году, в пятьдесят третьем, когда умер Сталин, был, по моему глубокому убеждению, единственным из членов тогдашнего Политбюро, глубоко и искренне пережившим смерть Сталина. Этот твердокаменный человек был единственным, у кого слышались в голосе слезы, когда он говорил речь над гробом Сталина, хотя, казалось бы, именно у него было больше причин, чем у всех остальных, испытывать после ухода из жизни Сталина чувство облегчения, освобождения и возможности установления справедливости по отношению к нему самому, к Молотову. Вообще, это мне только сейчас пришло в голову, может быть, под впечатлением недавнего чтения сочинений Робеспьера, что Молотов был чем-то похож на этого деятеля Великой французской революции — так же бескорыстен, неподкупен, прямолинеен и жесток.

Молотов встретил меня с суховатой приветливостью, спросил, как я долетел, и сразу заговорил о предстоящей поездке. Не хочу брать на себя греха, не помню, произносилось ли в этом разговоре Молотовым имя Сталина, но из того, что он говорил и как он это говорил, в безличной форме даже, ясно было, что Сталин осведомлен об этой поездке. Молотов говорил, что поездке придается большое значение, что для нее предоставляются все возможности, что необходимо, считается необходимым использовать эти возможности широко, что смысл поездок не в том, чтоб принять участие в съезде редакторов и издателей, хотя и это существенно, а в том, чтобы потом возможно дольше поездить по Соединенным Штатам, где мы, очевидно, станем гостями госдепартамента, при этом использовать все возможности для того, чтобы разъяснять всем людям, с которыми мы будем встречаться, а желательно, чтобы их было как можно больше, что мы не хотим войны, что слухи, распространяемые об обратном, нелепы и провокационны, что установление мира и все, что ведет к его укреплению, есть для нас аксиома, которую только клеветники могут подвергать сомнениям. Повторив, что мы, очевидно, будем гостями госдепартамента, Молотов добавил, что, хотя госдепартамент будет, наверное, соответствующим образом обеспечивать нашу поездку, мы должны иметь возможность сохранять полную независимость во всех отношениях, в том числе и в материальном, для чего вынесено решение обеспечить нас не просто командировочными, а каждого из трех — достаточной суммой для того, чтобы в течение трех месяцев —

а поездку желательно не сокращать по сравнению с этой наметкой — мы имели бы достаточно средств на все расходы, включая гостиницы, разъезды, ответные частные приемы и оплату за свой счет переводчиков, которые нам могут понадобиться или помимо тех, которые будут предоставлены госдепартаментом, или после того, как мы перестанем быть гостями госдепартамента и останемся на какое-то время в Соединенных Штатах по собственной инициативе как частные лица и будем нести все расходы. Сумма, которую назвал Молотов, не комментируя ее, даже поразила меня в первый момент своей величиной,— она свидетельствовала о том, что полной независимости нашего положения и отсутствию всяких затруднений в материальных вопросах придано в данном случае действительно важное значение.

В ходе разговора я — не знаю, какое лучше употребить выражение,— понял или почувствовал, что общая установка поездки, широта постановки вопроса, очевидно, исходят от Сталина. Молотов здесь говорит не только от себя, но и выполняя соответствующее поручение. Так я подумал тогда и имел основания убедиться в этом впоследствии, когда услышал из уст Сталина, как одновременно и жестоко, и болезненно он относился ко всему тому, что в сумме вкладывал в понятие «низкопоклонство перед заграницей». После выигранной войны, в разоренной голодной стране-победительнице это была его болевая точка.

3 марта 1979 года

Сказав мне, что Эренбург и Галактионов уже в Париже и послезавтра вылетают оттуда в Нью-Йорк, Молотов добавил: я должен, догнав их, лететь сразу вместе с ними. В решении этого не указано, сказал Молотов, но для вашего собственного сведения сообщаю, что руководителем делегации являетесь вы. Могут там, в США, возникнуть вопросы, серьезные вопросы, которых вы не сможете решить сами. В этих случаях через посольство и генконсульство для разрешения этих вопросов обращайтесь непосредственно к нам.

Я думал, что это конец разговора, но не спешил подняться из-за стола, потому что с того момента, как Лозовский сказал, что я должен буду явиться к Молотову, у меня возникла идея — раз я оказался в Москве раньше

своих товарищей и буду говорить с Молотовым, то непосредственно ему рассказать об одном остром и болезненном вопросе, о котором просил нас рассказать в Москве кому следует наш представитель в Контрольном совете по Японии — генерал Деревянко. Но, оказывается, Молотов не собирался отпускать меня и стал сам расспрашивать меня о Японии. Вопросы, грубо говоря, были главным образом связаны с одной проблемой: мерой подлинной и мнимой демократизации и демилитаризации Японии, что преобладает в политике, проводимой в Японии штабом Макартура и вообще американцами. Как с этим обстоит по нашим впечатлениям? Я рассказал то, о чем мы много между собой говорили, о той, говоря в общих словах, опять же двойственности впечатлений, которая у меня сложилась.

Молотов слушал меня внимательно и благожелательно. Все это было так до тех пор, пока я заговорил о том, что у меня есть поручение — рассказать Молотову об одном факте.

— Чье? Какое поручение? — быстро спросил Молотов, и что-то в его лице мгновенно переменилось.

Я сказал, что это поручение генерала Деревянко и что вопрос, о котором идет речь,— изменение характера, сроков и норм снабжения того маленького контингента, батальона войск, который прибыл в распоряжение нашего члена Контрольного совета,— требует неотложного решения, ибо та практика, которая существует, никуда не годится — не хочу здесь вдаваться в те подробности, которые я рассказал тогда Молотову, но говорил я об этом с горячностью, быть может, показавшейся излишней. Словом, я внес нечто личное в этот разговор, очевидно так.

— Это не его дело — ставить такие вопросы через третьих лиц и заниматься частными ходатайствами,— жестко сказал Молотов о Деревянко, сказал со злобой. Я вдруг почувствовал какую-то непреодолимую грань между только что, пять минут назад сидевшим передо мной человеком и этим — ожесточенным и готовым к немедленному наказанию виновных в чем-то, не до конца понятом мною, но, видимо, абсолютно непоколебимо неприемлемом для него. На этой жесткой ноте разговор оборвался; Молотов встал, пожелал мне успешного выполнения поручения и простился со мной.

Через восемь часов после этого я был уже в самолете, летевшем в Берлин.

Описание нашей поездки в Соединенные Штаты опу-

щу. То, что я пишу, и так слишком часто превращается в автобиографию, хотя в какой-то мере это, очевидно, неизбежно. Постараюсь, как в других таких случаях, и в связи с поездкой в Соединенные Штаты, в Канаду, а затем во Францию — все это слилось в одну поездку — коснуться только тех моментов, которые в моем сознании так или иначе связаны с главной темой этой рукописи, посвященной месту и роли Сталина в нашей жизни, и прежде всего в жизни моего поколения — и при его жизни и после его смерти. Может быть, затем я найду более точную формулировку, но покуда остановлюсь на этой.

Во время поездки на бесконечно сменявших друг друга митингах, обедах, собраниях различных обществ, на пресс-конференциях нам задавали самые разные вопросы. Не слишком часто откровенно злые, иногда трудные для нас, иронические, забавные — в том числе и такие, смысл которых был не в том, чтобы что-то действительно узнать, а чтобы посмотреть, как мы выкрутимся из того сложного положения, в которое, как считалось и как оно иногда и действительно бывало, нас поставили.

Началось это с того, что, встретив наше появление аплодисментами на уже начавшемся к нашему приезду заседании издателей и редакторов в Вашингтоне, буквально через несколько минут у русских коллег попросили разрешения задать им несколько интересовавших аудиторию вопросов. Первым из этих вопросов был такой: «Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменил на посту главы правительства кто-нибудь другой, например господин Молотов?» Я бы, тем более в ту минуту, наверное, не нашелся, что ответить. Эренбург нашелся. Чуть заметно кивнул мне, что отвечать будет он, усмехнулся и сказал: «Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьез и надолго». Ответ вызвал хохот и аплодисменты, американцы ценят находчивость, собственно, их и интересовало не то, что Эренбург ответит, а то, как он вывернется. Он сделал это с блеском. Дальнейшие вопросы мне не запомнились, видимо, в них не было ничего затруднительного для нас.

У меня, когда я был на западе Америки уже один, без Эренбурга, как-то спросили на пресс-конференции, чи-

тал ли я книгу Троцкого, в которой он излагает биографию Сталина? Я ответил, что нет, не читал. Тогда спросили, хотел бы я ее прочесть, эту книгу? Я сказал, что нет, не испытываю такого желания, потому что книги подобного сорта меня не интересуют. Тогда меня спросили, что я подразумеваю под «книгами такого сорта». Я ответил, что это те неспортивные книги, в которых человек, получивший нокаут и проигравший матч на первенство, начинает подробно описывать, как именно он его проиграл, и жалуется на происшедшее с ним. Ответ удовлетворил аудиторию. Пожалуй, дело было не только в проявленной мною в данном случае известной доле находчивости, а в чем-то более существенном для американцев в сорок шестом году.

Сталин был для них фигурой достаточно далекой, достаточно загадочной, во многих отношениях неприемлемой, но в то же время для многих из них — я говорю о тех американцах, которых вообще в какой-либо мере интересовали проблемы, связанные с нами,— Сталин был человеком, в двадцатые годы пославшим в нокаут такого, куда более известного в те времена в Америке, чем он, политического лидера, как Троцкий, а в недавние годы нокаутировавшим и Гитлера. Разумеется, с помощью их, американцев, их ленд-лиза, их поставок оружия, их бомбардировок Германии, их вторжения в Европу, но тем не менее в нокаут Гитлера отправил все-таки Сталин, окончательно и бесповоротно загнав его в Берлин, в бункер имперской канцелярии, где Гитлер кончил самоубийством.

Американцы резвились, задавая нам подобные вопросы. Резвились, имея в виду нас, людей, которые связаны иными нормами политического поведения, чем они сами, и не могут себе позволить каких-нибудь вольностей в разговорах о своем политическом строе и своих политических лидерах. Все эти подковырки относились и к нам, персонифицированному в нас троих следствию политических порядков, установленных Сталиным у нас на родине. Что же касалось первопричины, то есть самого Сталина, или дяди Джо, как его иногда там именовали,— если на его счет иногда и шутили в нашем присутствии, то, сколько мне помнится, никогда не перешагивали за те пределы, когда шутка могла прозвучать как национальное оскорбление, нанесенное нам неприемлемыми для нас выражениями в адрес главы нашего государства. Над чем-то подшучивали, реже иронизировали, сами слова

«дядя Джо» были не столько фамильярностью, сколько свидетельством популярности Сталина, а вообще к нему относились очень серьезно, с долей благодарности за недавнее военное прошлое и с долей опаски за будущее, кто знает, что он может захотеть и на что он может пойти в будущем. Какую-то роль во всем этом, наверное, играло и то, что из засевшей в мозгах не только одних американцев «большой тройки» Рузвельт умер, Черчилль оказался не у власти, и только один Сталин был на своем посту.

Думаю, что тогда, к лету сорок шестого года, несмотря на фултонскую речь Черчилля, несмотря на начавшуюся с этой речью холодную войну, популярность Сталина была максимальной — не только у нас, но и во всем мире, по сравнению с любым другим моментом истории, через десятилетия которой проходило его имя. Сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой год,— можно даже, пожалуй, считать с сорок третьего, с пленения Паулюса и Сталинградской катастрофы немецкой армии,— это был пик популярности Сталина, носившей, разумеется, разные характеры, разные оттенки, но являвшейся политической и общественной реальностью, с которой нигде и никто не мог не считаться.

Печатая свои стихи после XX съезда и после того, как, встречаясь со многими военными людьми и работая над романом «Живые и мертвые», я в чем-то самом главном определил для себя свое понимание Сталина и свое отношение к нему, я больше не включал в книги тех нескольких стихотворений, в которых шла речь о Сталине или упоминалось его имя. Я очень любил свои стихи «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». На мой взгляд, это были одни из лучших моих стихов, написанных за всю жизнь, но, зная уже о Сталине все, что я узнал после пятьдесят шестого года, я не мог читать вслух конца этого стихотворения, где Сталин вставал как символ и образец интернационализма. Этот конец противоречил сложившимся у меня к этому времени представлениям о Сталине, а поправлять стихотворение, точнее, отсекать его конец считал безнравственным и больше никогда его не печатал.

В начале ноября сорок первого года на Рыбачьем полуострове я, еще не зная о предстоящем параде на Красной площади, написал стихи «Суровая годовщина», начинавшиеся словами: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем». Стихи эти целиком посвящены нашему тогдашнему отношению к

Сталину и нашим, связанным с ним надеждам. Стихи были написаны очень далеко от Москвы, полного представления о том, что там, под Москвой, происходит, у меня не было,— в стихотворении выразилась тревога и обостренность всех чувств. Я и сегодня не стыжусь этих стихов, не раскаиваюсь в том, что написал их тогда, потому что они абсолютно искренне выражали мои тогдашние чувства, но я их не печатаю больше, потому что то чувство к Сталину, которое было в этих стихах, во мне раз и навсегда умерло. То значение, которое имел для нас Сталин в тот момент, когда писались эти стихи, мне не кажется преувеличенным в них, оно исторически верно. Но я уже не могу читать эти стихи с тем чувством, с которым я их писал, потому что я давно по-другому отношусь к Сталину. Вижу и великое, и страшное, что было в нем, понимаю на свой лад меру содеянного им — и необходимого, и ужасного, но ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось. А ведь такого рода порывы были у меня, так же как у других людей, и они были настолько искренними, что можно их осуждать, но не пристало в них каяться.

В двух или трех других стихотворениях, написанных в разные годы, упоминалось имя Сталина, но стихи эти я не печатаю, так же как и десятки других своих старых стихов, потому что они не стоят того, чтобы их перепечатывать. Их мне нисколько не жаль, в противоположность стихам о Самеде Вургуне.

Но одно стихотворение, где есть имя Сталина, я печатал и продолжаю печатать точно в таком виде, в каком оно было написано. Все в нем сохранилось для меня так, как звучало и тогда, когда я писал это стихотворение, и тогда, когда происходило то, о чем оно написано. Я говорю о стихотворении «Митинг в Канаде», открывавшем в сорок восьмом году мою книгу «Друзья и враги». Напомню, что речь идет о зале, в первых рядах которого сидят люди, пришедшие, чтобы сорвать митинг:

> Почувствовав почти ожог,
> Шагнув, я начинаю речь.
> Ее начало — как прыжок
> В атаку, чтоб уже не лечь:
> «Россия, Сталин, Сталинград!»
> Три первые ряда молчат.
> Но где-то сзади легкий шум,
> И, прежде чем пришло на ум,
> Через молчащие ряды
> Вдруг, как обвал, как вал воды,

Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!

Я написал в этих стихах о том, что в действительности было, и о том, как это было. Я могу и сегодня читать эти стихи, и не раз читал их, потому что выраженная в них подлинная часть истории, все то значение, которое слово «Сталин» имело для меня тогда рядом со словами «Сталинград» и «Россия», остались и по сегодня частью моего ощущения войны. У меня теперь другое, чем было тогда, понимание всего хода войны, меры ее внезапности и масштаба ее неудач, масштаба ответственности Сталина за эти неудачи и так далее, и тому подобное, о чем уже приходилось и еще, наверное, придется спорить много и долго со стремящимися пригладить все эти проблемы некоторыми историками Великой Отечественной войны. При этом, когда я вспоминаю войну и свое самоощущение на ней, я вспоминаю и эти собственные строчки, брошенные как вызов врагам и протянутые как рука друзьям там, в Америке, в сорок шестом году: «Россия, Сталин, Сталинград!» И когда я произношу их мысленно и когда я их произношу вслух, у меня не першит ни в душе, ни в горле. Может, это сейчас кому-то не нравится, но это так, как я говорю.

Кстати, если уже я повел об этом речь, хочется сказать, что люди, не читающие советскую литературу, в том числе статьи и очерки, написанные в годы жизни Сталина, склонны порой считать, что там были сплошные цитаты из Сталина, панегирики в его честь — к месту и не к месту. Но хочу заметить, что, во-первых, литература была большая и разная, люди писали по-разному, одни упоминали о Сталине некстати, другие — всуе, одни — чаще, другие — реже, и не из-за принципиально разного отношения к этой фигуре, а просто в силу собственного такта, собственной порядочности, собственного представления о должном и излишнем, о чести и лести. Что до меня, то о стихах я уже сказал. Перечитывая же свои военные корреспонденции, я даже с некоторым удивлением — мне задним числом казалось, что я упоминал имя Сталина чаще,— обнаружил, что за всю войну во всех очерках, корреспонденциях его имя возникает только три или четыре раза, и каждый раз к месту, если исходить из наших тогдашних взглядов на Сталина. А всуе — не грешен, не поминал, так же как и в многочисленных своих статьях на политические и литературные темы цитировал его только тогда, когда казалось это необходимым, а не по

соображениям — как бы чего не вышло, как же это — одна, вторая, третья, четвертая статья, и все без цитаты из Сталина. Не помню ни того, чтобы самому приходилось мучиться над тем, как бы присобачить ни к селу, ни к городу такую цитату, не сталкивался и с такими требованиями редакторов. И у меня в данном случае нет ощущения своей особости, это вообще было не очень принято в литературе.

4 марта 1979 года

После Соединенных Штатов, Канады и вновь Соединенных Штатов я до возвращения домой еще около месяца пробыл во Франции, так что вся моя поездка, начиная с Японии, растянулась на девять месяцев.

Во время пребывания в Париже, а потом и на юге Франции, я довольно много встречался с разными людьми из числа первой послереволюционной эмиграции. Правда, с наиболее оголтелыми представителями эмиграции мне не доводилось встречаться, для таких встреч не было ни причин, ни поводов — ни у них, ни у меня. Да и тогда, в сорок шестом году, фашиствующие эмигранты, поддерживавшие в годы оккупации Франции немцев, старались держаться подальше, залезали в углы и щели так, чтобы их было не слышно и не видно,— время не благоприятствовало какой бы то ни было публичности с их стороны. Но остальную русскую эмиграцию, которая в своем большинстве занимала антинемецкие позиции, и если не просоветские, то, во всяком случае, прорусские,— мне пришлось наблюдать довольно широко. Наша победа над фашизмом произвела в этой среде сильнейшее впечатление, это впечатление продолжало сохраняться, многие эмигранты участвовали в Сопротивлении, многие хотели ехать домой, на родину. Встречаясь даже с людьми, стоявшими, в общем, на правом фланге этой эмиграции, не понимавшими нас, непримиримо относившимися к нашему строю и к нашему образу жизни, не желавшими принимать советское гражданство, отказывавшимися от такой возможности,— я мог убедиться, что уважение к сделанному нашей страной в годы войны было в тот момент, пожалуй, почти всеобщим чувством.

В свое время я довольно подробно писал о наиболее интересных из этих встреч — о встречах с Буниным, с Тэффи и Адамовичем. И сейчас, заново вспоминая об этих встречах в связи с той темой, о которой я пишу, перебирая

в памяти тогдашние разговоры, я не могу вспомнить ничего не только неуважительного, но сколько-нибудь двусмысленного, сказанного тогда такими людьми, как Бунин, в адрес Сталина. У Бунина, если попробовать коротко сформулировать мое ощущение его тогдашней позиции, несомненно, оставались счеты с советской властью, с советским строем, с советской литературой, счеты за прошлое, счеты, как впоследствии он подтвердил своими книгами, выпущенными в конце жизни, злые и непримиримые, но одновременно с этим в сорок шестом году Сталин был для него после победы над немцами национальным героем России, отстоявшим ее от немцев во всей ее единости и неделимости. Допускаю, что после этого национального подвига, совершенного Сталиным, Бунин смотрел на будущее выжидательно: не последует ли там, в России, при несомненном для Бунина единовластии Сталина, неких реформ, сближающих нынешнее с прошлым,— чем черт не шутит! Человеку, подряд более четверти века прожившему во Франции, как Бунин, размышления на тему о таком историческом примере, как Наполеон, могли быть отнюдь не чужды.

Я упомянул о впечатлениях, связанных с моими встречами во Франции, потому что они тоже что-то косвенно значили в моем восприятии личности Сталина к тому времени, когда я вернулся домой. По-моему, я не ошибаюсь, но почти сразу же после своего приезда из Франции домой я поехал на Смоленщину в избирательный округ, от которого я был заочно, находясь в то время в Японии, выбран депутатом Верховного Совета СССР. Почему именно от Смоленщины, не знал, быть может, из-за стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Но зато знал другое, что округ этот один из самых тяжелых, один из тех, где война останавливалась не единожды и подолгу. Это были Ярцево, Дорогобуж, Духовщина, Издешково, Сафоново — места, знакомые мне особенно по началу войны, ископанные окопами, избитые-перебитые бомбами и снарядами,— в общем, я ехал туда, в свой избирательный округ, с затаенной тревогою: что я увижу? Увидел действительно много тяжелого, горького, почти нестерпимого по контрасту со всем тем, что я видел в воевавшей, но при этом не разорявшейся, а богатевшей Америке.

Этот засевший в душу контраст и страстное желание противопоставить духовные силы нашего общества, душевную красоту людей его, их духовную стойкость мо-

щи и богатству Соединенных Штатов заставили меня еще там, во время поездки, думать о том, как же написать об этом, искать первые приступы к будущему, главному для меня как для писателя после войны делу — к повести «Дым отечества». Это больше всего занимало мои мысли, и, может быть, поэтому я даже не помню в подробностях своей первой душевной реакции на доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и на все, развернувшееся в связи с этим и вокруг этого.

Что контраст между уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, был нравственным и психологическим ударом, который не так легко было перенести нашим людям, несмотря на то, что они были победителями в этой войне,— я чувствовал, понимал. Еще до поездки в Америку не мог, по совести, причислить себя к людям, недооценивавшим этой психологической опасности, меры этого нравственного испытания. Сразу же после войны, летом сорок пятого года, я старался совладать с этой общей для многих из нас психологической трудностью и, как умел, искал из этой ситуации выхода. «Да, наши женщины сейчас ходят иногда бог знает в чем,— говорил один из героев пьесы «Под каштанами Праги», Петров, в последний день войны.— Они ходят в штопаных и перештопанных чулках. Землячка, не морщься, это так. Многого нет у нас и будет еще не так скоро, как бы нам этого хотелось. Видите ли, пани Божена, в Европе много говорят о военных лишениях. А ведь тут не всегда знают, что такое лишения. Настоящие. Нам, спасшим Европу, ни перед кем на свете нечего стыдиться ни штопаных чулок наших жен, ни того, что в тылу у нас иногда голодали в эту войну, ни того, что у нас жили целыми семьями в каморках. Да, это так. Но наша армия была вооружена, одета, сыта. Да, мы пока еще не так богаты, чтобы быть богатыми во всем. Да, мы не построили особняков, мы построили заводы. И немцы прошли по улицам Парижа, но не прошли по улицам Москвы!» «Вы не должны любить Европу,— подавала Петрову реплику его собеседница чешка Божена.— Вас должны раздражать эти особняки, эти виллы, эти дома с железными крышами. Вы ведь отрицаете это?» «Отрицать можно идеи, отрицать железную крышу нельзя. Коль она железная, так она железная»,— отвечал ей Петров.

В моем представлении тогда, после войны, не укладывалось, что такую данность, как железные крыши, можно

отрицать или замалчивать в стране, где несколько миллионов людей уже рассказали или расскажут многим миллионам других людей о том, что они, победители, увидели там, в Европе. Мне казалось, что выход из этого психологически нелегкого для победителей состояния заключается в откровенном признании нашей сравнительной бедности и вместе с тем в гордом сознании правильности избранного нами тяжелого пути многолетнего подтягивания поясов, пути, без которого, как я был убежден, мы бы не пришли к победе, не выстояли бы.

Ну, и конечно, имелось в виду, что придется много лет работать не покладая рук. «Нет, не для отдыха родилось наше поколение...» — говорил в той же пьесе «Под каштанами Праги» тот же Петров. Предваряя это утверждение размышлением о том, что и после войны работать придется отнюдь не в идиллической обстановке. «Господин Черчилль — я вчера по радио слышал — речь произнес, свои идеалы высказывал. Не должно быть, по его мнению, социализма на земле. Потому что это разврат и безобразие. А по моему мнению, должен быть на земле социализм, потому что это радость и счастье. Вот видишь, война кончилась, а взгляды на будущее-то у людей разные. Очень разные». Так довольно неуклюже, как мне сейчас кажется, но достаточно ясно формулировал мои тогдашние собственные послевоенные взгляды полковник Петров из пьесы «Под каштанами Праги».

С этими взглядами я уехал в Японию, а оттуда перекочевал в Америку, Канаду и Францию. Какому-то принципиальному изменению эти взгляды не подверглись ни в Америке, ни во время поездки по разоренной дотла Смоленщине, только сила контраста увеличилась чуть ли не в геометрической прогрессии. Ощущение, что действительно не для отдыха мы родились, тоже усилилось, стало даже каким-то остервенелым. И ощущение психологической опасности сравнения поистине несравнимых тогда уровней жизни за первый послевоенный год, почти целиком проведенный за границей, конечно, не ослабело, а усилилось,— но все равно я оставался при убеждении, что правды на этот счет скрывать не надо, а попытки ее скрыть были бы и бесполезны и унизительны. С этими, отдававшими немалой горечью ощущениями и намерениями, связанными с работой над будущей повестью, я вернулся в Москву из поездки на Смоленщину, к избирателям. И сразу уткнулся в нашу литературную жизнь, в которой

бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Я недавно перечел написанные мною осенью пятьдесят шестого года и направленные в ЦК мои мысли и соображения, связанные с этими постановлениями, и мне не хочется сейчас возвращаться к этим, довольно последовательно изложенным критическим замечаниям, правильность которых и сегодня не вызывает у меня сомнений. Если же говорить о моих ощущениях сорок шестого года, попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не так, и в большинстве случаев не о том.

Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли,— не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами,— послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин — и не тех трофейных, что привезены из Германии, а и новых,— в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в сорок шестом году, после неурожая.

Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная

и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее.

К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений, сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до конца отделить тогдашнее от сегодняшнего), особенно, конечно, меня волновало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы, зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи,— а я с такой постановкой вопроса столкнулся во Франции,— если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем — с кем? — с Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было ощущение грубости, неоправданной, тяжелой,— хотя к Зощенко военных лет я не питал того пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно, неловко.

В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю, субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни, хотя многими оно воспринималось именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие принципиально далекие от облегченного изображения жизни вещи, как «Спутники» Пановой или чуть позже «В окопах Сталинграда» Некрасова. Вслед за ними вскоре получили премию и трагическая «Звезда» Казакевича, изобиловавшая конфликтами «Кружилиха» Пановой. Нет, все это было не так просто и не так однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в руки

немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты,— словом, что-то на тему о сверчке и шестке.

До войны и первые три года войны я был членом Союза писателей, одним из относительно более известных поэтов младшего поколения, начинающим, а потом тоже пользовавшимся известностью драматургом, автором одной из первых сколько-нибудь крупных прозаических вещей, написанных о войне в годы войны. В тридцать девятом году, в числе других, по-моему, ста семидесяти или около того писателей я был награжден орденом «Знак Почета» и, как тогда говорили, стал писателем-орденоносцем. Это было первое широкое награждение писателей, и оно имело значение для награжденных. Я был награжден вместе с Долматовским и Алигер, хотя в нашем кругу и в нашем, в узком смысле этого слова, поколении были люди не менее способные, чем мы трое. Но выделили нас. Очевидно, это было определено литературными вкусами и симпатиями Александра Александровича Фадеева, который, если говорить в масштабах Союза писателей, думается мне, довольно полновластно готовил этот список награждений. Перед войной вышла моя пьеса «Парень из нашего города», которая очень широко пошла в годы войны и сделала мое имя намного более известным, чем до этого только по стихам. Потом была военная корреспондентская работа в «Красной звезде», привлекавшая к себе довольно широкое внимание. Потом появились «Русские люди», напечатанные в течение нескольких дней полосами в «Правде». А незадолго до этого — читавшиеся тогда лирические стихи, напечатанные в журналах, и несколько стихотворений — «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и «Убей его», напечатанные в газетах и утвердившие мою известность как поэта. «Дни и ночи» были опубликованы в журнале «Знамя», частично, кусками появлялись с продолжениями в «Красной звезде» и тоже добавили мне какую-то долю литературной популярности.

В сорок втором году мне была присуждена Сталинская премия за пьесу «Парень из нашего города», в сорок третьем — за пьесу «Русские люди». В сорок шестом, когда

я был в Японии, совершенно неожиданно для меня еще и за повесть «Дни и ночи», которую никто к премии — через два с лишним года после ее появления — не представлял, это произошло по инициативе Сталина.

Почему я упоминаю все это? Чтобы объяснить, что к концу лета сорок шестого года, когда после постановлений ЦК были предрешены перемены руководства в Союзе писателей и предполагалось изменение самой структуры этого руководства, я, хотя и был из молодых да ранним, и оказался в роли — думаю, что не преувеличиваю, говоря это,— самого известного из писателей моего поколения, к деятельности Союза писателей практически не имел никакого отношения и оставался в этом смысле совершенно зеленым и неопытным человеком. В сорок четвертом году нескольких писателей-фронтовиков: Твардовского, Кожевникова, Горбатова, меня, кажется, еще кого-то — ввели, вернее, кооптировали, в состав Президиума Союза писателей. Я имел тогда разговоры на эти темы с работавшим вместе с Тихоновым, который был тогда председателем Союза, в качестве ответственного секретаря Союза Дмитрием Алексеевичем Поликарповым. Кажется, один раз, может быть, два — между поездками на фронт — присутствовал на не запомнившихся мне заседаниях Президиума. Вот и все. В остальном коллективом, в котором я работал, была до конца войны «Красная звезда», хотя ко мне пришло самоощущение популярного писателя, имя которого так или иначе в общем практически все знают. Но это самоощущение сочеталось с сохранившимся самоощущением журналиста, газетчика, причем газетчика — именно корреспондента, человека, не делающего газету — этого я толком не знал тогда,— а производящего материал для этой газеты, разъездного корреспондента. С таким двойным самоощущением я ездил в Японию и в Америку. И когда в конце августа или в сентябре сорок шестого года, после моего возвращения в Москву, нас всех, членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, я был, повторяю, человеком совершенно зеленым в этом смысле.

Первое из двух обсуждений было длительным, продолжалось несколько часов. Разные люди называли разные кандидатуры в состав секретариата, который, как предполагалось, практически будет руководить работою Союза. И когда Борис Горбатов вдруг как одну из воз-

можных кандидатур в руководители Союза предложил мою, в неумеренных выражениях расхвалив перед этим меня как организатора и главу нашей писательской бригады в Японии, то все только улыбались этому предложению как весьма дружелюбному по отношению ко мне, но в то же время несерьезному. А я, когда кончилось заседание и мы двинулись домой, ругательски ругал Бориса, который после общей реакции на его предложение, кажется, чувствовал себя немножко смущенным, но по своей привычке ворчливо отругивался, говоря, что он был секретарем не то МАПП, не то ВАПП не в тридцать лет, а в девятнадцать-двадцать, и делал эту работу так же плохо, как и все остальные, ничуть не хуже.

А через два или три дня нас собрали там же, у Жданова, и Жданов сказал, что о предыдущем обсуждении дел Союза писателей, которое происходило здесь, было рассказано товарищу Сталину, что состоялось решение поручить партийной группе правления Союза писателей рекомендовать организацию секретариата Союза писателей в следующем составе: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишневский, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов, причем Горбатов утверждается секретарем партгруппы правления.

То, что Фадеев становился во главе Союза, неожиданностью не было. На предыдущем заседании он очень решительно отнекивался, говорил, что, только-только закончив «Молодую гвардию», после многих лет почувствовал вкус к действительной писательской работе и полушутя, полусерьезно просил его не губить. В общем, это было искренне, при властном характере Фадеева, при его политической хватке червь сомнения все-таки, наверное, у него где-то гнездился. Как писатель он не хотел руководить Союзом, это была правда, но как литературно-политический деятель искренне не видел, кто бы мог это делать вместо него. Это тоже было правдою — и не только субъективно, но для того времени и объективно. Так что Фадеев как глава Союза не был ни для кого из нас неожиданностью, сама формулировка «генеральный секретарь», несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина. Автором этой формулировки был он. Очевидно, он же, по каким-то своим соображениям, расставил не по алфавиту, а по порядку заместительства трех заместителей генерального секретаря. Третьим из этих заместителей сделал Тихоно-

ва, подчеркнув этим свое уважительное отношение к нему, подчеркнув, что критика Союза в связи с постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», изменение структуры, ликвидация должности председателя Союза,— все это одно, а имя Тихонова и значение его фигуры в новом, заново складывающемся руководстве Союза — дело другое. Так мы, во всяком случае, тогда поняли, что это явно исходило от Сталина, потому что разговоры на предыдущем заседании не предполагали мысли о том, что Тихонов окажется одним из руководителей вновь образованного секретариата Союза. Очевидно, и назначение Горбатова парторгом правления тоже шло от Сталина, допускаю, что он не хотел, чтобы Фадеев с его авторитетом, с его положением члена ЦК, с его властным характером в качестве генерального секретаря обладал бы своей властью безапелляционно. Видимо, по его мысли, в Горбатове как секретаре партгруппы предполагалось некое критическое начало. Это была инициатива Сталина, потому что обычно бывало, что руководитель организации, если он коммунист, созывал в случае необходимости партгруппу этой организации.

Добавлю, что и рекомендация выбрать секретарями писателей из союзных республик — одного от республик Средней Азии, по одному от Украины, Белоруссии, от каждой из закавказских и прибалтийских республик — была тоже Сталина. В общем, все было решено за нас, и мы были расставлены по своим местам Сталиным, и расставлены, насколько я могу судить по первым годам работы Союза, довольно разумно. Так, всего еще неделю назад не думая ни о чем близко похожем, я оказался одним из руководителей Союза писателей, и это на многие годы определило и характер моей жизни, и некоторые особенности моей работы как литератора.

Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе, меня назначили редактором «Нового мира». В противоположность тому, что произошло с Союзом, это не было для меня полной неожиданностью: когда-то о том, чтобы я стал редактором журнала, разговоры со мной уже велись, я даже излагал в ЦК некоторые соображения насчет того, каким я себе представляю журнал. Тут у меня все-таки был, хотя и маленький и однобокий, но опыт: во второй половине войны я стал членом редколлегии журнала «Знамя», регулярно в редколлегии, разумеется, не работал, но в сорок

четвертом — сорок пятом годах кое-что читал, когда это у меня получалось, и давал свои отзывы, главным образом и почти исключительно, о стихах. При всей моей неопытности журнал мне вести хотелось, я не очень ясно представлял, как это делается, но какие-то силы для этого в себе ощущал.

Так в течение одного месяца я стал и первым заместителем Фадеева в Союзе, и редактором самого старого из выходивших в Москве послереволюционных толстых журналов. «Красная новь», созданная раньше, чем «Новый мир», прекратила свое существование еще в сорок третьем году, во время войны.

За работу в журнале я взялся с увлечением. Заместителем ко мне согласился пойти мой товарищ по «Красной звезде» Кривицкий, человек с опытом, блестящими журналистскими способностями и трудно переносимым, но твердым характером. Из старой редколлегии остались в журнале Шолохов и Федин, из них первый продолжал числиться так же, как он числился прежде, не принимая никакого участия в работе журнала, а второй, наоборот, участвовал в работе журнала — не буду об этом распространяться, потому что уже писал в своих воспоминаниях о Федине. Не отказались войти в редколлегию журнала и такой блестящий человек, как Валентин Катаев, и умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет работали бок о бок и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире». Самым молодым членом редколлегии, ровесником тридцатилетнего редактора, стал Александр Михайлович Борщаговский, переехавший для этого в Москву, талантливый киевский театральный и не только театральный критик, на плечи которого пала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур.

Я говорю об этом потому, что все это в какой-то мере будет иметь отношение к дальнейшему, поскольку, обращаясь к главной теме своего повествования, мне не миновать некоторых подробностей собственной работы разных лет и в «Новом мире», и в «Литературной газете».

В девятой книжке «Нового мира», подписанной предыдущим составом редколлегии, были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, я не имею в виду, что новая

редколлегия во главе с новым редактором не перепечатала бы на страницах «Нового мира» постановление и доклад,— конечно, перепечатала бы, если бы это не было сделано раньше. Но так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа. Перелистывая сейчас тот сдвоенный — десятый-одиннадцатый — номер «Нового мира» 1946 года, с которого мы начали свою работу, думаю, что в те очень короткие сроки, которые у нас были, он был сделан неплохо и даже широко. Открывался он — что до этого если не никогда, то во всяком случае долгие годы не делалось в толстых журналах — не романом и не стихами, а очерком Бориса Галина «В Донбассе». Были в нем стихи Наровчатова, Смелякова, Луконина, проза Паустовского, письмо в редакцию Эренбурга о внимании к памяти павших на войне, киноповесть Довженко «Жизнь в цвету», по которой он потом поставил своего «Мичурина», и рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова» («Возвращение»). Публикация этих двух вещей была для того времени связана с известным риском: после жестокой проработки Довженко в сорок четвертом году за его киноповесть об Украине это была первая публикация его новой вещи, как всегда в таких случаях, не было недостатка в охотниках читать эту вещь через лупу. Что касается рассказа Платонова «Семья Иванова», он очень нравился нам с Кривицким. Мы хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной звезде», в этом первом выпускаемом нами номере...

5 марта 1979 года

Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов. Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил: «В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда. Мне это под-

сказывает моя стариковская память.— Агапов, которому было тогда сорок семь лет, любил несколько кокетливо, учитывая его мощную, казавшуюся навек несокрушимой фигуру, говорить о своих стариковских памяти, привычках и слабостях.— В свое время, если не изменяет эта стариковская память, «Красную новь» чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был неимоверный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке».

Что за Платонова мылил шею Фадееву именно Сталин, по интонации и по выражению лица Агапова сомневаться не приходилось.

«В рассказе,— продолжал Агапов,— есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал».

Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в «Красной звезде», то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий,— нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать.

Однако, увы, Агапов оказался прав. Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в «Литературной газете» погромную статью «Клеветнический рассказ А. Платонова». В рассказе Платонова было всего четырнадцать журнальных страничек, а статья Ермилова была написана чуть ли не во всю длину рассказа, на целую газетную полосу. «Литературная газета», по распределению обязанностей, была в Союзе писателей под прямым наблюдением Фадеева, Ермилов был его давним, с рапповских времен соратником, в те времена, в сорок шестом году, другом, в иных случаях — без раскаяния употреблю это слово — подручным, и статья эта могла появиться только как результат их коллективного мнения и решения. Статья была беспощадная, удар наносился человеку беззащитному

и только-только ставшему на ноги. Эта история была для меня первой зарубкой в наших отношениях с Фадеевым, зарубкой, о которой я не забыл. Я высоко его ставил, знал ему цену, не безоговорочно, но любил его, но нескольких случаев не мог простить ему. Они у меня оставались в душе, как зазубрины, пока он был жив, остались и после того, как он решил уйти из жизни.

Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это. Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговора не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей — потому что ведь не ему бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял,— он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.

А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетого в броню твердости, непогрешимости и памятливости — политической памятливости, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ

Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него уже вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно,— не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху.

Вскоре после этого в двенадцатом номере ленинградского журнала «Звезда» я напечатал свою очень быстро написанную пьесу «Русский вопрос». Мысли мои были заняты главным образом повестью, которая потом появилась под названием «Дым отечества». К ней я готовился, писал первые заметки, но поездка в Америку требовала и публицистической отдачи. Эренбург напечатал ряд статей, а у меня, кроме двух статей об американском театре, с публицистикой что-то не клеилось. Мне показалось, что рассказать о том, что я знал больше и лучше, ближе наблюдал — не столько даже в самой Америке, сколько перед этим в Японии,— о политических и нравственных проблемах, связанных с жизнью и деятельностью американской прессы, я смогу лучше в драматургической форме. Так я написал «Русский вопрос» — пьесу, действие которой было сосредоточено, в общем, вокруг проблемы, с которой была связана наша поездка в Соединенные Штаты,— хотят ли русские войны? Мы им там доказывали это, как умели, доказывали и рассказывали, и это была истинная правда,— не хотят русские войны, не хотят, не могут хотеть. Говорить и доказывать это была главная наша цель — и душевная, и пропагандистская, и какая угодно, полностью соответствовавшая истине. Основные же нападки на Советский Союз, которые в той или иной форме адресовались нам, приехавшим в Соединенные Штаты, были основаны на обратной точке зрения: русские коммунисты хотят завоевать свободный мир. И Америка должна понять всю меру этой опасности. Эта песня сейчас, когда я пишу, вспоминая об этом, кажется уже очень старой, тогда она была сравнительно новой, и мы ее искренне ненавидели, всеми фибрами души.

Итак, вместо публицистики об Америке, которой от меня ждали в разных редакциях, я за три недели на-

писал пьесу «Русский вопрос» и, как уже упомянул, напечатал ее в «Звезде». Она была предназначена к постановке в одном театре — Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах — в Художественном, Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола,— и в трех ленинградских — в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом «Звезда» после постановления ЦК — в этом журнале редактором стал по совместительству московский работник агитпропа ЦК профессор Еголин,— прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полезной,— последнее для него как для политика, в чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую,— и распорядился широко поставить «Русский вопрос». Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил.

Уже не помню сейчас, что предшествовало чему — Сталинская премия за эту пьесу распоряжению о постановке ее в пяти театрах Москвы или постановка — премии. Но не в этом суть дела, а в том, насколько категоричным было указание. Когда я пришел в Комитет по делам искусств и попросил тогдашнего его председателя, чтобы — да простится мне это задним числом — пьесу не ставили хотя бы в пятом московском театре, в Вахтанговском,— о чем я узнал в последнюю очередь, он в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос решенный, решенный не им, и не в его возможностях что-либо тут менять.

Весной сорок седьмого года — уже состоялись премьеры «Русского вопроса» в Москве и Ленинграде — я узнал от ленинградских своих друзей, от Юрия Павловича Германа, с которым мы подружились на севере, в Мурманске и Полярном, в годы войны, что у Михаила Зощенко есть несколько десятков написанных им в годы войны, но не напечатанных партизанских рассказов. Рассказы эти Зощенко в свое время предполагал печатать, но потом вышло то, что вышло, и они у него лежат недвижимо и бесперспективно. А рассказы по сути своей не могут вызвать никаких возражений, просто они не все одинаково интересны — одни интереснее, другие менее интересны, но с точки зрения достоверности того, что в этих рассказах изложено, с точки зрения уважения автора к героям этих

рассказов они безукоризненны. Дело не в самих рассказах, а в том, что их написал Зощенко, о котором сказано в докладе Жданова, что у него гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия, а в постановлении ЦК он назван пошляком и подонком. Но рассказы сами по себе можно напечатать и сделать этим первый шаг к тому, чтобы вывести Зощенко из того ужасающего положения, в котором он оказался,— и если бы ты вдруг взял и решился...

Так и кончился этот разговор или примерно так. Я подумал, подумал и решился — сначала на то, чтобы вызвать Зощенко в Москву и прочесть его рассказы, а потом на то, чтобы отобрать около половины этих рассказов, которые мне показались лучшими, и, действуя уже на свой страх и риск, без обсуждения на редколлегии, перепечатав эти рассказы вместе с коротеньким предисловием Зощенко, отправить их Жданову, находившемуся тогда в Москве и руководившему вопросами идеологии, с моим письмом о том, что я считаю возможным напечатать эти рассказы на страницах «Нового мира», на что, в связи со всеми известными предшествующими событиями, прошу разрешения ЦК.

Привез я эти рассказы со своим письмом и отдал из рук в руки помощнику Жданова — Александру Николаевичу Кузнецову, человеку, на мой взгляд, хорошему, доброжелательно относившемуся к писателям, в том числе и ко мне.

Прошло какое-то время. Я стал звонить Кузнецову. «Нет, пока не прочтено». Снова: «Нет, пока у Андрея Александровича не было времени прочесть». «Да, напомнил, но пока не было времени прочесть».

Наконец после очередного звонка Кузнецов доверительно сказал мне, что, насколько он понял, Андрей Александрович познакомился с рассказами, но сейчас, как ему кажется, времени для встречи со мной у Андрея Александровича нет, и он советует мне позвонить ему самому, но не раньше, чем недели через две.

Я внял этому совету и стал ждать.

Тем временем Фадеев, подготовив вместе с нами, другими секретарями, соответствующие материалы, послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей по тем двум вопросам, которые ставились в письме.

Главным из этих двух вопросов был вопрос об изменениях в авторском праве в связи со сложившимся после войны трудным материальным положением писателей. Вторым — вопрос о реорганизации Союза писателей, о его новых штатах и ставках, в связи с гораздо большим объемом тех задач, которые перед ним теперь ставились.

И вот, не то утром 13 мая, не то накануне, теперь уже не помню, Фадееву, Горбатову и мне было сообщено, что Сталин примет нас 13 мая в шесть часов вечера, чтоб мы явились к этому времени в Кремль.

Далее мне предстоит привести запись продиктованного мною стенографистке на следующий день после этой встречи. Точно такие же записи, в тот же день или на следующий, я делал впоследствии и в остальных случаях, когда нас вызывали к Сталину. Все, что было записано мною тогда непосредственно, я приведу полностью, так, как оно было записано. Но записывал я по ряду обстоятельств не все. Пропускал ряд вопросов, проблем, имен, которые считал невозможным записывать тогда. Встречи эти мне запомнились очень хорошо, что, впрочем, не исключает каких-то мелких неточностей, но именно мелких, и это дает мне возможность делать сейчас вставки там, где я в свое время делал пропуски. Для того чтобы понять эту систему записи, надо мысленно окунуться в то время и представить себе, что не только, само собой разумеется, делать какие бы то ни было записи во время встреч со Сталиным было не принято и невозможно, и не приходило в голову, но и вряд ли считалось возможным делать записи такого рода и задним числом. В общем, я записывал то, что считал себя вправе записывать, и старался как можно крепче сохранить в памяти то, что считал себя не вправе записывать. По ходу дела я в каждом случае, вспоминая эти встречи, буду указывать, где приведен текст тогдашних записей и где мои нынешние дополнения к ним. Сами эти записи я буду приводить с небольшой правкой, не имеющей отношения к существу дела, а лишь к качеству изложения, потому что они делались так скоропалительно, что маленькая литературная правка просто необходима. От соблазна же казаться и другим, и себе самому умней и дальновидней, чем ты когда-то был, то есть от правки старых записей по существу, я себя предо-

стерег уже давно, много лет назад, еще при начале работы над военными дневниками, сдав в ЦГАЛИ на закрытое хранение подлинники всех моих старых дневниковых записей, в том числе и тех, о которых сейчас идет речь.

Итак, запись, сделанная 14 мая 1947 года:

«Тринадцатого мая Фадеев, Горбатов и я были вызваны к шести часам вечера в Кремль к Сталину. Без пяти шесть мы собрались у него в приемной в очень теплый майский день, от накаленного солнцем окна в приемной было даже жарко. Посередине приемной стоял большой стол с разложенной на нем иностранной прессой — еженедельниками и газетами. Я так волновался, что пил воду.

В три или четыре минуты седьмого в приемную вошел Поскребышев и пригласил нас. Мы прошли еще через одну комнату и открыли дверь в третью. Это был большой кабинет, отделанный светлым деревом, с двумя дверями — той, в которую мы вошли, и второй дверью в самой глубине кабинета слева. Справа, тоже в глубине, вдали от двери стоял письменный стол, а слева вдоль стены еще один стол — довольно длинный, человек на двадцать — для заседаний.

Во главе этого стола, на дальнем конце его, сидел Сталин, рядом с ним Молотов, рядом с Молотовым Жданов. Они поднялись нам навстречу. Лицо у Сталина было серьезное, без улыбки. Он деловито протянул каждому из нас руку и пошел обратно к столу. Молотов приветливо поздоровался, поздравил нас с Фадеевым с приездом, очевидно, из Англии, откуда мы не так давно вернулись, пробыв там около месяца в составе нашей парламентской делегации.

После этого мы все трое — Фадеев, Горбатов и я — сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов сели напротив нас, но не совсем напротив, а чуть поодаль, ближе к сидевшему во главе стола Сталину.

Все это, конечно, не столь существенно, но мне хочется запомнить эту встречу во всех подробностях.

Перед Ждановым лежала докладная красная папка, а перед Сталиным — тонкая папка, которую он сразу открыл. В ней лежали наши письма по писательским делам. Он вслух прочел заголовок: «В Совет Министров СССР» — и добавил что-то, что я не до конца расслышал, что-то вроде того, что вот получили от вас письмо, давайте поговорим.

Разговор начался с вопроса о гонораре.

— Вот вы ставите вопрос о пересмотре гонораров,— сказал Сталин.— Его уже рассматривали.

— Да, но решили неправильно, — сказал Фадеев и стал объяснять, что в сложившихся при нынешней системе гонораров условиях писатели за свои хорошие книги, которые переиздаются и переиздаются, вскоре перестают что-либо получать. С этого Фадеев перешел к вопросу о несоответствии в оплате малых и массовых тиражей, за которые тоже платят совершенно недостаточно. В заключение Фадеев еще раз повторил, что вопрос о гонорарах был решен неверно.

Выслушав его, Сталин сказал:

— Мы положительно смотрим на пересмотр этого вопроса. Когда мы устанавливали эти гонорары, мы хотели избежать такого явления, при котором писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живет на него и ничего не делает. А то написали по хорошему произведению, настроили себе дач и перестали работать. Нам денег не жалко, — добавил он, улыбнувшись, — но надо, чтобы этого не было. В литературе установить четыре категории оценок, разряды. Первая категория — за отличное произведение, вторая — за хорошее и третья и четвертая категории, — установить шкалу, как вы думаете?

Мы ответили, что это будет правильно.

— Ну что ж, — сказал Сталин, — я думаю, что этот вопрос нельзя решать письмом или решением, а надо сначала поработать над ним, надо комиссию создать. Товарищ Жданов, — повернулся он к Жданову, — какое у вас предложение по составу комиссии?

— Я бы вошел в комиссию, — сказал Жданов.

Сталин засмеялся, сказал:

— Очень скромное с вашей стороны предложение.

Все расхохотались.

После этого Сталин сказал, что следовало бы включить в комиссию присутствующих здесь писателей.

— Зверева, как министра финансов,— сказал Фадеев.

— Ну что же, — сказал Сталин, — он человек опытный. Если вы хотите, — Сталин подчеркнул слово «вы», — можно включить Зверева. И вот еще кого, — добавил он, — Мехлиса,— добавил и испытующе посмотрел на нас.— Только он всех вас там сразу же разгонит, а?

Все снова рассмеялись.

— Он все же как-никак старый литератор, — сказал Жданов».

Прервав свою тогдашнюю запись, забегу вперед и скажу, что, когда впоследствии дважды или трижды собиралась комиссия, созданная в тот день, то Мехлис обманул действительно существовавшие у нас на его счет опасения, связанные с хорошо известной нам жесткостью его характера. По всем гонорарным вопросам он поддержал предложения писателей, а когда финансисты выдвинули проект — начиная с такого-то уровня годового заработка, выше него — взимать с писателей пятьдесят один процент подоходного налога,— Мехлис буквально вскипел:

— Надо все-таки думать, прежде чем предлагать такие вещи. Вы что, хотите обложить литературу как частную торговлю? Или собираетесь рассматривать отдельно взятого писателя как кустаря без мотора? Вы что, собираетесь бороться с писателями как с частным сектором, во имя какой-то другой формы организации литературы — писания книг не в одиночку, не у себя за столом?

Тирада Мехлиса на этой комиссии была из тех, что хорошо и надолго запоминаются. Этой желчной тирадой он сразу обрушил всю ту налоговую надстройку, которую предлагалось возвести над литературой. Ни к литературе, ни к писателям, насколько я успел заметить, Мехлис пристрастия не питал, но он был политик и считал литературу частью идеологии, а писателей — советскими служащими, а не кустарями-одиночками.

Сделав это отступление или, вернее, чуть забежав в будущее, возвращаюсь к своей записи от 14 мая сорок седьмого года:

«— Итак, кого же в комиссию? — спросил Сталин.

Жданов перечислил всех, кого намеревались включить в комиссию.

— Хорошо, — сказал Сталин.— Теперь второй вопрос: вы просите штат увеличить. Надо будет увеличить им штат.

Жданов возразил, что предлагаемые Союзом писателей штаты все-таки раздуты. Сто двадцать два человека вместо семидесяти.

— У них новый объем работы,— сказал Сталин,— надо увеличить штаты.

Жданов повторил, что проектируемые Союзом штаты нужно все-таки срезать.

— Нужно все-таки увеличить,— сказал Сталин.— Есть отрасли новые, где не только увеличивать приходится,

но создавать штаты. А есть отрасли, где штаты разбухли, их нужно срезать. Надо увеличить им штаты.

На этом вопрос о штатах закончился.

Следующий вопрос касался писательских жилищных дел.

Фадеев стал объяснять, как плохо складывается сейчас жилищное положение у писателей и как они нуждаются в этом смысле в помощи, тем более что жилье писателя — это, в сущности, его рабочее место.

Сталин внимательно выслушал все объяснения Фадеева и сказал, чтобы в комиссию включили председателя Моссовета и разобрались с этим вопросом. Потом, помолчав, спросил:

— Ну, у вас, кажется, все?

До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось.

— Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают писатели?

Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остается война, а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находит еще куда меньше отражения в литературе, причем когда находит, то чаще всего у писателей-середнячков.

— Правда,— сказал Фадеев,— мы посылали некоторых писателей в творческие командировки, послали около ста человек, но по большей части это тоже писатели-середняки.

— А почему не едут крупные писатели? — спросил Сталин.— Не хотят?

— Трудно их раскачать,— сказал Фадеев.

— Не хотят ехать,— сказал Сталин.— А как вы считаете, есть смысл в таких командировках?

Мы ответили, что смысл в командировках есть. Доказывая это, Фадеев сослался на первые пятилетки, на «Гидроцентраль» Шагинян, на «Время, вперед!» Катаева и на несколько других книг.

— А вот Толстой не ездил в командировки,— сказал Сталин.

Фадеев возразил, что Толстой писал как раз о той среде, в которой он жил, будучи в Ясной Поляне.

— Я считал, что когда серьезный писатель серьезно работает, он сам поедет, если ему нужно,— сказал Ста-

лин.— Как, Шолохов не ездит в командировки? — Помолчав, спросил он.

— Он все время в командировке,— сказал о Шолохове Фадеев.

— И не хочет оттуда уезжать? — спросил Сталин.

— Нет,— сказал Фадеев,— не хочет переезжать в город.

— Боится города,— сказал Сталин.

Наступило молчание. Перед этим, рассказывая о командировках, Фадеев привел несколько примеров того, как трудно посылать в командировки крупных писателей. Среди других упомянул имя Катаева. Очевидно, вспомнив это, Сталин вдруг спросил:

— А что Катаев, не хочет ездить?

Фадеев ответил, что Катаев работает сейчас над романом, который будет продолжением его книги «Белеет парус одинокий», и что новая работа Катаева тоже связана с Одессой, с коренной темой Катаева.

— Так он над серьезной темой работает? — спросил Сталин.

— Над серьезной, над коренной для него,— подтвердили мы.

Опять наступило молчание.

— А вот есть такая тема, которая очень важна,— сказал Сталин,— которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей,— сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести,— у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами,— сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами,— усмехнулся и снова стал серьезным.

— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает,— и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал.— Вот взять такого человека, не последний человек,— еще раз подчеркнуто повторил Сталин,— а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.

Сталин повернулся к Жданову.

— Дайте документ.

Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:

— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.

Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный как раз со всем тем, о чем только что говорил Сталин. Пока не могу изложить здесь его содержание...»

Документ, содержание которого тогда, 14 мая 1947 года, я считал невозможным для себя излагать, был опубликованным затем в печати письмом о так называемом деле Клюевой и Роскина *. Появление этого письма в печати

* В предвоенные годы профессора Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин создали противораковый препарат «КР» («круцин», французский аналог «трипазон»), вопрос о действенности которого до сих пор вызывает споры специалистов. По просьбе авторов, рукопись их выходившей в Советском Союзе монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» (Изд-во АМН СССР, М., 1946) академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин во время своего визита в США в 1946 г. в порядке научной информации передал

было началом той борьбы с самоуничижением, самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед заграничной культурой, о которой Сталин сказал, что в эту точку надо долбить много лет.

Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед заграницей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой — приобретающую опасные элементы саморазвития. Многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью. Однако при всем том, что впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощущением, не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явлениями, в том числе и средствами литературы, а в том, как вести эту борьбу — пригодными для нее и соответствующими ее, по сути говоря, высоким общественным целям методами или методами грубыми и постыдными, запугивавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, которыми она чаще всего впоследствии и велась.

Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. Сталин до этого, в начале беседы, больше стоял, чем сидел, или делал несколько шагов взад и вперед позади его же стула или кресла. Когда Фадеев стал читать

американским издателям. Сталин, уверовавший в величайшую ценность «КР», счел это выдачей важнейшей государственной тайны. В. В. Парин по обвинению в шпионаже был приговорен к 25 годам заключения. Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин, а также снятый со своей должности министр здравоохранения Г. А. Митерев предстали перед «судом чести», по всей стране была проведена широкая кампания осуждения всех участников этой истории как космополитов. После XX съезда КПСС все они были полностью реабилитированы. (См. об этом: Я. Рапопорт. Дело «КР»; В. Бродский, В. Калинникова. Открытие состоялось. «Наука и жизнь», 1988, № 1.)

письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас. Прошло много лет, но я очень точно помню свое, не записанное тогда ощущение. Чтобы не сидеть спиной к ходившему Сталину, Фадеев инстинктивно полуобернулся к нему, продолжая читать письмо, и мы с Горбатовым тоже повернулись. Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.

До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неуютно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас — очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях,— какое впечатление производит на нас, интеллигентов, коммунистов, но при этом интеллигентов, то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.

Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление,— а действительно так и было,— видимо, счел лишним или ненужным спрашивать наше мнение о прочитанном.

Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту минуту, я признателен ему за это.

Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:

— Надо уничтожить дух самоуничижения,— и добавил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.

Я сказал, что это скорее тема для пьесы.

Прежде чем приводить дальше свою старую запись, прерву себя тогдашнего и добавлю, что слова эти выскочили из меня совершенно непроизвольно, просто как профес-

сиональное соображение, которое действительно подсказывало, что тема, о которой шла речь, скорей для сцены, чем для книги. В тот момент я совершенно не думал о себе, не думал о том, что я сам драматург, я сидел в самой середине повести «Дым отечества» и не думал и не в состоянии был думать ни о чем другом, считая, что, доведя до конца эту работу, как писатель выполню самый прямой свой партийный долг. Может быть, именно из-за забвения всяких других возможностей, кроме этой, у меня и выскочила эта проклятая фраза: «Скорей для пьесы», поставившая впоследствии передо мной очень тяжелую для меня проблему, чего я в тот момент ни в малой степени не предвидел, тем более что Сталин, казалось, не обратил никакого внимания на мою реплику.

Вернусь к записи того дня:

«— Надо противопоставить отношение к этому вопросу таких людей, как тут,— сказал Сталин, кивнув на лежащие на столе документы,— отношению простых бойцов, солдат, простых людей. Эта болезнь сидит, она прививалась очень долго, со времен Петра, и сидит в людях до сих пор.

— Бытие новое, а сознание старое,— сказал Жданов.

— Сознание,— усмехнулся Сталин.— Оно всегда отстает. Поздно приходит сознание,— и снова вернулся к тому же, о чем говорил.— Надо над этой темой работать.

Потом он перешел к вопросу, о котором я не могу здесь писать...»

Здесь мне придется остановить себя на середине фразы, записанной тогда, и рассказать, что это за вопрос — совершенно неожиданный для всех нас троих. Разумеется, было бы странно через столько лет претендовать на дословное изложение сказанного, но не записанного тогда, однако мне столько раз доводилось потом, особенно в пору моей работы редактором «Литературной газеты», вспоминать об этом — по внутренней, а также по служебной необходимости,— что от такого мысленного повторения происшедшего тогда разговора он застрял в памяти прочнее многого другого. В сущности, это был не столько разговор, сколько получасовой монолог Сталина, начавшийся со слов: «Мы здесь думаем»,— Сталин вообще, и как мне помнится, и как это было мной записано тогда, редко говорил «я», предпочитал «мы».

— Мы здесь думаем,— сказал он, — что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас выпускает. Союз писателей мог бы выпускать своими силами такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, а политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты — так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» — газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.

Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.

— Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказаться о том, о чем нам хотелось бы сказать, такие случаи бывают в политике, и «Литературная газета» должна нам помогать в этих случаях. И вообще, не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел, Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, «Литературная газета» — своими делами. Сколько у вас сейчас выпускают экземпляров газеты?

Фадеев ответил, что тираж газеты что-то около пятидесяти тысяч.

— Надо сделать его в десять раз больше. Сколько вы раз в месяц выпускаете газету?

— Четыре раза, раз в неделю,— ответил Фадеев.

— Надо будет новую «Литературную газету» выпускать два раза в неделю, чтобы ее читали не раз, а два раза в неделю, и в десять раз больше людей. Как ваше мнение, сможете вы в Союзе писателей выпускать такую газету?

Мы ответили, что, наверное, сможем.

— А когда можете начать это делать?

Не помню, кто из нас, может быть, даже и я, вспомнив о том, как я впопыхах принимал журнал, ответил, что выпуск такой, совершенно нового типа газеты потребует, наверное, нескольких месяцев подготовки и ее, очевидно, можно будет начать выпускать где-то с первого сентября, с начала осени.

— Правильно,— сказал Сталин,— подготовка, конечно, нужна. Слишком торопиться не надо. А то, что вам будет надо для того, чтобы выпустить такую газету, вы должны попросить, а мы должны вам помочь. И мы еще подумаем, когда вы начнете выпускать газету и справитесь с этим, мы, может быть, предложим вам, чтобы вы создали при «Литературной газете» свое собственное, неофициальное телеграфное агентство для получения и распространения неофициальной информации.

Таким примерно был этот монолог Сталина, занявший, как у меня было записано тогда, примерно полчаса.

Текст, который я сейчас записал, при чтении вслух, наверное, уложился бы в десять минут, но я не думаю, что я тогда ошибся, написав «полчаса». Сталин, как всегда, говорил очень неторопливо, иногда повторял сказанное, останавливался, молчал, думал, прохаживался. Видимо, вопрос был продуман им заранее, но какие-то подробности, повороты приходили в голову сейчас, по ходу разговора. Мне, например, показалось, что идея создания телеграфного агентства возникла вдруг и именно здесь после какой-то долгой паузы, во время которой он размышлял над этим, и он высказал ее с удовольствием, был доволен ею.

Вообще мне показалось, что идея создания другой, новой «Литературной газеты», дополнительная идея о создании неофициального телеграфного агентства — нравилась ему самому. Он говорил об этом с удовольствием, ему нравилось, что эта идея нам нравится, чувствовалось, что он хочет внушить нам решимость смелей и свободней подходить ко всем вопросам, связанным с этой будущей газетой.

Закончил свой разговор о «Литгазете» Сталин тем, что сказал, что, очевидно, нам для новой газеты придется подумать и о новых людях, о новых работниках, о новой редколлегии, быть может, и о новом редакторе, но обо всем этом предстоит подумать нам самим, это уж наше дело.

Так — не по идее Союза писателей, как это чаще всего принято считать, а по идее Сталина — через несколько месяцев начала выходить совсем другая, чем раньше, «Литературная газета», правда, без своего неофициального телеграфного агентства. АПН, начальная идея создания которого была высказана тогда, тринадцатого мая 1947 года, было создано через много лет после этого и уже после смерти Сталина.

Вернусь к записи сорок седьмого года:

«Когда вопрос с «Литературной газетой» был решен, Сталин спросил нас полуожидающе:

— Ну, кажется, все вопросы?

Я сказал:

— Товарищ Сталин, разрешите один вопрос?

— Пожалуйста, хоть два,— сказал Сталин.

Я сказал, что вот уже полгода редактирую журнал и столкнулся при этом с большими трудностями в постановке общественных вопросов. На то, чтобы действительно делать журнал не только литературно-художественным, но и общественно-политическим, мне не хватает объема, потому что если мы, скажем, печатаем в номере повесть, то при объеме журнала в двенадцать листов и при желании дать читателю прочесть эту повесть всю сразу, мы можем напечатать на этих двенадцати листах только ее, несколько стихотворений, одну-две критические статьи и библиографию, из-за этого приходится отказываться от очерков, от интересных научных материалов, а хотелось бы делать журнал более широкого профиля.

Я, начав говорить, запамятовал сказать, какой журнал я редактирую, и Жданов счел нужным меня представить как редактора «Нового мира».

— Так,— сказал Сталин.— А не получится другая история, что на такой журнал у вас не хватит материала? По тому, что я наблюдал, у редакторов имелась обратная тенденция — сдваивать номера. И «Знамя», и «Октябрь», и «Новый мир» — все сдваивали номера.

Я ответил, что «Новый мир» в этом году у нас ни разу не сдвоен, что я не даю его сдваивать, что материал у меня есть и что, если представить себе среднего интеллигента в провинции, который не имеет возможности выписывать три-четыре журнала, получает один, то хотелось бы, чтобы он получал более энциклопедический журнал, чтобы чтение такого журнала более всесторонне рас-

ширяло его культурный горизонт. К этому я добавил, что, начиная редактировать журнал, я прочел ряд номеров «Современника» и убедился в широте и многообразии тех вопросов, которые там ставились.

Сталин сказал:

— Это верно. Вот, например, журнал «Современный мир», журнал «Мир божий» (Жданов сказал, что вначале «Мир божий», а потом «Современный мир») ставили вопросы науки очень широко, и это, конечно, очень интересно для читателя. Правда, в то время не было таких журналов, как «Знание — сила», как «Техника — молодежи», и других научных журналов».

Оторвавшись от своей тогдашней записи, скажу сейчас, что, когда Сталин после приведенного мною примера с «Современником» вдруг назвал не только «Современный мир», но и «Мир божий», я в первую секунду подумал, не ослышался ли я, настолько странным мне показалось сочетание названия журнала «Мир божий» с тем, что именно его вспомнил Сталин в связи с «Современником». Только на следующий день или через день, с помощью Ленинской библиотеки познакомившись с комплектами журнала «Божий мир», я вполне пришел в себя от первого чувства удивления. «Божий мир», если я не ошибаюсь, сейчас вспоминая это, редактировал Богданович, один из наиболее левых и прогрессивных русских редакторов начала века. В журнале действительно были широко представлены научные темы, а с точки зрения общего направления журнал велся в духе легального марксизма, и название его «Мир божий» было просто удобной и облегчавшей ведение дела вывеской. Вот о каком журнале вспомнил Сталин, а вслед за ним Жданов.

Возвращаюсь к тогдашней записи:

«— А вы будете обеспечены материалом, если мы вам увеличим объем?— снова спросил Сталин.

Я сказал, что мы не были свободны от ошибок и раньше, располагая двенадцатью листами на номер, случалось, что мы ошибались, что ошибки и промахи возможны и в будущем, но я думаю, что материала окажется достаточно, я приложу все силы к тому, чтобы делать полноценный журнал при восемнадцатилистном объеме. Я попросил, чтобы — удастся или не удастся сделать полноценный журнал такого объема — попробовали на мне, и

если я справлюсь с этим в течение второго полугодия сорок седьмого года, то можно поставить вопрос и о дальнейшем выходе журнала в таком объеме, а если не справлюсь, объем всегда можно сократить, вновь довести его до нынешнего.

— Да,— сказал Сталин,— журнал стал лучше. Вот и «Звезда» печатает интересные статьи, часто интереснее, чем в «Большевике», философские статьи, научные. «Звезда» и «Новый мир» стали заметно лучше. А все-таки не получится так, что у вас не будет материала? — в третий раз настойчиво повторил Сталин.

Я еще раз сказал, что приложу все усилия.

— Ну, что же, надо дать, надо попробовать,— сказал Сталин.— Но если вам дать, то все другие журналы шум поднимут. Как с этим быть?

Я попросил, чтоб сначала попробовали с нами, с «Новым миром», а там уже будет видно на нашем опыте.

Фадеев поддержал меня, сказав, что действительно до конца этого года стоит попробовать с одним журналом, а там будет видно.

— Хорошо,— согласился Сталин.— Давайте. Давайте увеличим «Новый мир». Сколько вам надо листов?

Я повторил то, что уже сказал,— восемнадцать.

— Дадим семнадцать листов,— сказал Сталин.

Я сказал, что поскольку в журнале будут созданы научный и международный отделы, то нам нужно будет увеличить и штаты. Мне нужны будут два заведующих отделами.

Сталин улыбнулся:

— Ну, это тоже дайте в комиссию.

Жданов сказал, что у него есть мое ходатайство о ставках для работников журнала.

— Нам не жалко денег,— сказал Сталин и еще раз повторил: — Нам не жалко денег.

Я объяснил, что заведующий отделом у нас получает всего тысячу двести рублей (разумеется, тогдашними деньгами).

— Решить и этот вопрос на комиссии,— сказал Сталин и в третий раз повторил: — Нам не жалко денег.

После этого Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении.

— Надо ему помочь,— сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и

напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте — и заплатите.

Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо. Сталин усмехнулся.

— Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов.

Все засмеялись.»

«Потом, когда все будет в прошлом, это место я еще дополню», так стоит у меня в моей тогдашней записи. Чем же я собирался ее дополнить, когда все будет в прошлом? А вот чем. После того как Сталин отнесся положительно ко всем моим предложениям как редактора «Нового мира», после этого вдобавок еще ответил Фадееву про того писателя, имя которого я тогда, видимо, из чувства такта опустил, а сейчас не могу вспомнить, «напечатайте и заплатите»,— я вдруг решился на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зощенко — про его «Партизанские рассказы», основанные на записях рассказов самих партизан,— что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в «Новом мире» и прошу на это разрешения.

— А вы читали эти рассказы Зощенко? — повернулся Сталин к Жданову.

— Нет,— сказал Жданов,— не читал.

— А вы читали? — повернулся Сталин ко мне.

— Я читал,— сказал я и объяснил, что всего рассказов у Зощенко около двадцати, но я отобрал из них только десять, которые считаю лучшими.

— Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы? Что их можно печатать?

Я ответил, что да.

— Ну, раз вы как редактор считаете, что их надо печатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем.

Думаю сейчас, спустя много лет, что в последней фразе Сталина был какой-то оттенок присущего ему полускрытого, небезопасного для собеседника юмора, но, конечно, поручиться за это не могу. Это мои нынешние догадки, тогда я этого не подумал, слишком я был взволнован — сначала тем, что решился сам заговорить о Зощенко, потом тем, что неожиданно для меня Жданов, который, по моему представлению, читал рассказы, сказал, что он их не читал; потом тем, что Сталин разрешил печатать эти рассказы.

Все могло быть, конечно, и несколько иначе, чем я тогда подумал, надо допустить и такую возможность: хотя Жданов и читал эти рассказы, он не хотел говорить со мной о них, зная или предполагая, что вскоре должна состояться там, у Сталина, встреча с писателями, в том числе и со мной. Допускаю, что до этой встречи, когда Жданов получил от меня рассказы Зощенко, он мог предполагать, что я решусь заговорить о них, и, заранее прочитав их, обговорил тоже заранее этот вопрос со Сталиным и поэтому ответил, что он не читал эти рассказы, чтобы посмотреть, как я после этого выскажу свое собственное мнение там, у Сталина. Таков один ход моих нынешних размышлений в пользу Жданова. Но могло быть и иначе, могло и не быть никакого разговора, мог Сталин не поверить или не до конца поверить в то, что Жданов не читал эти рассказы, тогда скрытая ирония его последних слов относилась, видимо, не ко мне.

Мне остается теперь привести конец своей записи сорок седьмого года с единственным дополнением — восстанавливаю опущенную мной тогда при записи фамилию.

Итак, окончание записи:

«— Какое ваше мнение о Ванде Василевской как о писателе? — спросил Сталин в конце разговора.— В ваших внутриписательских кругах? Как они относятся к ее последнему роману?

— Неважно,— ответил Фадеев.

— Почему? — спросил Сталин.

— Считают, что он неважно написан.

— А как вообще вы расцениваете в своих кругах ее как писателя?

— Как среднего писателя,— сказал Фадеев.

— Как среднего писателя? — переспросил Сталин.

— Да, как среднего писателя,— повторил Фадеев.

Сталин посмотрел на него, помолчал, и мне показалось, что эта оценка как-то его огорчила. Но внешне он ничем это не выразил и ничего не возразил. Спросил нас, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы. Мы ответили, что нет.

— Ну, тогда все.

Сталин встал. За ним встали Жданов и Молотов.

— До свиданья,— Сталин сделал нам приветственный жест, который я впервые видел, когда много лет назад в первый раз проходил по Красной площади на демонстрации,— полуотдание чести, полупомахивание.

Сталин был вчера одет в серого цвета китель, в серые брюки навыпуск. Китель просторный, с хлястиком сзади. Лицо у Сталина сейчас довольно худощавое. Большую часть беседы он стоял или делал несколько шагов взад и вперед перед столом. Курил кривую трубку. Впрочем, курил мало. Зажигал ее, затягивался один раз, потом через несколько минут опять зажигал, опять затягивался, и она снова гасла, но он почти все время держал ее в руке. Иногда он, подойдя к своему стулу, заложив за спинку большие пальцы, легонько барабанил по стулу остальными. Во время беседы он часто улыбался, но когда говорил о главной, занимавшей его теме — о патриотизме и о самоуничижении, лицо его было суровым и говорил он об этом с горечью в голосе, а два или три раза в его вообще-то спокойном голосе в каких-то интонациях прорывалось волнение».

Этими словами кончается сделанная тогда, четырнадцатого мая сорок седьмого года, запись о первой в моей жизни встрече со Сталиным или, точнее, о первой встрече с ним, в которой мне довелось принимать участие. Продолжалась она, сколько я помню, что-то около трех часов. Возможно, и в записи, и в моих дополнениях к ней какие-то подробности остались упущенными из-за несовершенства памяти, но преднамеренно я ничего не пропустил и, как мне кажется сейчас, ничего не забыл.

9 марта 1979 года

Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.

Когда я приехал к Кузнецову, он дал мне папку с разными бумагами и сказал, что знакомит меня с ними по поручению Андрея Александровича. Еще едучи туда, я смутно предполагал, о чем может идти речь, там я убедился, что догадка моя была правильной. Это были материалы, связанные все с тем же так называемым делом Клюевой и Роскина. Материалов было не очень много, я прочел их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете у Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется, Кузнецов был чуть-чуть удивлен, как я быстро это прочел, и, когда я поднялся, спросил меня:

— Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?

Я ответил утвердительно и, поблагодарив, поехал домой.

Материалы не произвели на меня особого впечатления просто-напросто потому, что они мало добавляли к тому ощущению не столько важности самой этой истории с Клюевой и Роскиным, сколько важности проблемы уничтожения духа самоуничижения, как выразился Сталин. Я был не настолько наивен, чтобы не понимать, какой смысл имело ознакомление с этими дополнительными документами,— очевидно, вырвавшееся у меня замечание, что это скорее тема для пьесы, чем для романа, внушило мысль, что я готов взяться за пьесу на эту тему. Но на самом деле я был нисколько не готов к этому, и такое понимание моего чисто профессионального замечания меня встревожило. Пьесу на эту тему в принципе, как мне казалось, я мог бы написать, но не сейчас, когда я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чужое. Слова Сталина об уничтожении духа самоуничижения с особенной силой запали мне в душу именно потому, что о чем-то близком я писал в своей повести, писал о людях, гордых своей бедной, израненной, исстрадавшейся страной перед лицом всей послевоенной американской мощи и благополучия.

Увлеченный этой работой, которую я делал вдобавок на лично пережитом, выстраданном материале, я меньше всего хотел прерывать ее посередине и браться за пьесу на в чем-то близкую мне тему — о вреде и духовной нищете низкопоклонства, но на очень далеком и пока совершенно чужом для меня материале.

Я понимал, что попал в двусмысленное положение, проклинал себя за свою неосторожную реплику, но успокаивал себя тем, что после повести могу взяться и за пьесу,— и в конце концов убедил себя, что все как-нибудь да обойдется. Прямого поручения я не получал, прямых обязательств на себя не брал, и надо, зажмурив на все это глаза, писать повесть, пока не допишешь до конца, а там будет видно. Очевидно, решение было правильным и единственно возможным для меня как для писателя, и я не раскаивался в нем потом, хотя оно мне на поверку и довольно дорого обошлось.

К концу того лета я дописал свой «Дым отечества», в котором в первом, журнальном, его варианте оказалось больше одиннадцати печатных листов. О тех материалах, которые мне показывали, никто не напоминал, мне казалось, что все обошлось и непосредственно на эту тему, связанную с делом Клюевой и Роскина, пьесу или что-то другое пишет кто-то другой. А там, где мне давали смотреть эти материалы, наоборот, как выяснилось впоследствии, считали, что я сижу и пишу именно эту пьесу.

В сентябрьской книжке «Нового мира» были благополучно напечатаны десять рассказов Зощенко с его предисловием, а в ноябрьский номер была поставлена моя повесть. Самому мне она очень нравилась, пожалуй, ни до, ни после я не относился так увлеченно и так несамокритично ни к одной своей вещи. Мне искренне казалось, что я, хотя и являюсь редактором «Нового мира», вправе такую повесть напечатать на его страницах к такой дате, как тридцатилетие Советской власти.

Может быть, по теме, по внутреннему субъективному, духовному заряду, который был в повести, это было не так уж неверно, но при этом повесть в том виде, в каком она была тогда напечатана, была еще очень сырой, многословной, неотжатой. Все это я хорошо понял семь лет спустя, когда готовил повесть к отдельному изданию,— не меняя ни ее духа и направленности, ни ее сюжета, я без особого труда отжал из нее, как лишнюю воду, без малого четыре листа из одиннадцати. Но тогда, в сентябре сорок седьмого года, мне казалось, что я снес золотое яичко, и в какой-то мере в этом заблуждении меня поддержали при обсуждении повести в Союзе Фадеев, Федин, Эренбург, которым при всей разности их вкусов пришелся по душе дух моей повести, и они, не обращая внимания на ее огрехи, все трое щедро похвалили меня за то главное, что в повести было.

Что до меня, то я ходил, счастливый сделанным, мне казалось, что, показав высоту духа и нравственной силы людей, поднимающих из праха дотла разоренную войной, истерзанную Смоленщину, и противопоставив все это американскому самодовольству своим образом и уровнем жизни, я выполнил главный свой партийный долг, который внутренне числил за собой после долгой зарубежной поездки и сразу же впритык после нее поездки на Смоленщину. Не «Русский вопрос», получивший к тому времени Сталинскую премию первой степени, но все-таки написанный не о нас, а об американцах, а именно «Дым отечества», написанный о

нас и о нашей, полной лишений, бедной и гордой жизни в первую послевоенную пору, был для меня исполнением моего главного долга. С этим сознанием я дожил до выхода журнала и до одного, отнюдь не прекрасного дня — сейчас не помню уж даты, для этого нужно перелистать подшивку газеты «Культура и жизнь» за сорок седьмой год,— когда в этой газете появилась статья о моем любимом «Дыме отечества» с заголовком «Вопреки правде жизни», не обещавшим ничего хорошего.

Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и, когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа — директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь»,— Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел. Почему не веря своим глазам? Потому что я понял, что так же, как удар по «Молодой гвардии» Фадеева, который наносился в том же номере газеты, на том же листе, разгромная статья о «Дыме отечества» появилась только потому, что повесть резко не понравилась Сталину. Других объяснений я не искал и правильно делал. А не верил я своим глазам потому, что был глубочайшим образом убежден в том, что эта повесть как раз то, что нужно сейчас людям, то, что укрепляет их веру в свои силы, их гордость своей страной в это тяжелое для нас время после войны,— словом, то, что, как мне казалось, никак не может быть не по душе Сталину. А вот, оказывается, все наоборот.

Я несколько раз читал и перечитывал статью, некоторые, так и оставшиеся для меня непонятными ее пассажи напоминали испорченный телефон. Мне вдруг пришло в голову, что рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательное и злое говорить об этой повести,— а говорил он,

особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его, это мы после беседы со Сталиным почувствовали по собственной усталости от напряжения тех трех часов, в которые мы старались не пропустить ни одного сказанного им слова. Говорил, то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь почти спиной к слушателям, начинал и заканчивал фразу, не успев повернуться. Так вот я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не все и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято.

Жданов, приехав от Сталина и передавая автору статьи то, что говорил Сталин, видимо, сказал то, что он услышал, а услышал он, очевидно, не все. Ну, а дальнейший испорченный телефон был уже на совести автора статьи, который не мог упустить ничего из того, что ему сказали и что он записал, но и не мог это связать в нечто достаточно последовательное и стройное. С неделю я ходил и думал о том, что же не так в моей повести. Меня упрекали за то, что люди в ней только говорят, а ничего не делают. Вся повесть рассказывала только о первом дне пребывания моего героя на родной земле, о первой его встрече с близкими, все остальное давалось в отрывочных воспоминаниях о войне и об Америке. Что он мог сделать за эти сутки дома? Я очень старался понять, чем недоволен Сталин. Я не злился ни на статью, ни на ее автора — это было все равно, что злиться на стул, о который ты ушибся, наткнувшись на него. Я был огорчен и хотел понять, что же я сделал не так. Почему от меня хотят чего-то другого, чем я сам хотел и мог сделать как коммунист, как человек, уверенный в своей правоте, и в то же время как человек, не могущий и не желающий внутренне поставить под сомнение правоту Сталина как высшего для меня авторитета в тех идейных и политических вопросах, о которых шла речь в повести.

Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов, и, придя к нему, прямо сказал, что, не раз перечитав статью, в которой, очевидно, меня правильно критикуют, я все-таки не могу понять многих ее мест и не могу понять, почему повесть считается написанной вопреки правде жизни, и, что еще важнее, не могу понять, что мне нужно сделать с ней при дальнейшей работе для того, чтобы она оказалась не вопреки правде жизни? Я не скрывал ни своей растерянности, ни меры своего огорчения и непонимания.

Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести. Он не выходил при этом за пределы статьи, напечатанной в «Культуре и жизни», и говорил о том же самом — умнее, тоньше и интеллигентней, чем это было написано. Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать. Мне доводилось до этого видеть Жданова и резким, и желчным, правда, не по отношению лично ко мне. На этот раз я шел к нему, вполне готовый к резкому разговору с его стороны. Но он, наоборот, был терпелив, доброжелателен и, как мне почудилось, внутренне не убежден в том, что мне говорил, и поэтому чуть-чуть растерян. Тогда я не знал, что ему самому понравилась моя повесть и что он вынужден был говорить мне о ней то, что расходилось с его первоначальным собственным восприятием ее. Не знал, но что-то, удивившее меня, в этом разговоре ощутил.

Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынеся из нее, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.

Еще какое-то время я думал над переработкой повести, над тем, что же поправить в ней, сформулировал даже на случай разных, несомненно, предстоявших объяснений на этот счет какую-то более или менее связную, во всяком случае, более связную, чем в статье, цепь критических замечаний, над которыми мне предстоит думать, но на самом деле думать больше над этим не мог. Твердо для себя решив и дав себе слово по крайней мере пять лет не заглядывать в повесть, не мучиться этим, написал в издательство, где она должна была выходить, что прошу расторгнуть со мной договор, так как печатать «Дым отечества» не буду.

Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесою, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой-нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.

До этого я был так оглушен всем, происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» — это тоже было тогда немалое потрясение,— что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым

отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвратительное, тяжелое,— хуже не бывает, а в таких случаях — я это уже знал за собой — меня привести в равновесие и поставить на ноги могло только одно — работа, чем немедленней, тем лучше. И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни и что помощь мне нужна, нужен серьезный консультант, крупный ученый, который мог бы ввести меня в курс некоторых микробиологических проблем, с которыми связано будет действие пьесы.

Короче говоря, на следующий день я был у министра здравоохранения Ефима Ивановича Смирнова, еще через два дня встретился с академиком Здродовским, который и стал моим консультантом при работе над пьесою «Чужая тень».

Академик медицинских наук, профессор Павел Феликсович Здродовский был одним из крупнейших наших микробиологов старшего поколения. Среди его заслуг перед наукой и людьми была выработка вакцины против брюшного тифа, применение которой сыграло большую роль в годы Великой Отечественной войны, да и после нее. Здродовский, разумеется, не несет ни малейшей ответственности за сочиненную мною пьесу, за ее всецело авторскую, не имеющую к нему отношения концепцию. Предмет, по которому я с ним консультировался, был совершенно иного рода. По замыслу, возникшему у меня, как только я стал думать о пьесе, главный герой ее, человек субъективно абсолютно честный, но при этом честолюбивый и склонный придавать немалое значение паблисити своих научных достижений за границей, работает над микробиологической проблемой, которая как палка о двух концах: с одной стороны, должна привести к гуманнейшим результатам, которые он и имеет в виду, а с другой стороны, может быть использована в опасных и человеконенавистнических целях. И именно этого, давая данные о своем открытии за границу, он и не учитывает. Это ему просто не приходит в голову — возможность такого использования его открытия.

Идея эта была целиком умозрительная, и родилась она не от знания или понимания каких-либо проблем микро-

биологии, а просто от того, что я хотел написать пьесу не о негодяе или о предателе, а о субъективно честном человеке, который под влиянием всего того, что мы вкупе называли тогда низкопоклонством перед заграницей, неожиданно ставит себя в положение потенциального предателя интересов своей страны. Так выглядела умозрительная концепция. Изложив ее Здродовскому, я стал допытываться у него, может ли в микробиологической науке, в какой-то ее отрасли, практически сложиться такой ход исследования проблемы, при котором она в разных аспектах решения может приносить и обнадеживающие человечество результаты, и результаты угрожающие.

После нескольких дней размышлений и двух или трех разговоров Здродовский подсказал мне с чисто научной точки зрения ту, реально возможную основу, на которой я в принципе мог строить пьесу. Речь шла о двух этапах исследовательской работы над надежной вакциной для таких почти неизлечимых болезней, как, скажем, чума. На первом этапе исследования выработка такой силы препарата, который концентрировал бы в себе всю мощь этой болезни, был бы, так сказать, производным ее в геометрической прогрессии. И только на следующем, втором этапе на основе этого убийственной силы препарата его обратное ослабление, тоже в геометрической прогрессии, в итоге доводимое до производства вакцины, предохраняющей от заболевания, скажем, чумою. Если отделить первую часть исследования от второй, методику создания пика воздействия препарата от методики ее последующего ослабления и множественного превращения в запасы вакцины, то данные, полученные в результате этого первого этапа работы, в принципе могли быть использованы людьми, заботящимися не о создании вакцины, а о создании оружия бактериологической войны. Вот, собственно, и вся та теоретическая подоснова конфликта, который мог возникнуть в пьесе и который меня интересовал.

Выяснив для себя эту чисто теоретическую сторону дела, я спустя еще несколько дней поехал в Саратов, в микробиологический институт, уже давно занимавшийся работой над созданием и совершенствованием вакцин против туляремии и чумы. Поехал уже не для того, чтобы обсуждать там проблемы, которые я собирался поставить в пьесе, а для того, чтобы хоть немножко представить себе тот мир людей, ту институтскую научную обстановку, в которой должно было происходить действие задуманной мною пье-

сы. Учитывая ее тему, разумеется, я и не помышлял искать тут каких-нибудь прототипов или запасаться наблюдениями непосредственно для пьесы. Я просто хотел почувствовать атмосферу примерно такого научного учреждения, о котором должна была идти речь в пьесе.

Поездка оказалась интересной, я встретился там, в институте, с некоторыми превосходными людьми, подлинные рассказы которых о своей порой носившей и опасные, и драматические черты работе могли бы стать основой для реальной пьесы о реальных людях нашей науки, а не для того дурного и печально для меня памятного сочинения, которым в итоге оказалась написанная мною в начале сорок восьмого года драма «Чужая тень».

Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух самоуничижения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило. За то, что в сорок первом году написал стихи «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», нисколько не стыдно, потому что это был крик души, пусть крик души человека, в чем-то тогда зрячего, а в чем-то слепого, если говорить об адресате стихотворения, но все-таки крик души. А за «Чужую тень» стыдно. И нисколько не жаль себя за свои тогдашние самомучения, связанные с нею. Так мне и надо было.

Чтоб уже не возвращаться к этой невеселой для меня теме «Чужой тени», несколько забегая вперед, скажу тут о ее последующей трагикомической истории.

Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы

Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову.

Поступил я именно так, вопреки своему обыкновению никуда ничего не посылать, потому что после своего разговора с Кузнецовым знал, что написание мною этой пьесы воспринимается как выполнение взятого на себя поручения или задания — не знаю уж, как лучше сказать, что будет ближе к тогдашней моей мысленной терминологии,— и, стало быть, то, что я сделал, следует представить на прочтение туда, где мне поручили это сделать. Такова была логика этого поступка, расходившаяся с моей обычной логикой: написал — неси в редакцию. Куда же еще?

Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху, ни духу. Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, оставшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новою книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».

Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» — «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий»,— и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но сообразив, что это номер вертушки, которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел — я оказался один на один с вертушкой. Я снял трубку и набрал номер — не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.

Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира».

Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:

«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».

После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.

Пропуск в начале этой записи сделан был мною тогда из соображений такта. С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому-то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все-таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:

— Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще...— тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною.

Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов

или по каким-то причинам, ему ведомым, или по не ведомым мне сложившимся обстоятельствам,— а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные — не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение — не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не счел нужным сказать о том, что она была мною послана.

Я привел эту незаписанную часть разговора, потому что в ней присутствуют тоже некоторые черточки для характеристики Сталина — и в его раздражении на то, что ему сразу не доложили о чем-то, к чему он когда-то имел прямое касательство, и в его словах: «Вчера получил и прочел». Записав сразу содержание разговора и перечитав его два или три раза, я понял, что, во-первых, в нем изложено не просто мнение о пьесе, а почти текстуальная программа переделки ее финала, и, во-вторых, именно это, не откладывая в долгий ящик, мне предстоит сделать.

Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по-другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие-то складывавшиеся у него в тот момент настроения, говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой.

Откровенно говоря, такой поворот в финале пьесы был мне по душе. Раз сам Сталин прощал Трубникова в пьесе за то, о чем он говорил, когда дело касалось реальной жизни, с такой нетерпимостью, я тем более готов был изменить к лучшему судьбу своего героя. Мне даже почудилось за этим предложением Сталина, за этим разговором с ним

какое-то предстоящее смягчение крайностей в том вопросе, который рассматривался в пьесе. Крайностей, которые чем дальше, тем больше беспокоили совесть многих людей нашего поколения, в том числе и мою совесть.

Увы, почти в те же самые дни мы получили наглядное подтверждение, что это не так. Но обо всем этом я расскажу позже, а сейчас о том трагикомическом аккорде, которым закончилась история с моей пьесой «Чужая тень».

Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе, сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем — комиссией по драматургии или журналом — на Сталинскую премию. Этого, будучи в отлучке, я не знал и попал прямо на секретариат Союза писателей, на котором предварительно, до начала заседания комитета по Сталинским премиям, обсуждались произведения, выдвинутые теми или другими литературными организациями на Сталинскую премию.

Среди других выдвинутых вещей я увидел и название своей пьесы. Не мое дело было что бы то ни было говорить на эту тему. В дальнейшем я иногда набирался решимости и писал, как это было, скажем, с романом «Товарищи по оружию», что прошу снять роман с обсуждения. Но в данном случае при сложившихся обстоятельствах я не мог говорить ни за свою пьесу, ни против нее, мне оставалось только молчать. А между тем некоторые из присутствовавших на секретариате моих коллег стали довольно резко выступать не столько против пьесы в целом, сколько против ее неправильного, слишком мягкого, слишком либерального, по чьему-то выражению, даже чуть ли не капитулянтского конца. Одни говорили, что Трубников непременно должен быть наказан на глазах у зрителя; другие предлагали сделать так, как у меня и было вначале,— чтобы над ним в финале продолжал висеть дамоклов меч будущего возмездия. Но с тем, чтоб правительство его простило, выступавшие были решительно не согласны и считали, что такой конец пьесы никак не позволяет выдвигать ее на Сталинскую премию. Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если

возникнут какие-либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.

Тем дело и закончилось. На том этапе, который представлял собой секретариат Союза писателей, пьеса была отведена с обсуждения. Но впереди были другие этапы, и Фадееву предстояло этим заниматься еще и как председателю Комитета по Сталинским премиям. Было бы неправильным и некрасивым с моей стороны не рассказать доверительно хотя бы ему одному, с глазу на глаз, о парадоксальности сложившейся ситуации. В тот же день, через несколько часов, поймав его одного, я это и сделал. Первой реакцией Фадеева был безудержный хохот, он долго и заливисто хохотал и сразу после этого, без малейшей паузы, стал совершенно серьезен.

— Почему ты заранее не сказал, почему поставил нас всех в такое глупое положение?

Я довольно резонно ответил на это, что, во-первых, Сталин не поручал мне рассказывать об этом телефонном разговоре и о том, что финал пьесы переделан именно так, как он предложил, в нескольких репликах даже текстуально точно; во-вторых, распространяться об этом и даже намекать на это мне казалось некрасивым с моей стороны и даже не очень приличным; а в третьих, откуда я мог заранее знать, что на секретариате в несколько голосов сразу так кинутся на этот финал. Я никак не ожидал этого, наоборот, он нравился мне самому, и мне казалось, что он понравится и другим.

— Да, посадил ты нас в лужу,— снова заливисто расхохотался Фадеев и снова, сразу став серьезным, сказал: — Другой раз ты должен хотя бы мне сразу говорить о таких вещах. А я, в свою очередь,— тебе.

На этом и кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим, то злившимся на меня Фадеевым.

В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде — Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы — ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как-то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полицеймако в Большом драматическом театре.

Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это среди многих происходивших в том, сорок девятом году тяжелых событий было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно.

А теперь, закончив эту историю, вернусь примерно на год назад, к тридцать первому марта 1948 года, когда происходила вторая, хотя и не полно, с пропусками, но все-таки записанная мною встреча со Сталиным. Но прежде чем привести свои записи, несколько слов еще об одном заседании, на котором я присутствовал. Было это заседание в июне сорок седьмого года, через две недели после того, как Сталин принимал нас по литературным вопросам. Записи об этом заседании у меня не осталось, очевидно, потому, что оно происходило вскоре после разговора Сталина с нами и ничего существенного к этому разговору не добавило. Как я сейчас вспоминаю, о литературе на этом заседании почти не говорилось, во всяком случае, ничего из говорившегося не запомнилось. Заседание было более официальное, более многолюдное, пожалуй более короткое, чем все другие, на которых я присутствовал. На этом заседании одновременно обсуждались и премии по науке и технике, и премии по литературе и искусству. Впоследствии они всегда обсуждались отдельно. Докладчиком от ЦК по литературе и искусству был Жданов, по науке и технике — Вознесенский.

Одно из воспоминаний, связанных у меня с этим заседанием, как раз о Вознесенском. Это было бы неправдой, если б я сказал, что этот человек, которого я видел впервые, мне понравился, как говорится, лег на душу. Было другое: он запомнился мне не потому, что понравился, а потому, что чем-то удивил меня, видимо, тем, как резковато и вольно он говорил, с какой твердостью объяснял, отвечая на вопросы Сталина, разные изменения, по тем или иным причинам внесенные

в первоначальные решения Комитета по премиям в области науки и техники, как несколько раз настаивал на своей точке зрения — решительно и резковато. Словом, в том, как он себя вел там, был некий диссонанс с тональностями того, что произносилось другими,— и это мне запомнилось.

Что же до литературы и искусства, то запомнилась история, внешне вполне юмористическая, но, если можно так выразиться, обоюдно, с двух сторон оперенная некоторой циничностью. Обсуждался фильм «Адмирал Нахимов». Когда Жданов как председатель комиссии доложил о присуждении этому фильму первой премии и перечислил всех, кому предполагалось дать премию за фильм, Сталин спросил его, все ли по этому фильму. Допускаю, что спросил, уже заранее зная, что нет, не все, и заранее забавляясь тем, чему предстояло произойти.

— Нет, не все,— сказал Жданов.

— Что?

— Вот есть письмо, товарищ Сталин.

— От кого?

Жданов назвал имя очень известного и очень хорошего актера.

— Что он пишет?

Он пишет, сказал Жданов, что будет политически не совсем правильно, если его не включат в число актеров, премированных по этому фильму, поскольку он играет роль турецкого паши, нашего главного противника, и если ему не дадут премии, то это может выглядеть как неправильная оценка роли нашего противника в фильме, искажение соотношения сил. Не поручусь за точность слов, но примерно так изложил это письмо Жданов.

Сталин усмехнулся и, усмехаясь, спросил:

— Хочет получить премию, товарищ Жданов?

— Хочет, товарищ Сталин.

— Очень хочет?

— Очень хочет.

— Очень просит?

— Очень просит.

— Ну раз так хочет, так просит, надо дать человеку премию,— все еще продолжая усмехаться, сказал Сталин. И, став вдруг серьезным, добавил: — А вот тот актер, который играет матроса Кошку, не просил премии?

— Не просил, товарищ Сталин.

— Но он тоже хорошо играет, только не просит. Ну человек не просит, а мы дадим и ему, как вы думаете?

За исключением изложения той просьбы, которую пересказал Жданов, в дальнейшем помню все слово в слово и готов поручиться за точность сказанного, но комментировать это охоты нет.

Пожалуй, следует, поскольку я упомянул здесь Вознесенского, как известно, погибшего два с лишним года спустя — ни за что ни про что по так называемому Ленинградскому делу, привести здесь одно связанное с Вознесенским воспоминание — не мое.

Тридцатью годами позже того заседания, на котором поведение Вознесенского привлекло мое внимание, один из тогдашних министров — Иван Владимирович Ковалев, с которым мы оказались в одной больнице между чахлыми, недавно посаженными деревцами, вспомнил, как, в качестве министра железнодорожного транспорта сопровождая Сталина в одну из его первых послевоенных поездок, по времени относившуюся примерно к тем же годам, о которых у меня шла речь, услышал от Сталина одобрительные слова о Вознесенском:

— Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих,— как объяснил мне Ковалев, Сталин иногда так иронически «заведующими» называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких подведомственных им министерств.— Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются не согласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям возражения Вознесенского.

Так, по воспоминаниям Ковалева, говорил тогда, где-то за год или за два до того, как уничтожить его, Сталин о Вознесенском и о стиле работы Вознесенского, который ему, Сталину, тогда нравился.

Слушать это спустя тридцать лет было страшновато.

А сейчас о той встрече, которая записана первого апреля сорок восьмого года, на следующий день после того, как она произошла. Вот эта запись с некоторыми сделанными мною тогда же комментариями, а все дополнения, которые сейчас мне кажутся необходимыми, я сделаю после того, как приведу всю тогдашнюю запись со всеми тогдашними комментариями.

Вот она, эта запись:

«Хочу по горячим следам записать основное, что говорилось по вопросам литературы в связи со вчерашним, 31 марта 1948 года, обсуждением Сталинских премий.

К Сталину на этот раз был вызван Фадеев и редакторы толстых журналов — Панферов, Вишневский, я и Друзин. В ходе обсуждения выдвинутых на премии вещей Сталин заговорил о том, что количество премий — элемент формальный и если появилось достойных премии произведений больше, чем установлено премий, то можно число премий и увеличить. Это и было тут же практически сделано, в том числе за счет введения не существовавших ранее премий третьей степени.

Свою мысль о том, что формальные соображения не должны быть решающими, Сталин несколько раз повторил и потом, в ходе заседания, и вообще в том, как он вел обсуждение, совершенно ясно проявилась тенденция — расширить и круг обсуждавшихся произведений, и круг обсуждаемых авторов, и если окажется достаточное количество заслуживающих внимания вещей, то премировать их пошире. Думаю, что, наверное, в связи с расширением этого круга и были впервые на такое заседание вызваны редакторы всех толстых журналов.

При обсуждении ряда вещей Сталин высказывал соображения, имеющие для нас общелитературное значение. Когда обсуждали «Бурю» Эренбурга, один из присутствовавших (докладывавший от комиссии ЦК по премиям в области литературы и искусства Д. Т. Шепилов), объясняя, почему комиссия предложила изменить решение Комитета и дать роману премию не первой, а второй степени, стал говорить о недостатках «Бури», считая главным недостатком книги то, что французы изображены в ней лучше русских.

Сталин возразил:

— А разве это так? Разве французы изображены в романе лучше русских? Верно ли это?

Тут он остановился, ожидая, когда выскажутся другие присутствовавшие на заседании. Мнения говоривших, расходясь друг с другом в других пунктах, в большинстве случаев совпали в том, что русские выведены в романе сильно и что, когда изображается заграница, Франция, то там показаны и любовь французских партизан и коммунистов к Советскому Союзу, показана и роль побед Советского Союза и в сознании этих людей, и в их работе, а также в образе Медведя показана активная роль русских советских людей, попавших в условия борьбы с фашистами в рядах французского Сопротивления. Подождав, пока все выскажутся, Сталин, в общем, поддержал эти соображения, сказав:

— Нет, по-моему, тоже неверно было бы сказать, что французы изображены в романе Эренбурга сильнее русских,— потом, помолчав, задумчиво добавил: — Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но «Буря» — большая вещь. А люди, что ж, люди у него показаны средние. Есть писатели, которые не показывают больших людей, показывают средних, рядовых людей. К таким писателям принадлежит Эренбург,— Сталин снова помолчал и снова добавил: — У него хорошо показано в романе, как люди с недостатками, люди мелкие, порой даже дурные люди в ходе войны нашли себя, изменились, стали другими. И хорошо, что это показано».

Далее в моей записи стоит пробел и заголовок: «Несколько слов примечаний». Привожу их, напоминая еще раз, что примечания тогдашние:

«Это не было достаточно прямо сказано, но лично у меня было ощущение двух разных пониманий недостатков Эренбурга, которые выявились в этом разговоре. В речи того, кто первым говорил при обсуждении романа, получила свое отражение критика, уже прозвучавшая в нашей печати. Указывая на недостатки романа Эренбурга в изображении советских людей, она взяла крен в сторону эстетическую и морально-психологическую. Говорилось о том, что эти люди показаны хуже, слабее французов, во-первых, с точки зрения того, как они показаны, и во-вторых, с точки зрения того, как изображены их душевные изгибы, психологические нюансы, тонкости и так далее. Именно с этой точки зрения критики пришли к вы-

воду, что французы в романе Эренбурга показаны сильнее, а русские — слабее.

Сталин (как я по крайней мере его понял) подошел к этому вопросу с другой, главной стороны — что советские люди показаны в романе сильнее французов в буквальном смысле этого слова. Они сильней, на их стороне сила строя, который стоит за ними, сила их морали, сила воли, сила убежденности, сила правды, сила их советского воспитания. Со всех этих точек зрения они в романе сильней французов. И несмотря на все недостатки «Бури», а эти недостатки абсолютно точно сформулированы простым замечанием: «Может быть, он лучше знает Францию», сделанным с выделением слова «знает»,— они, эти недостатки, не перевешивают положительного эффекта понятия «сильнее» в буквальном смысле этого слова».

На этом заканчиваются мои тогдашние примечания и продолжается запись происходившего на заседании:

«В связи с Эренбургом заговорив о писателях, изображающих рядовых людей, Сталин вспомнил Горького. Вспомнил его вообще и роман «Мать» в частности:

— Вот «Мать» Горького. В ней не изображено ни одного крупного человека, все — рядовые люди.

Еще более подробный разговор, чем о «Буре», возник, когда стали обсуждать роман Веры Пановой «Кружилиха». Фадеев, объясняя причины, по которым на Комитете по Сталинским премиям отвели этот первоначально выдвинутый на премию роман, стал говорить о присущем автору объективизме в изображении действующих лиц и о том, что этот объективизм подвергался критике в печати.

Вишневский, защищая роман, долго говорил, что критика просто-напросто набросилась на эту вещь, только и делали, что ругали ее.

— По-моему, и хвалили! — возразил Сталин.— Я читал и положительные статьи.

(Скажу в скобках, что по всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясшую меня осведомленность.)

— Что это — плохо? — возразив Вишневскому, спросил Сталин у Фадеева.— Объективистский подход?

Фадеев сказал, что объективистский подход, по его мнению, это безусловно плохо.

— А скажите,— спросил Сталин,— вот «Городок Окуров», как вы его оцениваете?

Фадеев сказал, что в «Городке Окурове» за всем происходящим там стоит Горький с его субъективными взглядами. И в общем-то ясно, кому он отдает свои симпатии и кому — свои антипатии...

— Но,— добавил Фадеев,— мне лично кажется, что в этой вещи слишком многое изображено слишком черными красками и авторская тенденция Горького, его субъективный взгляд не везде достаточно прощупываются.

Выслушав это, Сталин спросил:

— Ну, а в «Деле Артамоновых» как? На чьей стороне там Горький? Ясно вам?

Фадеев сказал, что ему ясно, на чьей стороне там Горький.

Сталин немножко развел в стороны руки, усмехнулся и полуповторил, полуспросил, обращаясь и ко всем, и ни к кому в особенности:

— Ясно? — и перед тем, как вернуться к обсуждению «Кружилихи», сделал руками неопределенный насмешливый жест, который, как мне показалось, означал: «А мне, например, не так уж ясно, на чьей стороне Горький в „Деле Артамоновых“».

Кто-то из присутствующих стал критиковать «Кружилиху» за то, как выведен в ней предзавкома Уздечкин.

— Ну, что ж,— сказал Сталин.— Уздечкины у нас еще есть.

Жданов подал реплику, что Уздечкин — один из тех, в ком особенно явен разлад между бытием и сознанием.

— Один из многих и многих,— сказал Сталин.— Вот все критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным, критикуют за этот конфликт. А разве это так просто в жизни решается, так просто сочетается? Бывает, что и не сочетается,— Сталин помолчал и, ставя точку в споре о «Кружилихе», сказал про Панову: — Люди у нее показаны правдиво.

Потом перешли к обсуждению других произведений. Вдруг в ходе этого обсуждения Сталин спросил:

— А вот последние рассказы Полевого — как они, по вашему мнению?

Ему ответили на это, что рассказы Полевого неплохи, но значительно слабее, чем его же «Повесть о настоящем человеке».

— Да, вот послушайте,— сказал Сталин,— что это такое? Почему под этим рассказом стоит «литературная

редактура Лукина»? Редакция должна редактировать рукописи авторов... Это ее обязанность. Зачем специально ставить «литературная редактура Лукина»?

Панферов в ответ на это стал объяснять, что во всех изданиях книжного типа всегда ставится, кто редактор книги. А когда вещь печатается в журнале — кто именно ее редактировал,— обычно не ставится, а если при публикации указывается ее литературный редактор, то это имеет особый смысл, как форма благодарности за большую редакторскую работу.

Сталин не согласился.

— В каждом журнале есть редакция. Если у автора большие недостатки и если он молод, редакция обязана помогать ему, обязана редактировать его произведения. Это и так ее обязанность,— жестко подчеркнул Сталин,— зачем же эти слова «литературная редактура»? Вот, например, в третьем номере «Знамени» напечатано: «Записки Покрышкина при участии Денисова». Тоже литературная редакция Денисова и благодарность за помощь Денисову?

Вишневский стал объяснять Сталину, как родилась эта книга, что Покрышкин хотел рассказать эпизоды из своей жизни, но что всю книгу от начала и до конца написал полковник Денисов, и они вместе избрали наиболее деликатную форму: Покрышкин благодарит Денисова за помощь.

— Если написал Денисов,— сказал Сталин,— так пусть и будет написано: Денисов о Покрышкине. А то так много писателей у нас появится.

10 марта 1979 года

На эту тему говорили еще довольно долго и подробно. А общий смысл того, к чему вел этот разговор Сталин, и смысл тех реплик, которые он подавал в ходе этого разговора, заключается, насколько я понимаю, в следующем. Редактура, даже самая большая и глубокая, есть дело редакции, дело общественное, за которое нет оснований требовать особой благодарности, почета и публичности. А что касается вещи, которую пишет один человек, а подписывает другой, и всяческих «спасательных» форм вроде «литературная редакция» или «литературная запись», благодарность за помощь и прочее,— все это вызвало у Сталина категорические возражения. Это вопрос сложный,

и нам, конечно, предстоит его продумать, ибо выходы из него безусловно есть — и такой, как соавторство, и такой, как честное предисловие, описывающее метод работы. Наконец, возможна и такая форма, как «книга такого-то о таком-то, написанная по его собственным рассказам», причем в этом случае предисловие может принадлежать или тому, кто писал книгу, или тому, кому принадлежит устный рассказ, положенный в ее основу.

После разговора, связанного с рассказами Полевого, зашла речь о книге Василия Смирнова «Сыновья». Фадеев характеризовал ее и объяснил, почему она была отведена на Комитете,— в связи с ее не особенно актуальной сейчас тематикой, изображением деревни начала этого века.

Сталин сказал задумчиво:

— Да, он хорошо пишет, способный человек,— потом помолчал и добавил полувопросительно, полуутвердительно: — Но нужна ли эта книга нам сейчас?!

Панферов заговорил о книгах Бабаевского и Семушкина, настаивая на том, что их можно было бы включить в список премированных произведений, сделав исключение, премировав только первые, вышедшие части романов и таким образом поощрив молодых авторов.

Сталин не согласился.

— Молодой автор,— сказал он.— Что значит молодой автор? Зачем такой аргумент? Вопрос в том, какая книга — хорошая ли книга? А что же — что молодой автор?

Эти его слова не были отрицательной оценкой названных Панферовым книг. Наоборот, об этих книгах он отозвался, в общем, положительно. А его замечание — что значит молодой автор? — носило в данном случае принципиальный характер».

Вот то, что было записано тогда, включая соображения, возникшие у меня после заседания и перед записью.

А теперь несколько дополнений, связанных с тем заседанием, которые я, по понятным причинам, не мог тогда записать, и некоторые мои нынешние воспоминания и размышления.

Первое дополнение связано с тем, что Сталин имел обыкновение — я видел это на нескольких заседаниях, не только на том, о котором сейчас пишу,— брать с собой на заседание небольшую пачку книг и журналов. Она лежала слева от него под рукой, что там было, оставалось

неизвестным до поры до времени, но пачка эта не только внушала присутствующим интерес, но и вызывала известную тревогу — что там могло быть. А были там вышедшие книгами и напечатанные в журналах литературные произведения, не входившие ни в какие списки представленных на премию Комитетом. То, о чем шла, точнее, могла пойти речь на заседании в связи с представлениями Комитета по Сталинским премиям, Сталин, как правило, читал. Не могу утверждать, что он всегда читал все. Могу допустить, что он какие-то прозведения и не читал, хотя это на моей памяти ни разу прямо не обнаружилось. Все, что во время заседания попадало в поле общего внимания, в том числе все, по поводу чего были расхождения в Союзе писателей, в Комитете, в комиссии ЦК,— давать, не давать премию, перенести с первой степени на вторую или наоборот,— все, что в какой-то мере было спорно и вызывало разногласия, он читал. И я всякий раз, присутствуя на этих заседаниях, убеждался в этом.

Когда ему приходила в голову мысль премировать еще что-то сверх представленного, в таких случаях он не очень считался со статусом премий, мог выдвинуть книгу, вышедшую два года назад, как это в мое отсутствие было с моими «Днями и ночами», даже напечатанную четыре года назад, как это произошло в моем присутствии, в сорок восьмом году. В тот раз я сидел рядом с редактором «Звезды» Друзиным, сидел довольно далеко от Сталина, в конце стола. Уже прошла и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно, открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:

— Кто читал пьесу «Вороний камень», авторы Груздев и Четвериков?

Все молчали, никто из нас пьесы «Вороний камень» не читал.

— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда»,— сказал Сталин.— Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на нее не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут еще мнения?

По духу, который сопутствовал этим обсуждениям на Политбюро, вопрос Сталина: «Какие будут еще мнения?» — предполагал, что иных мнений быть не может, но в дан-

ном случае их действительно не предполагалось, поскольку стало ясно, что никто, кроме него самого, пьесу не читал.

Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:

— Что делать? Она была напечатана у нас в «Звезде», но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?

— Конечно, сказать,— прошептал я в ответ Друзину, подумав про себя, что если Друзин скажет, то Сталин, наверное, освободит автора понравившейся ему пьесы. Чего ему стоит это сделать? А если Друзин промолчит сейчас, ему дорого это обойдется потом — то, что он знал и не сказал.

— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин.— Я думаю...

Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:

— Он сидит, товарищ Сталин.

— Кто сидит? — не понял Сталин.

— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.

Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:

— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»...

После критики перешли к кино, тут хорошо помню, как я испытал некую мстительную радость, когда среди других фильмов была дана премия и фильму «Русский вопрос», к которому я имел отношение только как автор первоисточника сценария — пьесы. Все остальное было сделано Михаилом Ильичом Роммом, он был не только режиссером, но и автором сценария, для которого я написал всего несколько фраз, показавшихся Ромму необходимыми для последнего монолога героя пьесы Смита. Я получил премию за «Русский вопрос» годом раньше и, разумеется, в числе премированных на этот раз не фигурировал. А некоторая мстительная радость возникла у меня вот почему. Еще в последние годы войны при руководителе кинематографии был создан независимый от него художественный совет. Туда входили различные известные

деятели искусства, литературы, журналисты, философы, председателем его был Леонид Федорович Ильичев, человек, уму и незаурядным способностям которого я отдавал должное, но при этом стойко и однообразно не любил его на всех тех постах, на которых он в разное время находился. Не любил за тот способ употребления своего ума и способностей, который он избирал в различных конфликтных ситуациях.

Я не бывал на художественном совете чуть ли не с первого послевоенного лета — не то два, не то три года, и явился на него, когда обсуждался фильм «Русский вопрос». Характер этого обсуждения после долгого перерыва поразил меня и по сути, и по форме. По форме тон, который задавал председатель, был желчным и грубым, а по сути от Ромма требовали того, чего не было в пьесе «Русский вопрос»: отношения с Америкой за время, пока делалась картина, сильно обострились, ужесточились, и от Ромма хотели, чтобы эту новую ситуацию сильно ожесточившихся отношений он механически перенес в фильм, действие которого, как и пьесы, разворачивалось сразу же после окончания войны в той атмосфере, которая тогда существовала, а не в той, которая сложилась к сорок восьмому году. В сущности, от него требовали, чтобы он сделал другой фильм, этот к выпуску на экран не рекомендовали, причем все это еще сопровождалось грубыми высказываниями по адресу актеров и актрис — а надо добавить, главную роль в «Русском вопросе» играла жена Ромма, превосходная актриса Кузьмина,— что усугубляло и грубость высказываний.

Я там, на этом художественном совете, не согласился ни с существом упреков, адресованных Ромму, ни с формой. А по поводу формы в заключение сказал, что не узнаю художественного совета. Видимо, за то время, что я не был на его заседаниях, здесь успели привыкнуть к грубости и даже к хамству, не украшающим наше собрание. Примерно так. Некоторые из моих коллег сочли себя оскорбленными, на следующем собрании художественного совета постановили осудить мое непозволительное поведение.

Вот почему присуждение Ромму за его фильм Сталинской премии первой степени было для меня связано с некоей долей мстительной личной радости или, если угодно, удовлетворения. А в принципиальном плане, что было, конечно, куда важнее, давало, как мне тогда показалось, некоторую почву для борьбы со сверхконъюнктурщиками,

подчинившись которым нам пришлось бы в связи то с теми, то с другими общественными изменениями и веяниями чуть не каждый год заново черкать и дописывать раньше написанные вещи.

Я вспомнил всю эту, в общем, не столь значительную историю, имевшую отношение ко мне и к Ромму, потому что она весьма характерна для тех, во многих отношениях очень трудных ситуаций, когда отнюдь не всегда дело кончалось таким образом, как у нас с Роммом, порою как раз наоборот, к немалому, а порою просто-напросто стыдному ущербу для нашего искусства и нашей литературы.

Обсуждение всех премий было уже закончено, но Сталин, к концу обсуждения присевший за стол, не вставал из-за стола, похоже было, что он собирался сказать нам нечто, припасенное к концу встречи. Да мы в общем-то и ждали этого, потому что существовал один вопрос, оставленный без ответа. Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семеновича Тихонова «Югославская тетрадь», книгой, в которой было много хороших стихов. О «Югославской тетради» немало писали и вполне единодушно выдвигали ее на премию. Так вот эту премию как корова языком слизала, обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал, как будто она не существовала в природе. Это значило, что произошло что-то чрезвычайное. Но что? Я и другие мои товарищи не задавали вопросов на этот счет, думая, что если в такой ситуации спрашивать, то это должен сделать Фадеев, как старший среди нас, как член ЦК. Но Фадеев тоже до самого конца так и не задал этого вопроса про «Югославскую тетрадь» Тихонова, — или не считал возможным задавать, или знал что-то, чего не знали мы, чем не счел нужным или не счел себя вправе с нами делиться.

Просидев несколько секунд в молчании, Сталин, обращаясь на этот раз не к нам, как он это делал обычно, а к сидевшим за столом членам Политбюро, сказал:

— Я думаю, нам все-таки следует объяснить товарищам, почему мы сняли с обсуждения вопрос о книге товарища Тихонова «Югославская тетрадь». Я думаю, им надо это знать, и у них, и у товарища Тихонова не должно быть недоумений.

В ответ на этот полувопрос, полуутверждение кто-то сказал, что да, конечно, надо объяснить. В общем, согласились со Сталиным.

Должен в связи с этим заметить, что, как мне показа-

лось, в тех случаях, когда какой-то вопрос заранее, без нашего присутствия, обговаривался Сталиным с кем-то из членов Политбюро или со всеми ними, Сталин не пренебрегал возможностью подчеркнуть нам, что он высказывает общее мнение, а не только свое. Другой вопрос, насколько это было намеренно и насколько естественно, что шло тут от привычки и давнего навыка, что от сиюминутного желания произвести определенное впечатление на тех представителей интеллигенции, которыми мы являлись для Сталина на этих заседаниях.

— Дело в том,— сказал Сталин,— товарищ Тихонов тут ни при чем, у нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито плохо себя ведет.

Сталин встал и прошелся. Прошелся и повторил:

— Плохо себя ведет. Очень плохо.

Потом Сталин походил еще, не то подыскивая формулировку специально для нас, не то еще раз взвешивая, употребить ли ту, что у него была наготове:

— Я бы сказал, враждебно себя ведет,— заключил Сталин и снова подошел к столу.— Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение. Ну, а почему мы не могли сделать это сейчас, надо ему разъяснить, чтоб у него не возникло недоумения. Кто из вас это сделает?

Сделать это вызвался я. Примерно на этом и кончилось заседание. Никаких более подробных объяснений, связанных с Тито, Сталин давать не счел нужным.

Задаю себе сейчас вопрос: почему я сам вызвался тогда идти к Тихонову и рассказывать ему о том, что произошло с его «Югославской тетрадью»? Может быть, помимо дружбы с Тихоновым, желания по-дружески взять на себя этот нерадостный для него разговор, играло роль и то, что я, пожалуй, острее других моих товарищей чувствовал какое-то назревшее неблагополучие в наших отношениях с Тито.

Осенью сорок седьмого года как глава маленькой делегации, в которую входили один из секретарей ЦК комсомола Шелепин и заведующий московским парткабинетом, в прошлом секретарь партийной организации Союза писателей Хвалебнова, я был в Югославии на конгрессе Народного фронта,— это был последний конгресс, на котором присутствовали в те годы представители Советского Союза. Когда мы прилетели в Белград, на аэродроме никого из

нашего посольства не было, нас встречал один из членов тогдашнего Политбюро Югославии, председатель их Госплана Андрия Хебранг. Мы поехали прямо на конгресс, потому что мы, как почти всегда в те годы, опаздывали или прибывали к самому началу,— так и не заехав в посольство.

На конгрессе Народного фронта мы сидели, как и все другие делегации, на сцене, в первом из нескольких косо спускавшихся вниз рядов. Председательствовавший на конгрессе Сретен Жуйович вел заседание сверху, из-за наших спин, а перед нами был зал, и в его широком центральном проходе на двух отдельно поставленных прямо перед сценой креслах на протяжении нескольких дней заседаний сидели Тито и Ранкович. Прямо перед нами, в нескольких метрах от нас, глаза в глаза.

Я не видел Тито три года, с осени сорок четвертого, и он, особенно рядом с одетым в пиджачную пару Ранковичем, показался мне каким-то холеным и броско нарядным. Некоторая барственная повадка была ему свойственна и тогда, в сорок четвертом году. За эти три года она стала куда заметней, так же, как и его забота о своей внешности и костюме.

Было и что-то странное в этом сидении в креслах — вроде и со всеми, но отдельно от всех, вроде и демократично, но как-то афишированно. Особенно это меня поразило, зацепило мое внимание в первый день; потом, в следующие дни — а конгресс продолжался три или четыре дня — я уже стал привыкать к этому, потому что Тито вместе с Ранковичем бывал на конгрессе каждый день.

В посольстве нашем, куда мы приехали в первый вечер, была какая-то странная сумятица. Посол Лаврентьев, которому Шелепин со свойственной ему прямотой высказал все, что думал о том, что нас не встретили и не позаботились проинформировать, и пообещал об этом безобразии рассказать в Москве, в ответ говорил что-то невнятное. Мол, ни о чем особенно информировать ему нас нет необходимости, о своих наблюдениях и выводах он информирует Москву, а нам предстоит сделать то же самое на основании наших наблюдений. Он явно не хотел входить с нами ни в какие подробности обстановки, предоставив нас самим себе.

Из последующих впечатлений этой поездки в мою память запали два.

Во-первых, прием у Тито в каком-то загородном или

пригородном дворце. Прием этот происходил в самом дворце и — благо, погода была еще хорошая, стояла золотая осень — в парке и на открытой площадке около дворца. Тито был необыкновенно нарядно одет, в каком-то весьма шедшем ему мундире, с перстнями на пальцах. Он был гостеприимен и, я бы сказал, обаятелен, если бы это обаяние не было каким-то подчеркнутым, осознанным и умело эксплуатируемым. Он был радушен со всеми, с нами тоже, и вообще в его обращении с нами не чувствовалось ничего, что бы говорило о грядущем изменении отношений. Но сам он был не таким, как в сорок четвертом году. Другим, чем в первый ноябрьский праздник в освобожденном Белграде. Там он был первым среди своих товарищей, неоспоримо первым, а здесь была встреча вождя с народом, встреча, требовавшая если не кликов, то шепота восхищения.

Сейчас, думая о том, что это мне напоминает, я вдруг вспомнил по ассоциации завершающую или одну из завершающих сцен в фильме «Падение Берлина». Сцену, которая была вставлена туда по предложению самого Сталина: Сталин, величественно сыгранный Геловани, нарядный, непохожий на себя самого, среди встречающих его на аэродроме в Берлине ликующих людей. Кто знает, почему Сталин при его уме и иронии заставил вкатить в фильм эту чудовищную по безвкусице сцену, кстати, не имевшую ничего общего ни с исторической действительностью, потому что ничего этого не было, ни с его личностью, ибо он был в этом фильме, в этой его сцене совершенно не похож на самого себя? У меня есть только одно объяснение: Сталин считал, что главное лицо победившей страны — Верховный главнокомандующий ее армии, он должен остаться в памяти народа этакой выбитой на бронзе медалью, этаким помпезным победителем, нисколько не похожим на него самого в жизни. Если это так, то за этим стояло высокомерие, презрение к простым людям, якобы неспособным понять его роль в истории без этой пышной и дешевой сцены апофеоза.

Я вспомнил сейчас именно эту резавшую мне и тогда глаз сцену из фильма «Падение Берлина» по ассоциации с тем явлением Тито народу, которое мы наблюдали в Белграде с чувством внутренней неловкости и неодобрения.

То, как вел себя Тито на этом приеме, не понравилось всем нам троим. А то, как вел себя Жуйович, провожавший нас на аэродром, встревожило нас, меня уж во всяком

случае. Мы сидели и говорили с ним на аэродроме так долго, как только можно было, пили вино, снова говорили. Он был очень взволнован чем-то, ему явно не хотелось нас отпускать. Задерживалась раза два посадка на самолет, может быть, даже был задержан на сколько-то минут и сам отлет. Было такое ощущение, как будто этот человек в последнюю минуту что-то хочет нам сказать или хотя бы что-то дать понять. Но что? За этим чувствовалось какое-то не понятное еще нам неблагополучие.

И Хебранг, встречавший нас, и Жуйович, провожавший нас, были людьми, о которых я потом слышал — сначала много хорошего, потом много плохого. Но так или иначе оба они впоследствии погибли там, в Югославии, в ходе того конфликта, который возник у Сталина с Тито. В сочетании с их драматическим финалом все это с большой остротой запечатлелось в моей памяти.

---

16 марта 1979 года

Тогда, когда я ехал к Николаю Семеновичу Тихонову рассказывать ему о происшедшем на заседании, предстоящая трагедия еще только разворачивалась, но слова Сталина о Тито, хотя и были для меня в его устах абсолютной неожиданностью, все-таки упали на почву какого-то моего собственного недоумения и ощущения неблагополучия или, во всяком случае, не полного благополучия.

Раз я уж затронул эту тему, надо в том, что касается лично меня, договорить все до конца, тем более что, как я уже убедился за то время, пока пишу этот черновик, тема «Сталин глазами человека моего поколения» во многих случаях почти неотделима от темы, порой еще более внутренне трудной: «Ты сам своими собственными глазами много лет спустя».

Как-то, дело было уже после заседания Коминформа и полного разрыва отношений с Тито, меня вызвали и, познакомив с рядом материалов ТАСС, связанных с выступлениями Тито и с выступлениями председателя Союзной Скупщины Моше Пиаде, предложили мне откликнуться на эти выступления политическим памфлетом и добавили, что я должен рассматривать это как прямое поручение товарища Сталина.

Что теперь сказать об этом вышедшем из-под моего пера так называемом политическом памфлете. Мне стоило немалого труда заставить себя перечесть это сочинение,

написанное с постыдной грубостью и, самое главное, ложное по своим предпосылкам и по своему материалу. Тогда меня вызвал по поводу этой статьи Молотов. Усадив меня у себя в кабинете за стол для заседаний и сев рядом со мной, он показал мне мою статью, лист за листом, не передавая ее мне в руки. Оказывается, статью правил Сталин и поручил Молотову прежде, чем передать статью в печать, познакомить меня, автора, с этой правкой. Не буду повторяться, я уже сказал то, что думаю сейчас об этой статье, она была хороша и без правки, но правка, и довольно значительная, еще больше усугубляла грубость статьи. Финальный абзац, целиком написанный Сталиным, и название, им же придуманное, доводили эту грубость до геркулесовых столбов. Спросив для проформы, согласен ли я с той правкой, которая сделана в статье, Молотов, так и не дав мне в руки ни одной страницы, оставил ее у себя, простился со мной, а на следующий день я имел возможность прочесть ее именно в этом виде. Так выглядело все, связанное с этой статьей, не украсившей ни моего жизненного, ни моего журналистского пути.

Если вспомнить наши тогдашние ощущения, то во мне, например, в связи с югославскими делами, боролись разные чувства. Чему-то из писавшегося про Югославию в статьях и документах я верил, чему-то не верил; на душе была тяжесть от всего происшедшего между нами и югославами. Было хорошо понятное мне сейчас стремление уверить себя в том, что югославское руководство больше, чем наше, виновато в том, что произошло. Но самое главное противоречие состояло в том, что я ведь помнил Югославию сорок четвертого года, помнил по тем временам не только Тито, а и других людей, многих и разных, в частности Кочу Поповича, с которым мы не один день и не одну ночь провели бок о бок в Южной Сербии и который стал затем начальником Генерального штаба, а после этого государственным секретарем и, стало быть, разделял политику и позицию Тито. А облик Кочи Поповича, все воспоминания о нем не могли связаться для меня с понятием предательства. И вообще все вместе не укладывалось в нечто единое. Вспоминая Югославию сорок четвертого года, я не мог мысленно совместить это с тем, что, если верить всему, что писалось и говорилось, происходило там теперь.

Поездка в пятьдесят пятом году нашей правительственной делегации во главе с Хрущевым в Югославию,

возрождение отношений и та откровенность, с которой при обсуждении итогов этой поездки на пленуме ЦК говорилось о мере нашей ответственности,— все это было мне не просто по душе, а снимало тот камень, который на ней лежал. Тогда же, в пятьдесят пятом году, готовясь к выступлению на московском городском партийном активе, я решил, что с моей стороны будет непорядочным умолчать о собственной доле ответственности. Повторяться на такие темы довольно мучительно, поэтому приведу здесь сказанное тогда:

«Мне было, например, горько, что в годы разрыва с Югославией и я, как журналист, вложил свою лепту в тот хор, прямо скажем, брани по адресу руководителей Югославии, в тот хор, который не один год звучал со страниц наших газет. Я думаю о том, что, конечно, можно сейчас сослаться на ту чудовищную дезинформацию, которую преступно стремилась поставлять шайка Берии — Абакумова; можно сослаться на очень авторитетные документы, которые появились в результате ошибочного доверия к этой чудовищной дезинформации, но я вот сейчас спрашиваю себя не в порядке бития в грудь — это никому из нас не нужно,— а вот так, просто по-человечески: ну, безусловно, можно было поверить в то, что кто-то в той же Югославии не оправдал доверия народа, оказался не тем, кем его считали, это бывает в истории, мы знаем. Но как все-таки можно было до конца поверить в то, что почти все буквально люди, которые в годы войны руководили югославской компартией, были во главе правительства, командовали партизанскими бригадами, дивизиями и корпусами, что все они якобы оказались не теми, за кого их считал народ. Нельзя было в это верить, такая доверчивость не делает чести никому, так, говоря просто по-человечески, быть не могло и не было».

Остается добавить, что и после пятьдесят пятого года в течение ряда лет я не находил в себе сил поехать в Югославию даже тогда, когда возникла прямая необходимость побывать в тех местах, где я был во время своего пребывания у партизан. Мне было стыдно ехать, все из-за той же проклятой статьи. Многое из происходившего за последующее десятилетие там, в Югославии, не привлекало моих симпатий к личности Тито, скорее наоборот, он все чаще вспоминался мне в своем дворце при том явлении вождя народу, о котором я уже упоминал, и все реже вспоминался поющим вместе с командирами партизанских

корпусов «Эй, комроты, даешь пулеметы!» в сорок четвертом году на празднике седьмого ноября. Все так, но та давнишняя статья моя про этого человека оставалась ложью, и мне продолжало быть стыдно за нее.

Когда я наконец все-таки решился, придравшись к случаю — к какой-то международной туристической конференции, которая происходила в Сплите и на которую меня пригласили,— взял и поехал в Югославию, побывал не только в Сплите, но и в местах, знакомых мне по военному времени, при всем радушии и добром отношении всех югославов, с которыми я встречался, при их явно выраженном нежелании вспоминать тяжелые страницы прошлого, для меня оставался очень важным и болезненным вопрос: захочет ли теперь встретиться со мной Коча Попович? Захочет ли он этого после той, несомненно читанной им в бытность не то начальником Генерального штаба, не то государственным секретарем моей статьи?

В то время, когда я приехал в Югославию, он был не то что не у дел, но занимал пост скорее весьма почетный, чем сопряженный с реальной властью. Я через третьих лиц сообщил ему, что хотел бы с ним встретиться, если у него есть на то желание. Он подтвердил, что готов встретиться, назначил час и заехал за мной в гостиницу, чтобы, как выяснилось, вместе пойти пообедать в какой-то любимый рыбный ресторанчик. Был он все такой же легкий, худощавый, как раньше, очень похожий на себя самого, каким был двадцать с лишним лет назад. В разговоре с этим человеком, который, по первому моему впечатлению, остался таким же, каким был, и к которому я продолжал чувствовать прежнюю симпатию, я не уклонился от тяготившего меня воспоминания о моей статье. Он задумался, помолчал, потом сказал, что время было очень плохое, что вы, конечно, были во многом виноваты. «Но и мы тоже были виноваты»,— добавил он с грустью. Мне вообще показалось, что он был грустен. Было нечто в обстановке, сложившейся к тому времени в Югославии, тяготившее его, было что-то не то или не совсем то, о чем он мечтал в сорок четвертом году, когда мы ездили с ним на одном «джипе», и, может быть, воспоминания об этом даже обострили его нынешнюю грусть.

Мы довольно долго просидели вместе, потом он меня завез обратно в гостиницу, и мы расстались. Его все узнавали в лицо — на улице, в ресторане, в гостинице, но он вел себя, совершенно не замечая этого. Накинув плащ, он

быстрой походкой вышел на улицу. Было что-то в этом человеке, во всей его худощавой легкости, во всем его спартанстве, в его одновременной скромности и резкости, в его смешанной с иронией грусти, никак не сочетавшееся с обликом другого человека, с обликом Тито. Наверное, облик того и другого был частью их человеческой сути. Это были два очень разных человека, и у меня тогда осталось ощущение, хотя на эту тему между нами не было сказано ни единого слова, что им, кажется, уже давно, уже не первый, далеко не первый год, в чем-то не по дороге.

Однако хочу вернуться к своим размышлениям, связанным с тем заседанием Политбюро в сорок восьмом году. Хотя о нем сказано и так уже много, а все же что-то остается недосказанным. Во-первых, о присутствующих. Заседания эти — и в сорок восьмом, и в последующие годы, вплоть до пятьдесят второго, скажу обо всех сразу, в одном месте,— никогда не были многолюдными. Были там обычно члены Политбюро и начальник или заместитель начальника управления агитации и пропаганды ЦК, на заседаниях бывали министр кинематографии, председатель Комитета по делам искусств и трое-четверо писателей — секретарей Союза. Однажды к ним добавились еще два редактора толстых журналов и редакторы, совмещавшие свои должности с секретарством в Союзе, как это было у нас с Вишневским. Вот и все. По-моему, бывал на этих заседаниях от композиторов еще и Тихон Хренников. Чтобы хоть когда-нибудь были актеры или художники, или театральные и кинорежиссеры, я что-то не могу вспомнить. Словом, все это было очень немноголюдно. От этого и доверительная тональность — не столько заседаний, сколько разговоров с нами,— с которой Сталин вел эти встречи. Члены Политбюро высказывались мало, особенно на литературные темы. Видимо, литература, особенно после смерти Жданова, воспринималась всецело как епархия самого Сталина, и только его.

Иногда высказывались о живописи, о которой судили по репродукциям, представленным Комитетом по делам искусств. Иногда о спектаклях, чаще о кино. Это, пожалуй, понятно: ощущения, что кто-нибудь, кроме Сталина, следит за литературой, у меня не было. Каждый, конечно, что-то читал, один — одно, другой — другое, а кино смотрели все вместе и зачастую не единожды. Должно быть, поэтому и возникал общий разговор на тему, премию какой степени дать той или иной кинокартине. И когда

возникали разные мнения в этой единственной области, в кино, Сталин прибегал к голосованию:

— Давайте проголосуем, кто за первую премию, кто за вторую.

Сам он руки не поднимал, смотрел на поднятые руки и мысленно, очевидно, присоединял себя к тем или к другим, и говорил результат:

— Значит, даем первую.

Или:

— Значит, даем вторую.

Ничего похожего при обсуждении всех других сфер искусства на моей памяти не происходило. Когда дело касалось кино, Сталин больше общался с членами Политбюро, чем с нами, приглашенными, интересовался их мнением, а не нашим. Не могу припомнить, чтобы он во время этих заседаний когда-нибудь спросил наше мнение о кинофильмах. С литературой же все было наоборот. Он ничьего мнения, кроме нашего, о произведениях литературы, на моей памяти, не спрашивал.

Помню, как на последнем заседании, на котором я присутствовал,— оно происходило уже в пятьдесят втором году не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний со столиками-пюпитрами, когда мы пришли и стали садиться подальше, ожидая, что поближе к Сталину сядут вошедшие вместе с ним члены Политбюро,— он полушутя-полусерьезно сказал:

— Давайте вы садитесь поближе, они-то тут каждый день бывают, а с вами мы редко видимся (или: вы редкие гости здесь — что-то в этом духе было сказано).

Но я тогда не понимал до конца того значения, которое придавал Сталин этим встречам, происходившим раз в год. Только уже после его смерти, узнав, как редко в последние годы он принимал людей, его по много месяцев не видели даже и некоторые члены Политбюро; все общение его с миром происходило преимущественно через посредство нескольких людей, никаких сколько-нибудь широких встреч не бывало,— только тогда я задним числом сообразил, что в последние годы жизни Сталин, приглашая нас к себе, на эти заседания, и проводя их неторопливо и, я бы сказал, весьма терпимо к высказыванию и повторению разных мнений,— он как бы раз в год пробовал прощупать пульс интеллигенции через нас самих и через разговор с нами о тех книгах, которые пишутся и издаются. С этим был связан, по-моему, не только характер обсуж-

дений, но и манера поведения Сталина. Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как он бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб — это не значит, что другие люди рассказывали о нем неправду, смешно было бы так думать, люди рассказывали о нем правду, и их рассказы заслуживают полного доверия, а просто раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нем грубости не было места.

Перечитывая сейчас свою запись сорок восьмого года, обратил внимание на одну фразу Сталина, на которую раньше, перечитывая эту запись не раз, не обращал внимания. Подумал о том, какая позиция стояла за его фразой: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — сказанной Сталиным о хорошо написанной, по его же собственному мнению, книге Василия Смирнова о русской деревне начала века? Что значила эта фраза, лишившая премии хорошо написанную, по мнению самого Сталина, книгу? То, что Сталин был прежде всего политик, а потом уже ценитель художественных достоинств литературы? Разумеется, и это. Но не только это. Говоря о Сталине как о политике, в связи с этим конкретным примером стоит, как мне кажется, подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.

---

17 марта 1979 года

Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом утилитаризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.

Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременному изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню.

Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?

Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.

Если говорить о литературе, то Сталин за те годы, когда существовали Сталинские премии, делавшие более очевидными его оценки, поддержал или сам выдвинул на премии целый ряд произведений исторических. А если говорить о кино, то даже составил программу — о каких исторических событиях и о каких исторических личностях следует сделать фильмы.

И всякий раз — и за произведениями, получившими премии, и за идеями о создании прозведений о чем-то или о ком-то, произведений, которые впоследствии были обречены, как правило, на премию, стояли сугубо современные политические задачи. В свое время Сталин сначала поддержал «Чапаева», а вслед за тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлинными героями гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно, фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев», и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие коман-

дующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточным фронтами, были предназначены к исчезновению из истории гражданской войны — не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории. Троцкий был прямым политическим врагом, и не о нем и его сторонниках в данном случае речь, но, разумеется, не случайно, что по идее Сталина делался фильм о Щорсе, а не о таких, как и Щорс, уже ушедших в небытие, но куда более крупных, притом политически никак не запятнанных фигурах, как, скажем, Фрунзе или Гусев.

С выходом «Щорса» кино обогатилось еще одной хорошей картиной, в целом хорошей, а местами потрясающей, но одновременно с этим закрепилась важная тогда для Сталина концепция истории гражданской войны, современная схема: Ленин — Сталин — Щорс — Чапаев — Лазо. После великого «Чапаева» братья Васильевы делают очень хорошую картину «Волочаевские дни», закрепляющую все ту же концепцию, при которой из поля зрения исчезают фигуры людей, руководивших борьбой на Дальнем Востоке, Уборевича и Постышева.

В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар ее, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингисхан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина. Повествование о событиях, отдаленных от сорок второго года семью с лишним и без малого шестью веками, видимо, по соображениям Сталина, имело сугубо современное значение. Роман «Чингисхан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобедимыми. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побежденным, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории.

Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же, в сорок втором. Но в сороковом или в сорок первом году вышел еще один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет. Этот очень интересный факт подтверждает утилитарность сталинского взгляда на исторические произведения. Я говорю о романе Степанова

«Порт-Артур», который был премирован не раньше, не позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур — была выполнена. В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она нам сейчас? Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура. А в сорок шестом Сталин счел, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы.

Быть может, я несколько огрубляю и упрощаю, но в сути написанного мною сейчас я уверен.

Из довольно большого потока исторических сочинений Сталин выделял то, что, по его мнению, служило интересам современности. История падения ныне возвращенного Порт-Артура служила современности, а история русской деревни — примерно в те же самые годы начала века,— по его представлениям, интересам современности не служила, и на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — Сталин отвечал отрицательно.

Думаю, что премия Костылеву за роман об Иване IV, присужденная в первые послевоенные годы, тоже была связана с мыслью о современном звучании этого романа, о перекличке времен. Иван IV вчерне завершил двухвековое объединение Руси вокруг Москвы. Видимо, у Сталина именно в те годы могло быть схожее представление о собственной роли в истории России — и на западе, и на востоке было возвращено все, ранее отнятое, и все, ранее отданное, и вдобавок была решена и задача целых столетий о соединении Восточной и Западной Украины, включая даже Буковину и Закарпатье.

Фигура Ивана Грозного была важна для Сталина как отражение личной для него темы — борьбы с внутренними противниками, с боярским своеволием, борьбы, соединенной со стремлением к централизации власти. Здесь был элемент исторического самооправдания, вернее, не столько самооправдания, сколько самоутверждения. Кто знает, как

это было в глубинах его души, но внешне это выглядело в исторической теме Ивана Грозного не столько самооправданием за происшедшее в современности, сколько утверждением своего права и исторической необходимости для себя сделать то же, что в свое время сделал Грозный.

Надо сказать, что если в оценке событий войны в речи Сталина перед участниками Парада Победы прозвучала нота самокритического отношения к событиям первого периода войны, то по отношению к тридцать седьмому — тридцать восьмому году самооборонительной позиции, как я понимаю, он никогда не занимал. Те, кого не тронули, должны были быть благодарны ему за то, что остались целы, те, кто вернулся и был оправдан, должны были быть благодарны ему за то, что они вернулись и оправданы; а те, что не вернулись, так и оставались до конца его жизни в виноватых.

То, что сделанный козлом отпущения Ежов был покаран, никогда и нигде публично не фигурировало, об этом никогда и нигде не писалось. Официально это не было признано именно потому, что он был не чем иным, как козлом отпущения. Хотя, казалось бы, фигура Ивана Грозного требовала к себе по всем своим историческим особенностям диалектического подхода, Сталин в данном случае был далек от диалектики. Для него Грозный был безоговорочно прав, и этой правотою его и удовлетворяла, может быть, гениальная в своих художественных частностях и находках, но исторически безнравственная первая серия эйзенштейновского «Ивана Грозного». Со второй серией, делавшейся после войны, Эйзенштейна постигла катастрофа. Сталин не принял этого фильма. Почему? Тут были и еще могут быть разные объяснения, в той или иной мере справедливые.

Мне же кажется весьма существенным то, что сама история царствования Грозного сопротивлялась продолжению этой картины. После первых, еще до опричнины, внешнеполитических успехов, прежде всего взятия Казани, Грозный терпит в военных походах неудачу за неудачей. Если какую-то фигуру в русской истории можно связывать с борьбой России за выход к морю, то не Грозного, а Петра, не того, кто неудачно пытался, а того, кто достиг своей цели. Грозный закончил свои дни в обстановке военных поражений и резкого ослабления военной мощи России. Мне думается, что сначала Сталин в восприятии этой фигуры обошелся без диалектики. Если не ошибаюсь,

сценарий, охватывавший собою не только первую серию, а и дальнейшее, заканчивался одним из победоносных эпизодов в первой половине ливонской войны, выходом к морю и гибелью в бою Малюты Скуратова, народная память о коем связывала его имя, ставшее нарицательным в смысле жестокости, с чем угодно, но только не с военными подвигами. Фильм кончался в тот момент, когда его можно было кончить чем-то наподобие апофеоза. Дальнейшее царствование Грозного, ставшее прологом к последующим бедствиям России, включая Смутное время, в фильм не влезало, отбрасывалось и оставалось за бортом. Так это проектировалось перед войной. Думаю, что в первой серии, в сущности, уже было исчерпано то, что по аналогии укрепляло позиции Сталина, подтверждало его правоту в борьбе с тем, условно говоря, боярством, которое он искоренял.

Первая серия вышла на экран в конце войны, а вторая делалась уже после нее, и военные успехи, которые венчали в конце второй серии обрубленную на этом месте биографию Грозного, после Великой Отечественной войны могли показаться очень уж мизерными, а тема борьбы с боярством исчерпанной в первой серии. По-моему, вторая серия попала к Сталину в такое время, когда интерес его к аналогиям с Грозным ослабел, это стало не очень актуальным для него — может быть, временно. Но фильм попал к нему именно в такой момент, и какие-то, раздражившие Сталина частности или эпизоды фильма, которые в других случаях не обрубали судьбу картин, а только вели к обязательным переделкам, в данном случае при утрате прежнего острого интереса к самой теме обернулись для судьбы фильма трагическим образом.

Думаю, что, рассуждая так, я в принципе не слишком далек от политической сути происшедшего. В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино. И как вид искусства, более государственный, чем другие, то есть требовавший с самого начала работы государственного разрешения на нее и государственных затрат, и потому еще, что он в своих представлениях об искусстве относился к режиссерам не как к самостоятельным художникам, а как к толкователям, осуществителям написанного. Я никогда не забуду, как Столпер мне в лицах рассказывал историю резко не понравившегося Сталину в сороковом году, перед войной, фильма «Закон жизни», который они делали вдвоем с режиссером Ивановым по сценарию Авдеенко. Весь огонь резкой, можно сказать, почти беспощад-

ной критики был обрушен Сталиным на автора сценария, на Авдеенко, а Столпер и Иванов как бы при сем присутствовали. И когда кто-то на этом разгроме обратил внимание Сталина на двух сидевших тут же режиссеров: дескать, что же делать с ними, надо, мол, покарать и их, а не только одного Авдеенко, Сталин не поддержал этого. Небрежно покрутил пальцем в воздухе, показывая, как крутится в аппарате лента, и сказал: «А что они? Они только крутили то, что он им написал». И, сказав это, возвратился к разговору об Авдеенко.

Разумеется, я не свожу к этому случаю представления Сталина о режиссуре вообще. Он любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссеров, в числе которых были Чиаурели, Довженко, Эйзенштейн, причем последние два писали сценарии для своих фильмов и сами, без чужой помощи. Конечно, он смотрел на создание фильмов шире, чем это проявилось в разговоре с молодым Столпером и Ивановым, но какой-то оттенок подобного свойства в его суждениях о видах и родах искусства все же был. Во всяком случае, он ничего так не программировал — последовательно и планомерно,— как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими. Он не фантазировал на темы о том, как и каким надо изображать современного человека. Он брал готовую фигуру в истории, которая могла быть утилитарно полезна с точки зрения современной политической ситуации и современной идейной борьбы. Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти — Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих

орденов будет высшим, была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь.

Разумеется, все это могло быть и так, и иначе, но, мне кажется, все же не случайно, что у Сталина получилось именно так: полководческие ордена, введенные после победы под Сталинградом, были именно в такой последовательности: Суворов, Кутузов, Ушаков и Нахимов.

О Глинке — не без связи с восстановлением на сцене «Ивана Сусанина» — было поставлено один за другим два фильма. Программа борьбы с низкопоклонством предопределила создание целого ряда фильмов, утверждавших наш приоритет в той или иной сфере: полевая хирургия — Пирогов, радио — Попов, Мичурин — биология, Павлов — физиология. Я далек от мысли, что работа над этими фильмами была для их создателей вынужденной,— по большей части эти фильмы делались с увлечением. Но во всем этом, вместе взятом, в последовательности, с которой эти фильмы делались, и в требованиях, которые к ним предъявлялись, несомненно, присутствовало исходившее непосредственно от Сталина волевое начало, связанное с его утилитарным отношением к истории, в том числе и к истории культуры и искусства, с поддержкой того и только того в истории, что могло послужить прямым интересам современности.

В сорок девятом году на заседании Политбюро по присуждению Сталинских премий я не был, находился в это время в зарубежной поездке. Следующее обсуждение Сталинских премий, на котором я присутствовал, происходило шестого марта пятидесятого года. Между записанным, уже приведенным и прокомментированным мною в этой рукописи обсуждением премий в сорок восьмом году и этим, пятидесятого года, прошло около двух лет. Многое изменилось и ужесточилось. Произошло много арестов, в том числе и в среде литераторов. Возникло и приобрело страшный оттенок «Ленинградское дело», связанное с целой цепью арестов и смещений с должностей. Борьба с низкопоклонством, о котором шла речь в сорок седьмом году, приобрела новые и тягчайшие формы. Рубежом в этом смысле оказалась напечатанная в «Правде» редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Статья эта имела тяжелейшие последствия для литературы, а инициатива ее появления в «Правде» принадлежала непосредственно Сталину.

Я не могу в данный момент входить в то, что происходило в литературе в конце сорок восьмого и на про-

тяжении сорок девятого года. Изложение всего этого должно включать целый ряд моих старых записей, которых у меня сейчас нет перед собой, и, чтоб два раза не возвращаться к одному и тому же, будем считать, что между написанным в этой рукописи раньше и тем, к чему я перехожу сейчас, пропущено по крайней мере несколько десятков страниц, которые мне предстоит восполнить. Оговорив это, перехожу в пятидесятый год.

* * *

За несколько дней до заседания Политбюро по присуждению Сталинских премий, происходившего шестого марта пятидесятого года, я стал редактором «Литературной газеты», сменив на этой должности Ермилова. Уходить из «Нового мира» или желать для себя этого ухода у меня не было ровно никаких причин. Причины для того, чтобы перебросить меня с «Нового мира» на «Литгазету», были у Александра Александровича Фадеева, и причины для него, очевидно, достаточно веские, если говорить о том литературном политиканстве, которое иногда, как лихорадка, судорожно овладевало Фадеевым, вопреки всему тому главному, здоровому и честному по отношению к литературе, что составляло его истинную сущность. В истории с критиками-антипатриотами, начало которой, не предвидя ужаснувших его потом последствий, положил он сам, Фадеев, я был человеком, с самого начала не разделявшим фадеевского ожесточения против этих критиков. Из Софронова, оценив его недюжинную энергию, но не разобравшись нисколько в сути этого человека, Фадеев сделал поначалу послушного подручного, при первой же возможности превратившегося во вполне самостоятельного литературного палача.

После всей этой истории, которой хочешь не хочешь придется коснуться более подробно, Фадеев, с одной стороны, не хотел иметь дела с Софроновым как с ответственным секретарем Союза, своим главным практическим помощником. А тут вдобавок еще Владимир Владимирович Ермилов стал проявлять излишнюю самостоятельность и публично и неблагодарно кусать столько лет во всех перипетиях поддерживавшую его руку.

В итоге Фадееву с великим трудом удалось уговорить впоследствии многократно жалевшего об этом Алексея Александровича Суркова уйти из полюбившегося ему журнала «Огонек» в первые заместители к Фадееву,

Софронова спровадить в «Огонек», Ермилова снять с газеты и перекантовать на творческую работу, а меня, оставив одним из своих заместителей, рокировать в редакторы «Литературной газеты», на что я не сразу согласился. В том, что я согласился на это, большую роль сыграл Твардовский. Фадееву, который очень любил Твардовского как поэта, ценил его строгость, самостоятельность суждений, внутренне даже сверялся с ними, давно искренне хотелось поближе втянуть Твардовского в какую-то большую общественно-литературную работу. Именно Фадеев уговорил Твардовского, если возникнет такой вариант, согласиться пойти редактировать «Новый мир» вместо меня. И решительный разговор по поводу «Литературной газеты» произошел у нас втроем — с Фадеевым и Твардовским. Мне было жалко оставлять «Новый мир», и я не знал, на кого его оставить. Но после уговоров Фадеева Твардовский вдруг неожиданно для меня сказал, что, если я соглашусь тянуть на себе такой воз, как «Литературная газета», он, если предложат, не откажется и возьмется за мой гуж в «Новом мире». Дело решил этот разговор и плюс к нему, пожалуй, мое молодое самоуверенное стремление к неизведанному. Редактором газеты я еще никогда не был, в том, как Ермилов вел газету, мне далеко не все нравилось, и мне казалось, что если я пойду туда, многое переделаю в ней по-своему и к лучшему. Так, в итоге за несколько дней до заседания, о котором пойдет речь, я стал редактором «Литературной газеты» и уже подписал три ее номера.

Записи за шестое марта, поначалу лаконичные, связаны с отдельными короткими замечаниями Сталина, чаще всего ироническими или с оттенком иронии.

«По поводу выдвинутого на премию батального полотна под названием «Курская дуга» Сталин заметил: «Никакой дуги тут нет. Если не будет написано, что это Курская дуга, никто этого не узнает». При обсуждении вопроса, можно ли присуждать премию исполнителям и режиссеру за спектакль, сделанный по пьесе не получающего премию драматурга, Сталин выразил сомнение: «Как же так? Без драмы спектакль — не может этого быть».

23 марта 1979 года

Затем возник вопрос о премиях артистам цирка. Кто-то сослался на то, что это зрелище любит народ. И тут же последовало замечание Сталина:

— Ну и что, народ смотрит и балаган. Что ж, и балаган тоже включить в искусство? Нет, я не возражаю по поводу цирка, над этим следует подумать. В данном случае я возражаю только против вашего довода насчет народа.

Вслед за этим разговор перешел на то, следует или не следует премировать первые книги произведений, авторам которых предстоит написать еще вторые, а может быть, и третьи книги.

— Ну что же, он хитро поступил,— сказал Сталин об одном из писателей.— У него на самом-то деле тоже первая часть, но он не стал называть ее первой частью романа, а назвал романом. А другой человек поступил честно: у него первая часть романа — он так и назвал ее первой частью романа. Так почему же, спрашивается, ему не дать премии?

После этого рассматривался вопрос о премировании романа Константина Седых «Даурия».

— Я читал критику романа Седых,— сказал Сталин,— и, по-моему, она во многом неверная. Говорят про него, что там плохо показана роль партии, а по-моему, роль партии у Седых показана хорошо. Центральная фигура Улыбина прекрасно показана, отличная фигура. Упрекают Седых за то, что у него Лазо не показан. Но Лазо туда позже приехал, поэтому он и мало показан. Но там, где он показан, он показан хорошо. Седых критикует в романе казачество, показывает его расслоение. Но душа движения — комиссар — у него как раз человек из казачества. Есть в романе недостатки: растянутая вещь. Есть места очень растянутые. Есть места, где просто-напросто нехудожественно рассказано. Вот тут говорили, что Седых переделывает свой роман, вставляет в него новые публицистические места. А я бы не советовал ему исправлять роман, вставлять в него публицистику, этим можно только испортить роман.

После романа Седых обсуждалась повесть Веры Пановой «Ясный берег».

— Из женщин Панова самая способная,— сказал Сталин.— Я всегда поддерживаю ее как самую способную. Она хорошо пишет. Но если оценивать эту новую ее вещь, то она слабее предыдущих. Пять лет назад за такую вещь, как эта, можно было дать и бóльшую премию, чем сейчас, а сейчас нельзя. У Пановой немного странная манера подготовки к тому, чтобы написать произведение. Вот она взяла один колхоз и тщательно его изучила. А это неверно.

Надо иначе изучать. Надо изучать несколько колхозов, много колхозов, потом обобщить. Взять вместе и обобщить. И потом уже изобразить. А то, как она поступает, это неверно по манере изучения.

После Пановой дошла очередь до обсуждения романа Коптяевой «Иван Иванович». Сталин счел нужным вступиться за этот роман:

— Вот тут нам говорят, что в романе неверные отношения между Иваном Ивановичем и его женой. Но ведь что получается там у нее в романе? Получается так, как бывает в жизни. Он большой человек, у него своя большая работа. Он ей говорит: «Мне некогда». Он относится к ней не как к человеку и товарищу, а только как к украшению жизни. А ей встречается другой человек, который задевает эту слабую струнку, это слабое место, и она идет туда, к нему, к этому человеку. Так бывает и в жизни, так и у нас, больших людей, бывает. И это верно изображено в романе. И быт Якутии хорошо, правдиво описан. Всё говорят о треугольниках, что тут в романе много треугольников. Ну и что же? Так бывает».

Здесь мне придется оторваться от своих записей, чтобы сказать несколько слов о Фадееве. Как мне помнится, заседание это происходило уже не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний. В сущности, это был не зал, а довольно большая комната, в которой стояло несколько рядов кресел с пюпитрами, перед ними небольшой стол для председательствующего, слева от него (если смотреть от нас) маленькая трибунка для выступающих. Не помню, чтобы когда-нибудь в другой раз кто-то пользовался этой трибункой, выступал с нее. Но на этот раз Сталин пригласил Фадеева как докладчика от Комитета по Сталинским премиям на эту трибунку. Фадеев докладывал, стоя за нею. Продолжая еще в это время работу над переделками и новыми главами второго варианта «Молодой гвардии», Фадеев, как мне помнится, одновременно с этим начал собирать материалы для своего, впоследствии так и оставшегося ненаписанным романа «Черная металлургия». Он ездил на Урал, его срочно накануне этого заседания вытащили из поездки, он полдня летел оттуда в Москву, там, в Магнитогорске, он, как выражался на этот счет Твардовский, похоже, основательно, водил медведя, плюс к этому минимум времени на то, чтобы прийти в себя, час или два на подготовку к докладу — и вот он здесь, на заседании Политбюро, перед Сталиным, за этой

шаткой, не по росту ему, трибункой. Он стоит за ней, прихватил ее как-то неловко руками, перед ним — листы доклада или заметок к докладу, пиджак на нем какой-то коротковатый, куцый, тесный; лицо кирпично-бурое, а голос в диапазоне его физического состояния — от хрипотцы до дисканта, прорывающегося сквозь эту хрипотцу недавней опохмелки.

Сталин, сидящий за столом, как мне кажется, все это прекрасно видит, понимает, да наверняка к тому же и знает все, как оно есть, и наблюдает за Фадеевым со смешанным чувством любопытства (как-то он выйдет из этого положения) и некоторого даже любования Фадеевым (смотри-ка, оказывается, выходит из положения, да еще как выходит). Стоять там, за этой трибункой, под наблюдающим взглядом Сталина Фадееву было, наверное, физически тошно и нравственно мучительно, но он, как он умел это делать, собрал в кулак всю свою волю, сделал доклад по всем правилам, сказал все, что собирался сказать, и даже ввязался в спор со Сталиным по поводу романа Коптяевой, который ему, Фадееву, решительно не нравился.

Что говорил по поводу романа Коптяевой Сталин, у меня записано, но в диалоге с Фадеевым все это выглядело несколько иначе. Сталин перечислял достоинства романа, главным образом упирая на то, что так бывает в жизни. Фадеев, не споря с ним, гнул свое, говоря, что, конечно, так бывает, но это все плохо написано. И треугольники бывают, но тут он плохо написан, этот треугольник. И быт Якутии верно дан, правдиво, но и это тоже с художественной стороны написано плохо, худо написано.

— И все-таки я считаю, что премию роману надо дать,— сказал в заключение Сталин, относившийся к возражениям Фадеева терпеливо и с долей любопытства.

Услышав это, Фадеев впервые, кажется, за все время оторвал от трибунки свои вцепившиеся в нее руки, беспомощно развел ими в стороны и упрямо, не желая согласиться с тем, что роману Коптяевой надо дать премию, сказал: «А это уж ваша воля». И немножко подержав свои, беспомощно и удивленно раскинутые руки в воздухе, опять вцепился ими в трибунку.

Вспоминая об этом сейчас, ловлю себя на том, что мог бы перепутать день и год, в который это было, да и не помнил, пока не взглянул в своих святцах на даты происходившего, а то мне даже казалось, что это было на два года позже, в последний раз, когда присуждались там, на

Политбюро, Сталинские премии. Но то, как говорил Фадеев, как он держался за эту трибунку, как ни за что не хотел соглашаться со Сталиным по поводу книги Коптяевой, а вернее, по поводу значения художественного качества литературы и так и не согласился, а развел руками,— все это стоит у меня по сей день перед глазами и сидит в ушах, существует и в лицах, и в голосах.

А теперь снова вернусь к своим записям, к двум наиболее подробным, сделанным мною в связи с этой встречей шестого марта пятидесятого года. Обе эти записи связаны с вещами принципиально важными и выходящими за пределы оценки самих произведений, о которых шла речь.

Первая из этих записей связана с романом Эммануила Казакевича «Весна на Одере», которому была присуждена в тот год Сталинская премия второй степени.

«— В романе есть недостатки,— сказал Сталин, заключая обсуждение «Весны на Одере».— Не все там верно изображено: показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Вот эта сторона в романе товарища Казакевича неверная. Есть в романе член Военного совета Сизокрылов, который делает там то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно. А роман «Весна на Одере» талантливый. Казакевич писать может и пишет хорошо. Как же тут решать вопрос? Давать или не давать ему премию? Если решить этот вопрос положительно, то надо сказать товарищу Казакевичу, чтобы он потом это учел и исправил, неправильно так делать. Во всяком случае так пропускать, как он пропустил,— значит делать неправильно».

На этом стоит точка в моей записи разговора по поводу романа Казакевича. После этих размышлений Сталина премия за роман Казакевичу все-таки была дана. А на следующий день я встретился с ним самим в фадеевском кабинете в Союзе писателей. Почему именно на меня выпала эта обязанность говорить с Казакевичем, в точности вспомнить не могу. Остается предположить, что Фадеев, которому и по службе и по дружбе куда больше с руки, чем мне, было говорить с Казакевичем, на следующий день по каким-то причинам отсутствовал, а поручение Сталина — разговор с Казакевичем по поводу

«Весны на Одере» был именно поручением — не принято было откладывать исполнением.

Я встретился с Казакевичем и рассказал ему от слова до слова все, как было. Он был в бешенстве и в досаде — и на других, и на самого себя, и, взад и вперед расхаживая по фадеевскому кабинету, скрипел зубами, охал и матерился, вспоминая редакционную работу над своей «Весной на Одере», как на него жали, как не только заставляли убрать фамилию Жукова, но и саму должность командующего фронтом. «Конечно,— с досадой говорил он,— Сталин правильно почувствовал, совершенно правильно. Половину того, что делает Сизокрылов, делал у меня командующий фронтом, а потом меня просто вынудили все это передать Сизокрылову. Как я согласился, как поддался? А как было не поддаться — никто бы не напечатал, даже и думать не желали о том, чтобы напечатать до тех пор, пока я это не переделаю. А как теперь переделывать обратно? Как вставлять командующего фронтом, когда роман уже вышел в журнале, уже вышел двумя изданиями, уже переведен на другие языки, как я могу теперь его исправлять, заменять одного другим?»

Казакевичем владели хорошо мне понятные смешанные чувства. Разумеется, он был рад, что все-таки роман его получил премию, но ощущение того тупика, в который его загнали, из которого теперь неизвестно как вылезать даже с помощью Сталина, угнетало его.

Последнее, записанное мною со всей возможной точностью высказывание Сталина на этом заседании пятидесятого года было хотя и привязанным непосредственно к пьесе Бориса Лавренева «Голос Америки», но имело заведомо программное значение и могло иметь далеко идущие последствия во всей нашей критике и литературоведении, во всяком случае, вызвать изменения ее терминологии. Последствий этих не произошло. Почему, сказать не берусь, скорее всего потому, что в эти годы Сталин, как я не раз впоследствии слышал об этом, нередко забывал собственные предложения и не возвращался к выдвинутым им идеям. Ему, разумеется, никто об этом не напоминал, и они уходили в песок. Иногда это бывало к лучшему, а иногда, быть может, и к худшему. В данном случае, по-моему, к худшему. При всех обстоятельствах мне остается привести дословно свою запись, сделанную в тот день, а потом уже рассказать обо всем последующем.

«— Ну что же, что его критикуют,— сказал Сталин о Лавреневе.— А вы помните его старую пьесу «Разлом»? Хорошая была пьеса. А теперь вот его берут и критикуют всё с той же позиции, что он недостаточно партийный, что он беспартийный. Правильно ли критикуют? Неправильно. Все время используют цитату: «Долой литераторов беспартийных». А смысла ее не понимают. Когда это сказал Ленин? Он сказал это, когда мы были в оппозиции, когда нам нужно было привлечь к себе людей. Когда люди были — одни там, другие тут. Когда людей ловили к себе эсеры и меньшевики. Ленин хотел сказать, что литература — это вещь общественная. Мы искали людей, мы их привлекали к себе. Мы, когда мы были в оппозиции, выступали против беспартийности, объявляли войну беспартийности, создавая свой лагерь. А придя к власти, мы уже отвечаем за все общество, за блок коммунистов и беспартийных,— этого нельзя забывать. Мы, когда находились в оппозиции, были против преувеличения роли национальной культуры. Мы были против, когда этими словами о национальной культуре прикрывались кадеты и всякие там иже с ними, когда они пользовались этими словами. А сейчас мы за национальную культуру. Надо понимать две разные позиции: когда мы были в оппозиции и когда находимся у власти. Вот тут этот был — как его? — Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятьем литературы.

Недавно выступал и писал в журнале Белик. Кто это? Этот тоже пользуется словами «Долой литераторов беспартийных». Неверно пользуется. Рапповец нашего времени. Новорапповская теория. Хотят, чтобы все герои были положительные, чтобы все стали идеалами. Но это же глупо, просто глупо. Ну, а Гоголь? Ну, а Толстой? Где у них положительные или целиком положительные герои? Что же, надо махнуть рукой и на Гоголя, и на Толстого? Это и есть новорапповская точка зрения в литературе. Берут цитаты и сами не знают, зачем берут их. Берут писателя и едят его: почему ты беспартийный? Почему ты беспартийный? А что, разве Бубеннов был партийным, когда он написал первую часть своей «Белой березы»? Нет. Потом вступил в партию. А спросите этого критика, как он сам-то понимает партийность? Э-эх!»

На этом кончается сделанная мною тогда запись слов Сталина.

Записывая их, я счел необходимым там же, вслед за этой записью, изложить свое понимание сути того, о чем шел разговор. Вот что я написал тогда: «Насколько я уловил смысл разговора, он шел о каком-то более правильном объединении сил литературы; об отношении к ней как к общему хозяйству, позиции хозяев этой литературы, хозяев всего ее общественного богатства и, в конечном счете, хозяев всего общества. Было подчеркнуто, что цитатами пользуются неверно, вне времени и пространства, не сообразуясь с обстановкой, очень ограниченно подходят к лозунгу партийности литературы, понимая его неправильно, не по существу. При этом требуют изображения не реальной жизни, а каких-то идеальных и сверхположительных героев, и всем этим, вместе взятым, отрывают от литературы беспартийных писателей».

Что добавить теперь к записанному мною тогда?

Через несколько дней после этого заседания Фадеев собрал маленькое совещание, в котором участвовал и я, но главным образом на совещании этом были не писатели, а критики-коммунисты по его персональному подбору. Придав тому, что сказал Сталин по поводу понимания термина партийности в литературе и по поводу появившихся в критике новорапповских тенденций, еще большее значение, чем я, в силу своего политического опыта, вдобавок, наверное, и в силу того, что Сталин употребил этот термин «новорапповская критика», вспомнив при этом Авербаха и, стало быть, вообще РАПП, в числе вождей которого некогда был сам Фадеев,— Фадеев оценил существенность сказанного и решил принять свои меры, а именно коллективно подготовить представление в ЦК, а в дальнейшем для печати недлинную статью, по первой его мысли, сделанную в виде ответов на вопросы. В статье объяснялся бы вред бездумного и неконкретного применения лозунга «Долой литераторов беспартийных», предлагалась иная критическая терминология, при которой принцип партийности литературы включался в более широкое понятие идейности литературы. Тем самым исключалась бы возможность нанесения напрасных обид беспартийным писателям, употребление по делу и не по делу,

кстати и некстати слов «партийность литературы». Я участвовал тогда в обсуждении этого вопроса, был всецело на стороне Фадеева, поддерживал сделанные им первоначальные предложения, потому что мне казалось, что Фадеев правильно понял самую суть высказываний Сталина на этот счет и причины, вызвавшие эти высказывания, и потому что термин — идейность литературы — мне самому казался более правильным и справедливым по отношению ко всей нашей литературе, включавшей и партийных, и беспартийных писателей.

Добавлю, что именно так мне кажется и по сей день, хотя история с составлением этого теоретического документа, протянувшись некоторое время, ушла в песок. Каким образом ушла в песок — не знаю. Напоминал ли об этом Фадеев или не напоминал — тоже не знаю. Скорей всего, однажды высказавшись по этому поводу, Сталин посчитал это достаточным и сам больше об этом не вспоминал. Напоминать же ему о том, о чем он или забыл, или не считал нужным вновь повторять, никто не брался. Наверное, для опасения напоминать Сталину о том, к чему Сталин по собственной инициативе не возвращался, у людей, близко имевших с ним дело, были основания. Должно быть, это было связано с той или иной долей риска, что подтверждалось немалым предыдущим опытом.

На заседании, когда присуждались Сталинские премии за 1950 год, я не был: лежал с высокой температурой. Если мне не изменяет память, с очередным воспалением легких. Но в середине марта 1952 года, когда последний раз присуждались Сталинские премии, я на этом заседании присутствовал. Не могу назвать точно дату, когда оно происходило,— она оказалась у меня не записанной. Но обычно сообщение о присуждении премий публиковалось двумя, самое большее тремя днями позже заседания, я держу сейчас перед собой «Литературную газету» за пятнадцатое марта 1952 года и думаю, что недалек от истины, говоря, что заседание это было где-то в середине марта.

Заседание это отличалось от всех предыдущих тем, что Сталин не стал сам вести его, а с самого начала передал председательство Маленкову, который, надо сказать, чувствовал себя не в своей тарелке. Он сидел за председательским столом, остальные — неподалеку от него. Ближайший к этому председательскому столу в кресле с пюпитром, таком, как и для всех остальных участников заседания, сидел Сталин. Впрочем, сидел он мало, больше проха-

живался взад и вперед по тому ряду, в котором сидел, взглядывал на присутствующих, высказываясь и задавая вопросы. Председательствование же Маленкова практически сводилось к тому, что он называл те или другие обсуждавшиеся вещи в том порядке, в каком они стояли по разделам проекта постановления.

Я приведу свои тогдашние записи не в той последовательности, в которой они у меня сохранились, а в той, в которой мне сейчас хочется их прокомментировать, идя от более частного к более общему и существенному.

«При обсуждении произведений, выдвинутых на премию третьей степени, впервые на моей памяти выяснилось, что Сталин не все эти книги читал. Когда зашла речь о премировании романа Турсуна «Учитель» и повести Баялинова «На берегах Иссык-Куля», Сталин вдруг спросил:

— За что даете им премию? За то, что это хорошие книги, или за то, что это представители национальных республик?

Такая постановка вопроса заставила несколько замяться тех, кто докладывал об этих вещах. Сразу же заметив эту заминку, Сталин сказал:

— Вы лишаете людей перспективы. Они же решат, что это хорошо. А людям надо иметь перспективу. Если вы будете давать премии из жалости, то вы убьете этим творчество. Им надо еще работать, а они уже решат, что это хорошо. Раз это заслужило премию, то куда же дальше им стремиться? Воспитать умение работать можно только строгостью, только при помощи строгости в оценках можно создать перспективу.

Когда после этого речь зашла о повести Янки Брыля «В Заболотье светает», которую хвалили и говорили, что повесть хорошая, Сталин недоверчиво спросил:

— А почему хорошая? Что, там все крестьяне хорошие? Все колхозы передовые? Никто ни с кем не спорит? Все в полном согласии? Классовой борьбы нет? Все вообще хорошо, поэтому и повесть хорошая. Да? А как художественно-то, хорошая это книга?

И только когда ему горячо подтвердили, что книга Янки Брыля действительно хорошая с художественной точки зрения книга, он согласился с ее выдвижением на премию, отведя при этом предыдущие вещи, о которых шел разговор».

А теперь, оторвавшись от записей, скажу о своих нынешних мыслях по этому поводу. Было некое противоречие в том, как Сталин сам же расширял круг присуждаемых премий, относясь к этому с неким циничным добродушием, терпимостью. Достаточно вспомнить: «Очень хочет. Очень просит», и все с этим связанное. По его собственной инициативе возникли все эти премии третьей степени, расширившие сразу вдвое, если не больше, круг премированных каждый год вещей. И он же сам, причем главным образом это относилось к литературе, вдруг начинал проявлять требовательность, отводил слабые вещи, говорил о необходимости высокого художественного качества, вдавался в подробности — что вышло, что не вышло у автора, высказывался в том духе, что избыток публицистичности может испортить книгу, что надо держаться поближе к жизни, что литература не создается из одних положительных, идеальных героев, и так далее и тому подобное.

Чем объяснить это противоречие в его суждениях и даже в поступках? Сменой настроений и душевных состояний? Вряд ли только этим. Думаю, как это ни странно звучит, что в Сталине было некое сходство с Фадеевым — в оценках литературы. Прежде всего он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или почти все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях. Где-то у него была — для меня это несомненно — некая собственная художественная жилка, может быть, шедшая от юношеского занятия поэзией, от пристрастия к ней, хотя в общем-то он рассматривал присуждение премий как политик, как дело прежде всего политическое, и многочисленные его высказывания, которые я слышал, подтверждают это. В то же время некоторые из этих книг он любил как читатель, а другие нет. Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус. Не буду строить домыслов насчет того, насколько он любил Маяковского или Пастернака, или насколько серьезным художником считал Булгакова. Есть известные основания считать: и в том, и в другом, и в третьем случае вкус не изменял ему. В других случаях изменял. Резкая, нервная манера письма, полная преувеличений, гиперболических подробностей, свойственная, скажем, Василевской, была ему по душе. Он любил эту писательницу и огорчался, когда она кому-то не нравилась. В то же время

ему нравились вещи совершенно другого рода: книги Казакевича, «В окопах Сталинграда» Некрасова.

Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического, сиюминутного значения, оценками, которых он нисколько не стеснялся и не таил их. Для него, например, тогда, в пятьдесят втором году, не составляло проблемы дать одновременно премии первой степени по прозе роману Степана Злобина «Степан Разин», который ему очень нравился именно как художественное произведение, и роману Вилиса Лациса «К новому берегу», который ему совсем не нравился как художественное произведение, но который он считал настолько важным, что определил ему именно премию первой степени. Так он и высказался о романе Лациса на том заседании, о котором идет речь: «Этот роман имеет художественные недостатки, он ниже романа Василевской, но он будет иметь большое значение для Прибалтики и, кроме того, для заграницы».

В итоге трилогия Василевской, которую он как читатель любил, но которая, по его мнению, в тот момент не имела максимального политического значения, получила вторую премию, а роман Лациса «К новому берегу», который был, как он полагал, ниже романа Василевской, получил первую премию.

Усомнившись на этот раз в количестве книг, заслуживающих премию третьей степени, Сталин тут же предложил — совершенно неожиданно для всех присутствующих — дать премию Дмитрию Еремину за его роман «Гроза над Римом» и привел следующие мотивы: «У нас писатели пишут все об одном и том же, все об одном и том же. Очень редко берутся за новое, неизвестное. У всех одни и те же темы. А вот человек взял и написал о незнакомой нам жизни. Я прочел и узнал, кто он такой. Оказывается, он сценарист, был там, в Италии, недолгое время, написал о положении в Италии, о назревании там революционной ситуации. Есть недостатки, есть, может быть, и промахи, но роман будет с интересом прочтен читателями. Он сыграет полезную роль».

26 марта 1979 года

После этой совершенно неожиданной для меня оценки романа «Гроза над Римом», который никто не предполагал премировать, было довольно трудно поднять руку и говорить на эту тему, тем более что Сталин высказался достаточно определенно.

Автор романа, Дмитрий Иванович Еремин, был мой добрый знакомый по Литинституту и по сценарной студии. Беда была только в том, что роман его был очень уж слаб и беспомощен. Впрочем, одно это, по правде говоря, не заставило бы меня поднять руку. За тем спором, в который вступил со Сталиным Фадеев по поводу романа Коптяевой «Иван Иванович», было тогда его принципиальное неприятие художественных достоинств литературы этого рода, и он не мог или не хотел переломить себя и назвать хорошим то, что считал плохим. В данном случае — с романом Еремина — у меня такого чувства не было, да и, наверное, у меня духу не хватило бы, как у Фадеева, после высказывания Сталина вступать с ним в препирательства о художественных достоинствах романа Еремина. Но было тут одно привходящее обстоятельство: буквально за день или за два до этого в «Литературную газету» пришло письмо не то одного, не то двух специалистов по Италии, в котором было выписано несколько страниц всякого рода ошибок, неточностей, нелепостей, свидетельствовавших о полном незнании автором романа «Гроза над Римом» того материала, на котором он писал свою книгу. Это письмо и заставило меня поднять руку. Мне казалось, что о нем я был обязан сказать.

Когда я сказал об этом письме и о его содержании, Маленков немедленно спросил меня: «А где оно? С вами?» За этим вопросом было молчаливое предположение, что сейчас я выну это письмо из кармана и положу на стол. Но у меня, разумеется, не было его с собой, потому что появление романа «Гроза над Римом» в числе произведений, которым предполагалось присудить Сталинскую премию, было для меня полной неожиданностью. Я сказал, что письма у меня с собой нет, но я могу его, если потребуется, предоставить завтра.

— Когда ставите здесь такие вопросы, надо иметь при себе все материалы,— сказал Маленков.

Я сел на свое место, а «Грозе над Римом» была присуждена Сталинская премия третьей степени.

Чтобы уже не возвращаться к этой теме, не оставившей никакого следа в моих тогдашних записях, добавлю, что мне после закончившегося неудачей выступления, как выяснилось, предстояло еще одно испытание. В самом конце заседания, когда прошлись уже, казалось, по всем премиям, Сталин потрогал лежавшую перед ним пачку книг и журналов, чаще всего, как я уже успел заметить, там лежали номера журнала «Звезда», потому что он попрежнему неотрывно следил за этим ленинградским журналом, а через него и за Ленинградом, и сказал:

— Вот тут напечатана неплохая повесть известного нашего подводника Иосселиани в переводе с грузинского Кремлева. Не стоило бы нам дать премию этой вещи? Какие будут мнения?

Мнения были положительные.

«Надо дать», «Надо, надо», «Хорошая книга».— Примерно такие реплики я услышал из первых рядов, где сидели члены Политбюро.

И тут я снова поднял руку. На этот раз я нисколько не колебался и считал себя просто-напросто не вправе промолчать. Я знал эту историю с книгой «Записки подводника», книгою действительно неплохой, написанной литератором Ильей Кремлевым по рассказам подводника Иосселиани. К тому времени, когда была написана эта книга, возникло уже в литературе несколько историй не слишком красивого свойства, когда соавторы — авторы воспоминаний и авторы их литературного текста — препирались между собой относительно гонораров. Причем так называемые литературные обработчики обычно в итоге терпели в этих препирательствах поражения: при первом издании они и авторы делили между собой гонорар так, как было договорено, а при последующих в ряде случаев автора литературной записи просто-напросто лишали его части гонорара. По букве авторского права в последующих изданиях это можно было сделать. Очевидно, опасаясь этого, Кремлев и придумал форму перевода с грузинского на русский, с таким обозначением и появилась повесть Иосселиани в «Звезде», хотя на самом деле перевода не было и быть не могло, потому что Иосселиани (по национальности сван, а по обстоятельствам жизни с малых лет воспитанник русского детского дома) грузинского языка вообще не знал. Говорил только по-русски, и переводить

его с грузинского было физически невозможно. Но после того как повесть в журнале имела успех и хорошие отзывы, была издана отдельной книгой, Кремлев в мыслях о возможности присуждения ей в будущем Сталинской премии заставил не слишком разбиравшегося в литературных делах Иосселиани подписать с ним, с Кремлевым, договор, что в случае присуждения книге Сталинской премии они эту Сталинскую премию разделят пополам. Договор до того времени, насколько мне известно, беспрецедентный в литературном быту. Через какое-то время после этого у Иосселиани и Кремлева возникло очередное сомнение во взаимной добропорядочности, и Иосселиани, проявивший во время войны незаурядное мужество, а тут запутавшийся в литературных джунглях, пришел ко мне в «Литературную газету» и, изложив свои опасения, в частности, рассказал и об этом превентивном договоре насчет Сталинской премии. Такого мне еще слышать не приходилось, и я сначала ушам своим не поверил, и это, должно быть, отразилось на моем лице. Тогда Иосселиани сказал, что он сейчас сядет и напишет все как есть и пусть это лежит у меня как доказательство. У меня не было оснований возражать против этого, Иосселиани написал все, что рассказал мне, и я положил эту бумагу в сейф.

Прошло с месяц, Илья Кремлев, очевидно, прослышав о недружественных акциях со стороны Иосселиани, тоже явился в «Литературную газету» с довольно кляузным письмом, в котором излагались разные прегрешения его соавтора Иосселиани. Я и это письмо положил в сейф вместе с первым. Что проблема со Сталинской премией, уже договорно поделенной соавторами, на самом деле когда-нибудь возникнет, мне в голову не приходило. Но как редактору газеты, уже столкнувшемуся с несколькими подобными, хотя и не столь вопиющими историями, мне казалось, что эти материалы в числе других помогут нам приготовить статью о ненормальном положении в этой сфере литературной деятельности и выдвинуть предложения о том, как ввести это дело в строгие рамки, чтоб больше не позорить ни литераторов, ни бывалых людей.

Так вот, услышав возгласы: «Надо дать»; «Надо, надо»; «Хорошая книга»,— я поднялся и попросил слова. Мне его дали. Я сказал, что книга в самом деле интересная, но давать ей Сталинскую премию нельзя, хотя бы потому, что публикация этой книги началась с обмана: это не перевод с грузинского, сделанный Кремлевым, а литературная

запись, переводом с грузинского это сочинение не может быть, потому что Иосселиани грузинского языка не знает.

Хорошо помню, как, грузно поворотясь ко мне со скрипнувшего под ним кресла, Берия резко оборвал меня:

— Как так не знает? Как так — Иосселиани не знает грузинского языка? Он знает грузинский язык.

— Нет,— сказал я,— он не знает грузинского языка. Это знают моряки, его сослуживцы, да и он сам этого не скрывает, в письме в «Литературную газету» поминает об этом.

— Где у вас это письмо? Имеется у вас это письмо?

— Имеется в «Литературной газете»,— сказал я.

Как мне показалось, Берия хотел сказать что-то еще, но в этот момент Сталин спросил:

— Так. Какие теперь будут мнения, давать или не давать за эту книгу премию? — Он сказал это спокойно, возможно, даже решив пренебречь не столь уж существенной, с его точки зрения, историей с переводом, которого не было.

— Товарищ Сталин,— сказал я.— Вы должны знать, что Кремлев заранее подписал с Иосселиани бумагу о том, что если они получат Сталинскую премию, то поделят ее пополам. Мне кажется, что когда так делают, то нельзя давать премию.

— А где у вас доказательства, что это так? — опять повернулся ко мне Берия.— Имеете ли вы их или так просто болтаете? — На этот раз он был еще более груб и агрессивен.

Я не успел ответить на этот вопрос, потому что вдруг установилась тишина. Очевидно, за криком Берии я не расслышал начала фразы, сказанной Сталиным, и в тишине услышал только ее конец.

— Снимем этот вопрос,— сказал он.

На лице его было брезгливо-недовольное выражение.

Активное вмешательство Берии в это дело встревожило меня: здесь могла таиться опасность, и опасность серьезная. Кто знает, что он мог сделать? Мы не знали тогда о Берии того, что узнали потом, но то, что он человек достаточно страшный, некоторое представление уже имели и, как говорится, носили это представление при себе. Поэтому, как только кончилось заседание Политбюро, я немедленно рванулся в «Литгазету», по дороге думая о том, что все может случиться: пока продолжалось заседание, пока я сюда еду, кто-то мог явиться без меня, открыть

сейф, и к моему приезду в нем могло уже не оказаться тех бумаг, на которые я ссылался. Что тогда? Однако все было на месте, бумаги лежали там. Я забрал их и, не теряя времени, поехал к своему старому другу, стенографистке Музе Николаевне Кузько, дождался у нее, пока она перепечатает мне две копии с обоих писем, одну из них отвез обратно и положил в сейф в «Литгазете», вторую положил к себе в карман, а подлинник завез в Союз писателей и положил в сейф там. Наверное, действия мои были наивными. Впрочем, в них была своя логика: я понимал, что со мной в той ситуации при благожелательном отношении ко мне Сталина Берия вряд ли что-нибудь сделает, а вот с письмами могло случиться что угодно, о них надо было думать. Так мне во всяком случае тогда казалось.

На следующее утро я приехал в Союз с самого утра и правильно сделал: в девять с минутами мне позвонили по вертушке, но не от Берии, а из секретариата Булганина, бывшего тогда министром вооруженных сил, и спросили меня, могу ли я сейчас предоставить те документы, связанные с книгой «Записки подводника», о которых я вчера упоминал. Я сказал, что да, что можно прислать за ними. Пригласив заведующую нашей канцелярией Союза писателей, вынул из кармана копии, вынул из своего сейфа в Союзе подлинники, дал ей сличить то и другое, после чего на копиях были поставлены соответствующие надписи и печати. Едва это было сделано, как из Министерства вооруженных сил явился фельдъегерь забирать материал.

Сейчас я пишу обо всем этом с некоторым сомнением и даже усмешкой над самим собой, над той мелочностью, которая отчетливо видится с большого расстояния во времени. Сейчас все это отдает даже чем-то смехотворным, но тогда мне было вовсе не до смеху, и, рассказывая о том времени, наверное, я все-таки прав, когда не минную вещи и такого рода.

Возвращаюсь к записям:

«После того как были отведены некоторые другие книги, один из присутствовавших на заседании внес предложение дополнить список премированных произведений романом Ольги Зив «Горячий час». Как выяснилось, Сталин читал этот не выдвинутый ранее на премию роман. В ответ на предложение дать роману премию он сказал, что роман интересный, но у нас почему-то в романах почти никогда не описывается быт рабочих. Плохо описан быт

рабочих. Во всех романах нет быта, только одно соревнование, а быт рабочих не описан, повторил Сталин. Исключение составляет книга Кочетова «Журбины», там есть жизнь и быт рабочих. Но эта книга — единственное исключение, когда рассказано, как человек живет, что он получает, какие у него культурные интересы, какая у него жизнь, какой у него быт. А у Зив нет этого быта рабочих, а раз нет быта, значит, нет рабочих. Хотя книга написана хорошо, написана с большим знанием дела».

Отклонив книгу, Сталин еще несколько минут продолжал говорить о том, как мало у нас занимаются жизнью и бытом людей и какой это большой недостаток нашей литературы.

А весь разговор в тот день начался с обсуждения романа Степана Злобина «Степан Разин». Я хочу выделить эту запись и особо рассказать о том, как происходило это обсуждение, потому что оно произвело на меня сильное и вместе с тем гнетущее впечатление.

Сначала — запись:

«— Злобин хорошо вскрыл разницу между крестьянской и казачьей основой движения Разина,— сказал Сталин.— Злобин это вскрыл впервые в литературе и сделал это хорошо. Вообще, из трех движений — Разина, Пугачева и Болотникова — только одно движение Болотникова было собственно крестьянской революцией. А движение Разина и движение Пугачева были движениями с сильным казачьим оттенком. И Разин, и Пугачев лишь терпели союз с крестьянами, лишь мирились с ним, они не понимали всей силы, всей мощи крестьянского движения».

Вот вся тогдашняя запись.

---

27 марта 1979 года

Хорошо помню, что Сталин, сказав о политической стороне романа и его исторической правдивости, перешел к его художественным достоинствам и несколько минут хвалил роман Злобина в таких выражениях, которые он не часто употреблял. Он называл роман очень талантливым, говорил, что автор талантливый человек и что он написал выдающееся историческое сочинение. Судя по всему, что говорил Сталин о романе, ему очень нравилось, как он был написан Злобиным.

Казалось бы, на этом все должно было и закончиться, но в тот момент, когда я так же, как и все другие, посчитал,

что обсуждение переходит к следующему произведению, что со Злобиным все ясно и кончено,— уже не помню кто,— может быть, это был председательствовавший на Политбюро Маленков,— перелистнув какую-то папку, сказал:

— Товарищ Сталин, тут вот проверяли и сообщают: во время пребывания в плену, в немецком концлагере, Злобин плохо себя вел, к нему есть серьезные претензии.

Это было как гром среди ясного неба, такого я еще не слышал ни на одном заседании, хотя понимал, конечно, что, готовя материалы для присуждения Сталинских премий, кто-то по долгу своей службы представлял соответствующие сведения в существовавшие где-то досье на авторов. Но об этом никогда, ни разу до сих пор не говорилось, а если что-то и обсуждалось, связанное с этим, то, очевидно, где-то в другое время и без нас, грешных.

Услышав сказанное, Сталин остановился — он в это время ходил — и долго молчал. Потом пошел между рядами мимо нас — один раз вперед и назад, другой раз вперед и назад, третий — и только тогда, прервав молчание, вдруг задал негромкий, но в полной тишине прозвучавший достаточно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе.

— Простить...— прошел дальше, развернулся и, опять приостановившись, докончил: — ...или не простить?

И опять пошел. Не знаю, сколько это заняло времени, может быть и совсем немного, но от возникшего напряжения все это казалось нестерпимо долгим.

— Простить или не простить? — снова повторил Сталин, теперь уже не разделяя двух половинок фразы.

Опять пошел, опять вернулся. Опять с той же самой интонацией повторил:

— Простить или не простить?

Два или три раза прошелся взад и вперед и, отвечая сам себе, сказал:

— Простить.

Так на наших глазах, при нас, впервые Сталиным единолично решалась судьба человека, которого мы знали, книгу которого читали. Я знал Злобина меньше, чем другие, к книге его был равнодушен, к нему самому не питал ни симпатии, ни антипатии, но само это ощущение, что вот тут, на твоих глазах, решается судьба человека — быть или не быть ему, потому что «простить или не простить» произносилось с такой интонацией, за которой сто-

яла, как мне тогда казалось, с одной стороны, Сталинская премия, а с другой — лагерь, а может быть, и смерть. Во всем этом было нечто угнетающе-страшное, тягостное — и это не последующее мое ощущение, а тогдашнее.

Если ж говорить о последующем, то, в сущности, речь шла не о том, чтобы простить или не простить человека, виноватого перед страной, но написавшего выдающуюся книгу, посвященную истории этой страны. Злобин, как это было доказано впоследствии, был не только ни в чем не виноват перед своей страной, но, наоборот, проявил в лагере незаурядное мужество, играл важную роль в советском лагерном подполье. Таким образом, на наших глазах шла речь не о том, чтобы простить или не простить виноватого, а о том, поверить или не поверить клевете на ни в чем не повинного, клевете, соответствующим образом оформленной в духе того времени со всеми необходимыми атрибутами мнимой неопровержимости.

Думая об этом сейчас, задним числом, видишь сцену, на которой Сталин играет свою роль верховного судьи, обладающего безапелляционным правом и казнить, и миловать, еще более тягостной, чем она представилась моим глазам тогда. Но вдобавок ко всему вот ведь еще какое неожиданное соображение возникает. Здравый смысл задним числом подсказывает мне, что вряд ли в этом единственном случае могло вдруг неожиданно всплыть со Злобиным то, что не всплывало ни в каких других случаях, то, что, очевидно, обсуждалось всегда заранее. Рассказанная мною история с Четвериковым не опровергает этого — там речь шла о журнале, который вдруг прочел и вспомнил Сталин и неожиданно для всех назвал фамилии авторов пьесы, один из которых оказался сидящим в лагере. Такое вполне могло быть, ибо никто не знал заранее, что Сталин назовет эту пьесу. А с личностью Злобина, с его романом, который возглавлял весь список Сталинских премий, был предложен на премию первой степени, такого не могло быть.

Сейчас я почти убежден в том, что Сталин заранее, еще до заседания, и прекрасно знал о том досье, которое в соответствующем месте заготовили на Злобина, и уже принял решение, не посчитавшись с этим досье, дать Злобину за «Степана Разина» премию первой степени, даже не снизив премии до второй или третьей — так и оставив ее первой. Если так, то, стало быть, сцена — «простить или не простить» — была сыграна для нас, присутство-

вавших при этом представителей интеллигенции. Чтобы мы знали, как это бывает, кто окончательно решает такие вопросы. Кто, несмотря на прегрешения человека, принимает решение простить его и дать ему премию. За кем остается право на эту высшую справедливость, даже перед лицом вины человека. Какие-то другие люди помнят только о вине и считают, что нельзя простить, а Сталин считает, что вину можно простить, если этот же человек сделал нечто выдающееся.

С достоверностью утверждать, что все это было именно так, не смею, но почти убежден, что догадка моя справедлива и что способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актером была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования. Что это так, меня укрепляет еще одна подробность той же самой последней встречи пятьдесят второго года. Сейчас мне кажется, что на этой встрече Сталин дважды сыграл перед нами, как перед специально предназначенной для этого аудиторией,— в первом случае это было с романом Злобина, а во втором — с романом Мальцева «Югославская трагедия».

Сначала текст записи — такой, каким он у меня сохранился:

«Когда начали обсуждать роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия», Сталин задал вопрос:

— Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо? Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него самого естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?»

Вот и вся запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал,

с оттенком непримиримости к происшедшему, хотя как раз в данном случае он попал пальцем в небо.

---

30 марта 1979 года

Дело в том, что автор романа «Югославская трагедия» Орест Михайлович Мальцев, вслед за фамилией которого стояло так раздражившее Сталина — Ровинский, на самом деле по происхождению был русский, уроженец деревни Скародная Курской области, а еврейскую фамилию Ровинский, кстати, совпадавшую с фамилией тогдашнего редактора «Известий», поставил вслед за собственным звучным именем Орест на своей предыдущей книжке рассказов, называвшейся тоже достаточно звучно «Венгерская рапсодия». Причины всего этого мне были неведомы, но, хочешь не хочешь, пришлось подняться и сказать, что в данном случае при постановке в скобках фамилии Ровинский антисемитизм места не имел. Задаю себе сейчас вопрос: почему именно меня тогда потянуло подняться и дать эту справку? Скорее всего потому, что примерно за год до этого на страницах «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» происходила не прошедшая ни мимо внимания читателей, ни мимо внимания писателей дискуссия о псевдонимах между Бубенновым, Шолоховым и мною. Самый болезненный характер этот вопрос приобрел в сорок девятом году, во время печально памятной кампании против критиков-космополитов, когда находились люди, стремившиеся как можно чаще, вслед за давно и привычно уже звучащим в литературе псевдонимом непременно поставить действительную еврейскую фамилию автора.

За некоторые вещи из происходивших тогда на мне лежит горькая доля моей личной ответственности, о которой я и говорил, и писал потом в печати и о которой скажу еще и в этих записках, когда буду писать главу о сорок девятом годе. Но антисемитом я, разумеется, не был, и когда я выступал и писал в те мрачные времена, скобок вслед за псевдонимами не ставил. Хорошо помню, как больно, прямо по сердцу, меня хлестнуло возмущенное письмо, присланное мне писательницей Фридой Абрамовной Вигдоровой, человеком чистым и строгим, которого я уважал. В этом письме она возмущалась: как же я мог, как я позволил себе в одном из своих выступлений поставить эти проклятые скобки вслед за псевдонимами. На самом

деле я был тут ни при чем, просто, излагая мое без того достаточно дурное выступление на каком-то обсуждении, составитель отчета сам понаставлял скобки всюду, где ему это вздумалось.

Прошло некоторое время, острота этого вопроса, к счастью, как будто бы уменьшилась, кое-какие из самых очевидных перехлестов и несправедливостей хоть и со скрипом, но были исправлены, когда в феврале пятьдесят первого года «Комсомольская правда», не знаю уж по чьей инициативе и под чьим давлением, вдруг вылезла со статьей Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?». Видимо, кому-то понадобилось, готовя почву к чему-то новому в том же духе, что и кампания против критиков-космополитов, пустить такого рода пробный шар. В статье присутствовала известная доля мимикрии, но антисемитские уши торчали из нее достаточно явно.

Мы в «Литературной газете» решили не оставить эту статью безнаказанной, и я коротко ответил на нее. Тогда против нас была двинута тяжелая артиллерия. Каким образом и кто организовал, что ответную, поддерживавшую Бубеннова статью в «Комсомольской правде» подписал Шолохов,— я так и не знаю. Моей первой реакцией было, когда я прочитал ее, позвонить ему и спросить его, человека, с которым до тех пор у нас не бывало никаких личных столкновений: «Миша, неужели ты сам это писал?» Это был глупый порыв, потому что на такого рода вопрос, хочешь не хочешь, человеку отвечать приходится только утвердительно, но я как-то и до сих пор не до конца верю в его авторство.

Однако ничего не поделаешь, пришлось отвечать еще раз, на этот раз Шолохову. На моем ответе дискуссия и кончилась. Очевидно, пробный шар, инспирированный кем-то в «Комсомолке», был выпущен преждевременно, и попытка разоблачения псевдонимов, их искоренения не была поддержана теми или тем, от кого ждали этой поддержки.

Пожалуй, поставив здесь звездочки, я прерву свое повествование и приведу как примечание к нему текст той дискуссии о псевдонимах, которая занимала немногим больше десятка страниц на машинке, но при этом, как мне кажется, имела известное отношение и к тому высказыванию Сталина насчет скобок, которое я уже привел, и к некоторым из наиболее мрачных событий, развернувшихся в последние месяцы жизни Сталина.

«Комсомольская правда», 27 февраля 1951 г.

Михаил Бубеннов

НУЖНЫ ЛИ СЕЙЧАС ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПСЕВДОНИМЫ?

Употребление псевдонимов, то есть вымышленных имен, как явление общественного порядка имеет довольно большую историю. В царской России это явление вызывалось главным образом условиями общественного строя, основанного на насилии и унижении. Очень многие революционеры, общественные деятели, писатели и журналисты демократического направления, боровшиеся против царизма, зачастую работавшие в подполье, были вынуждены самой жизнью, всей обстановкой своей деятельности скрываться за псевдонимами и кличками. У некоторых писателей и деятелей искусства псевдонимы служили или маскировкой от «светского» общества, пренебрегавшего их «недостойной» деятельностью, или выражением их идейной сущности и политической направленности, или несли в себе своеобразный протест против существовавшего строя, а иногда — и мечту о будущем. Наконец, псевдонимами были вынуждены пользоваться представители угнетенных национальностей, которые нередко могли выступать только на русском языке и поэтому брали для себя русские имена и фамилии.

После социалистической революции, установившей новый общественный строй в нашей стране, положение резко изменилось. Основные причины, побуждавшие ранее скрываться за псевдонимами, были уничтожены. Конечно, вполне естественно и вполне оправдано, что некоторые товарищи, долгие годы пользовавшиеся псевдонимами, и после победы социалистической революции продолжали ими пользоваться, но это только потому, что их псевдонимы давно стали фамилиями, известными широким слоям народа. Но не было ни одного случая, чтобы какой-нибудь партийный или государственный деятель, вступивший на общественную арену после революции, заменил свою фамилию псевдонимом. Не было и нет! Псевдонимами, как правило, и то в отдельных случаях, некоторое время пользовались только селькоры, но это и понятно — они боро-

лись за дело социализма в условиях ожесточенной классовой борьбы. И только работники литературы оказались ярыми приверженцами старой традиции.

Социализм, построенный в нашей стране, окончательно устранил все причины, побуждавшие людей брать псевдонимы. Любая общественная культурная деятельность, направленная на построение коммунизма, получает в нашей стране всяческое поощрение. Люди, занимающиеся такой деятельностью, старающиеся с помощью большевистской критики двинуть вперед общее дело, находятся у нас в большом почете. Им ничто не мешает выступать открыто, не прячась от общества за псевдонимы. Наоборот, наше общество хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой.

Несмотря на все это, некоторые литераторы с поразительной настойчивостью, достойной лучшего применения, поддерживают старую, давно отжившую традицию. Причем многие из этих литераторов — молодые люди, только начинающие свою литературную деятельность.

Приведем примеры.

Молодой и способный русский писатель Ференчук вдруг ни с того ни с сего выбрал псевдоним Ференс. Зачем это? Чем фамилия Ференчук хуже псевдонима Ференс?

Марийский поэт А. И. Бикмурзин взял псевдоним Анатолий Бик. В чем же дело? Первая треть фамилии поэту нравится, а две остальные — нет?

Удмуртский писатель И. Т. Дядюков решил стать Иваном Кудо. Почему же ему не нравится его настоящая фамилия?

Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?

Украинский поэт Е. Бондаренко, видимо, глядя на других, не вытерпел и хотя только две буквы, но все же изменил в своей фамилии и теперь подписывается псевдонимом Бандуренко.

Чувашский поэт Н. Васянка подписывается Шаланка, молодой московский поэт Лидес стал Л. Лиходеевым, С. Файнберг — С. Северцевым, Н. Рамбах — Н. Гребневым.

Любители псевдонимов всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности.

Одни говорят: «Я не могу подписывать своей фамилией, у меня много однофамильцев». Однако всем нам

известно, что в русской литературе трое Толстых, и их всех знают и не путают!

Другой восклицает: «Помилуйте, но я беру псевдоним только потому, что моя фамилия трудно произносится и плохо запоминается читателями». Однако всем понятно: создавай хорошие произведения — и читатели запомнят твое имя! (Конечно, у нас еще встречаются неблагозвучные и даже оскорбительные фамилии — когда-то бары давали их своим рабам. Такие фамилии просто надо менять в установленном порядке.)

Словом, оправданий много.

Но всем, кто не уважает свои фамилии, мне хочется привести здесь строки известного стихотворения Сергея Смирнова «Всем товарищам Смирновым». С гордостью рассказав о том, как много у него однофамильцев по всей стране, Сергей Смирнов пишет далее, что из газет он узнал о своем однофамильце — разоблаченном враге народа:

Я замышлял,
Не утаю,
Из-за него, из-за прохвоста
Менять
фамилию свою.

Но здесь С. Смирнов вспомнил о всех своих родных и однофамильцах, о труженике деде своем, который оставил по себе светлые воспоминания...

Случись такая перемена.
И было б ясно до конца,
Что это явная измена
Отцу и родичам отца.
Нет!
Всеми силами своими
Клянусь на будущие дни
Хранить фамилию
Во имя
Моей родни и неродни!
Во имя вас,
Собратьев новых,
Хранящих Родину, как дом,
Во имя армии Смирновых,
Живущих
Правильным трудом!

Как видно, у поэта Сергея Смирнова, не в пример многим упомянутым и не упомянутым в этой статье, были очень серьезные основания взять себе не только псевдоним, но даже сменить фамилию. Однако он не сделал этого — таким сильным оказалось у него чувство

гордости за свой род, издавна носящий фамилию Смирновых!

Почему мы ставим вопрос о том, нужны ли сейчас литературные псевдонимы?

Не только потому, что эта литературная традиция, как и многие подобные ей, отжила свой век. В советских условиях она иногда наносит нам даже серьезный вред. Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе. Не секрет, что и сейчас для отдельных окололитературных типов и халтурщиков псевдонимы служат средством маскировки и помогают им заниматься всевозможными злоупотреблениями и махинациями в печати. Они зачастую выступают одновременно под разными псевдонимами или часто меняют их, всячески запутывая свои грязные следы. Есть случаи, когда такие темные личности в одной газете хвалят какое-нибудь произведение, а в другой через неделю охаивают его.

Кстати, несколько слов о роли редакций газет и журналов в этом деле. Нередко редакции смотрят сквозь пальцы на то, как некоторые литераторы и журналисты прячутся за псевдонимами, а иногда и сами потакают им в этом своеобразном хамелеонстве. Напишет какой-нибудь журналист маленькую заметку, скажем, о начале уборки хлебов в колхозе и под ней обязательно ставит свой псевдоним, а редакторы считают, что так и должно быть. А зря так считают!

Нам кажется, что настало время навсегда покончить с псевдонимами. Любое имя советского литератора, честно работающего в литературе, считается в нашей стране красивым и с большим уважением произносится нашим многонациональным народом. Несомненно, что борьба с псевдонимами имеет весьма важное значение в повышении личной ответственности каждого, кто работает на литературном поприще.

«Литературная газета», 6 марта 1951 г.

ОБ ОДНОЙ ЗАМЕТКЕ

В советском авторском праве узаконено, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно» *(БСЭ, изд. 2-е, т. 1, с. 281)*. Однако ныне решение этого вопроса, ранее решавшегося каждым литератором самостоятельно, взял на себя единолично писатель Михаил Бубеннов и, решив его один за всех, положил считать отныне литературные псевдонимы «своеобразным хамелеонством», с которым «настало время навсегда покончить».

В своей заметке «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» *(«Комсомольская правда», № 47)* Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу.

На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам лично и порознь, а не в печати и чохом, так как вопрос о том, нравится или не нравится ему литературный псевдоним того или иного товарища,— вопрос личный, а не общественный.

Однако если Михаил Бубеннов решил начать публикацию списков писателей, имеющих литературные псевдонимы, то непонятно, почему он в первом же таком списке обошел ряд видных наших писателей, избравших себе такие, например, литературные имена, как: Полевой, Погодин, Мальцев, Яшин, Самед Вургун, Остап Вишня, Галин, Айбек, Крапива, Ян, Максим Танк, М. Ильин, Киачели, бр. Тур, Медынский, Иван Ле, Баширов?

Мне лично кажется, что Бубеннов сознательно назвал псевдонимы нескольких молодых литераторов и обошел этот (а он мог бы быть расширен) список псевдонимов известных писателей, ибо, приведи Бубеннов его, сразу бы стала во сто крат наглядней (явная, впрочем, и сейчас) нелепость бесцеремонного и развязного обвинения в «хамелеонстве», по существу, брошенного в его заметке всем литераторам, по тем или иным причинам (касающимся только их самих и больше никого) избравшим себе литературные псевдонимы.

Мне остается добавить, что аргументы, приводимые Бубенновым против литературных псевдонимов, в большинстве смехотворны. «Наше общество,— пишет Бубеннов,— хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой». Непонятно, почему наше общество хочет знать и овевать славой фамилию Кампов и почему оно не должно овевать славой литературное имя Борис Полевой?

«Всем понятно,— пишет Михаил Бубеннов,— создавай хорошие произведения и читатель запомнит твое имя». Непонятно, почему читатели должны обязательно запомнить фамилию Рогалин и что им мешает запомнить литературное имя Борис Галин?

Говоря о неблагозвучных фамилиях, Бубеннов пишет, что «такие фамилии просто надо менять в установленном порядке». Во-первых, благозвучие фамилий — дело вкуса, а во-вторых, непонятно, зачем, скажем, драматургу Погодину, фамилия которого по паспорту Стукалов, вдруг менять эту фамилию в установленном порядке, когда он, не спросясь у Бубеннова, ограничился тем, что избрал себе псевдоним «Погодин», и это положение более двадцати лет вполне устраивает читателей и зрителей. «Любители псевдонимов,— пишет Бубеннов,— всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности». Непонятно, о каких оправданиях говорит здесь Бубеннов, ибо никто и ни в чем вовсе и не собирается перед ним оправдываться.

А если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.

Что же касается вопроса о халтурщиках, который Бубеннов попутно затронул в своей заметке, то и тут, вопреки мнению Бубеннова, литературные псевдонимы ни при чем. Халтурность той или иной проникшей в печать статьи или заметки определяется не тем, как она подписана — псевдонимом или фамилией,— а тем, как она написана, и появляются халтурные статьи и заметки не в результате существования псевдонимов, а в результате нетребовательности редакций.

Константин СИМОНОВ
(Кирилл Михайлович Симонов)

«Комсомольская правда», 8 марта 1951 г.

Михаил Шолохов

С ОПУЩЕННЫМ ЗАБРАЛОМ...

Внимательно прочитав в «Комсомольской правде» статью М. Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» и, как ответ на эту статью, заметку К. Симонова в «Литературной газете» — «Об одной заметке», по совести говоря, удивлен непонятной запальчивостью, которую проявил Симонов, полемизируя с Бубенновым, и необоснованностью доводов, приведенных Симоновым, яростно отстаивающим существование в литературе псевдонимов.

Подводя «юридический базис» под свои доводы в защиту псевдонимов, Симонов начинает со ссылки на советское авторское право, в котором сказано, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно». Но Симонов не упоминает о том, что авторское право узаконено было двадцать пять лет назад, что оно устарело и едва ли стоит его канонизировать. Примером «дряхлости» авторского права, появившегося на свет в 1925 году, служит хотя бы тот факт, что ни одного анонимного произведения за истекшие четверть века в нашей литературе не появилось, да и едва ли могло появиться по причинам вполне понятным.

Некоей загадочностью веет от полемического задора и критической прыти К. Симонова. Иначе чем же объяснить хотя бы то обстоятельство, что Симонов сознательно путает карты, утверждая, будто вопрос о псевдонимах — личное дело, а не общественное? Нет, это вопрос общественной значимости, а будь он личным делом, не стоило бы редактору «Литературной газеты» Симонову печатать в этой газете заметку «Об одной заметке», достаточно было бы телефонного разговора между Симоновым и Бубенновым.

Симонов пишет: «...Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу». Но дело вовсе не во вкусовых ощущениях и не в том, что кому нравится и что не нравится. Разговор идет не о сливочном мороженом,

а о литературе, о литературном быте,— стало быть, глагол «нравиться» в данном споре неуместен и в аргументации Симонова позиций его отнюдь не укрепляет.

С неоправданной резкостью обвиняя Бубеннова в бесцеремонности, крикливости, зазнайстве, развязности, нелепости и прочем, Симонов не видит всех этих качеств в своей собственной заметке, а качества эти прут у него из каждой строки и достаточно дурно пахнут. К примеру, чего стоит такой «разумный», по мнению Симонова, совет: «...На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам (т. е. к тем, кто носит литературные псевдонимы.— *М. Ш.*) лично и порознь, а не в печати и чохом...» Кому-кому, а Симонову должно быть известно, что так много у нас литераторов, имеющих литературные псевдонимы, что Бубеннов, пожалуй, дожил бы до седин, если бы отважился на то, чтобы каждому «лично и порознь» высказывать свои соображения о псевдонимах.

Желая сознательно увести читателя подальше от существа вопроса, Симонов как бы обвиняет Бубеннова в том, что тот не приводит в своем списке известных писателей, носящих псевдонимы. Но в статье Бубеннова речь идет не о тех, кто издавна избрал себе ту или иную вымышленную фамилию и под этой фамилией широко известен советскому читателю, не посягает Бубеннов на изничтожение их псевдонимов. Речь идет о том, что молодежи наших дней, вступающей на литературное поприще, не нужна эта отжившая свой век «традиция». И думается мне, что правильно ставит вопрос Бубеннов, когда говорит о том, что не к лицу молодым литераторам стыдиться даже неблагозвучных фамилий своих отцов и праотцов и взамен их подыскивать себе надуманные звонкие фамилии.

В конце концов, правильно сказано в статье Бубеннова и о том, что известное наличие свежеиспеченных обладателей псевдонимов порождает в литературной среде безответственность и безнаказанность. Окололитературные деляги и «жучки», легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью, в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, наносят литературе огромный вред, развращая нашу здоровую молодежь, широким потоком вливающуюся в русло могучей советской литературы.

Никого Бубеннов не поучает и не хочет поучать. Сам заголовок его статьи целиком снимает обвинение, которое пытается приписать ему Симонов. А что касается зазнайства и кичливости, то желающие могут с успехом научиться этому у Симонова. Чего стоит одна его фраза в конце заметки, адресованная Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Этакое барски-пренебрежительное и покровительственное похлопывание по плечу! Любопытно было бы знать, когда же и от кого получил Симонов паспорт на маститость и бессмертие? И стоит ли ему раньше времени записываться в литературные «старички»?

Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь...

Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и невнятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей.

«Литературная газета», 10 марта 1951 г.

ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ЗАМЕТКЕ

Писатель Михаил Шолохов в «Комсомольской правде» *(№ 55)* выступил в защиту заметки Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» *(«Комсомольская правда, № 47)*, подвергнутой с моей стороны критике в «Литературной газете» *(№ 27)*.

Несколько кратких замечаний по этому поводу.

Первое. Дискутировать в газетах о правомерности или неправомерности литературных псевдонимов, по-моему, нет нужды, ибо избирать или не избирать себе литературное имя — это личное дело писателя. Подчеркнуть именно это обстоятельство и было целью моего краткого ответа Бубеннову.

Второе. Шолохов спрашивает: «Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь...» Я думаю, что это понятно, но, уважая имя Шолохова, могу объяснить еще раз. Я выступил в защиту писателей, пожелавших избрать себе литературные имена, от облыжных обвинений в хамелеонстве. Шолохов пишет, что Бубеннов говорит лишь о «молодежи наших дней, вступающей

на литературное поприще», и не «посягает на изничтожение псевдонимов» известных писателей. Шолохов невнимательно прочел Бубеннова. Бубеннов связывает все вообще литературные псевдонимы с попытками «прятаться от общества» и с «своеобразным хамелеонством». Он пишет, что «настало время навсегда покончить с псевдонимами». На мой же взгляд, и маститый Погодин, избравший себе литературное имя двадцать лет назад, и молодой Мальцев, избравший его пять лет назад, одинаково не заслуживают нелепых попреков в хамелеонстве.

Третье. Считаю неверным и оскорбительным для нашей литературы соединение и в заметке Бубеннова и в заметке Шолохова вопроса о литературных псевдонимах писателей с вопросом о борьбе с «отдельными халтурщиками», «окололитературными делягами и жучками».

Четвертое. Шолохов видит «барское пренебрежение» в моей фразе, адресованной Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Остаюсь при убеждении, что Бубеннов талантлив и как писатель молод. Не видя в том ничего обидного, причисляю себя вместе с Бубенновым к молодым писателям, которым предстоит еще учиться многому и у многих, в том числе и у такого мастера литературы, как Михаил Шолохов. Не хотел бы учиться у Шолохова только одному — той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые обнаружились в этой его вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы. Мое глубокое уважение к таланту Шолохова таково, что, признаюсь, я в первую минуту усомнился в его подписи под этой неверной по существу и оскорбительно грубой по форме заметкой. Мне глубоко жаль, что эта подпись там стоит.

Наконец, последнее. Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.

К. Симонов

* * *

Раздраженная тирада Сталина против двойных фамилий: «Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?» — на меня лично произвела сильное впечатление. По разным поводам я сталкивался в разговорах с людьми разных поколений с мнением, что Сталин не любит или, во всяком случае, недолюбливает евреев; сталкивался и с попытками объяснить это многими причинами, начиная с его отношения к Бунду и кончая приведением списка его основных политических противников, с которыми он в разное время покончил разными способами, списка, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие сторонники Троцкого и левые оппозиционеры. Это звучало, с одной стороны, вроде бы убедительно, а с другой — нет, потому что во главе правой оппозиции, с которой Сталин так же беспощадно расправился, были как на подбор люди с русскими фамилиями и с русским происхождением. С третьей же стороны, Каганович в нашем представлении большой период времени числился ближайшим соратником Сталина и чуть ли не так и назывался, до самого конца оставался членом Политбюро; Мехлис был долгие годы помощником Сталина, в годы войны, несмотря на керченский провал, за который можно было не сносить головы, оставался членом Военного совета разных фронтов, а потом стал министром государственного контроля; Литвинов полтора десятилетия фактически, а потом и официально руководил Наркоматом иностранных дел. В кинематографии, где с самого начала ее у нас так сложилось, что среди самых крупных ее дарований большинство составляли люди еврейского происхождения, в самые жестокие годы — тридцать седьмой и тридцать восьмой — было затронуто репрессиями людей куда меньше, чем в любой другой сфере искусства.

Правда, что-то смещалось и начинало происходить в последние годы, после войны. Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к ее официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей; появление вслед за псевдонимами скобок, в которых сообщались фамилии; подбор людей, попавших в статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», по тому же признаку;

различного рода попущения действующим в этом направлении доброхотам, иногда делавшим или пытавшимся делать на антисемитизме собственную карьеру,— все это, однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина. Мне, например, в его антисемитизм верить не хотелось: это не совпадало с моими представлениями о нем, со всем тем, что я читал у него, и вообще казалось чем-то нелепым, несовместимым с личностью человека, оказавшегося во главе мирового коммунистического движения.

А все-таки чувствовалось, что происходит нечто ненормальное, после войны что-то переменилось в этом смысле. Проблемы ассимиляции или неассимиляции евреев, которые просто-напросто не существовали в нашем юношеском быту, в школе, в институте до войны, эти проблемы начали существовать. Евреи стали делиться на тех, кто считает свою постепенную ассимиляцию в социалистическом обществе закономерной, и на тех, кто не считает этого и сопротивляется ей. В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявлявшегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный ответный еврейский национализм, который иногда в некоторых разговорах квалифицировался как своего рода национализм в области подбора кадров,— все это наличествовало и в жизни, и в сознании.

Но при том отношении к Сталину, которое у подобных мне людей продолжало в те годы оставаться почти некритическим, мы в разговорах между собою не раз возвращались к тому, кто же закоперщик этих все новых и новых проявлений антисемитизма. Кто тут играет первую скрипку, от кого это идет, распространяется? Кто, используя те или иные неблагоприятные для евреев настроения и высказывания Сталина, существование которых мы допускали, стремится все это гиперболизировать и утилизировать? Разные люди строили разные предположения, подразумевая при этом то одного, то другого, то третьего, то сразу нескольких членов тогдашнего Политбюро.

И вот, высказываясь по поводу книги Ореста Мальцева и двойных фамилий, сам Сталин, может быть, к чьему-то неудовольствию, но к радости большинства из нас, недвусмысленно заявил, что если есть люди, которые уже второй год не желают принимать к исполнению, казалось бы, ясно выраженное им, Сталиным, отрицательное

отношение к этим двойным фамилиям, к этому насаждению антисемитизма, то сам он, Сталин, не только далек от того, чтоб поддерживать нечто похожее, но счел нужным при нас с полной ясностью высказаться на этот счет и поставить все точки над «i», объяснив, что это идет не от него, что он этим недоволен, что он это намерен пресечь.

Так я думал тогда и продолжал думать еще почти целый год, до тех пор, пока уже после смерти Сталина не познакомился с несколькими документами, не оставлявшими никаких сомнений в том, что в самые последние годы жизни Сталин стоял в еврейском вопросе на точке зрения, прямо противоположной той, которую он нам публично высказал. Вполне можно допустить, что ему не понравились какие-то, в определенный момент показавшиеся ему глупыми или неудачными мелочи вроде этих скобок после псевдонимов, но это не имело отношения к существу дела. Просто Сталин сыграл в тот вечер перед нами, интеллигентами, о чьих разговорах, сомнениях и недоумениях он, очевидно, был по своим каналам достаточно осведомлен, спектакль на тему: держи вора, дав нам понять, что то́, что нам не нравится, исходит от кого угодно, но только не от него самого. Этот маленький спектакль был сыгран мимоходом. Сколько-нибудь долго объясняться с нами на эту тему он не считал нужным и был прав, потому что мы привыкли верить ему с первого слова.

Вернусь, однако, к тексту давно отложенной мною в сторону записи. Кстати, как я выяснил, посмотрев сейчас копию своего сопроводительного письма к замечаниям специалистов по Италии о романе Еремина, заседание Политбюро, о котором идет речь, происходило не в марте пятьдесят второго года, а примерно за неделю до публикации списка премий — двадцать шестого февраля.

«В заключение заседания Сталин заговорил о нашей драматургии, выразил свое недовольство ею.

— Плохо с драматургией у нас,— сказал он.— Вот говорят, что нравится пьеса Первенцева, потому что там конфликт есть. Берут заграничную жизнь, потому что там есть конфликты. Как будто у нас в жизни нет конфликтов. Как будто у нас в жизни нет сволочей. И получается, что драматурги считают, что им запрещено писать об отрицательных явлениях. Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни. А если у кого-нибудь появляется что-ни-

будь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают. Вот у Бабаевского в одной из его книг сказано про какую-то бабу, про обыкновенную отсталую бабу, или про людей, которые были в колхозе, а потом вышли, оказались отсталыми людьми. И сразу же напали на него, говорят, что этого быть не может, требуют, чтоб у нас все было идеальным; говорят, что мы не должны показывать неказовую сторону жизни,— а на самом деле мы должны показывать неказовую сторону жизни. Говорят так, словно у нас нет сволочей. Говорят, что у нас нет плохих людей, а у нас есть плохие и скверные люди. У нас есть еще немало фальшивых людей, немало плохих людей, и с ними надо бороться, и не показывать их — значит совершать грех против правды. Раз есть зло, значит, надо его лечить. Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины. У нас немало еще зла. Немало еще недостатков. Далеко не все еще хорошо. Вот Софронов высказывал такую теорию, что нельзя писать хороших пьес: конфликтов нет. Как пьесы без конфликтов писать. Но у нас есть конфликты. Есть конфликты в жизни. Эти конфликты должны получить свое отражение в драматургии — иначе драматургии не будет. А то нападают на все отрицательное, показанное драматургами, в результате они пугаются и вообще перестают создавать конфликты. А без конфликтов не получается глубины, не получается драматургии. Драматургия страдает от этого. Это надо объяснить, чтоб у нас была драматургия. У нас есть злые люди, плохие люди — это надо сказать драматургам. А критики им говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии».

31 марта 1979 года

На этом заканчивается моя тогдашняя запись. Это были последние слова, что я услышал из уст Сталина в том, сравнительно нешироком кругу, в котором проходили эти заседания.

Перечитывая это сейчас, думаю, что жили мы тогда в поистине трудное время для человека, занимающегося литературой, пишущего или, как я, редактирующего в те годы «Литературную газету». На протяжении года, двух, трех все буквально по нескольку раз могло перевернуться с головы на ноги, с ног на голову: достаточно сравнить хотя бы то, что говорилось в статье о критиках-антипатриотах и в бесчисленных последующих статьях того вре-

мени о наших театральных критиках, с тем, что говорил Сталин о них же три года спустя, в феврале пятьдесят второго года. Всякий раз он был прав, не мог не быть прав, но чем дальше, тем труднее выстраивалась ложная логика этой правоты. Чем дальше, тем труднее было приводить у себя в голове в какую-то систему, сколько-нибудь похожую на единую систему, то, что он требовал от критики, от литературы: то, что он говорил о необходимости правды жизни,— с тем, что сплошь и рядом тут же происходило вокруг попыток сказать об этой правде жизни. Не укладывалось в систему и то, что он иногда по собственной инициативе отбирал для присуждения премий действительно правдивые произведения, как это было с Пановой, или Некрасовым, или с Казакевичем, с тем, что при его поддержке проходили на премию произведения, вопиюще далекие от чего-либо похожего на правду жизни, такие, как «Борьба за мир» Панферова и его же «В стране поверженных», да и многое другое в том же духе.

Думал ли я об этом тогда? В последние годы жизни Сталина думал. Не с той, конечно, категоричностью в суждениях, наоборот, с внутренними искренними попытками понять его логику, объяснить его суждения той или иной политической необходимостью. Но мозги иногда лопались от этих по-своему честных .стараний совместить несовместимое.

* * *

Моя следующая запись о Сталине датирована шестнадцатым марта 1953 года, то есть уже через какое-то количество дней после его смерти. Через какое именно, если быть до конца честным, сказать затрудняюсь. Возможно, на этом лежит печать государственной тайны, допускаю, что Сталин умер сразу, а не боролся еще несколько дней за жизнь, находясь без сознания. Бюллетени с первого же дня рисовали картину, с медицинской точки зрения, безнадежную. Могу допустить, что было признано необходимым растянуть на несколько дней в сознании большинства людей потрясающую новость, что Сталина нет. Допускаю, что нас приучали несколько дней к тому, что его вот-вот не будет. Может быть, я не прав, и все было именно так, как писалось в бюллетенях, но мысль о том, что могло быть и так, как я сейчас думаю, из головы не выходит. Не до конца уверен и в том, как именно умер Сталин. Действительно ли его хватил удар в том

одиночестве, на которое он себя обрек, и лишь через несколько часов обнаружили его лежащим на полу без сознания? Или его конец своими руками ускорил Берия?

Это можно допустить по нескольким причинам сразу.

Последнее полугодие своей жизни, в частности в связи с так называемым мингрельским делом, Сталин заметно отодвинул Берию от себя, хотя и сделал это, видимо, непоследовательно, не до конца, может быть, преувеличивая в тот момент свои возможности, часть которых была уже блокирована Берией. В этой ситуации Берия, конечно, был заинтересован в скорейшем конце Сталина.

Второе основание для таких размышлений связано с тем, что на протяжении ряда лет все-таки именно Берия больше, чем кто-либо другой, способен был проникнуть к Сталину не только по его воле, но и, очевидно, помимо ее.

Третье основание. Все то, что мы узнали о Берии, выяснившаяся в июне пятьдесят третьего года его попытка захватить власть в свои руки подсказывают и такую возможность, что первым шагом к этому могло быть и устранение Сталина — или прямое устранение, или под видом прихода ему на помощь.

Все эти допущения — результат многолетних размышлений, не столько над самими этими тайнами, в гораздо большей степени вообще над тем коротким отрезком нашей истории.

А тогда, в марте пятьдесят третьего года, как свидетельствуют мои записи, все это еще не приходило мне в голову:

«Последний день заседания XIX съезда партии. Уже объявлены результаты выборов в ЦК и в ревизионную комиссию, и после этого Ворошилов снова предоставляет слово одному за другим нескольким иностранным делегатам, приветствующим съезд. После нескольких дней отсутствия Сталин в этот, последний день с самого начала заседания сидит в президиуме. Все в зале напряженно ждут того, о чем уже говорили между собою и вчера и сегодня перед началом заседаний,— будет ли выступать Сталин? Если будет выступать, то как и по какому вопросу? Может быть, он закроет съезд?

Между тем заседание идет своим ходом, и оттого, что оно все продолжается и продолжается, возникают сомнения: а вдруг Сталин все-таки так и не выступит? Вороши-

лов предоставляет слово Копленигу; потом, когда тот, под аплодисменты сойдя с трибуны, садится на свое место, Ворошилов выдерживает небольшую паузу и говорит: «Приветствия делегаций коммунистических братских партий закончены». И уже без паузы объявляет: «Слово предоставляется товарищу Сталину».

Зал поднимается и рукоплещет. Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре. Кладет перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шел к трибуне, и начинает говорить — спокойно и неторопливо. Так же спокойно и неторопливо он пережидает аплодисменты, которыми зал встречает каждый абзац его речи. В одном месте зал прерывает его речь так, что если продолжить ее с того слова, на котором она была прервана аплодисментами, то форма одного из строго построенных абзацев речи будет нарушена. Сталин останавливается, дожидается конца аплодисментов и начинает снова не с того места, с какого его прервали аплодисменты, а выше, с первого слова той фразы, которая кончается словами о знамени: «Больше некому его поднять».

В самом конце своей речи Сталин впервые чуть-чуть повышает голос, говоря: «Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между народами!» После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой поджигателей войны!» Он произносит ее не так, как произнесли бы, наверное, другие ораторы — повысив голос на этой последней фразе. Наоборот, на этой фразе он понижает голос и произносит ее тихо и презрительно, сделав при этом левой рукой такой жест спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает куда-то в сторону этих поджигателей войны, о которых он вспомнил, потом поворачивается и, медленно поднявшись по ступенькам, возвращается на свое место.

После этого мне довелось видеть Сталина еще два раза: на обеде, который давал Центральный Комитет членам иностранных делегаций коммунистических братских партий, и на последнем пленуме Центрального Комитета, в работе которого принимал участие Сталин».

На этом месте оторвусь от записи для того, чтобы и объяснить, и рассказать некоторые обстоятельства, связанные лично для меня с ее последним абзацем.

На XIX съезде партии я был в числе гостей с билетом на все заседания, за исключением, разумеется, того закрытого, на котором избирался новый состав ЦК. Вечером этого дня мне позвонил домой писатель Бабаевский и абсолютно неожиданно для меня поздравил меня с тем, что я выбран кандидатом в члены ЦК. Если бы мне позвонил кто-то другой, я, может быть, вообще не поверил бы в это, счел за розыгрыш и обругал бы говорившего, но Бабаевский был делегатом съезда, человеком, с которым мы были весьма далеки, и у меня не было оснований не поверить ему. Я поблагодарил его за поздравление, позвонил одному из своих знакомых делегатов съезда и проверил еще и у него, так ли это в действительности, и, убедившись, что так, подумал, что, очевидно, оказался в числе кандидатов в члены ЦК как главный редактор «Литературной газеты». Догадка была верной, так оно впоследствии и оказалось. Одновременно со мной, тоже впервые в своей жизни, были выбраны в ревизионную комиссию ЦК Твардовский — в то время редактор «Нового мира» и Сурков — в то время редактор «Огонька». Мне почему-то кажется, что во всех трех случаях это была инициатива Сталина, хотя, может быть, я и ошибаюсь.

На обеде, который давал ЦК в честь делегаций коммунистических партий и который происходил чуть ли не в тот же вечер, когда закрылся съезд, я оказался сидящим рядом с Георгием Константиновичем Жуковым, выбранным так же, как и я, в кандидаты в члены ЦК. Тут уж не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина,— никаких иных причин в то время быть не могло. Многих эта перемена в судьбе Жукова обрадовала и в то же время удивила. Меня удивила, наверное, меньше, чем других, потому что я помнил то, что говорил еще два года назад Сталин о Жукове в связи с обсуждением романа Казакевича «Весна на Одере». Теперь, во время этого ужина, сидя рядом с Жуковым, я не только вспомнил тот разговор о нем, который происходил на Политбюро, но и счел себя вправе рассказать о нем Георгию Константиновичу. Я чувствовал сквозь не изменявшую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью. Тем сильнее, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу, ни словом коснуться этой, несомненно больше всего

волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели с ним рядом.

Вел ужин и произносил тосты на нем Ворошилов. А Сталин, сидевший во главе стола, но чуть подальше от центра его, почти весь ужин общался с сидевшими — один совсем рядом с ним, а другой близко от него — (неразборчиво.— *Л. Л.*) и Торезом. Внимание его к ним обоим ощущалось даже как подчеркнутое, и, очевидно, это было не случайным,— так, во всяком случае, мне показалось.

Пленум ЦК — первый, на котором я присутствовал в своей жизни, и единственный, на котором я видел Сталина,— состоялся днем позже, шестнадцатого октября. В мартовской 1953 года записи о пленуме этом по многим причинам я не распространялся. Но все же сначала приведу — такой, какая она есть,— тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти расшифрую некоторые моменты ее, которые теперь, спустя двадцать семь лет, расшифровать, пожалуй, будет меньшим грехом, чем вовсе предать забвению.

Вот эта запись в первозданном виде:

«Естественно, я не вправе записывать все то, что происходило на пленуме ЦК, но, не касаясь вопросов, которые там стояли, я все-таки хочу записать некоторые подробности.

Когда ровно в назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах, и Сталин вместе с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума, собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошел с очень деловым, серьезным, сосредоточенным лицом и, быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой — от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено и то, что он понимает наши чувства к себе, и то, что мы должны понять, что этого сейчас не надо, что это пленум ЦК, где следует заняться делами.

Один из членов ЦК, выступая на пленуме, стоя на трибуне, сказал в заключение своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: «Мы все ученики Ленина».

Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твердости и бесстрашия, заговорил о Ленине, о том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году, какая неимоверно тяжелая обстановка тогда была и как сильны были враги.

— А что же Ленин? — спросил Сталин.— А Ленин — перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел.

Сталин дважды или трижды, раз за разом повторил это слово. «Гремел!»

Затем в связи с одним из возникших на пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, Сталин сказал:

— Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было только записано за мною. Я не так воспитан,— последнее он сказал очень резко».

Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в пятьдесят третьем году, записью? Попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения.

---

2 апреля 1979 года

Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности происходившего на пленуме, которые я помнил, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалось в память и осталось в ней как воспоминание тяжелое и даже трагическое.

Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное время речи Молотова и Микояна и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вел Маленков, остальное время — сам Сталин. Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже стола президиума, по центру его кафедре. Говорил он от начала и до конца все время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал,— все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капита-

листическим лагерем предстоит тяжелая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою очередь, было связано с темою собственной старости и возможного ухода из жизни.

Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как составные части элементы игры и расчета, но за всем этим чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической подоплеки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга, капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину в тех фразах, которые я уже приводил в тогдашней своей записи. Сейчас, в сущности, речь шла о нем самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств.

Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиною, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин.

Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвердости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым в этом смысле опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то не запомнившиеся мне примеры неправильных действий Молотова, связанных главным образом с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Какие, не помню, это не запомнилось, наверное, отчасти потому, что Сталин говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чем идет речь. И, во-вторых, на-

верное, потому, что обвинения, которые он излагал, были какими-то недоговоренными, неясными и неопределенными, во всяком случае, в моем восприятии это осталось так.

Я так и не понял, в чем был виноват Молотов, понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который, казалось, был связан с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, памятуя прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, всю систему и обвинений в трусости и капитулянтстве, и призывов к ленинскому мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова: он обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь места в партии, если время возьмет свое и во главе партии перестанет стоять Сталин.

При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной.

В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали так же, как и мы, где и когда, и на чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова, Микояна еще на кого-то. Они не знали, что еще предстоит услышать о других, а может быть, и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они — сначала Молотов, потом Микоян — спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там — Молотов дольше, Микоян короче — пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они никогда не были ни трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним.

После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену в своей, уже решенной Сталиным судьбе. Странное

чувство, запомнившееся мне тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди, которых я довольно много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами лица и в то же время какие-то совершенно не похожие, уже неживые. Не знаю, достаточно ли я точно выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом.

Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у Молотова, был, несмотря на то, что, в сущности, в последние годы он был в значительной мере отстранен от дел, несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже несколько лет непосредственно руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена,— несмотря на все это, многими и многими людьми — и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше,— имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно вслед за именем Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто собрался на пленум, всем старым и новым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще предстояло избрать. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его окончательно исключала такую возможность.

Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не способен выполнять первую роль в партии и в государстве. Но бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, который в сознании людей был самым сильным «за» при оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов все-таки самый ближайший его соратник. Бил по представлению о том, что Молотов самый твердый, самый несгибаемый последователь Сталина. Бил, обвинял в капитулянтстве, в возможности трусости и капитулянтства, то есть как раз в том, в чем Молотова никогда никто не подозревал. Бил предательски и целенаправленно, бил, вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то главное, что сохранилось в моем сознании в связи с этой речью.

И еще одно. Не помню, в этой же речи, еще до того как дать выступить Молотову и Микояну, или после этого, в другой, короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов ЦК,— боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно, все было сказано в разных пунктах первой речи,— Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах, передаю почти текстуально, это было высказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти слова, смотрел на зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение — не то чтоб испуга, нет, не испуга,— а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!» Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие, а Маленков, на котором как на председательствующем в этот момент лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказываться от поста Генераль-

ного секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу — как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести еще эту, третью свою обязанность.

Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту Генерального секретаря и вести Секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого только что миновала прямая, реальная смертельная опасность, потому что именно он, делавший отчетный доклад на съезде партии и ведший практически большинство заседаний Секретариата ЦК, председательствующий сейчас на этом заседании пленума, именно он в случае другого решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина, который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить.

Уже не помню, кто оглашал под конец пленума состав исполнительных органов, за которые предстояло проголосовать членам ЦК,— сам Сталин или Маленков. Помню только реплику Сталина по поводу Андреева, который не вошел в состав членов и кандидатов Президиума ЦК, что он отошел от дел и практически не может больше активно работать. Что-то в этом духе. Состав Президиума, который был выбран вместо Политбюро, для многих явился неожиданностью, для меня, конечно, тоже. То, что вместо Политбюро будет избран Президиум, было уже известно из утвержденного нового Устава. То, что в этом Президиуме будет двадцать пять человек и таким образом прежнее Политбюро составит даже меньше половины Президиума, было неожиданностью.

В отчете о первом дне съезда было написано так: «Семь часов вечера. Появление на трибуне товарища Сталина и его верных соратников тт. Молотова, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Берии, Кагановича, Хрущева, Андреева, Микояна, Косыгина делегаты встречают долгими аплодисментами. Все встают... По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии съезд открывает вступительной речью тов. В. М. Молотов».

Теперь в Президиуме из прежних членов Политбюро отсутствовал Андреев, а Косыгин оказался кандидатом в члены Президиума. Секретариат ЦК тоже был составлен небывало широкий: из десяти человек. Тогда мне это не приходило в голову, но потом я не раз думал, что, очевидно, Сталин хотел создать себе свободу маневрирования внутри Президиума и Секретариата. Может быть, у него были и более далеко идущие планы, которые, ему казалось, проще выполнить с расширенным составом Президиума и Секретариата. Но тогда я об этом не думал, а просто удивлялся некоторым персональным переменам. Главное же удивление мое было связано с тем, что, несмотря на яростную по отношению к Молотову и Микояну речь Сталина, они оба оказались в составе Президиума,— у меня это вызвало вздох облегчения. Но вслед за этим произошло то, что впоследствии не стало известным сколько-нибудь широко: Сталин, хотя этого не было в новом Уставе партии, предложил выделить из состава Президиума Бюро Президиума, то есть, в сущности, Политбюро под другим наименованием. И вот в это Бюро из числа старых членов Политбюро, вошедших в новый состав Президиума, не вошли ни Молотов, ни Микоян.

Приехав после пленума в «Литературную газету», я рассказал о создании Бюро Президиума своему заместителю — Борису Сергеевичу Рюрикову. Мы оба думали, что все это будет в печати. Но пришедшие в редакцию «тассовки» о создании Бюро Президиума не сообщили. Так это и осталось неизвестным, а в день смерти Сталина, когда мы явились на пленум ЦК, на котором сформировались за полтора-два часа до смерти Сталина новые органы власти, за столом президиума сидело Бюро, выбранное при Сталине, плюс Молотов и Микоян и минус сам Сталин. Таким образом, это его решение, очевидно, самоличное, принятое на том пленуме, впоследствии как бы просто игнорировалось. И только в постановлении совместного заседания пленума ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР был пункт, вскользь напоминавший о том, что некоторое время такое Бюро существовало, в разделе о Президиуме Центрального Комитета КПСС и секретарях ЦК КПСС первый пункт выглядел так: «Признать необходимым иметь в Центральном Комитете КПСС вместо двух органов ЦК — Президиум и Бюро Президиума, один орган — Президиум Центрального Комитета КПСС, как это определено Уставом партии». Следующим же пунктом шло сокра-

щение Президиума до прежнего состава Политбюро. Выглядело это так: «В целях большей оперативности в руководстве определить состав Президиума в количестве десяти членов и четырех кандидатов». Вместо двадцати пяти и одиннадцати, как это было после XIX съезда,— это я уже добавляю от себя.

Четыре с половиной месяца, прошедшие между последним пленумом ЦК с участием Сталина и его смертью, были месяцами тяжелыми и странными. Все как будто шло своим чередом: присуждались Международные Сталинские премии защитникам мира, проходил пленум Советского комитета защиты мира, обсуждались проблемы изучения Маяковского; продолжалась в «Литературной газете» своя газетная жизнь. А в это время в Чехословакии происходил процесс над Сланским и другими. Сланского я знал, он при мне выходил через фронт после словацкого восстания из Татр в места, занятые 4-м Украинским фронтом, где тогда был, и я его видел в этот первый день. Был он вместе с будущим министром промышленности социал-демократом Лаушманом. Они рассказывали, как во время этого выхода из окружения у них на руках умер Ян Шверма, не выдержавший тяжести похода. Это было зимой сорок пятого года. Теперь, в ноябре пятьдесят второго, Сланскому было предъявлено обвинение в смерти Швермы и в связях с еврейской националистической организацией «Джойнт», агентом которой он якобы являлся. Среди проходивших по этому процессу был бывший политработник корпуса Свободы, а впоследствии заместитель министра обороны Чехословакии в бытность Свободы министром. С этим человеком — Бедржихом Райнцином — я довольно жестоко спорил по поводу своей пьесы «Под каштанами Праги», которая ему не нравилась; его позиция казалась мне слишком дидактической. Зная отношение к нему Свободы, зная, как высоко оценивал Свобода его участие в боях корпуса, я никак не представлял себе, что этот человек может оказаться шпионом. В декабре, летя через Прагу в Лондон, я встретил на аэродроме растерянного Яна Дрду, который сказал мне, что сам Свобода находится не то в тюрьме, не то под домашним арестом. Это меня буквально потрясло, потому что Свобода принадлежал к числу людей, которым я верил и продолжал верить безоговорочно во все времена.

В Прагу, оттуда через Париж в Лондон мы летели с Фединым. За несколько дней, если не накануне отлета работавший тогда в аппарате ЦК Владимир Семенович Лебедев,

ныне покойный, сказал мне при встрече, что состоялось решение о назначении меня одним из двух главных редакторов «Правды». Я не сразу даже понял, о чем он говорит, но оказалось, что возникла идея, надо полагать у Сталина, иметь двух главных редакторов «Правды», и вот я должен был стать одним из них. Лебедев сказал, что это решено и оформляется, к тому времени, когда я вернусь, уже состоится назначение. Я не имел никаких оснований ему не верить, хотя все это было очень странно. Я не мог понять: как же так, для чего два главных редактора в «Правде»? Это мне льстило и пугало меня. Кстати, после возвращения из Англии никто к этому проекту и к этому разговору не возвращался, как будто его и не было. Видимо, это была одна из тех внезапных идей Сталина, о которых он потом забывал и которые уходили в песок,— и слава богу, что уходили.

В Англии мы встречались с рядом английских писателей, побывавших незадолго до этого у нас. На приеме у либерально настроенной английской писательницы Наоми Митчисон к нам с Фединым, разводя руками, подошел Александр Верт. Видеть его здесь после чехословацкого процесса, где он упоминался как один из связных между «Джойнтом» и Сланским, было уже само по себе некоторым потрясением. Но он, подойдя к нам, во всеуслышание заговорил, почти закричал: «Федин! Симонов! Вы меня знаете, я был военным корреспондентом у вас, вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что я пишу книги, в которых не соглашаюсь со многим из того, с чем соглашаетесь вы. Но я клянусь вам, что я не знал никакого Сланского, во сне не видел никакого Сланского, не имел никогда с ним никакого дела, не имею о нем никакого представления. Скажите это там, в Москве. Пусть я плохой, пусть я никуда не годный, пусть как журналиста объявляют меня кем угодно, но скажите им там, чтоб они не считали меня тем, чем я никогда не был».

Ситуация, надо сказать, была не из легких, тем более, что все в Верте в этот момент вызывало чувство доверия к его словам, а то, что происходило на процессе в Чехословакии, вызывало чувство обратное.

Мы к Новому году вернулись в Москву, а тринадцатого января в газетах было напечатано сообщение ТАСС о врачах-убийцах, сообщение ужасное, напоминавшее худшие времена тридцать седьмого — тридцать восьмого годов и такого же рода обвинения Плетнева и других в убийстве или в содействии убийству Орджоникидзе, Горького и Куйбы-

шева. Теперь в роли жертв были Жданов и Щербаков, врачи-убийцы оказывались агентами все того же «Джойнта», у всех у них были еврейские фамилии, правда, к ним потом присоединили несколько врачей с русскими фамилиями. Среди этих врачей с еврейскими фамилиями был человек, которого я прекрасно знал лично,— профессор Вовси. Он меня лечил во время войны и после нее, будучи главным терапевтом Красной Армии. В виновность его я просто не мог поверить. Да и вообще все это не вызывало веры, казалось чем-то чудовищным, странным. Когда неделю спустя появилось сообщение о награждении орденом Ленина врача Лидии Тимашук, которой правительство выражало благодарность за помощь в разоблачении врачей-убийц, вся эта история выглядела еще страшней, еще подозрительней. Накатывалась волна антисемитизма, во многих случаях не чуждая прямому сведе́нию всякого рода личных счетов — недавних и давних.

---

4 апреля 1979 года

Вторую половину января, февраль и первую половину марта, включая недели полторы после смерти Сталина,— вокруг дела врачей-убийц создавалась гнетущая атмосфера. Казалось, что нависает что-то страшное, повторение тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Даже смерть Сталина не сразу разрядила эту атмосферу, могу это сказать, опираясь на собственные ощущения.

В голове была полная сумятица. С одной стороны, я хорошо помнил, как совсем недавно в моем присутствии Сталин выступал против антисемитизма, я слышал это своими ушами. И вдруг эти врачи-убийцы, этот список с преимущественно еврейскими фамилиями, эти обличения в связи с «Джойнтом», вся та муть, которая поднялась со дна вокруг этого.

Врачи-убийцы — страшнее, кажется, придумать было невозможно. Все, начиная от самой формулировки, было намеренно рассчитано на огромный резонанс, на то, что люди, хоть немного поддавшиеся на это, хоть в какой-то степени этому поверившие, станут людьми со сдвинутыми мозгами, людьми, боящимися повседневно за собственную жизнь, за собственное здоровье и, что еще страшнее, за здоровье своих детей. В общем, было ощущение, что последствия всего этого могут оказаться поистине невообразимыми. Я мысленно спрашивал себя: что же произошло? Что

Сталин? Что, он сознательно обманывал нас тогда, когда говорил совершенно обратное тому, что делалось (тут не приходилось сомневаться) по его прямому указанию и разрешению теперь, или он был искренен и тогда, и теперь? И верны те страшные, робко просачивавшиеся слухи о каких-то смещениях в его психике? В это и не хотелось верить, и страшно было поверить. Да и мысль о нарушениях в психике не сочеталась с теми впечатлениями, которые остались у меня от встреч, все это не укладывалось в голове. Не укладывалось в голове ни то, ни другое.

А сколько всяческой мути всплыло за это время на поверхность! Но, пожалуй, чтоб не заходить слишком далеко, начну от собственной печки, у нее же закончу.

На протяжении этих первых месяцев пятьдесят третьего года Алексей Александрович Сурков, который сидел в Союзе писателей, как в былые времена я, заменяя длительное или довольно длительное время отсутствовавшего Фадеева, дважды рассказывал мне о разговорах с работниками аппарата ЦК в связи с имевшими ко мне касательство письмами. Надо сказать, что Сурков глубоко, органически презирал и ненавидел и антисемитизм как явление, и антисемитов как его персональных носителей, не скрывал этого и в своем резком отпоре всему, с этим связанному, был последовательнее и смелее меня и Фадеева.

В первом случае он в ярости рассказывал мне о содержании письма, которое ему как исполняющему обязанности руководителя Союза писателей показали в аппарате ЦК. Это письмо, адресованное в ЦК, было не анонимным, его подписал один из тех бывалых людей, которые, имея немалые заслуги в годы войны, воспользовались сделанной чужими руками литературной записью своих подвигов для того, чтобы пробиться в Союз писателей. Не буду называть здесь фамилию этого человека, которую я узнал от Суркова, не посчитавшего нужным скрывать ее от меня. Он погиб через год или два после этого — случайной и злой в своей предельной нелепости смертью,— так что бог с ним. Но само письмо заслуживает краткого пересказа даже сейчас, через столько лет, поскольку оно характеризует какую-то частицу атмосферы того времени, когда не аноним, а человек, носивший известное имя, решил заняться антисемитского характера раскопками такой глубины, до которой додумывались, пожалуй, только фашисты.

В своем письме он хотел обратить внимание отдела агитации и пропаганды ЦК, что то потворство евреям и то

засилье евреев, с которым связана деятельность руководимой мною «Литературной газеты», объясняются моим собственным еврейским происхождением. Как он выяснил, я был на самом деле не Симоновым, а Симановичем, родился в еврейской семье и являлся сыном шинкаря в имении графини Оболенской, впоследствии взявшей меня на воспитание и усыновившей. Эти сведения он, видимо, считал достаточно серьезными для того, чтобы, подписавшись собственной фамилией, направить их в ЦК. Сурков, как я уже упомянул, говорил об этом с яростью, а я, услышав это, в первую минуту расхохотался. Расхохотался потому, что моей первой реакцией была мысль о том, как я расскажу про это своей маме, которая не имела имения с шинкарем по фамилии Симанович, и вообще имения не имела, и не была графиней Оболенской, потому что графов Оболенских не было, были только князья Оболенские. Но, что правда, то правда, была урожденной княжной Оболенской, вышедшей перед первой мировой войной замуж за полковника Симонова и именно от него имевшей ею рожденного сына Кирилла, к ее большому, кстати, неудовольствию подписывавшего свои сочинения как Константин Симонов. И мама потом действительно ужасно смеялась над всем этим. Но Сурков первой моей реакции тогда не разделил.

— Напрасно смеешься,— сказал он мне.— Лучше подумай над тем, до чего надо докатиться, чтобы писать такие письма в ЦК, что это за обстановка, в которой человек решается на писание таких писем.

И он был, конечно, прав: несмотря на смехотворную форму, как знак времени это письмо имело и свою серьезную сторону. Наконец, Сурков тоже все-таки рассмеялся, когда я ему рассказал, почему я в первый момент расхохотался. Я поблагодарил его за информацию, а он только сердито и грустно махнул рукой.

— Хорош бы я был, если б я не стал рассказывать тебе этого.— По выражению его лица я понял, что кто-то, с кем он говорил, видимо, не рекомендовал ему рассказывать мне этого, и Сурков сделал это вопреки чьему-то совету.

В самом конце января, когда в «Литературной газете» печатался не то последний, не то предпоследний материал о происходившей среди писателей дискуссии «Об основных вопросах изучения творчества В. В. Маяковского», Суркова снова вызвали туда же, куда и в первый раз, в связи с тем, что что-то кому-то в этих отчетах не понравилось. И в связи с этими, обращенными ко мне как к редактору газеты да и

практическому руководителю этой дискуссии недовольствами работавший тогда в отделе агитации и пропаганды Владимир Семенович Кружков, которого я хотя и знал довольно много лет, но не мог бы положа руку на сердце сказать о нем ничего ни плохого, ни хорошего, с некоторой оторопью, наверное, от неожиданности того, что он узнал и чем собирался поделиться с Сурковым, сказал Суркову, что у них имеются серьезные, хотя еще и не до конца проверенные сигналы о том, что в Москве существует в писательских кругах непосредственно связанная с «Джойнтом» группа лиц, возглавляет которую не кто иной, как Константин Симонов. На этот раз Кружков никаких писем Суркову не показывал, хотя надо думать, что серьезными сигналами, о которых говорил Кружков, были именно письма, и на этот раз скорее всего анонимные, но та оторопь, с которой рассказывал ему обо всем этом Кружков, запала Суркову в память. Не знаю, что уж он там сказал Кружкову, наверное, со своей обычной в таких случаях резкостью не полез за словом в карман и рубанул то, что думал, а мне в заключение разговора сказал горько и серьезно:

— Разумеется, предполагалось, что я тебе всего этого не скажу, да и не хотелось, по правде говоря, говорить все эти пакости, но тебе нужно это знать. Нужно знать, что какие-то сволочи копают под тебя, хотят во что бы то ни стало вырыть тебе могилу. И учти, что при всей нелепости все это говорилось с таким серьезным видом, что я ушам своим не поверил.

Так закончился наш второй разговор с Сурковым в эти месяцы, важный для меня. Был потом еще и третий, но это уже после смерти Сталина, и о нем отдельно.

Как ни странно, вернее, каким бы странным это ни казалось мне сейчас,— но в памяти у меня не осталось, когда именно, где, при каких обстоятельствах, из газеты или по радио, или каким-то другим образом я узнал о правительственном сообщении о болезни Сталина. Все дальнейшее, происходившее в те дни,— и коротко записано почти тогда же, и сохранилось в памяти. А это и не сохранилось, и не записано. Рассказ об этих днях начну прямо со своей записи, сделанной шестнадцатого марта 1953 года.

«Несколько слов о скорбных днях марта этого года. Записывать это трудно, потому что до конца не вошло еще в сознание, что Сталина нет, что он умер. То есть чувство такое, что, конечно, так, это случилось, и это знаю я, и это

знают все, а в то же время до сознания все еще не доходит, что Сталина уже нет. Мне кажется, что я ничего не забуду, не в состоянии буду забыть. Кажется, что все подробности, связанные с этими днями, останутся в моей памяти навсегда. И поэтому трудно заставить себя записывать, трудно писать о том, чего, как тебе кажется, ты все равно никогда не забудешь. Но память обманчивая вещь. Подробности могут уплыть или могут когда-нибудь впоследствии выстроиться в памяти не в том порядке, в каком они друг за другом следовали, и поэтому хотя бы некоторые из них все-таки надо, даже пересилив себя, записать сейчас.

Одним из первых чувств, владевших мной с самого начала, было какое-то очень упорное нежелание вникать в подробности бюллетеней, нежелание знать и понимать, что они означают на медицинском языке. Казалось бессмысленным рассуждать о том, что такое пульс, давление, температура и всякие другие подробности бюллетеней, что они значат для состояния здоровья человека, которому семьдесят три года. Не хотелось об этом думать самому и не хотелось разговаривать об этом с другими, потому что казалось, что нельзя говорить о Сталине просто как о старом человеке, который вдруг тяжело заболел. Казалось, что самое главное не все эти медицинские термины, не все эти подробности о болезни Сталина, самое главное — другое: придет он в сознание или не придет. Пугало больше всего то, что он без сознания и, значит, его воля не участвует в борьбе с болезнью. Казалось, если только он придет в сознание, то у него такая воля, что он выживет.

Четвертого числа вечером я пришел в Кремль, в комнату, где помещался секретариат Сталина. Другие люди, вызванные туда, так же, как и я, по одному короткому делу, молча приходили, молча раздевались, молча пятнадцать — двадцать минут занимались тем делом, по которому были вызваны, и так же молча, не обменявшись ни одним словом, уходили».

Здесь я оторвусь от текста тогдашней записи. Не знаю, почему я тогда счел нужным, записывая, обойти молчанием дело, по которому нас вызвали. В Кремль, в секретариат Сталина в тот вечер, на протяжении нескольких часов, вызывались находившиеся в Москве, а может быть, и уже вызванные в Москву члены и кандидаты ЦК, а возможно, и еще какой-то круг лиц — этого я не знаю — для того, чтобы познакомиться с бюллетенями о состоянии здоровья

Сталина. Мотивы, по которым это делалось, как мне сейчас думается, могли быть двоякими. Во-первых, могли хотеть познакомить определенный круг лиц с подлинниками бюллетеней, и, во-вторых, эти бюллетени-подлинники могли быть и более подробными, чем тот текст, который передавался для печати. Скорей всего так оно и было, бюллетени были или более подробные, или почасовые, потому что если — как я записал тогда — «для того, чтобы сделать то, для чего нас вызывали, требовалось пятнадцать — двадцать минут», значит, это было связано с чтением по крайней мере нескольких страниц.

Возвращаюсь к тексту записи от шестнадцатого марта пятьдесят третьего года:

«Меня не оставляло чувство, что все как будто остается таким же, каким и было: тот же путь вдоль кремлевской стены, изнутри ее, и тот же офицер, проверяющий документы у входа, и та же дверь, и та же лестница, по которой мне раньше приходилось подниматься шесть раз за последние годы. Но в молчании людей, в тишине лестницы, в тишине коридоров, тихих и прежде, но сейчас как-то вдруг особенно тихих, было ощущение того, что в этом доме несчастье.

Когда я поднялся по лестнице и прошел по коридору, сначала попал не в ту из комнат секретариата Сталина, в которую мне следовало пройти, а зашел в другую, в ту самую, где когда-то, в сорок седьмом году, вместе с Фадеевым и Горбатовым мы сидели и ждали десять минут, когда нас примет Сталин,— в тот первый раз, когда я его увидел.

В комнате все так же, как и прежде, стояли столы, один из них — посередине комнаты. Поднялся человек и сказал: «Нет, сейчас налево и в следующую дверь». Я вышел и, пройдя в следующую дверь в соседнюю комнату, вспомнил, что и здесь мы сидели и поджидали — два или три раза — перед обсуждением Сталинских премий. Тогда сидели и разговаривали. А сейчас в этой комнате было абсолютное молчание, хотя в ней находилось много людей. Молчание было полное, глубокое. За этим молчанием стояло чувство, что вот где-то здесь, через несколько комнат, еще коридор, еще комната, потом еще комната и где-то в какой-то комнате у себя на квартире лежит умирающий Сталин. И нас, молчаливо сидящих здесь, отделяет от него всего-навсего кусок коридора и несколько дверей. И Сталин лежит и никак не может прийти в сознание очень близко от нас, именно в этом самом доме, в котором мы сидим».

Здесь снова оторвусь от своей записи пятьдесят третьего года. Сейчас уже давно общеизвестно, что Сталин умер не у себя в квартире, в Кремле, как это было сказано в правительственном сообщении, а за городом, на своей так называемой ближней даче. Сетовать, тем более возмущаться этим уклонением от истины, содержавшимся в первом правительственном сообщении, мне как-то сейчас, спустя много лет, не приходит в голову. Очевидно, люди, выпускавшие тогда это сообщение, имели или считали, что имеют, некие государственные резоны для такого уклонения от истины. Думаю, что, мысленно поставив себя на место этих людей тогда, можно без особого труда представить себе и их резоны в обоих возможных случаях: и в том случае, если Сталин лишился сознания и оказался при смерти второго марта, а умер вечером пятого, в соответствии с сообщениями и медицинскими бюллетенями; и в том случае, если допустить, что он был мертв тогда же, сразу, второго, и после этого в течение трех дней медицинскими бюллетенями, в сущности, не оставлявшими никакой надежды на выздоровление, людей подготавливали к этому событию, которое, как бы ни относиться к самому Сталину, объективно означало конец длительного периода нашей истории, связанного с его именем.

И по правде говоря, меня и сейчас, спустя четверть века, не терзает любопытство, как это умирание происходило на самом деле. Я не сталкивался с людьми, которые бы с убедившей меня достоверностью рассказали мне о том, как было на самом деле, и не домогался узнать это от людей, которые должны были это знать, но не проявляли желания говорить со мной на эту тему. Могло быть и так, и эдак, но и в том, и в другом случае все это было второстепенным рядом с такими понятиями, как конец одной эпохи и начало другой.

Снова возвращаюсь к записи пятьдесят третьего года:

«Пятое марта, вечер. В Свердловском зале должно начаться совместное заседание ЦК, Совета Министров и Верховного Совета, о котором было потом сообщено в газетах и по радио. Я пришел задолго до назначенного времени, минут за сорок, но в зале собралось уже больше половины участников, а спустя десять минут пришли все. Может быть, только два или три человека появились меньше чем за полчаса до начала. И вот несколько сот людей, среди которых почти все были знакомы друг с другом, знали друг друга по

работе, знали в лицо, по многим встречам,— несколько сот людей сорок минут, а пришедшие раньше меня еще дольше, сидели совершенно молча, ожидая начала. Сидели рядом, касаясь друг друга плечами, видели друг друга, но никто никому не говорил ни одного слова. Никто ни у кого ничего не спрашивал. И мне казалось, что никто из присутствующих даже и не испытывает потребности заговорить. До самого начала в зале стояла такая тишина, что, не пробыв сорок минут сам в этой тишине, я бы никогда не поверил, что могут так молчать триста тесно сидящих рядом друг с другом людей. Никогда по гроб жизни не забуду этого молчания».

Так я записал тогда. И действительно, если не по гроб жизни, то по сей день, когда с тех пор минуло уже двадцать шесть лет, этого молчания я не забыл.

А теперь несколько слов в дополнение к записанному тогда.

Первое впечатление: из задних дверей Свердловского зала вошли и сели за стол президиума не двадцать пять человек, выбранных в Президиум при Сталине, а только те, кто вошел при Сталине в Бюро Президиума — Маленков, Берия, Каганович, Булганин, Хрущев, Ворошилов, Сабуров, Первухин. Кроме них, Молотов и Микоян, которых Сталин в это Бюро не включал. Таким образом, воля Сталина, с одной стороны, с самого начала была как бы соблюдена тем, что за столом президиума сидели Сабуров и Первухин,— с другой стороны, отвергнута, потому что за столом президиума девятым и десятым сидели Молотов и Микоян, при жизни Сталина не включенные им в состав Бюро Президиума. Так я формулирую это сейчас. А тогда чувство было, пожалуй, проще: вышло и село за стол прежнее Политбюро, к которому добавились Первухин и Сабуров.

Вступительную речь, если мне не изменяет память, сказал Маленков. Она — не текстуально, а по сути — сводилась к тому, что товарищ Сталин продолжает бороться со смертью, но состояние его настолько тяжелое, что даже если он возобладает над смертью, то не сможет работать очень длительное время. А на такое время невозможно оставлять страну без полноправного руководства. Нельзя пребывать в неопределенном положении, этого не позволяет и международная обстановка. Поэтому необходимо теперь же, не откладывая, сформировать правительство и произвести все необходимые назначения, связанные с этим.

После этого Маленков предоставил слово Берии. Бе-

рия, спустившись к трибуне, коротко предложил назначить Председателем Совета Министров Маленкова. Когда это предложение было проголосовано, он пошел обратно — стал подниматься к столу президиума, а Маленков стал спускаться к кафедре. Оказавшись лицом друг к другу, они с трудом разминулись в узком пространстве животами. Добавлю, что тогда я подумал об этом без усмешки, даже без намека на нее, просто, как это иногда бывает, засек глазами, а оказалось, что навсегда.

Спустившись к кафедре, Маленков стал вносить те предложения, которые на следующий день все прочли в газетах и услышали, кажется, еще раньше, по радио — уже после сообщения о смерти Сталина. Среди четырех первых заместителей Председателя Совета Министров Маленков назвал первым Берию и уже после него Молотова, Булганина и Кагановича. Дальнейшие предложения сводились к тому, чтобы сосредоточить власть и связанные с властью основные министерства в возможно меньшем количестве рук. «В целях большей оперативности в руководстве» состав членов Президиума ЦК и кандидатов в Президиум ЦК сокращался в два с половиной раза, членами Президиума оставались те, кто с самого начала заседания вошел и сел за стол президиума. В сущности, появилась тенденция сосредоточить власть в руках Президиума Совета Министров, в который вошло пять, то есть половина, членов Президиума ЦК. В Секретариате ЦК с указанием на то, что он должен сосредоточиться на этой работе, остался только один член Президиума — Хрущев. Еще один член Президиума ЦК — Ворошилов — стал Председателем Президиума Верховного Совета, а трое других членов Президиума ЦК — Микоян, Сабуров и Первухин — стали министрами, но не входящими в Президиум Совета Министров. Наверное, за таким распределением сил стояла мысль об изменении соотношения меры власти ЦК и Совета Министров. Возможно, эта инициатива исходила от Берии, во всяком случае, и впоследствии он активно действовал именно в этом направлении, стремясь и в республиках ставить главных, первых лиц на посты Председателей Советов Министров, а на посты секретарей ЦК — лиц второстепенных.

Эти мои размышления не тогдашние, а, разумеется, нынешние.

7 апреля 1979 года

После окончания, сговорившись с Шепиловым, редактировавшим тогда «Правду», мы, писатели,— твердо помню, что это были Фадеев, Корнейчук, я — не помню точно, были ли вместе с нами Сурков и Твардовский,— поехали в редакцию «Правды». Помимо всего, что, казалось бы, полностью забило голову в эти часы, тех событий и перемен; помимо того, что и сам характер заседания, и назначения, произведенные на нем, говорили о том, что Сталин вот-вот умрет, у меня было еще одно чувство, от которого я пробовал избавиться и не мог: у меня было ощущение, что появившиеся оттуда, из задней комнаты, в президиуме люди, старые члены Политбюро, вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но чувствовавшимся в них ощущением облегчения. Это как-то прорывалось в их лицах,— пожалуй, за исключением лица Молотова — неподвижного, словно окаменевшего. Что же до Маленкова и Берии, которые выступали с трибуны, то оба они говорили живо, энергично, по-деловому. Что-то в их голосах, в их поведении не соответствовало преамбулам, предшествовавшим тексту их выступлений, и таким же скорбным концовкам этих выступлений, связанным с болезнью Сталина. Было такое ощущение, что вот там, в президиуме, люди освободились от чего-то давившего на них, связывавшего их. Они были какие-то распеленатые, что ли. Может быть, я думал не теми словами, которыми я сейчас пишу об этом, даже наверное. Я думал осторожней и неувереннее. Но несомненно, что я об этом думал. В основе своей это не сегодняшние, а тогдашние чувства, запомнившиеся потом на всю жизнь.

Минут через двадцать мы были в «Правде» и сидели в кабинете у Шепилова. Разговор шел какой-то приглушенный, особенно говорить никому из нас не хотелось. Говорили о том, что надо подумать над тем, чтобы известные писатели выступили с рядом статей в «Правде» на различные темы, что это необходимо, что надо составить план таких статей, и так далее, и тому подобное. Но говорилось все это так, словно необходимо было об этом говорить, но говорится это немножко раньше, чем нужно, потому что, хотя определен новый состав Президиума ЦК и Секретариата, хотя сформирован Совет Министров с Маленковым во главе, хотя Ворошилов стал Председателем Президиума Верховного Совета — все это так, но для того, чтобы писать, нужна

какая-то определенность в том, что должны написать писатели, и в том, что хотят от них. Определенности не было, потому что Сталин был еще жив или считалось, что он еще жив. Так за этим разговором прошло минут сорок, и не знаю, сколько бы тянулся он еще — вялый и неопределенный,— когда зазвонила вертушка. Шепилов взял трубку, сказал в нее несколько раз: «Да, да»,— и, вернувшись к столу, за которым мы сидели, сказал: «Позвонили, что товарищ Сталин умер».

И несмотря на все предыдущее — на заседание, после которого мы приехали сюда, на решения, которые были приняты, все равно что-то в нас, во всяком случае во мне, содрогнулось в эту минуту. Что-то в жизни кончилось. Что-то другое, неизвестное еще, началось. Началось не тогда, когда в связи с тем-то и тем-то оказалось необходимым назначить Маленкова Председателем Совета Министров еще при жизни Сталина и он был им назначен,— не тогда, а вот сейчас, после этого звонка.

Не помню, кто что взял на себя, что собрался делать и написать,— я сказал, что напишу стихи, я не знал, сумею ли написать эти стихи, но знал, что ни на что другое в этот момент не способен.

Не задерживаясь в «Правде», я поехал домой. «Литературная газета» выходила только послезавтра, седьмого, и я, вернувшись домой, позвонил своему заместителю Борису Сергеевичу Рюрикову, что приеду часа через два, заперся у себя в комнате и стал писать стихи. Написал первые две строфы и вдруг неожиданно для себя, сидя за столом, разрыдался. Мог бы не признаваться в этом сейчас, потому что не люблю ничьих слез — ни чужих, ни собственных,— но, наверное, без этого трудно даже самому себе объяснить меру потрясения. Я плакал не от горя, не от жалости к умершему, это не были сентиментальные слезы, это были слезы потрясения. В жизни что-то так перевернулось, потрясение от этого переворота было таким огромным, что оно должно было проявиться как-то и физически, в данном случае судорогой рыданий, которые несколько минут колотили меня. Потом я дописал стихи, отвез их в «Правду» и поехал в «Литературную газету», чтобы рассказать Рюрикову о том, что было в Кремле. Завтра нам предстояло делать номер газеты, и ему надо было это знать — чем раньше, тем лучше.

Передо мной лежит сейчас пачка сложенных тогда, в пятьдесят третьем году, материалов и документов тех мартовских дней. Все засунуто в одну, много лет пролежавшую

папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном карауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой «проход всюду»; стенограмма одного из двух писательских траурных собраний, на котором я выступал вместе со многими другими, и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании, где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка газет за те дни — «Правды», «Известий», «Литературки» и других.

Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу — Тихонов, Сурков, Эренбург. Все сказанное тогда очень похоже. Может быть, некоторое различие в лексиконе, да и то не слишком заметное. В стихах тоже поражающе похожие ноты. Лучше всех — это неудивительно, учитывая меру таланта,— написал все-таки Твардовский: сдержаннее, точнее. Почти все до удивления сходились на одном:

В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду...

Это Твардовский.

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ
Сталин!

А это Симонов.

Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
Плачет Родина над Тобой.

Это Берггольц.

И пусть в печали нас нельзя утешить,
Но он, Учитель, нас учил всегда:
Не падать духом, голову не вешать,
Какая б ни нагрянула беда.

А это Исаковский.

Похоже, очень похоже написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский — сын раскулаченного, Симонов — дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский. Можно бы к этому добавить и другие строки из других стихов людей с такими же разнообразными био-

графиями, связанными с разными поворотами судеб личности в сталинскую эпоху. Тем не менее схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать — их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы — я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос — для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.

Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали. «Так это было на земле»,—скажет немногим позже Твардовский, одним из самых первых и много глубже других начавший думать об этом.

Сейчас, еще раз перелистав газеты тех дней, хочу вернуться к своим размышлениям о том, когда же все-таки умер Сталин — сразу и нас готовили к этому, или он умер до того, как собралось совместное заседание, произведшее новые назначения, или он умер действительно тогда, когда при нас раздался звонок в «Правду» Шепилову, около десяти часов вечера пятого марта. Не хочу строить догадок на материале, недоступном другим людям, но вот читаю постановление совместного заседания Центрального Комитета, Совета Министров и Президиума Верховного Совета, появившееся на следующий день после сообщения о смерти Сталина, вижу, что в преамбуле о смерти Сталина не говорится, о смерти его говорилось накануне в обращении ко всем членам партии и всем трудящимся Советского Союза, а преамбула постановления составлена так, что неизвестно, в какой день произошло это совместное заседание — предшествовало оно смерти Сталина или состоялось после его смерти. Процитирую эту преамбулу, она очень интересна с этой точки зрения.

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей

партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства — обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники, с тем, чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики — как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах. Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета признают необходимым осуществить ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства».

На обратной стороне этой страницы «Правды», где это напечатано, опубликовано постановление об установлении саркофага Сталина рядом с саркофагом Ленина, постановление о сооружении пантеона, постановление о трауре — шестого, седьмого, восьмого и девятого марта. Там же извещение комиссии по организации похорон о доступе в Колонный зал и времени похорон, первый репортаж из Колонного зала «У гроба И. В. Сталина». Но в преамбуле постановления о мероприятиях «по организации партийного и государственного руководства» ни упоминания имени Сталина, ни упоминания о том, жив он еще или умер, нет.

Логика заставляет предполагать, что все было так, как и было нам преподано, то есть совместное заседание было собрано, когда Сталин находился в абсолютно безнадежном состоянии, его смерти ждали с минуты на минуту. Постановление было выработано и готово до последней запятой и точки, публикацию его, видимо, не собирались откладывать в том случае, если бы Сталин еще один, два или несколько дней находился при смерти. И может быть, опубликовали бы его даже не седьмого, а шестого, сразу после пленума, рядом с безнадежным бюллетенем. Но Сталин умер почти сразу же после окончания заседания, и поэтому было принято решение сначала опубликовать обращение к партии и народу о смерти Сталина, а на следующий день — постановление о персональном составе органов власти и о частичной их реорганизации. Логика допускает такую возможность, хотя и не исключает до конца разных иных предположений.

А теперь вернусь к своим записям пятьдесят третьего года, вернее, к той последней записи, где идет речь о Колонном зале и похоронах Сталина:

«Хотя мне сообщили по телефону, что надо прийти в Колонный зал около трех часов дня, я с большим трудом добрался туда только около пяти. Подойти к Колонному залу пешком было уже почти невозможно...»

Добавлю к тогдашней записи, что жил в ту пору на углу Пушкинской площади, но пройти вниз ни по улице Горького, ни по Дмитровке, ни по Петровке так и не удалось. На Трубной площади мы столкнулись в толпе с тогдашним министром лесной промышленности Георгием Михайловичем Орловым, с которым знали друг друга, потому что воевали на страницах «Литературной газеты» по проблемам бумаги. Дальше пошли вместе вниз по Неглинной и, несмотря на наши цековские удостоверения, едва продрались через ту молчаливую сумятицу, которая царила на улицах Москвы: пролезали под грузовиками, перегораживавшими Неглинную, потом перелезали через грузовики, снова ее перегораживавшие, оказывались так стиснутыми со всех сторон, что не могли вынуть из карманов документы, подавались с толпой людей то вперед, то назад и выбрались из давки и толкучки только под самый конец где-то у задов Малого театра. Не знаю, как в другие часы, а в те два часа, что мы пробирались, толпа была не обозленная толкучкой, не злая, но горько-молчаливая, хотя при этом такая мощная в едином упорстве своего движения туда, поближе к Колонному залу, что милиция растерянно себя вела перед молчаливым и единым упорством этого движения.

Возвращаюсь к записи:

«В комнате позади президиума людям накалывали на рукав повязки. Одни уходили в почетный караул, другие возвращались из него. Так прошло, наверное, около часа. Наконец, очередь дошла до нас. Я стоял рядом с незнакомыми мне людьми, с какими-то двумя женщинами. Мы с ними вышли и стали справа у изголовья. Я повернул голову и, только уже стоя там, увидел лицо лежавшего в гробу Сталина. Лицо его было очень спокойное, нисколько не похудевшее и не изменившееся. Волосы в последнее время начали у него немножко редеть (это бывало видно, когда он ходил во время заседаний и, проходя близко от тебя, поворачивался боком). Но сейчас это было незаметно, волосы спокойно лежали, откинутые назад, и уходили в подушку. Потом,

когда мы, сменяясь, стали обходить гроб кругом, я увидел лицо Сталина справа, с другой стороны, и снова подумал, что лицо это совсем не переменилось, не похудело и что оно очень спокойное, совсем не стариковское, еще молодое. Уже позже, вернувшись из Колонного зала, я подумал, что людям, не видевшим в последние годы Сталина или видевшим его только издали и знавшим его по портретам главным образом военных и предвоенных лет, теперь там, в Колонном зале, когда они вдруг увидели его близко, могло показаться, что он постарел, что болезнь изменила его лицо. Но на самом деле это было не так, болезнь ничего не переменила в его лице. Руки спокойно лежали поверх серого френча.

---

8 апреля 1979 года

Я еще несколько раз за этот день стоял в почетном карауле и, наверное, часа два провел у двери, в которую входили люди. Очередь людей, пришедших прощаться со Сталиным. Я стоял справа в самых дверях, прижавшись к притолоке, и все это время видел лицо Сталина. Люди входили и становились плечом к плечу со мной, в тот самый момент, когда они, войдя, сразу видели зал, гроб и лежавшего в нем Сталина. Не знаю, как это записать, чтобы быть совершенно точным,— не все плакали, не все вздрагивали, но все выражали свои чувства в эту секунду как-то заметно, как-то очевидно. А в то же время я испытывал какой-то внутренний тон душевного потрясения каждой пары проходивших мимо меня людей в ту секунду, когда они видели Сталина в гробу. Не знаю, может быть, я просто не могу выразить прочувствованного там мною, но что-то очень похожее на то чувство, про которое я сказал, было, многократно повторялось во мне самом.

Девятого марта, в день похорон, мы пришли в Колонный зал в девять часов. Сначала стояли в почетном карауле, потом прошли в зал. (Скажу в скобках — в записи этого нет,— что сказанное там «мы», очевидно, означает писатели; кажется, в этот, последний день мы пришли в Колонный зал вместе с жившими рядом со мною Сурковым и Фадеевым.) Сменялись последние почетные караулы — то играла музыка, то пел женский хор. Когда я стоял один из самых последних караулов, вдруг по помосту, на котором стоял гроб, на две-три ступеньки вверх поднялась дочь Сталина Светлана и долго смотрела на отца, на его лицо. Повернулась, отошла и снова села в кресло, стоявшее справа от голо-

вы Сталина. Продолжали сменяться последние караулы. Из задней двери вышли руководители партии и правительства и подошли к гробу. В эту же минуту маршалы начали брать подушки с орденами и медалями Сталина. И только тут я заметил, хотя несколько раз за эти дни стоял в карауле, лежавшие перед гробом в ногах эти подушки. Первую подушку взял Буденный, за ним стали брать другие. Гроб накрыли крышкой с полукруглым стеклянным или плексигласовым фонарем над лицом Сталина, подняли и понесли. Процессия двигалась медленно, мы шли в последних рядах ее, позади нас, еще через один или два ряда шли дипломаты. Оглянувшись, я увидел, что некоторые из них идут в странно и даже нелепо выглядевших в этой процессии цилиндрах.

Впереди у лафета были видны покачивавшиеся на головах лошадей султаны и четыре тонких солдатских штыка по четырем сторонам гроба. Напротив гостиницы «Москва», когда мы шли мимо нее, стало видно, как, поднимаясь в гору Красной площади, уже движется впереди процессия с венками.

Траурный митинг начался, когда гроб поставили около Мавзолея. Когда митинг кончился и гроб внесли на руках в Мавзолей, все по очереди стали спускаться туда.

Еще стоя в Колонном зале, я несколько раз думал, почему именно так положены руки у Сталина, и вдруг, когда вошли в Мавзолей, понял, что руки у него положены точно так же, как поверх френча были положены руки у Ленина.

Сначала внутри Мавзолея, поднимаясь по его ступеням, мы проходили рядом с саркофагом, в котором лежал Ленин, а потом, повернувшись, проходили рядом с гробом Сталина, поставленным на черный узкий мраморный камень, рядом с саркофагом Ленина, и, проходя тут, впервые совсем уже близко, меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, я еще раз увидел лицо Сталина. Оно было до такой степени живое, если это можно сказать о мертвом лице, что с какой-то особенной страшной силой потрясения именно в эту секунду я подумал, что он умер. А потом пошли ступеньки лестницы, все это осталось позади, и мы вышли из Мавзолея».

На этом кончается сделанная шестнадцатого марта пятьдесят третьего года запись о Сталине, его смерти и похоронах. После этого я ничего больше не записывал, все остальное, запомнившееся с тех дней, оставалось только в памяти. Наверное, сначала оставалось больше, а потом все

меньше и меньше. Остальное выветривалось. Из невыветрившегося, оставшегося сильнее всего другого запали в память два впечатления.

Одно было связано с тем, что я увидел в Мавзолее. Может быть, я не записал это тогда из-за чувства какой-то душевной неловкости, чувства, которого сейчас у меня нет. Возникшее там при виде такого близкого к тебе, буквально в полуметре от твоих глаз, такого до ужаса живого лица Сталина, оно было связано еще и с контрастом между его лицом и лицом Ленина в саркофаге. Я много раз до этого бывал в Мавзолее и привык к этому давнему восковому, десятилетиями отделенному от нас лицу Ленина. А лицо Сталина здесь, рядом, было не только непривычным, но и до ужаса живым, именно от контраста с давно ушедшим куда-то в века лицом Ленина. В том саркофаге лежал как бы образ Ленина, а здесь — закрытый стеклянною крышкою живой человек, живой и грозный, потому что последнее ощущение, испытанное мною тогда, на пленуме, где он выступал, было именно ощущение грозности, опасности происходящего.

И второе, что я вполне сознательно не записал тогда, в пятьдесят третьем году, но что запомнил навсегда как представшую моим глазам несомненную очевидность. На траурном митинге выступали три разных человека. Всех троих я слушал с одинаковым вниманием. Первым был Маленков, вторым — Берия, третьим — Молотов. Различие в тексте речей мне и тогда не бросалось в глаза, да и сейчас, когда я перечел их в старой газете, они не слишком отличаются друг от друга, разве только тем, что в речи Молотова, в первом ее абзаце, о Сталине сказано несколько более человечно, чуть-чуть менее казенно, чем в других речах. Однако та разница, которую сейчас по тексту этих речей не уловишь, но которая была тогда для меня совершенно очевидна, состояла в том, что Маленков, а вслед за ним Берия произносили над гробом Сталина чисто политические речи, которые было необходимо произнести по данному поводу. Но в том, как произносились эти речи, как они говорили, отсутствовал даже намек на собственное отношение этих людей к мертвому, отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления или волнения, или чувства утраты,— в этом смысле обе речи были абсолютно одинаково холодными. Речь Маленкова, произнесенная его довольно округлым голосом, чуть меньше обнажала отсутствие всякого чувства скорби. Речь Берии с его акцентом, с его резкими, иногда каркающими интонациями в голосе, обнажала отсутствие

этой скорби более явно. А в общем, душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом.

Речь Молотова, как я уже сказал, мало разнилась по тексту от других, но ее говорил человек, прощавшийся с другим человеком, которого он, несмотря ни на что, любил, и эта любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твердокаменнейшего человека. Я вспомнил, и не мог не вспомнить, пленум, на котором Сталин с такой жестокостью говорил о Молотове, еще и по этому контрасту не мог не оценить глубины чего-то, продолжавшего существовать для Молотова, не оборванного у него до конца со смертью Сталина, связывавшего этих двоих людей — мертвого и живого. Говорю это нынешними словами, потому что тогда не записывал этого. Какими словами думал тогда об этом — а думают ведь именно словами, восстановить не могу, но думал это и потом вспоминал это не один раз в жизни, чаще всего в связи с дальнейшей судьбой и дальнейшим поведением Молотова.

Очевидно,— это я думаю уже сейчас,— есть очень большая разница в оттенках между словами — ученик, ближайший ученик, даже лучший ученик, соратник, верный соратник, ближайший соратник — и словом — единомышленник. Мне думается, что среди людей, долгие годы работавших вместе со Сталиным, под его руководством, в разное время награждаемых эпитетами «лучший ученик», «ближайший соратник» — понятие «единомышленник» в наибольшей степени может быть отнесено именно к Молотову.

Листая сейчас номера мартовских, апрельских газет пятьдесят третьего года, сверяя все это с личными своими воспоминаниями, я не мог не обратить внимание на календарную последовательность некоторых газетных сообщений того времени и на некоторые снимки, тогда не обратившие на себя внимания, а сейчас бросающиеся в глаза. «Правда» за десятое марта пятьдесят третьего года. Первая полоса ее. Трибуна Мавзолея, под обрезом которой впервые не одно, а два слова. «Ленин. Сталин». Уже в мраморе, одно под другим. У микрофона Маленков в ушанке, а справа от него между Хрущевым в папахе пирожком и Чжоу Эньлаем в мохнатой китайской меховой шапке Берия, грузно распирающий широкими плечами стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе, надвинутой по самое пенсне, шляпа широкополая, вид мрачно-целеустремленный, не похож ни на кого другого из стоящих

на Мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из не существовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. И на второй полосе он же снова между Чжоу Эньлаем и Хрущевым, в том же пальто с шарфом, в той же широкополой шляпе, надвинутой на самое пенсне, идущий за гробом Сталина. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путем. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленными им для этого, лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть в свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства. При общей решимости коллективно заменить Сталина, вырабатывать решения компромиссные, для всех приемлемые, по возможности избегая всяких внутренних столкновений,— такой человек, как Берия, наверное, ухватился за выгодное ему в этой ситуации звено. Чем инициативнее он вел себя, чем больше выдвигал предложений, чем больше спекулировал на общем нежелании возникновения внутренних конфликтов, тем успешнее он добивался того, что укрепляло его позиции и расширяло его возможности захвата власти, к которому он готовился. За исключением одного факта, все остальное попробую проследить по газетам того времени, доступным каждому.

Пользуясь тем, что делавший всего несколько месяцев назад на XIX съезде партии отчетный доклад от имени ЦК Маленков теперь, когда Сталин умирал или уже умер, мог рассматриваться как преемник Сталина на первом посту в стране, Берия ухватывается за Маленкова, очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленуме публично выдвигает его на пост Председателя Совета Министров.

---

9 апреля 1979 года

В то время это могло казаться само собой разумеющимся, хотя само собой разумеющимся не было. Была и другая альтернатива: среди старших членов Политбюро был Молотов, за спиной у которого стояло десять лет работы в качестве Председателя Совета Министров и который в случае разделения постов, если бы Маленков пошел в ЦК на — названный так или по-иному — пост Генерального секре-

таря, заместив на этом посту Сталина, Молотов мог бы заместить Сталина на посту Председателя Совета Министров. Молотов был популярен, в широких массах такое назначение, очевидно, встретило бы положительное отношение. Но Берии помог сам Сталин, в последнем выступлении по каким-то своим причинам — может быть, и не совсем по своим, а по ставшим его чужим инсинуациям,— обрушившийся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один из двух постов, занимавшихся Сталиным, людьми, слышавшими выступление Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле. Почему же Берия был заинтересован, чтобы Маленков стал наследником Сталина именно на посту Председателя Совета Министров, а пост Сталина в Секретариате ЦК занял бы человек, с точки зрения Берии, второстепенного масштаба — Хрущев, в личности и характере которого Берия так и не разобрался до самого дня своего падения? А очень просто. Идея Берии сводилась к тому, чтобы главную роль в руководстве страной играл Председатель Совета Министров и его заместители, они же почти целиком составляли и предложенный в том же проекте им и Маленковым состав Президиума. Таким образом, в руках членов Президиума, составлявших одновременно руководство Совета Министров, сосредоточивалась вся власть в стране. Берия, первый назвавший Маленкова будущим Председателем Совета Министров, был сейчас же вслед за этим назван Маленковым как первый из четырех первых заместителей. Порядок, в котором в таких случаях назывались люди, традиционно имел значение и порядка преемственности, то есть в случае отсутствия или болезни Маленкова этот порядок предполагал, что исполнять обязанности Председателя Совета Министров будет первый из названных его заместителей — Берия.

Начав с этого, пойдем дальше. Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать министерства государственной безопасности и внутренних дел. Последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталиным старый партийный работник Игнатьев.

В принятом на совместном заседании решении укрупнялся целый ряд министерств, одни сливались с другими, в том числе ликвидировалось и сливалось с Министерством внутренних дел Министерство государственной безопасно-

сти, и Берия, как первый из первых заместителей Маленкова, одновременно становился главой этого нового Министерства внутренних дел, вобравшего в себя и Министерство государственной безопасности. А недавний министр государственной безопасности Игнатьев стал секретарем ЦК, как мы потом увидим, ненадолго.

Итак, Берия создал заранее позицию, наиболее удобную для захвата власти и последующих действий, масштабы и характер которых, учитывая личность Берии, очевидно, носили бы достаточно мрачный и глобальный характер.

После того как власть была сосредоточена в руководстве Совета Министров, а Секретариату ЦК отводились второстепенные функции, Берия старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках, из ЦК в Советы Министров, и в нескольких случаях, в частности в Баку, добивается этого. Засим, в качестве министра внутренних дел, он выдвигает идею амнистии. В свое время, в конце тридцать восьмого года, Сталин назначил его вместо Ежова, и начало деятельности Берии в Москве было связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел и возвращением из лагерей и тюрем десятков, если не сотен тысяч людей,— именно такую роль определил ему тогда Сталин, и он ее по всем правилам игры сыграл в предвоенное время. Берия помнил об этом и рассчитывал, что об этом помнят и другие,— во всяком случае, намеревался оживить это в памяти людей. Он надеялся, что ему, министру внутренних дел, его усилиям будет приписан указ Президиума Верховного Совета об амнистии, по которому не только освобождались из заключения осужденные на срок до пяти лет включительно, но и прекращались те дела, которые рассматривались и по которым была предусмотрена мера наказания не свыше пяти лет; также освобождались осужденные за хозяйственные, должностные и за ряд категорий воинских преступлений. Это мероприятие, само по себе гуманное, проводилось необыкновенно поспешно,— возникает впечатление, что впоследствии, при определенных обстоятельствах и при определенной пропагандистской работе в этом направлении, часть освобожденных или ненаказанных могли образовать питательную среду для поддержки его, Берии.

Через шесть дней после этого указа, четвертого апреля, в газетах появляется сообщение Министерства внутренних дел СССР, возглавляемого Берией, о том, что Мини-

стерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку по делу так называемых «врачей-убийц»: «В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи...— дальше идет длинный список — были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Итак, бывшее Министерство государственной безопасности оказалось повинным во всех этих грехах, а нынешнее Министерство внутренних дел разоблачило темные методы бывшего министерства. Еще через два дня в передовой «Правды» разъясняется, что произошло это прежде всего потому, что бывший министр государственной безопасности С. Д. Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство и оказался на поводу у преступных авантюристов. Берия же как глава нового Министерства внутренних дел разоблачил все эти беззакония. В тот же день опубликовано сообщение, что Игнатьев освобожден от обязанностей секретаря ЦК.

Так вся эта серия мероприятий проходит через газеты, лишь потом обнаруживая внутренний смысл как подготовительные шаги по дороге к захвату власти, которые поспешно, один за другим, делал Берия.

Один из этих шагов в газеты не попал, но я принадлежу к числу людей, знающих о нем. Не могу точно вспомнить, в какие дни это было, но, наверное, при старании можно числа восстановить, потому что именно в это время Фадеев и Корнейчук, бывшие членами ЦК, оба ездили в заграничные поездки по делам Совета мира. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с «врачами-убийцами», с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему.

Не убежден, но, кажется, первоначально записанных на аппаратуру, а потом уже перенесенных на бумагу.

Я в три или четыре приема читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение это было прекращено, разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам ЦК эти документы для прочтения принадлежала, несомненно, Берии, именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так все и было. Он хотел приобрести дополнительную популярность, показав себя человеком беспристрастным, человеком, не случайно отодвинутым несколько в сторону в последние месяцы жизни Сталина, человеком, которому Сталин не доверял или перестал доверять, человеком, который был никак не склонен продолжать те жестокости, возмутительные беззакония, которые, судя по предъявленным нам для чтения документам, были связаны непосредственно со Сталиным, с его инициативой, с его требованиями. Выставляя документы на обозрение, Берия как бы утверждал, что он и далек, и категорически против всего этого, что он не собирается покрывать грехов Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном виде.

Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненно психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны.

Вот он вам ваш Сталин, как бы говорил Берия, не знаю, как вы, а я от него отрекаюсь. Не знаю, как вы, а я намерен сказать о нем всю правду. Разумеется, при этом он представлял в документах только ту правду, которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное.

Около недели эти документы были в ходу. После этого с ними никого уже не знакомили. Когда вернулись Корнейчук и Фадеев и я им рассказал об этих документах, у них глаза полезли на лоб, но прочесть их сами они уже не могли.

Надо сказать, что, хотя цель Берии была достаточно подлой и она вскоре стала совершенно ясна мне, документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми. Поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущева на XX съезде, я был, наверное, больше готов, чем многие другие люди.

Через четыре месяца после смерти Сталина, третьего июля пятьдесят третьего года, когда я сидел в редакции «Литературной газеты» над очередным номером, мне позвонил бывший ответственный секретарь, а потом редактор

«Красной звезды» Василий Петрович Московский, работавший тогда, в 1953 году, заместителем начальника управления агитации и пропаганды ЦК, и спросил, как у меня идут дела с газетой. Звонок был довольно поздний, в одиннадцатом часу вечера. Я сказал, что одна полоса пошла на барабан, а остальные еще читаются и мною, и «свежими головами».

— Останови,— сказал мне Василий Петрович.— Пока не печатайте ни одной полосы.

— Пока что? — спросил я.

— Надо поговорить с тобой.

— Хорошо, остановлю,— сказал я.— Сейчас приеду к тебе.

— Не надо ко мне приезжать, я сам к тебе сейчас приеду. А печать останови.

Я остановил печатание полос, сказав, что, возможно, поступит официальный, обычно необязательный, но в данном случае, может быть, и обязательный для нас материал, надо будет еще разобраться, будем мы его печатать или нет. Поэтому пусть «свежие головы» дочитывают остальные полосы, а потом уже будем печатать все подряд. В более подробные объяснения я не вдавался.

Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошел ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы, пока он у меня будет, никто не заходил. Я предупредил удивленную секретаршу свою Татьяну Александровну, чтоб она никого без исключений не пускала.

— Никого? — переспросила она, потому что это не было принято у нас в газете.

— Никого.

Я зашел в кабинет, закрыл дверь, сел в кресло напротив Московского и стал ждать, что же чрезвычайное он мне имеет сообщить. Несомненно, было что-то чрезвычайное. Самым простым, еще до появления Московского пришедшим мне в голову объяснением была мысль о том, что вдруг, как уже один раз до этого было, меня решили снять с газеты и в выходящем номере уже не должно стоять моей подписи. Но зачем держать все полосы? Можно было задержать только последнюю. Нет, очевидно, что-то действительно очень важное, куда более важное, чем мое освобождение от редакторства, от которого я не заплакал бы.

— Слушай меня внимательно,— сказал Московский и перешел на официальный тон.— Мне поручено ЦК сообщить тебе как редактору «Литературной газеты» для твоего

личного, только личного сведения, что товарищ Берия сегодня выведен из состава Президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключен из партии, освобожден от должности заместителя Председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован,— официальным голосом, но одним дыхом выпалил мне все это Московский, даже не заметив, что по въевшейся привычке в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берия механически произнесенное слово «товарищ».

— Ясно,— сказал я.— А что случилось-то? Что произошло?

— Все, что случилось, узнаешь завтра в десять утра на пленуме ЦК, а пока с учетом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии.

— Там ничего нет о Берии, откуда он там,— сказал я, вспоминая все четыре полосы сегодняшней газеты.— Специальных материалов у нас не идет никаких, а так откуда же он?

— Не знаю, откуда,— сказал Московский.— Я тебя официально предупредил, больше у меня времени нет, надо ехать дальше, а ты перечитай все полосы лично. И никому ничего не сообщай. Ясно?

— Ясно.

Так никому ничего не сообщив, я как дурак стоял еще два часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, на которых фамилия Берия могла оказаться разве что в какой-нибудь заметке о сельском хозяйстве, где фигурировал бы колхоз или совхоз его имени. Но и такого тоже не обнаружилось, и я к середине ночи подписал все полосы.

Пробую сейчас вспомнить, какое тогда, в тот вечер и ночь, на меня произвело впечатление это событие, полный переворот в судьбе Берии. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдет чего-то, что могло бы произойти, оставайся все по-прежнему. То, что Берия был близок к Сталину, то, что так или иначе, во все времена пребывания в Москве, занимаясь отнюдь не только Министерством внутренних дел или Министерством государственной безопасности, или промышленными, строительными министерствами, входя в Государственный Комитет Обороны во время войны, он всегда при этом имел некую дополнительную власть как человек или руководящий, или наблюдающий за органами разведки и контрразведки,— все это было

известно. И очевидно, часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности, была замешена на том страхе и трепете, который людям вселяло такое его совместительство,— это принадлежало к числу обстоятельств, о которых нетрудно было догадываться, и мы догадывались о них.

При том положении, которое Берия занимал при Сталине, то, что он окажется среди первых лиц государства после смерти Сталина, казалось само собой разумеющимся. Но то, что он сразу же сделался вторым лицом и очень активным, то, что не кто другой, а именно он предлагал кандидатуру Маленкова,— от этого возникало ощущение некой опасности. Это ощущение испытывали многие. Время, особенно в первые месяцы после смерти Сталина, продолжало оставаться жестким, и первое осязаемое изменение в нем появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела «врачей-убийц» и освобождения этих людей. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы, но помню, что с оговорками, с недоговоренностями у разных людей все-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки: а не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова?

Что до меня, то, проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух-трехмесячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в поселке Гульрипши и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву,— знал обо всем этом намного больше других, не живших там людей. То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях, погибших, выбитых из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции — это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова.

Мои собеседники отнюдь не были болтливы, да и время не располагало к такой болтливости, но все-таки то одно, то другое у них прорывалось. И я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что, прежде чем облагодетельствовать оставшихся в живых и выпускать их после

Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию, причем в каких-то подробностях рассказов о событиях тридцать шестого — тридцать седьмого и более ранних годов мелькало нечто страшное, связанное с местью и со сведением им личных счетов. Двое или трое из моих друзей абхазцев, очевидно, вполне доверяя мне, рассказывали мне ужасные вещи, связанные с произволом Берии в Абхазии, с гибелью там многих людей. Чему-то из этого верилось, чему-то не верилось, настолько диким это казалось тогда, в те годы, задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до XX съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось в то, во что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. С этим уроженцем мингрельского села Мерхеули, расположенного всего в десятке километров от поселка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намеков в разговорах, вдруг прорывавшихся давних и не столь давних подробностей, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое. И новость, которую принес мне Василий Петрович Московский, была сразу воспринята мною как некое, еще не до конца обдуманное, инстинктивное облегчение, как нечто избавлявшее нас от висевшей в воздухе опасности... Воспоминания о прямых разговорах, о намеках, полунамеках — все это прокручивалось в памяти, когда я заново читал ночью полосы газеты. Но это было только дополнением к первому чувству, как вскоре выяснилось, достаточно широко распространенному среди необозримой массы людей.

А утром я пошел на пленум ЦК, который продолжался, по-моему, пять или шесть дней и на котором о Берии было сказано все, что только можно было сказать о нем, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убежденно и далеко не всегда удачно.

О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на пленуме рассказывал Хрущев. Слово «поймали» наиболее точно соответствует характеру рассказа Хрущева, его темпераменту и тому страстному удовольствию, с которым он рассказывал обо всем этом.

Из его рассказа — что никто на пленуме не отвергал и не оспаривал, никому это просто не приходило в голову,— самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущев, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевид-

ным, когда я слушал его, что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущева, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой, цепкой хитрости, его здравого смысла, да и силы его характера, и, наоборот, счел его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, Берии, мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия.

Не буду больше писать об этом пленуме, на котором, кроме речи Хрущева, на меня, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели особенно умные, жесткие, последовательные и аргументированные речи Завенягина и Косыгина. Это увело бы меня от главной темы моих записей.

Падение Берии, если угодно, было похоже на последний, самый последний, после долгой паузы разорвавшийся снаряд. А говоря не фигурально, все, что произошло, все, что хотел и пробовал сделать Берия, и все, что, поймав его за руку, ему предъявили разом за много лет,— все это было пусть не последняя, но самая явная, самая уродливая, самая дурно пахнущая отрыжка всей той эпохи, которая связана в нашем сознании с именем Сталина.

Если попытаться собрать, спрессовать в нечто единое все самое отвратительное для человеческого сознания, самое жестокое, трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе, отделив, вырвав его из всего остального, из всего другого, которое тоже было, то именно Берия, его дела, сама возможность его долголетнего существования при Сталине были тем комком блевотины, политической и нравственной, который оказался исторгнутым и до конца очевидным уже после того, как сама эпоха была обрублена смертью Сталина.

Написав все это, хочу попробовать разобраться в своем отношении к Сталину в период между его смертью и XX съездом, в эти три года.

Сложность моего душевного состояния в те годы заключалась в том, что в общем-то я вырос и воспитался при Сталине. При нем кончил школу, при нем пошел в ФЗУ, при нем был рабочим, при нем стал студентом Литературного института, при нем начал писать, при нем стал профессиональным писателем, при нем перед войной вступил в кандидаты партии, а потом в члены, при нем был военным кор-

респондентом, при нем получил шесть Сталинских премий, одну из которых считал незаслуженной, а остальные — заслуженными, при нем стал редактором «Нового мира» и «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей, кандидатом в члены ЦК, несколько раз мог убедиться в том, что пользовался его доверием. При нем посадили, а потом выпустили моего отчима, при нем отправились в ссылку моя тетка и мои двоюродные сестра и брат, при нем где-то в ссылке погибли две другие тетки мои, любимая и нелюбимая, при нем посадили и, несмотря на мои письма, не выпустили и не послали на фронт моего первого руководителя творческого семинара, человека, которого я очень любил, при нем по моему ходатайству вернули в Москву одну мою оставшуюся в живых тетку. При нем были процессы, в которых мне было далеко не все понятно. При нем была Испания, куда я готов был ехать, Халхин-Гол, куда я поехал, при нем была Великая Отечественная война, на которой я видел много страшного, много неправильного, много возмущавшего меня, но которую мы все-таки выиграли. При нем я слушал его казавшиеся мне умными и правильными разговоры о литературе, при нем была расходившаяся с этими правильными разговорами кампания по искоренению космополитизма. При нем мы не согнули головы перед обожравшейся во время войны Америкой в те годы, когда у нас над головой висела их атомная бомба, а мы еще не имели своей. При нем были новые, напоминавшие тридцать седьмой и тридцать восьмой годы аресты в послевоенные годы, при нем в эти же послевоенные годы было движение борьбы за мир, в котором я участвовал. Все это было при нем, я перечисляю в том беспорядке, в каком это вспоминается. Все было при нем.

Было очень страшно прочесть те документы, свидетельствовавшие о начинавшемся распаде личности, о жестокости, о полубезумной подозрительности, те документы, которые на неделю сунул нам под нос пресеченный кем-то потом Берия. То, что было связано с разоблачением Берии, с обнаружившейся вокруг этого политической и нравственной блевотиной, несмотря на попытки разных людей вывести из-под удара Сталина, все-таки ложилось и на него. Но того, что было узнано сразу после смерти Сталина, и накопившихся за годы его жизни недоумений, не до конца осознанных несогласий, сомнений в справедливости того или иного сделанного им,— всего этого оказалось недоста-

точно для того, чтобы за три года после смерти Сталина увидеть его в новом свете. Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю. А своего отношения к Сталину в те три года я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.

Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Варианты возможны только в будущем, в прошлом их не существует. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». В дальнейшем, правда, в передовой разъяснялось, что, рисуя образ Сталина, писатели создадут образ связанной с его деятельностью эпохи, свершений этой эпохи и так далее, и тому подобное, но исходная формулировка была именно такая. Передовая называлась «Священный долг писателя», и в приведенном мною абзаце первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой, в которой как священный долг писателей прежде всего рассматривались мемориальные задачи, а не обращение к нынешнему и будущему дню.

На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую внезапно оказалась очень бурной. Я к тому времени после долгой борьбы с разными людьми, не желавшими понимать, что я хочу продолжать хоть что-то писать, выговорил себе право еженедельно выпускать два из трех номеров газеты, а третий только вчерне подготавливать вместе с заместителем, этот третий, субботний, номер подписывал заместитель. Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и, глядя на ночь, в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.

— Тут такое было,— встретил меня мой заместитель Косолапов, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал.— А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.

Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавши не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателя», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса — надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам,— пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности генерального секретаря Союза писателей.

Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателя», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина,— при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету.

По словам Суркова — не помню, прямо говорившего

с Хрущевым или через вторых лиц,— Хрущев был крайне разгорячен и зол.

— Я лично,— сказал Сурков,— ничего такого в этой передовой не увидел и не вижу. Ну, неудачная, ну действительно там слишком много отведено места тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь? Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.

Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю, где, в Секретариате или в Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кончилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «і» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателя» с призывом создать эпохальный образ Сталина как главной задачи литературы попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе. Видимо, так. Кстати, перечитывая сейчас газеты того времени, я увидел то, что давно забылось: именно Никита Сергеевич Хрущев по иронии судьбы был председателем комиссии по похоронам Иосифа Виссарионовича Сталина, открывал и закрывал траурный митинг на Красной площади. Это не имеет никакого отношения к делу, но раз это попалось на глаза, не хочется проходить мимо.

Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвертом году, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилась понравившаяся мне фотография

Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале,— сильное и умное лицо старого тигра. При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил. Это был не сталинизм, а скорей нечто вроде дворянско-интеллигентского гонора: вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит. Кроме того, эта фотография нравилась мне.

В пятьдесят пятом году, издавая книгу стихотворений и поэм, я включил в нее очень плохие стихи, написанные в сорок третьем году, вскоре после Сталинграда. Стихи о том, как Сталин звонит Ленину из Царицына, как это повторяется уже в Великую Отечественную войну, когда безымянный генерал или командующий звонит из Сталинграда Сталину, как когда-то тот звонил Ленину. Стихотворение, не богатое ни по мысли, ни по исполнению, в свое время не напечатанное, так и оставшееся лежать у меня в архиве. А в пятьдесят пятом году я вдруг взял да и напечатал его. Зачем? Тоже, видимо, из чувства противоречия, в какой-то мере демонстративно. Приходить же к критическому отношению к деятельности Сталина я стал тогда, когда решился наконец писать роман о войне и начинать его первыми днями войны. Первую часть романа «Живые и мертвые», которая потом не вошла в него по чисто конструктивным и художественным причинам, я писал в конце декабря пятьдесят пятого года, весь январь и начало февраля пятьдесят шестого года. Это было до XX съезда, накануне его, еще не было ни речи Хрущева, ни всего, что за ней последовало и в жизни, и в наших душах. Эту часть своего романа я в пятьдесят седьмом году напечатал как две отдельные повести — «Пантелеев» и «Левашов». В них уже было то, что мне не пришлось после XX съезда ни менять, ни переписывать. Они были сразу именно так и написаны. Секрет тут был в том, что, откладывая и откладывая срок начала этой работы над романом о войне, о сорок первом годе, я делал это не случайно. Мои воспоминания о том времени, мои дневники, на которые я прежде всего опирался, были неизбежно связаны с внутренней переоценкой очень многих вещей, касавшихся Сталина: готовности к войне, роли арестов тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в наших поражениях, еще многого и многого другого. Дневники писались во время войны. Роман отделяло от них тринадцать или четырнадцать лет. Обдумываемые для романа дневники для меня самого становились чем-то иным, чем были до этого в памяти, они становились обличительным документом по отношению

к привычным, сложившимся оценкам непререкаемых заслуг Сталина во все времена, в том числе накануне и в начале войны. Влезая в роман, я все больше и больше переоценивал для себя Сталина, его роль, все то, что шло от него. Без этого писать о сорок первом годе я не мог и не хотел, и не был в состоянии — все вместе.

Очевидно, здесь мне и следует поставить точку в этой части моей рукописи, прежде чем перейти к тому, что пока назову условно «Сталин и война», что будет попыткой разобраться в своих собственных чувствах и мыслях и в чувствах и мыслях многих других людей, с которыми я говорил на эту тему.

Война и Константин Симонов теперь неразрывны в памяти людей — наверное, так будет и для будущих историков нашего времени.

Народный артист СССР
М. А. Ульянов

Очень важно для нас и то, что все Ваши всенародно известные и безоговорочно любимые творческие труды, касаясь почти всех важнейших событий войны, преподносятся читателю наиболее капитально, а главное — строго правдиво и обоснованно, без каких-либо попыток в угоду всяким веяниям послевоенных лет и сегодняшнего дня отойти от порою суровой правды истории, на что, к сожалению, многие из писателей, и особенно нашего брата, мемуаристов, по разным причинам идут так охотно.

Маршал Советского Союза
А. М. Василевский

СТАЛИН
И ВОЙНА

УРОКИ ИСТОРИИ И ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

Заметки литератора

В преддверии двадцатилетия Победы хочется высказать некоторые, связанные с историей Великой Отечественной войны мысли, родившиеся у меня как у писателя, ряд лет работающего над этой темой.

Сейчас трудно себе представить, что в 1955 году, через 10 лет после окончания войны, у нас по существу еще не было мемуарной литературы о Великой Отечественной войне. И в этом не приходится винить ее участников, ибо только XX съезд партии создал благоприятные условия для создания этой литературы.

Люди, прошедшие войну, часто вспоминают тост, который произнес Сталин в мае 1945 года «за здоровье русского народа».

«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах... Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии...»

Бесспорно, эти слова содержат и прямое признание ряда ошибок, и справедливую оценку наиболее кризисных моментов 1941—1942 годов. Эти слова содержат и самокритику, поскольку, употребляя слово «правительство», Сталин привык подразумевать под этим себя.

Все это так. Но у всего этого была и своя оборотная сторона, что, на мой взгляд, вообще, как правило, надо иметь в виду, оценивая слова и дела Сталина. Сталин своим тостом отнюдь не призывал других людей, в том числе историков, к правдивым и критическим оценкам хода войны. Наоборот, сам, как высший судия, оценив этот этап истории, в том числе и свои отношения с русским народом так, как он их понимал, он как бы ставил точку на самой возможности существования каких бы то ни было критических оценок в дальнейшем. Слова этого тоста как будто призывали людей

говорить о прошлом суровую правду, а на деле за этими словами стояло твердое намерение раз и навсегда подвести черту под прошлым, не допуская его дальнейшего анализа. И не трудно себе представить, какая судьба ждала бы при жизни Сталина человека, который, вооружившись цитатами из этого знаменитого тоста, попробовал бы на конкретном историческом материале развивать слова Сталина о том, что у правительства было немало ошибок, или как свидетель и участник войны проиллюстрировал бы эти слова личными воспоминаниями.

Говоря это, я хочу подчеркнуть, в каком, еще куда более трудном, чем писатели, положении оказались в те годы люди, которые в разных военных должностях вынесли на своих плечах войну и которым было что сказать о ней.

Оценивая нашу сегодняшнюю мемуарную литературу о войне, надо иметь в виду, что у нее были насильственно задержанные роды и она потеряла почти целое, самое драгоценное — если иметь в виду остроту памяти — десятилетие. И если, несмотря ни на что, она все же входит сейчас в пору своего расцвета, надо высоко оценить энтузиазм людей, решивших на примере собственной жизни и военной деятельности рассказать всю героическую и трагическую правду о том труднейшем в истории подвиге партии, армии и народа, который мы с законной гордостью зовем Великой Отечественной войной.

Очень большие задачи в этом смысле стоят сейчас и перед нами, писателями, хотя надо сказать, что литература наша немало сделала в этом направлении уже давно, еще в годы войны и сразу после нее. Я не разделяю по разным поводам возникавших в последние годы запальчивых теорий, объявлявших то одну, то другую из недавно написанных книг о войне то «началом ее подлинной истории», то «первой настоящей правдой о ней».

Конечно, только XX съезд партии открыл возможности для наиболее глубокого изображения истории Великой Отечественной войны. Но стремление в меру своих сил сказать правду о войне всегда владело каждым честным художником. Далеко не все можно было сказать по обстоятельствам времени, далеко не все сами художники считали возможным говорить; в произведениях того времени было немало искренних заблуждений. Все это так, и об этом нет нужды умалчивать. Однако нет нужды и забывать, как много правды о войне содержалось в лучших книгах того времени, в особенности написанных по горячим следам между сорок

первым и сором седьмым годами, в таких произведениях, как «Василий Теркин» и «Наука ненависти», «Волоколамское шоссе» и «В окопах Сталинграда», «Звезда» и «Спутники», «Народ бессмертен» и «Письма товарищу».

Можно вспомнить и многое другое, я называю здесь примеры и хочу подчеркнуть, что правда о войне, сказанная тогда, когда ее не так-то просто было говорить, имеет в глазах читателей дополнительную нравственную ценность.

В разные времена бывали разные обстоятельства — это верно. Но в одни и те же периоды истории при наличии одинаковых обстоятельств у разных литераторов бывали и разные взгляды на ход исторических событий, и разная мера мужества в их изображении. Нельзя не считаться со временем, в котором были написаны те или иные произведения, но нельзя и все сваливать только на время.

Для примера скажу, что сценарий, а потом фильм «Сталинградская битва» и повесть «В окопах Сталинграда» создавались об одном и том же событии и в одну и ту же эпоху, а в восприятии войны между тем и другим — пропасть!

Разница во взглядах на войну, на литературу о войне, на воспитательные задачи этой литературы существовала не только после войны и во время нее, но и до войны. У этого спора, который в другой исторической обстановке и в других формах продолжается и сейчас, глубокие корни.

Хочу процитировать два документа, относящихся к февралю 1941 года, преддверию войны. В обоих идет речь о готовившемся тогда в издательстве «Молодая гвардия» сборнике «Этих дней не смолкнет слава...». В первом из них говорилось так:

«...Сборник исходит из принципиально неверной установки о том, что «наша страна — страна героев», пропагандирует вредную теорию «легкой победы» и тем самым неправильно ориентирует молодежь, воспитывает ее в духе зазнайства и шапкозакидательства... Из такого утверждения можно сделать только один ошибочный вывод: незачем вести пропагандистскую работу, направленную к воспитанию у молодежи храбрости, мужества и геройства, поскольку каждый человек у нас и так является героем...»

Во втором документе говорится то же самое, только другими словами:

«В материалах много ненужной рисовки и хвалебности. Победа одерживается исключительно легко, просто... все на ура, по старинке. В таком виде воспитывать нашу мо-

лодежь мы не можем. Авторы, видно, не сделали для себя никаких выводов из той перестройки, которая происходит в Красной Армии...»

Первая цитата взята из письма тогдашнего начальника Главного политического управления армии А. Запорожца к А. Жданову, вторая цитата — из письма тогдашнего наркома обороны С. Тимошенко в ЦК комсомола Н. Михайлову.

Литераторам, занимающимся историей войны, стоит задуматься над этими двумя письмами, написанными на ее пороге. О чем, на мой взгляд, говорят эти письма? После тяжкого разгрома военных кадров в 1937—1938 годах и финской войны, наглядно показавшей гибельные для армии результаты этого разгрома, был взят решительный курс на перестройку армии с целью вернуть ей действительную мощь и боеспособность.

Однако в идеологии были еще сильны настроения, порожденные предыдущим периодом, когда в обстановке репрессий 1937—1938 годов заикнуться о силе противника или о нашей недостаточной готовности к большой войне значило совершить политическое самоубийство.

Обстановка уже изменилась к лучшему, но настроения, рожденные 1937—1938 годами, продолжали давать себя знать самым опасным образом и в общественной жизни, и в литературе.

Достаточно назвать как эталон этих настроений хорошо памятный людям моего поколения предвоенный роман «Первый удар», в котором мы, уже не помню то ли за сутки, то ли за двое, расколачивали в пух и прах всю фашистскую Германию. И беда была не в бездарности этого романа, а в том, что он был издан полумиллионным тиражом и твердой рукой поддержан сверху.

Приведенные документы говорят о том, что хотя в нашем обществе перед войной уже начинался поворот в сознании, но инерция 1937—1938 годов была еще очень сильна, и это приводило к резкому столкновению взглядов и на армию, и на будущую войну.

Заговорив об этом, хочу подробнее остановиться на трудной теме 1937—1938 годов, или «ежовщине», как просто и коротко заклеймил все это народ, и не задним числом, после смерти Сталина, а сразу, тогда же. Кстати сказать, любителям уклончивых формулировок об «отдельных несправедливостях» и «некоторых нарушениях» не грех бы подумать над этой народной формулировкой того времени.

Когда речь идет об «отдельных» и «некоторых», в народе не рождаются такие слова, как «опричнина» и «ежовщина».

В данном случае я говорю о 1937—1938 годах лишь с точки зрения их прямого влияния на нашу неготовность к войне. К сожалению, люди, от всей души клеймящие позорные события тех лет, порой узко и односторонне трактуют влияние этих событий на дальнейшие судьбы армии. Прочтешь статью, где, в очередной раз перечислив несколько имен погибших в 1937 году военачальников, автор намекает, что, будь они живы, на войне все пошло бы по-другому, и думаешь: неужели автор и в самом деле все сводит лишь к этому?

Однажды, прочитав такие рассуждения, я даже попробовал мысленно представить: предположим, в 1937 году не было бы всего остального, а был бы просто один трагический случай — авария летевшего на маневры самолета, на борту которого находились Тухачевский, Уборевич, Корк и другие жертвы будущего фальсифицированного процесса. Была бы эта трагедия трагической? Конечно. Нанесла бы она ущерб строительству армии? Разумеется. Привела бы она через четыре года — в 1941 году — к далеко идущим последствиям?

Спросил и мысленно ответил себе: нет, не привела бы. Потому что потеря такого рода при всем ее трагизме заставила бы нас по нашей революционной традиции только теснее сплотить ряды, выдвинула бы новых способных людей, выпестованных партией и Красной Армией.

Нет, нельзя сводить все к нескольким славным военным именам того времени. И нельзя рассматривать возможную роль этих людей в будущей войне отторженно от той атмосферы, в какой они погибли и которая еще сильнее сгустилась в результате их гибели с посмертным клеймом изменников родины.

Во-первых, погибли не они одни. Вслед за ними и в связи с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей, составлявших значительную часть цвета нашей армии. И не просто погибли, а в сознании большинства людей ушли из жизни с клеймом предательства.

Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов стоило армии — в данном случае я говорю только об армии — начать приходить в себя после этих страшных ударов.

К началу войны этот процесс еще не закончился. Ар-

мия оказалась не только в самом трудном периоде незаконченного перевооружения, но и в не менее трудном периоде незаконченного восстановления моральных ценностей и дисциплины.

Не разобравшись в этом вопросе, нельзя до конца разобраться и в причинах многих наших неудачных действий в преддверии и в начале войны. Мне хочется поспорить с нет-нет да и проскальзывающей тенденцией противопоставления кадров, погибших в 1937—1938 годах, кадрам, которым хочешь не хочешь пришлось принять на свои плечи войну.

Некоторым, видимо, кажется, что они отдают должное личности Тухачевского или Якира, намекая, что, командуй они в первый день войны фронтами вместо Кирпоноса или Павлова, все пошло бы по-другому. Такие внешне эффектные противопоставления мне лично кажутся не только легковесными, но и морально безответственными.

Да, по образному выражению одного из наших крупных военных, «война отбирала кадры». Не на месте оказались некоторые видные военачальники, жившие заслугами прошлого и отставшие от времени. Не на месте оказались и некоторые слишком поспешно выдвинутые перед войной молодые командиры.

Но война отбирала и отобрала кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов отступавшим до Москвы, до Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни другого, ни третьего, а потом перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце концов разгромившим сильнейшую армию мира — германскую армию — и дошедшим до Берлина,— им, этим людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира при всем глубоком уважении к их именам.

Когда мы говорим о просчетах Гитлера и германского генерального штаба, следует помнить, что один из их главных просчетов был просчет в оценке кадров. В 1937—1938 годах эти кадры действительно понесли страшный урон. Но Гитлер и германский генеральный штаб считали этот урон невосполнимым, а нашу армию в условиях большой войны небоеспособной.

Однако те кадры, которые сохранились в нашей армии, пережив тяжелейшие моральные испытания 1937—1938 годов и еще не оправившись от них в начале войны, показали и свое искусство, и свою способность к росту и совершенствованию. Показали, что они люди той же со-

ветской военной школы, из которой вышли такие люди, как Тухачевский, Уборевич, Якир, и в конце концов сделали то, чего не ожидали от них ни наши враги, ни наши союзники,— вышли из этой страшной войны победителями.

Нам неизвестно и останется неизвестным, как воевали бы в 1941 году Блюхер или Белов, Дыбенко или Федько. Об этом можно говорить только предположительно. Но зато нам твердо известно другое: не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, в этом корень вопроса. Не будь 1937 года, мы к лету 1941 года были бы несомненно сильнее во всех отношениях, в том числе и в чисто военном, и прежде всего потому, что в рядах командного состава нашей армии пошли бы на бой с фашизмом тысячи и тысячи преданных коммунизму и опытных в военном деле людей, которых изъял из армии 1937 год. И они, эти люди, составили бы к началу войны больше половины старшего и высшего командного состава армии.

Нет никакой исторической необходимости персонифицировать эту огромную проблему, гадая, кто, на чьем месте, где и как бы воевал. Главное в другом, в том, что с фашизмом воевали бы *все*, и война, отбирая кадры,— а война все равно бы их отбирала,— выясняя истинную цену военачальников, отбирала бы эти кадры, во-первых, в несравненно более благоприятной атмосфере и, во-вторых, из куда более обширного круга людей.

Несколько слов о непосредственно предвоенной атмосфере. Людям, пишущим о войне, важна исходная точка. Сложность и противоречивость тогдашней обстановки у нас порой все еще примитивизируется и выглядит примерно так: после событий 1937—1938 годов и финской войны, открывшей глаза на наши слабости, армия стала перестраиваться; для ее успешной перестройки была создана нормальная атмосфера. Все уже шло к лучшему, и если бы вдобавок Сталин поверил Рихарду Зорге, принял необходимые меры, все было бы в порядке.

Казалось бы, на первый взгляд все правильно. Но это не так; подлинная историческая правда сложнее и противоречивее.

Да, каждый, кто в то время имел отношение к армии, хорошо помнит, с какой энергией после финской войны новое руководство Наркомата обороны стремилось навести порядок в армии, и прежде всего перестроить ее боевую подготовку.

Да, из финской войны делались выводы, в том числе форсировалось опасно затянувшееся перевооружение. Но сказать, что при этом в стране и в армии уже создались благоприятные для отпора врагу условия, было бы неверно.

Иногда изображают дело так, словно осенью 1938 года, осудив так называемые «перегибы» и наказав за них Ежова, Сталин поставил крест на прошлом; людей уже больше не объявляли врагами народа, а лишь освобождали и возвращали на прежние посты, в том числе и военные. С одной стороны, это верно. В армию вернулась часть командиров, арестованных в 1937—1938 годах, и некоторые из них в войну командовали дивизиями, армиями и даже фронтами.

Но с другой стороны, и в 1940 и в 1941 году все еще продолжались пароксизмы подозрений и обвинений. Незадолго до войны, когда было опубликовано памятное сообщение ТАСС с его полуупреком-полуугрозой в адрес тех, кто поддается слухам о якобы враждебных намерениях Германии, были арестованы и погибли командующий ВВС Красной Армии Рычагов, главный инспектор ВВС Смушкевич и командующий противовоздушной обороной страны Штерн.

Для полноты картины надо добавить, что к началу войны оказались арестованными еще и бывший начальник Генерального штаба и нарком вооружения, впоследствии, к счастью, освобожденные.

Такова была в действительности предвоенная атмосфера на пороге войны с фашистской Германией. Сталин все еще оставался верным той маниакальной подозрительности по отношению к своим, которая в итоге обернулась потерей бдительности по отношению к врагу.

А теперь, представив себе эту — не мнимую, а подлинную — атмосферу того времени, задумаемся, в каком положении находились те военные люди, которые, анализируя многочисленные данные, считали, что война может вот-вот разразиться вопреки безапелляционному мнению Сталина, которое он ставил выше реальности.

Когда мы спустя много лет судим об их действиях в то время, надо помнить, что речь идет не о мере мужества, которое необходимо человеку, чтобы демонстративно подать в отставку, после того как единственно правильные, по его мнению, меры наотрез отвергнуты. К сожалению, дело обстояло не так просто, и прямое противопоставление своего взгляда на будущую войну взглядам Сталина означало не

отставку, а гибель с посмертным клеймом врага народа. Вот что это значило.

И все-таки — мы знаем это по многим перекрещивающимся между собой мемуарам — находились люди, старавшиеся хоть в какой-то мере довести до сознания Сталина истинное положение вещей и, ежечасно рискуя головой, принять хотя бы частичные меры для того, чтобы не оказаться перед фактом полной внезапности войны.

Сталин несет ответственность не просто за тот факт, что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению.

Последним трагическим аккордом того отношения к кадрам, которое сложилось у Сталина до войны, были обвинения в измене и предательстве, выдвинутые им летом против командования Западного фронта — Павлова, Климовских и ряда других генералов, среди которых, как потом выяснилось, были и люди, погибшие в первых боях, и люди, до конца непримиримо державшие себя в плену.

Труднее сказать, что двигало Сталиным, когда он объявлял этих людей изменниками и предателями: расчет отвести от себя и обрушить на их головы гнев и недоумение народа, не ожидавшего такого начала войны? Или действительные подозрения? Думается, и то и другое — и расчет и подозрение, ибо ему уже давно было свойственно искать объяснения тех или иных неудач не в ошибках своих и чужих, а в измене, вредительстве и тому подобном.

От этой привычки потом, в ходе войны, ему пришлось, хотя и с рецидивами, но избавляться.

В ходе войны, среди ее испытаний проходили жестокую проверку многие довоенные представления, лозунги, концепции. Война одно подтверждала, другое отвергала, третье, в свое время отвергнутое, восстанавливала в его прежнем значении. Нам, литераторам, занимающимся историей войны, важно проследить за тем, как изменялась психология людей, их отношение друг к другу, как изменялся стиль руководства военными действиями, как новое, рожденное войной или восстановленное в ходе войны, боро-

лось со всем тем отжившим и скомпрометировавшим себя, что уходило корнями в атмосферу 1937—1938 годов.

Хочу привести пример операции, в которой наглядно столкнулись истинные интересы ведения войны и ложные, лозунговые представления о том, как должно вести войну, опиравшиеся не только на военную безграмотность, но и на порожденное 1937 годом неверие в людей. Я говорю о печальной памяти Керченских событиях зимы — весны 1942 года.

Семь лет назад один из наших писателей-фронтовиков писал мне следующее:

«Я был на Керченском полуострове в 1942 году. Мне ясна причина позорнейшего поражения. Полное недоверие командующим армиями и фронтом, самодурство и дикий произвол Мехлиса, человека неграмотного в военном деле... Запретил рыть окопы, чтобы не подрывать наступательного духа солдат. Выдвинул тяжелую артиллерию и штабы армии на самую передовую и т. д. Три армии стояли на фронте 16 километров, дивизия занимала по фронту 600—700 метров, нигде никогда я потом не видел такой насыщенности войсками. И все это смешалось в кровавую кашу, было сброшено в море, погибло только потому, что фронтом командовал не полководец, а безумец...»

Я был там же, где автор этого письма, и, хотя не разделяю его лексику, подписываюсь под существом сказанного.

Заговорил я об этом отнюдь не затем, чтобы лишний раз недобрым словом помянуть Мехлиса, который, кстати, был человеком безукоризненного личного мужества и все, что делал, делал не из намерения лично прославиться. Он был глубоко убежден, что действует правильно, и именно поэтому с исторической точки зрения действия его на Керченском полуострове принципиально интересны. Это был человек, который в тот период войны, не входя ни в какие обстоятельства, считал каждого, кто предпочел удобную позицию в ста метрах от врага неудобной в пятидесяти,— трусом. Считал каждого, кто хотел элементарно обезопасить войска от возможной неудачи,— паникером; считал каждого, кто реально оценивал силы врага,— неуверенным в собственных силах. Мехлис, при всей своей личной готовности отдать жизнь за Родину, был ярко выраженным продуктом атмосферы 1937—1938 годов.

А командующий фронтом, к которому он приехал в качестве представителя Ставки, образованный и опытный

военный, в свою очередь тоже оказался продуктом атмосферы 1937—1938 годов, только в другом смысле — в смысле боязни взять на себя полноту ответственности, боязни противопоставить разумное военное решение безграмотному натиску «все и вся — вперед», боязни с риском для себя перенести свой спор с Мехлисом в Ставку.

Тяжелые керченские события с исторической точки зрения интересны тем, что в них как бы свинчены вместе обе половинки последствий 1937—1938 годов,— и та, что была представлена Мехлисом, и та, что была представлена тогдашним командующим Крымским фронтом Козловым.

Кстати сказать, мысленно восстанавливая всю эту драматическую керченскую ситуацию, можно не кривя душой назвать имена целого ряда других, уже выдвигавшихся к тому времени в ходе войны людей, которые, оказавшись в положении командующего фронтом, несмотря ни на близость Мехлиса к Сталину, ни на его положение представителя Ставки, думается, уже тогда не дали бы ему подмять себя, спорили бы до конца, дошли до Сталина и, возможно, убедили бы его в своей правоте.

И этих других людей нельзя выпускать из виду, исторически осмысливая те перемены к лучшему, которые постепенно совершались в армии в ходе войны с ее первыми поражениями, с ее сложным и длительным переломным периодом, с ее все нараставшими и нараставшими по своим масштабам победами.

Общий ход войны у всех нас на памяти. Нет человека, который бы не знал, куда мы отступили в сорок втором — до Волги, и куда мы пришли в сорок пятом — в Берлин; и какие столицы Европы мы освободили от фашистов — Варшаву, Софию, Белград, Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу — через три года после того, как фашисты входили в наш Минск, в наш Киев, в наш Калинин, в наш Севастополь.

И о каком бы дне войны мы ни писали — о ее первом или о ее последнем дне, и в каком бы пункте ни происходило действие наших книг — в осажденном Сталинграде или в окруженном Берлине,— мы всегда должны держать в своей памяти и в своих чувствах весь ход войны, все ее испытания, все ее поражения и победы.

Нельзя писать о падении Берлина, забыв о Минском шоссе сорок первого года, и нельзя писать об обороне Бреста, не держа в памяти штурма Берлина, хотя павшие в сорок первом так и не узнали об этом.

Мы прошли через всю войну, и мы помним ее всю — от начала и до конца. И мы не собираемся ничего выбрасывать из истории, потому что любые изъятия искажают общую картину. Только изобразив всю меру наших несчастий в начале войны и весь объем наших потерь, можно показать всю длину нашего пути до Берлина и всю меру усилий, которых потребовал от партии, от народа, от армии этот бесконечно длинный и бесконечно трудный день.

И меня всегда удивляет, когда люди, сами прошедшие сквозь огонь войны, мало того, создавшие о ней сильные произведения, вдруг прибегают к исторически несостоятельным, уклончивым оценкам неопровержимых фактов.

В последний раз с этим явлением я столкнулся совсем недавно, читая статью скульптора Е. Вучетича «Внесём ясность». Не буду вдаваться в остальные аспекты этой полемической статьи, скажу лишь об одном ее абзаце, который прямо касается затронутой мною темы. Сначала процитирую:

«Но есть правда и есть только видимость правды, есть правда факта и правда явления. И надо обладать острым, проницательным взглядом художника, чтобы отделить одну от другой. Конечно, правда, что в начальный период войны были случаи нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники, на что сейчас особенно усиленно напирают некоторые недалекие литераторы в своих произведениях. Это правда, но только правда события, факта, а не *правда жизни* и *борьбы народа* в один из самых критических периодов его многовековой истории. Истинная правда состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги, а и в том, что мы, сломав у крутых волжских берегов хребет фашистскому зверю, дошли затем до Берлина и водрузили над рейхстагом знамя нашей великой победы».

Останавливаюсь на этом абзаце потому, что в нем изложена целая программа антиисторического подхода к истории войны.

Противопоставляя правду — видимости правды, а правду факта — правде явления, что хочет сказать этим Е. Вучетич? Если брать его формулировки, то случаи «нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники» в начале войны, чем они были — правдой или только видимостью правды? Были они фактами или явлениями? Думаю, что все это, вместе взятое, было явлением трагическим и опасным, складывавшимся из множества фактов. Это была не «видимость» правды, а самая настоящая, хотя и горькая

правда. И только до конца поглядев этой правде в глаза,— что, кстати сказать, надо отдать ему должное, хотя и с опозданием, но сделал Сталин,— можно было с великими трудами повернуть общий ход войны. Это — во-первых.

А во-вторых, если говорить о видимости правды, то видимостью правды как раз является та оценка, которую дает Е. Вучетич начальному периоду войны, во время которого, по его словам, «были случаи» — подчеркиваю это слово — *случаи!* — «...нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники».

«Истинная правда,— пишет Е. Вучетич,— состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги». Разумеется! Истинная правда, если брать войну в целом, состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги, но и в том, что мы дошли затем до Берлина. Не только у нас, но, наверное, даже в ФРГ нет человека, который бы взялся оспаривать это.

Но если говорить об августе 1942 года, то истинная правда заключалась как раз в том, что мы «отошли до берегов Волги»,— то есть на самое далекое расстояние, которое когда-нибудь отделяло нашу армию от Берлина. И нас не могли привести на берега Волги просто-напросто «случаи нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники». Объяснять дело так — значит пытаться создавать видимость правды, потому что привели нас на берег Волги не те или иные имевшие место на войне неприятные случаи, а куда более грозные исторические причины, в первую очередь связанные с тем, что мы теперь называем культом личности. И Сталин в тот критический момент, или, выражаясь его собственными словами, в «один из моментов отчаянного положения», был куда ближе к «истинной правде» событий, подписывая свой знаменитый приказ № 227, чем Е. Вучетич теперь, через двадцать лет после войны, объясняющий наше отступление до Волги «случаями растерянности, нераспорядительности, а порой даже паники».

Хотелось бы искренне посоветовать Е. Вучетичу не проявлять в будущем такой растерянности, а порой даже паники перед истинной правдой истории и не пытаться подменять ее видимостью правды в искусстве. Это никому не нужно. Народ, победивший в такой войне, как Великая Отечественная, партия, приведшая его к победе, армия, разгромившая наголову сильнейшую в мире гитлеровскую армию, могут позволить себе не бояться говорить полную правду обо всех этапах этой победоносно окончившейся войны, в том числе и о самых тяжелых ее этапах!

Часть этой сложной правды о войне, без готовности встретиться с которой литератору незачем и приниматься за историю войны, связана с ролью Сталина в руководстве войной. Наш долг — объективно, с помощью документов и живых свидетельств, изучить и проанализировать эту роль со всеми ее положительными и отрицательными сторонами, не преувеличивая и не преуменьшая ни масштабов хорошего, ни масштабов дурного, ни очень крупных масштабов самой этой личности.

Думается, вряд ли верно опускать в современных публикациях фамилию Сталина под теми или иными документами, подписанными им как Верховным Главнокомандующим. Или в ряде случаев — я говорю о тех случаях, когда речь идет персонально о нем,— заменять его имя словом «Ставка»: «Ставка» решила, из «Ставки» позвонили.

Очевидно, когда так делают, то субъективно считают это элементами борьбы с культом личности. Но на самом деле это не так. Такие всем очевидные умолчания и замены не помогают, а мешают подлинной борьбе с культом личности и его последствиями, мельчат ее, вносят в эту абсолютно исторически справедливую борьбу элементы мелких исторических несправедливостей, изъятий, подтасовок, которые все, вместе взятые, вызывают у читателей чувство протеста, а порой даже мешают правильно оценить и всю глубину ошибок, и всю тяжесть прямых преступлений, совершенных этой крупной исторической личностью.

Мы приближаемся к великой для нашего народа дате — двадцатилетней годовщине Победы над фашизмом. С одной стороны, именно сейчас больше всего хочется вспомнить о самом радостном — о победах. Это чувство понятно и естественно.

Но мы встречаем этот день в далеко не безоблачной международной обстановке, и, вспоминая о победах, нам нельзя не вспоминать и о том связанном жестокими уроками истории, долгом и трудном пути, которым мы пришли к Берлину.

Это необходимо в интересах наиболее правдивого изображения того ни с чем не сравнимого по трудности подвига нашей партии и народа, о котором мы писали и будем писать, отдавая этому всю кровь своего сердца.

28 апреля 1965 года

К БИОГРАФИИ Г. К. ЖУКОВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Встречи

Эта первая часть заметок связана с моими встречами с Г. К. Жуковым в разные годы между 1939-м и 1967-м.

Я не биограф Георгия Константиновича Жукова, и то, что я пишу о нем,— не биография, а именно заметки к ней, попытка взглянуть на этого выдающегося военного деятеля глазами писателя.

Хочу добавить, что я участник войны, человек своего поколения, и мое восприятие личности Г. К. Жукова не сводится к личным встречам и разговорам. На протяжении многих лет мы много слышали и читали о Жукове, и в моих глазах, так же как и в глазах других людей, постепенно складывался облик этой крупной личности. Это уже не субъективное восприятие от личных встреч, а более объективное и широкое, связанное с народным отношением и народной молвой, которая еще в ходе Великой Отечественной войны признала Г. К. Жукова одним из народных героев и, независимо ни от чего, неизменно продолжала стоять на своем. Частица этого общего чувства присутствует и в моем восприятии личности Г. К. Жукова.

1.

На Халхин-Гол я попал поздно, в конце событий. Шли дни нашего последнего, августовского наступления. Японская группировка уже была окружена плотным кольцом наших и монгольских войск, и ее добивали в барханах восточней реки Халхин-Гол, брали штурмом последние оставшиеся в руках у японцев сопки — Ремизовскую, Песчаную, Безымянную...

Я знал, что нашей армейской группой командует комкор Жуков, что он кавалерист, приехал сюда из Белорусского военного округа. И в войсках, и в нашей армейской редакции говорили о нем с уважением. Говорили, что крут и решителен, говорили, что хотя на Халхин-Гол съехалось много высшего начальства, но Жуков не дал себя подмять, руководит военными действиями сам, сам же «по слухам» и

предложил план окружения японцев. Поговаривали, что были и другие планы, но Жуков настоял на своем, и там, в Москве, Сталин и Ворошилов утвердили его план.

Позже, когда окруженных японцев добили и на фронте установилась не то тишина, не то затишье перед новой бурей, в одном из разговоров я услышал подтверждение того, о чем уже слышал раньше.

В моих записках о Халхин-Голе сохранилась такая запись:

«Как-то во время одного из своих заездов на Хамар-Дабу мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же самыми спорами о талантах и способностях и притом почти в той же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев-писателей. Я не предполагал встретиться с этим на войне и поначалу удивился.

Дожидаясь не то Ортенберга, не то Ставского, я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с командирами-кавалеристами. Один из них — полковник, служивший с Жуковым чуть ли не с Конармии,— убежденно и резко говорил, что весь план окружения японцев — это план Жукова, что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн не имел к этому плану никакого отношения, что Жуков талант, а Штерн ничего особенного из себя не представляет и что это именно так, потому что — он это точно знает — никто, кроме Жукова, не имел отношения к этому плану.

Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та же увлеченность и безапелляционность, которая нередко бывала в наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Литературного института, категорически настаивая на талантах своих любимых поэтов и учителей, попутно развенчивали всех остальных».

Жукова я впервые встретил неделю спустя, утром после назначенной на предыдущую ночь, но в последний момент отмененной частной операции против новых, только что подошедших японских частей. Приведу и на этот раз отрывок из своих халхин-гольских записей.

«На следующий день мне с Ортенбергом, Лапиным и Хацревиным пришлось быть у Жукова. Ортенберг хотел узнать, насколько реальны, по мнению Жукова, сведения о близком наступлении японцев, на что нам ориентироваться в газете.

Штаб помещался по-прежнему все на той же Хамар-Дабе. Блиндаж у Жукова был новый, видимо только вчера

или позавчера срубленный из свежих бревен, очень чистый и добротно сделанный, с коридорчиком, занавеской и, кажется, даже с кроватью вместо нар.

Жуков сидел в углу за небольшим, похожим на канцелярский, столом. Он, должно быть, только что вернулся из бани: порозовевший, распаренный, без гимнастерки, в заправленной в бриджи желтой байковой рубашке. Его широченная грудь распирала рубашку, и, будучи человеком невысокого роста, сидя он казался очень широким и большим.

Ортенберг начал разговор. Мы примостились кругом. Жуков отмалчивался. Въедливый, нетерпеливый Лапин стал задавать вопросы. Жуков все продолжал отмалчиваться, глядя на нас и думая, по-моему, о чем-то другом.

В это время вошел кто-то из командиров разведки с донесением. Жуков искоса прочел донесение, посмотрел на командира сердитым и ленивым взглядом и сказал:

— Насчет шести дивизий врете: зафиксировано у нас только две. Остальное врете. Для престижа.

— Хлеб себе зарабатывают,— сказал Жуков, обернувшись к Ортенбергу и не обращая внимания на командира.

Наступило молчание.

— Я могу идти? — спросил командир.

— Идите. Передайте там у себя, чтобы не фантазировали. Если есть у вас белые пятна, пусть честно так и остаются белыми пятнами, и не суйте мне на их место несуществующие японские дивизии.

Когда командир вышел, Жуков повторил:

— Хлеб себе зарабатывают. Разведчики...

Потом повернулся к Лапину и сказал:

— Спрашиваете, будет ли опять война?

Борис заторопился и сказал, что это не просто из любопытства, а что они с Хацревиным собираются уезжать на Запад в связи с тем, что там, на Западе, кажется, могут развернуться события. Но если здесь, на Востоке, будет что-то происходить, то они не уедут. Вот об этом он и спрашивает.

— Не знаю,— довольно угрюмо сказал Жуков. И потом повторил опять: — Не знаю. Думаю, что они нас пугают.

И после паузы добавил:

— Думаю, что здесь ничего не будет. Лично я думаю так.

Он подчеркнул слово «лично», словно отделяя себя от кого-то, кто думал иначе.

— Думаю, можете ехать,— сказал он, как бы закругляя разговор и приглашая нас расстаться».

Таким было первое, надолго врезавшееся в мою память впечатление о Жукове. Оно сохранилось тем отчетливее, что в следующий раз я увидел Жукова лишь через пять с половиной лет, в тот день, когда Кейтель, Штумпф и Фридебург прилетели в Берлин подписывать акт о безоговорочной капитуляции германской армии.

Однако о впечатлениях мая 1945 года потом, позже.

А сейчас о другой встрече с Жуковым, уже после войны, в октябре 1950 года.

Я встретил Жукова совершенно неожиданно для себя, в многолюдстве, на тесном кисловодском пятачке. Я знал, что он командует Уральским военным округом, но здесь, на отдыхе, он был не в военном, а в штатском, которое, впрочем, сидело на нем так же привычно и ловко, как и военная форма.

Я понимал, что он не может помнить меня в лицо, и, представившись, сказал, что был у него на Халхин-Голе.

— Да, конечно,— сказал Жуков,— по-моему, мы и потом с вами встречались, во время войны.

Это была естественная ошибка памяти: ему показалось, что я, как и многие другие военные корреспонденты, тоже был у него где-то на фронте.

Пришлось ответить, что мне в этом отношении не повезло, я так ни разу и не встретился с ним за всю войну, до самого ее конца.

Я попросил его уделить мне время и ответить на некоторые вопросы о Халхин-Голе, объяснив, что мною задуман роман, герои которого участвуют в этих событиях.

Жуков немного помедлил. Я понимал, что в те годы, после его освобождения с поста первого заместителя министра обороны, и его положение, и его душевное состояние были не из легких. Мне даже показалось, что сейчас он откажется, не захочет говорить со мной ни о Халхин-Голе, ни о себе. Однако после короткого молчания он сказал:

— Хорошо.

И тут же назначил место и время встречи.

Встреч было две, по нескольку часов каждая, причем одна из них происходила у вдовы Орджоникидзе, Зинаиды Константиновны, в санатории, где она жила.

Обе беседы с Жуковым были записаны мною тогда же, сразу после наших встреч.

Вспоминая Халхин-Гол, Жуков говорил о масштабах поражения, которое понесли японцы.

— Помню, мы как-то заехали в район речки Хайластын-Гол. Там, когда японцы пытались вырваться из кольца, их встретила наша 57-я дивизия, и они оставили там столько убитых, что едешь ночью по этому полю боя и слышно, как ребра хрустят под машинами. И страшный запах трупов... А помните, как потом, уже после переговоров, они выкапывали трупы своих, погибших в окружении? Столько выкопали, что под конец иногда увидят — и стараются скорей обратно забросать землей, чтобы не выкапывать, закончить. Уже самим невтерпеж стало...

После этого он вернулся в разговоре к тем событиям начала июля 1939 года, когда он только что приехал на Халхин-Гол и вступил в командование.

Об этих событиях, о Баин-Цаганском сражении, или, как чаще говорили тогда,— о Баин-Цаганском побоище, нашем первом крупном успехе после полутора месяцев боев, я был наслышан еще там, на Халхин-Голе. Сражение произошло в критический для нас момент. Японцы крупными силами пехоты и артиллерии переправились на западный берег Халхин-Гола и намеревались отрезать наши части, продолжавшие сражаться на восточном берегу реки. А у нас не было вблизи на подходе ни пехоты, ни артиллерии, чтобы воспрепятствовать этому. Вовремя могли подоспеть лишь находившиеся на марше танковая и бронебригады. Но самостоятельный удар танковых и бронечастей без поддержки пехоты тогдашней военной доктриной не предусматривался.

Взяв, вопреки этому, на себя всю полноту особенно тяжелой в таких условиях ответственности, Жуков с марша бросил на японцев танковую и бронебригады.

Вот что говорил об этом он сам, одиннадцать лет спустя:

— На Баин-Цагане у нас создалось такое положение, что пехота отстала. Полк Ремизова отстал. Ему оставался еще один переход. А японцы свою 107-ю дивизию уже высадили на этом, на нашем берегу. Начали переправу в 6 вечера, а в 9 часов утра закончили. Перетащили 21 тысячу. Только кое-что из вторых эшелонов еще осталось на том берегу. Перетащили дивизию и организовали двойную противотанковую оборону — пассивную и активную. Во-первых, как только их пехотинцы выходили на этот берег, так сейчас же зарывались в свои круглые противотанковые ямы, вы их помните. А во-вторых, перетащили с собой всю свою противотанковую артиллерию, свыше ста орудий. Создавалась угроза, что они сомнут наши части на этом берегу и прину-

дят нас оставить плацдарм там, за Халхин-Голом. А на него, на этот плацдарм, у нас была вся надежда. Думая о будущем, нельзя было этого допустить. Я принял решение атаковать японцев танковой бригадой Яковлева. Знал, что без поддержки пехоты она понесет тяжелые потери, но мы сознательно шли на это.

Бригада была сильная, около 200 машин. Она развернулась и пошла. Понесла очень большие потери от огня японской артиллерии, но, повторяю, мы к этому были готовы. Половину личного состава бригада потеряла убитыми и ранеными и половину машин, даже больше. Но мы шли на это. Еще бóльшие потери понесли бронебригады, которые поддерживали атаку. Танки горели на моих глазах. На одном из участков развернулось 36 танков, и вскоре 24 из них уже горело. Но зато мы раздавили японскую дивизию. Стерли.

— Когда все это начиналось, я был в Тамцак-Булаке. Мне туда сообщили, что японцы переправились. Я сразу позвонил на Хамар-Дабу и отдал распоряжение: «Танковой бригаде Яковлева идти в бой». Им еще оставалось пройти 60 или 70 километров, и они прошли их прямиком по степи и вступили в бой.

А когда вначале создалось тяжелое положение, когда японцы вышли на этот берег реки у Баин-Цагана, Кулик потребовал снять с того берега, с оставшегося у нас там плацдарма артиллерию — пропадет, мол, артиллерия! Я ему отвечаю: если так, давайте снимать с плацдарма все, давайте и пехоту снимать. Я пехоту не оставлю там без артиллерии. Артиллерия — костяк обороны, что же — пехота будет пропадать там одна? Тогда давайте снимать все.

В общем, не подчинился, отказался выполнять это приказание и донес в Москву свою точку зрения, что считаю нецелесообразным отводить с плацдарма артиллерию. И эта точка зрения одержала верх.

Рассказав о Баин-Цагане, Жуков вдруг вспомнил о майоре Ремизове, полк которого оказался на марше слишком далеко, чтобы поспеть в тот день к началу боя.

— Вы знали Ремизова? — спросил он.

Я сказал, что не застал его в живых, только слышал о нем.

— Хороший был человек и хороший командир,— сказал Жуков.— Я любил его, и ездить к нему любил. Иногда, бывало, заезжал чайку попить. Ремизов был геройский человек, но убили его по-глупому, на телефоне. Неудачно расположил свой наблюдательный пункт, говорил по те-

лефону, а местность открытая, и пуля прямо в ухо влетела. На месте.

— С Ремизовым была такая история. Когда мы окружали японцев, он рванулся вперед со своим полком, прорвался вглубь. Японцы сразу бросили на него большие силы. Мы сейчас же подтянули туда бронебригаду, которая с двух сторон подошла к Ремизову и расперла проход. (При этом Жуков показал руками, как именно бронебригада расперла этот проход.) Расперли проход и дали ему возможность отойти. Об этом один товарищ послал кляузную докладную в Москву, предлагал Ремизова за его самовольные действия предать суду и так далее... А я считал, что его не за что предавать суду. Он нравился мне. У него был порыв вперед, а что же это за командир, который в бою ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни на что не может самостоятельно решиться? Разве такие нам нужны? Нам нужны люди с порывом. И я внес контрпредложение — наградить Ремизова. Судить его тогда не судили, наградить тоже не наградили. Потом уже посмертно наградили — дали Героя Советского Союза.

Командир танковой бригады комбриг Яковлев тоже был очень храбрый человек и хороший командир. И погиб тоже нелепо. В район нашей центральной переправы прорвалась группа японцев, человек триста. Не так много, но была угроза переправе. Я приказал Потапову и Яковлеву под их личную ответственность разгромить эту группу. Они стали собирать пехоту, организовывать атаку, и Яковлев при этом забрался на танк и оттуда командовал. И японский снайпер его снял пулей, наповал. А был очень хороший боевой командир.

Японцы за все время только один раз вылезли против нас со своими танками. У нас были сведения, что на фронт прибывает их танковая бригада. Получив эти сведения, мы выставили артиллерию на единственном танкодоступном направлении в центре, в районе Номон Хан-Бурд-Обо. И японцы развернулись и пошли как раз на этом направлении. Наши артиллеристы ударили по ним. Я сам видел этот бой. В нем мы сожгли и подбили около ста танков. Без повреждений вернулся только один. Это мы уже потом по агентурным сведениям узнали. Идет бой. Артиллеристы звонят: «Видите, товарищ командующий, как горят японские танки?» Отвечаю: «Вижу-вижу...» — одному, другому... Все артиллерийские командиры звонили, все хотели похвастаться, как они жгут эти танки.

Танков, заслуживающих этого названия, у японцев по существу не было. Они сунулись с этой бригадой один раз, а потом больше уже не пускали в дело ни одного танка. А пикировщики у японцев были неплохие, хотя бомбили японцы большей частью с порядочных высот. И зенитки у них были хорошие. Немцы там у них пробовали свои зенитки, испытывали их в боевых условиях.

Японцы выставили против нас как основную силу две пехотные дивизии. Но надо при этом помнить, что японская дивизия — это, по существу, наш стрелковый корпус: 21 тысяча штыков, 3600 человек командного состава. По существу, нам противостояло там, на Халхин-Голе, два стрелковых корпуса и кроме них отдельные полки, охранные отряды, железнодорожные отряды...

Перейдя с воспоминаний о халхин-гольских событиях к оценке их, Жуков сказал:

— Думаю, что с их стороны это была серьезная разведка боем. Серьезное прощупывание. Японцам было важно тогда прощупать, в состоянии ли мы с ними воевать. И исход боев на Халхин-Голе впоследствии определил их более или менее сдержанное поведение в начале нашей войны с немцами.

Думаю, что, если бы на Халхин-Голе их дела пошли удачно, они бы развернули дальнейшее наступление. В их далеко идущие планы входил захват восточной части Монголии и выход к Байкалу и к Чите, к тоннелям, на перехват Сибирской магистрали.

У нас на Халхин-Голе было тяжело со снабжением. Снабжались со станции Борзя, за 700 километров. А у японцев было две станции снабжения рядом: Хайлар — в 100 и Халун-Аршан — в 30 километрах. Но к концу военных действий на Халхин-Голе японские военные деятели поняли, что при тогдашнем уровне технического оснащения их армии они не в состоянии с успехом наступать против нас. Хотя кадровые японские дивизии дрались очень хорошо. Надо признать, что это была хорошая пехота, хорошие солдаты.

Заговорив о стойкости японских солдат и приведя несколько примеров этой стойкости, Жуков недовольно пожал плечами и сказал:

— Вообще у нас есть неверная тенденция. Читал я тут недавно один роман. Гитлер изображен там в начале войны таким, каким он стал в конце. Как известно, в конце войны, когда все стало расползаться по швам, он действительно стал совсем другим, действительно выглядел ничтожеством.

Но это был коварный, хитрый враг, сильный военачальник. И если брать немцев, то, конечно же, они к нему не всегда одинаково и не всегда отрицательно относились. Наоборот. На первых порах восхищались им. Успех следовал за успехом. Авторитет у него был большой, и отношение к нему внутри Германии, в частности со стороны германского военного командования, было разное на разных этапах. А когда мы его изображаем с самого начала чуть ли не идиотиком — это уменьшает наши собственные заслуги. Дескать, кого разбили? Такого дурака! А между тем нам пришлось иметь дело с тяжелым, опасным, страшным врагом. Так это и надо изображать...

Так выглядит в моих записях то, что говорил Жуков о Халхин-Голе и в связи с Халхин-Голом тогда, в 1950 году. Но к воспоминаниям о халхин-гольских событиях он возвращался на моей памяти и потом, в другие годы, беседуя на другие темы.

В одной из этих бесед осенью 1965 года Жуков, вспомнив Халхин-Гол, снова заговорил на ту же тему — о правде и неправде в наших оценках врага.

— Японцы сражались ожесточенно. Я противник того, чтобы отзываться о враге уничижительно. Это не презрение к врагу, это недооценка его. А в итоге не только недооценка врага, но и недооценка самих себя. Японцы дрались исключительно упорно, в основном пехота. Помню, как я допрашивал японцев, сидевших в районе речки Хайластын-Гол. Их взяли там в плен, в камышах. Так они все были до того изъедены комарами, что на них буквально живого места не было. Я спрашиваю их: «Как же вы допустили, чтобы вас комары так изъели?» Они отвечают: «Нам приказали сидеть в дозоре и не шевелиться. Мы не шевелились». Действительно, их посадили в засаду, а потом забыли о них. Положение изменилось, и их батальон оттеснили, а они все еще сидели уже вторые сутки и не шевелились, пока мы их не захватили. Их до полусмерти изъели комары, но они продолжали выполнять приказ. Это действительно настоящие солдаты. Хочешь не хочешь, а приходится уважать их.

Продолжая говорить на эту тему, Жуков снова, как и тогда, в 1950 году, перебросил мостик от войны с японцами к войне с немцами.

— Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там в плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый, эдакий Нибелунг, даже вспомнилась картина «Нибелунги», которую

смотрел в кино в двадцатые годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает.

«Почему вы не отвечаете?» Молчит. Потом заявляет: «Вы военный человек, вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил на все то, что должен был вам ответить,— кто я и к какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести».

Тогда я спрашиваю его: знает ли он, с кем разговаривает? Нет, не знает. «Переведите ему, что я генерал армии Жуков». Выслушав это, он отвечает. «Я не знаю вас. Я знаю своих генералов. А ваших генералов не знаю».

Молодец! Держится таким наглецом, просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать.

Я говорю ему: «Если не будете отвечать — расстреляем вас, и все». Побледнел, но не сдался. Говорит: «Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что уже ответил, не буду».

Когда я потом докладывал Сталину о ельнинской операции, я рассказал ему об этом пленном, проиллюстрировал им, что представляют из себя немцы, с кем нам приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать — важно. Потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив все это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты.

В 1950 году Жуков говорил о своем назначении на Халхин-Гол коротко, не вдаваясь в детали. Теперь он рассказал об этом подробнее.

— На Халхин-Гол я поехал так — мне уже потом рассказали, как все это получилось. Когда мы потерпели там первые неудачи в мае — июне, Сталин, обсуждая этот вопрос с Ворошиловым в присутствии Тимошенко и Пономаренко, тогдашнего секретаря ЦК Белоруссии, спросил Ворошилова: «Кто там, на Халхин-Голе, командует войска-

ми?» — «Комбриг Фекленко». «Ну, а кто этот Фекленко? Что он из себя представляет?» — спросил Сталин. Ворошилов сказал, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос, лично не знает Фекленко и не знает, что тот из себя представляет. Сталин недовольно сказал: «Что же это такое? Люди воюют, а ты не представляешь себе, кто у тебя там воюет, кто командует войсками? Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы мог не только исправить положение, но и при случае надавать японцам». Тимошенко сказал: «У меня есть одна кандидатура — командира кавалерийского корпуса Жукова».

— Жуков... Жуков...— сказал Сталин.— Что-то я помню эту фамилию. Тогда Ворошилов напомнил ему: «Это тот самый Жуков, который в 37-м прислал вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности». «Ну, и чем дело кончилось?»— спросил Сталин. Ворошилов сказал, что ничем,— выяснилось, что для привлечения к партийной ответственности оснований не было.

Тимошенко охарактеризовал меня с хорошей стороны, сказал, что я человек решительный, справлюсь. Пономаренко тоже подтвердил, что для выполнения поставленной задачи это хорошая кандидатура.

Я в это время был заместителем командующего войсками Белорусского военного округа, был в округе на полевой поездке. Меня вызвали к телефону и сообщили: завтра надо быть в Москве. Я позвонил Сусайкову. Он был в то время членом Военного совета Белорусского округа. Тридцать девятый год все-таки, думаю, что значит этот вызов? Спрашиваю: «Ты стороной не знаешь, почему вызывают?» Отвечает: «Не знаю. Знаю одно: утром ты должен быть в приемной Ворошилова».— «Ну что ж, есть!»

Поехал в Москву, получил приказание: лететь на Халхин-Гол, и на следующий день вылетел.

Первоначальное приказание было такое: «Разобраться в обстановке, доложить о принятых мерах, доложить свои предложения».

Я приехал, в обстановке разобрался, доложил о принятых мерах и о моих предложениях. Получил в один день одну за другой две шифровки: первая — что с выводами и предложениями согласны. И вторая: что назначаюсь вместо Фекленко командующим стоящего в Монголии особого корпуса.

В другой беседе, тоже осенью 1965 года, Жуков коснулся проблемы своих взаимоотношений с находившимися на Халхин-Голе старшими начальниками. Об отзвуках этого внизу, среди подчиненных, я уже упоминал. Теперь об этом заговорил сам Жуков.

— На третий день нашего августовского наступления, когда японцы зацепились на северном фланге за высоту Палец и дело затормозилось, у меня состоялся разговор с Г. М. Штерном. Штерн находился там, и по приказанию свыше его роль заключалась в том, чтобы в качестве командующего Забайкальским фронтом обеспечивать наш тыл, обеспечивать группу войск, которой я командовал, всем необходимым. В том случае, если бы военные действия перебросились и на другие участки, перерастая в войну, предусматривалось, что наша армейская группа войдет в прямое подчинение фронта. Но только в этом случае. А пока что мы действовали самостоятельно и были непосредственно подчинены Москве.

Штерн приехал ко мне и стал говорить, что он рекомендует не зарываться, а остановиться, нарастить за два-три дня силы для последующих ударов и только после этого продолжать окружение японцев. Он объяснил свой совет тем, что операция замедлилась и мы несем, особенно на севере, крупные потери. Я сказал ему в ответ на это, что война есть война и на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом, как японцы. Но если мы сейчас из-за этих потерь и из-за сложностей, возникших в обстановке, отложим на два-три дня выполнение своего первоначального плана, то одно из двух: или мы не выполним этот план вообще, или выполним его с громадным промедлением и с громадными потерями, которые из-за нашей нерешительности в конечном итоге в десять раз превысят те потери, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом. Приняв его рекомендации, мы удесятерим свои потери.

Затем я спросил его: приказывает ли он мне или советует? Если приказывает, пусть напишет письменный приказ. Но я предупреждаю его, что опротестую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомендует и письменного приказа писать мне не будет. Я сказал: «Раз так, то я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне, и командую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой

тыл. И я прошу вас не выходить из рамок того, что вам поручено». Был жесткий, нервный, не очень-то приятный разговор. Штерн ушел. Потом, через два или три часа, вернулся, видимо, с кем-то посоветовался за это время и сказал мне: «Ну что же, пожалуй, ты прав. Я снимаю свои рекомендации».

Некоторых трудностей, возникших в ходе боевых действий на Халхин-Голе и обусловивших на первых порах ряд наших неудач, Жуков коснулся в другой беседе, говоря о причинах драмы, разыгравшейся в июне 1941 года.

— В нашей неподготовленности к войне с немцами в числе других причин сыграла роль и территориальная система подготовки войск, с которой мы практически распрощались только в 39-м году. Наши территориальные дивизии были подготовлены из рук вон плохо. Людской материал, на котором они развертывались до полного состава, был плохо обучен, не имел ни представления о современном бое, ни опыта взаимодействия с артиллерией и танками. По уровню подготовки наши территориальные части не шли ни в какое сравнение с кадровыми. С одной из таких территориальных дивизий, 82-й, мне пришлось иметь дело на Халхин-Голе. Она побежала от нескольких артиллерийских залпов японцев. Пришлось ее останавливать всеми подручными средствами, пришлось с командного пункта с Хамар-Дабы послать командиров и цепью расставить их по степи. Еле остановили. Командира дивизии пришлось снять, а дивизию постепенно в течение полутора месяцев приучали к военным действиям. Потихоньку пускали людей в разведки, в небольшие бои, приучали их к воздействию артиллерии, к бомбовым ударам, учили взаимодействовать с танками. Впоследствии, подучившись, приобретя первый боевой опыт, дивизия в конце августа, в последних боях, действовала уже неплохо. А в июле она бежала. И японцам, видевшим, как она бежит от нескольких артиллерийских залпов, ничего не оставалось, как наступать вслед за ней. И их удалось тогда остановить, только сосредоточив по ним огонь всей наличной артиллерии со всех точек фронта. Вот что такое территориальная дивизия, не прошедшая никакой боевой школы. Я это пережил там, на Халхин-Голе...

Жуков вернулся к Халхин-Голу и еще в одной беседе. В ней он уже не столько вспоминал о событиях того времени, сколько определял место, которое занял Халхин-Гол в его жизни, в военной биографии.

«Первое тяжелое переживание в моей жизни было

связано с 37-м и 38-м годами. На меня готовились соответствующие документы, видимо, их было уже достаточно, уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие. И вот после всего этого — вдруг вызов и приказание ехать на Халхин-Гол. Я поехал туда с радостью. А после завершения операции испытал большое удовлетворение. Не только потому, что была удачно проведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, что я своими действиями там как бы оправдался, как бы отбросил от себя все те наветы и обвинения, которые скапливались против меня в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично догадывался. Я был рад всему: нашему успеху, новому воинскому званию, получению звания Героя Советского Союза. Все это подтверждало, что я сделал то, чего от меня ожидали, а то, в чем меня раньше пытались обвинить, стало наглядной неправдой».

Конечно, на фоне последующих событий Великой Отечественной войны масштабы военных операций на Халхин-Голе кажутся небольшими. Они разворачивались на ограниченном участке в 40—50 километров, численность всей 6-й армейской группы японцев не достигала ста тысяч человек, не достигала этой цифры и численность участвовавших в боях наших и монгольских войск.

Правда, в районе конфликта с обеих сторон действовали крупные по тем временам силы авиации, такие, что однажды в разговоре с Жуковым я с некоторым смущением сказал, что потом, во время Великой Отечественной войны, мне не приходилось видеть воздушных боев, в которых бы одновременно с обеих сторон дралось в воздухе такое число истребителей, как в Монголии. И он, усмехнувшись, ответил мне: «А вы думаете, я видел? И я не видел». Но даже учитывая это, следует сказать, что события на Халхин-Голе все же остались крупным военным конфликтом, не переросшим в большую войну.

Однако значение этих военных действий в истории оказалось гораздо большим, чем их непосредственный масштаб. Жестокий урок, полученный японским военным командованием на Халхин-Голе, имел далеко идущие последствия. В первые, самые тяжкие для нас месяцы войны с немцами еще невыветрившаяся память о Халхин-Голе заставила японские военные круги проявить осторожность и связать проблему своего вступления в войну с Советским

Союзом со взятием немцами Москвы. Значение этого для нас трудно переоценить.

Трудно переоценить и другое: на Халхин-Голе мы показали, что у нас слова не расходятся с делом и наш договор о взаимопомощи с Монголией — это не клочок бумаги, а реальная готовность защищать ее границы как свои собственные.

Халхин-Гол был началом полководческой биографии Жукова. Впоследствии ему пришлось принять участие в событиях неизмеримо большего масштаба, но это начало там, в далеких монгольских степях, было многообещающим.

В войну с немцами Жуков вступил как военачальник, уже имевший за плечами решительную победу в условиях военных действий, носивших современный характер и развернувшихся с применением механизированных войск и авиации. Это не только создавало Жукову авторитет в войсках, но и, думается, имело важное значение для него самого. Первые шаги, сделанные в науке побеждать,— это не только военный опыт, это одновременно и нравственный фактор, одинаково важный и для солдата и для полководца, для его образа мыслей и образа действий.

Слова Жукова о Халхин-Голе: «Я до сих пор люблю эту операцию» в устах человека, закончившего войну в Берлине, многозначительны. К началу Халхин-Гола за плечами у Жукова было уже четверть века военной службы, мировая и гражданская войны, путь от солдата до командира корпуса. Но как для военачальника руководство халхин-гольской операцией было для него пробным камнем. И поэтому он и любил ее.

Армейская молва говорит, что, когда в 1939 году Жукову позвонили из Москвы в Белоруссию и, ничего не объясняя, приказали срочно прибыть в Москву, он спросил по телефону только одно: «Шашку брать?» Не знаю, так ли было или не так, но мне кажется, что в этом устном рассказе, пусть даже легенде, было выражено верное понимание характера этого человека.

2.

Как я уже сказал, после Халхин-Гола мне ни разу не довелось увидеть Жукова, вплоть до дня капитуляции германской армии, но облик его продолжал складываться в моем сознании, как и в сознании всех участников войны.

Жуков был для меня человеком, которого Сталин отправил спасать положение в Ленинграде в самые критические сентябрьские дни 1941 года, а потом отозвал его оттуда под Москву в самое критическое для нее время — в начале октября.

Думаю, не ошибусь, сказав, что в глазах участников войны наша победа под Москвой была связана прежде всего с двумя именами: с именем Сталина, оставшегося в Москве и произнесшего 7 ноября 1941 года всем нам памятную речь на Красной площади, и с именем Жукова, принявшего командование Западным фронтом в самый катастрофический момент, когда судьба Москвы, казалось, висит на волоске.

Разумеется, и то, что Ленинград не пал, а выстоял в блокаде, и то, что немцев повернули вспять под Москвой,— историческая заслуга не двух и не двадцати человек, а многих миллионов военных и невоенных людей, результат огромных всенародных усилий. Это тем более очевидно сейчас, с дистанции времени.

Однако если говорить о роли личности в истории и в применении к Жукову, то имя его связано в народной памяти и со спасением Ленинграда и со спасением Москвы. И истоки этой памяти уходят в саму войну, в 1941 год, в живое, тогдашнее сознание современников. Этим и объясняется непоколебимость их памяти перед лицом разных событий последующего времени.

Последующий ход войны сделал особенно любимыми в народе несколько имен наиболее выдающихся военачальников. Но среди них Жуков все равно остался первой любовью, завоеванной в самые трагические часы нашей судьбы, и потому — сильнейшей.

И когда в конце войны он был назначен командовать фронтом, двигавшимся прямо на Берлин, это казалось естественным — человек, отстоявший Москву, будет брать Берлин.

Понимаю, что на это можно многое возразить. Можно напомнить, что Рокоссовский, командовавший до Жукова нацеленным прямо на Берлин 1-м Белорусским фронтом, был вправе считать несправедливым свое перемещение на соседний — 2-й Белорусский фронт; можно с достаточными основаниями сказать, что шедший левее Жукова 1-й Украинский фронт под командованием Конева сделал для успеха Берлинской операции не меньше, чем войска, которыми командовал Жуков; наконец, можно по-разному смотреть

на причины, по которым Сталин именно на этот раз в конце войны, под Берлином, координацию действий всех трех фронтов оставил за собою, а Жукова направил командовать одним из них.

Все это так. И однако, повторяю, что, когда при участии других фронтов именно фронт Жукова взял большую часть Берлина, имперскую канцелярию и рейхстаг, и именно Жукову было поручено принять безоговорочную капитуляцию германской армии,— это было воспринято в народе как нечто вполне справедливое, люди считали, что так оно и должно было быть.

Церемония подписания безоговорочной капитуляции германской армии описана уже много раз — и в корреспонденциях журналистов, и в воспоминаниях присутствовавших там военных. Писал об этом и я. Не буду повторять ни других, ни себя в описании подробностей. Но некоторые свои ощущения того дня, связанные с Жуковым, хочу вспомнить.

Очевидно, можно без преувеличения сказать, что среди присутствовавших там представителей союзного командования именно за его плечами был самый большой и трудный опыт войны. Однако капитуляцию неприятельской армии ему приходилось принимать впервые, и процедура эта была для него новой и непривычной. Если бы он сам воспринимал эту процедуру как дипломатическую, наверное, он бы чувствовал себя менее уверенно.

Секрет той спокойной уверенности, с какой он руководил этой процедурой, на мой взгляд, состоял как раз в том, что он не воспринимал ее как дипломатическую. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германской армии было для него прямым продолжением работы, которой он занимался всю войну: ему было поручено поставить на ней точку именно как военному человеку, и он поставил ее с тою же уверенностью и твердостью, которая отличала его на войне.

Трудно даже мысленно проникнуть в душу другого человека, но надо думать, что Жуков ощущал себя в эти часы не только командующим фронтом, взявшим Берлин, или заместителем Верховного Главнокомандующего, но человеком, представлявшим в этом зале ту армию и тот народ, которые сделали больше всех других. И как представитель этой армии и этого народа он лучше других знал и масштабы совершившегося, и меру понесенных трудов. В его поведении не было ни высокомерия, ни снисходительности. Имен-

но для его народа только что закончившаяся война была борьбой не на жизнь, а на смерть, и он вел себя с той жесткой простотой, которая пристала в подобных обстоятельствах победителю. Хотя впоследствии и среди побежденных немецких генералов, и среди разделивших с нами победу союзников нашлись люди, задним числом оспаривавшие масштабы нашего вклада в эту победу, тогда, в мае 1945 года, на этот счет не существовало двух мнений.

В этом не оставляло сомнений даже поведение подписывавшего капитуляцию фельдмаршала Кейтеля. Надо отдать ему должное: он вел себя с подобающим достоинством. Но наряду с этим было в его поведении и нечто другое, неожиданное. Казалось бы, ни его политические взгляды, ни его мысли о собственном будущем не должны были заставить его относиться к Жукову с большим вниманием, чем к другим сидевшим в этом зале представителям союзного командования. Скорее, следовало ожидать обратного. Однако логика проигранной войны, помимо воли Кейтеля, оказалась сильнее всего остального.

Наблюдая за ним во время процедуры капитуляции, я несколько раз видел, с каким пристальным вниманием он следит за Жуковым, именно и только за ним. Это было горькое, трагическое любопытство побежденного к той силе, которую олицетворял здесь Жуков, как к силе наиболее ненавидимой и в наибольшей степени решившей исход войны.

С тех пор, когда я читаю статьи и книги, задним числом ставящие под сомнение меру нашего вклада в победу над фашистской Германией, я почти всегда вспоминаю Карлсхорст, капитуляцию и лицо фельдмаршала Кейтеля, с каким-то почти жутким любопытством глядящего на Жукова.

После подписания акта капитуляции происходил затянувшийся далеко за полночь ужин, который давало наше командование в честь союзников. Во время ужина было много не удержавшихся в моей памяти речей, но одно место в речи Жукова я запомнил. Американское и английское командование было представлено высшими авиационными начальниками — генералом Спаатсом и маршалом авиации Теддером. Уже не помню, за здоровье кого из этих двоих авиаторов произносил тост Жуков, но сказал он примерно следующее:

«Пью за ваше здоровье от имени наших солдат, которым для того, чтобы увидеть результаты вашей работы, пришлось дойти до Берлина своими ногами».

Я сказал «примерно» из осторожности. Но, по-моему, сказаны были именно эти слова. И запомнились они потому, что за ними стояло то самое, что называется решающим вкладом в победу, стояла формула нашего участия в этой так дорого стоившей нам войне.

3.

После войны мне довелось видеть Жукова в разные годы: в 1950 и в 1952 году, в бытность его командующим Одесским и Уральским военными округами, в 1955 — 1957 годах, когда он занимал пост заместителя министра и министра обороны, и в последние годы, когда он ушел в отставку.

Я коснусь этих встреч с той стороны, с какой они представляют интерес для моих заметок. Но сначала одно общее, относящееся ко всем ним, наблюдение. Они происходили в разные для Жукова времена, и это делало тем более очевидной одну из главных черт его натуры. Характер этого человека всегда оставался неподатливым перед внешними обстоятельствами. Обстоятельства менялись, а человек оставался самим собой. И эта неизменяемость характера была не только свидетельством нравственной силы, но и ее источником. Сознание своей способности не поддаваться обстоятельствам в свою очередь усиливало эту неподатливость.

Во время первой встречи в 1950 году я заметил в глазах присутствовавших при этом близких Жукову людей тревогу. Ее легко было понять. Выведенный из состава ЦК и снятый с высших военных должностей, Жуков командовал второстепенным военным округом, в сущности находился не у дел и вдобавок под дамокловым мечом, потому что время было крутое. Тревожные глаза близких призывали его к еще большей мере сдержанности, чем та, которую он сам для себя определил в этом разговоре. Однако, наверняка сознательно ограничивая себя в рассказе и обходя некоторые темы, Жуков в то же время не считал для себя возможным, говоря об истории войны, стесывать в ней острые углы там, где они неотвратимо возникали по ходу рассказа. Очевидно, он достаточно хорошо сознавал, какой вес имеют в его устах те или иные излагаемые им исторические факты, и не желал считаться с привходящими обстоятельствами.

Я уже приводил то, что он говорил тогда о Халхин-Голе. Говоря о своем вступлении в должность командующего Ленинградским фронтом, он тоже не счел нужным смягчать драматизм ситуации, в которой это произошло.

Приведу соответствующее место записи нашего разговора в 1950 году.

«Прилетев в Ленинград, я сразу попал на заседание военного совета. Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать корабли, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу: «Вот мой мандат» — и протянул ему записку, написанную товарищем Сталиным, где были определены мои полномочия. «Как командующий фронтом, запрещаю вам это. Во-первых, извольте разминировать корабли, чтобы они сами не взорвались, а во-вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией». Они, видите ли, обсуждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было сорок боекомплектов. Я сказал им: «Как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя». И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?»

В этой же беседе Жуков в кратких словах обрисовал положение под Москвой в ноябре 1941 года. Он не высказывал общепринятых в то время суждений, что немцы ни при каких обстоятельствах вообще не могли взять Москвы. Он говорил о реальных фактах: почему немцы не взяли Москвы и чего им для этого не хватало.

«Последнее немецкое наступление началось 15—16 ноября. К началу этого наступления на главном направлении Волоколамск — Нара на своем левом фланге они имели 25—27 дивизий, из них примерно 18 танковых и моторизованных. Но в ходе боев их силы оказались на пределе. И когда они уже подошли к каналу, к Крюкову, стало ясно, что они не рассчитали. Они шли на последнем дыхании. Подошли, а в резерве ни одной дивизии. К 3—4 декабря у них в дивизиях оставалось примерно по 30—35 танков из 300, то есть одна десятая часть. Для того чтобы выиграть сражение, им нужно было еще иметь там, на направлении главного удара, во втором эшелоне дивизий 10—12, то есть нужно было иметь там с самого начала не 27, а 40 дивизий. Вот тогда они могли бы прорваться к Москве. Но у них этого не было. Они уже истратили все, что у них было, потому что не рассчитали силу нашего сопротивления».

Сейчас в истории Великой Отечественной войны давно общеизвестен тот факт, что к началу нашего контрудара под Москвой немецкие войска уже получили приказ на отступление. В то время, в 1950 году, говорить об этом было не принято. Хотя, казалось бы, то обстоятельство, что немцы еще до наших контрударов были поставлены упорством нашей обороны в критическое положение, вынуждавшее их к отходу, ничуть не преуменьшало заслуг нашей армии, скорее наоборот. Но, видимо, такое изложение подлинных исторических событий казалось тогда менее героичным, и было принято говорить, что мы нанесли свой контрудар по немцам, еще продолжавшим рваться к Москве. Но Жуков еще тогда, в 1950 году, не постеснялся опровергнуть эту общепринятую в то время формулировку.

«Как выяснилось потом из документов,— сказал он,— в ту ночь, когда мы начали свое наступление, Браухич уже отдал приказ об отступлении за реку Нара, т. е. он уже понимал, что им придется отступить, что у них нет другого выхода».

Говоря о том, что снятый с высших военных должностей Жуков, командуя второстепенным округом, в сущности оказался не у дел, я, пожалуй, не совсем точно определил ситуацию, в которой мы встретились с Жуковым в 1950 году. Точнее было бы сказать: ожидалось, что он окажется не у дел. Ожидалось, но не получилось. Вот так говорил мне об этом сам Жуков много позже, уже в 1965 году:

«В 1947 году, когда Сталин снял меня с должности заместителя министра и назначил на Одесский округ, я, приехав в Одессу, твердо решил ни на йоту не снизить требований к своим подчиненным, к войскам, к их боевой подготовке. Я твердо решил оставаться самим собой. Я понимал: от меня ждут, что я стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень колоду. Но я не позволил себе этого. Конечно, слава есть слава. Но в то же время она палка о двух концах и иногда больно бьет по тебе. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был. В этом я видел свое внутреннее спасение. В выдержке, в работе, в том, чтобы не потерять силы характера и в этих тяжело сложившихся для меня обстоятельствах».

Когда я услышал это много лет спустя из уст Жукова, я заново вспомнил нашу встречу с ним в 1950 году, вспомнил его сдержанность, твердость, нежелание обходить острые углы. Он не только хотел остаться, но и остался самим собой.

В следующий раз я встретил Жукова два года спустя, в декабре 1952 года, при обстоятельствах, изменившихся для него в лучшую сторону. Выведенный в 1947 году из состава ЦК, Жуков на XIX съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК. Не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина, никаких иных объяснений в то время быть не могло. Многих это обрадовало и в то же время удивило. Меня удивило, может быть, меньше, чем некоторых других, по причинам, которые заставляют немножко отклониться в сторону. Впрочем, думаю, в данном случае это оправдано.

Примерно за год до этого на заседании, где обсуждался вопрос о Сталинских премиях, и в частности о присуждении премии Эммануилу Казакевичу за его роман «Весна на Одере», Сталин, одобрительно отозвавшись о романе, вдруг сказал, что в нем есть недостаток, который, если не поздно, хорошо бы исправить.

«Там у товарища Казакевича,— сказал Сталин,— выведен в романе член Военного совета Сизокрылов. Но в его романе Сизокрылов выведен в такой роли, как будто он не член Военного совета, а командующий фронтом. Если прочитать те места, где участвует этот Сизокрылов, то создается именно такое впечатление, что он командующий фронтом, хотя он называется членом Военного совета. Но мы знаем, кто командовал этим фронтом. Им командовал не какой-то Сизокрылов, а Жуков. У Жукова есть свои недостатки, мы его за них критиковали. Но Жуков командовал под Берлином хорошо, во всяком случае неплохо. Почему же в романе товарища Казакевича выведен какой-то Сизокрылов, а не Жуков? Это не соответствует действительности». И, обратившись к присутствующим на этой встрече писателям, Сталин добавил: «Скажите товарищу Казакевичу, чтобы он, если не поздно, подумал над этим вопросом».

Говорить об этом Казакевичу выпало на мою долю. Выслушав мой рассказ, Казакевич только скрипнул зубами. Оказалось, Сталин угадал совершенно точно. В романе Казакевича первоначально был выведен не член Военного совета, а командующий фронтом. Но в обстановке, которая сложилась в то время вокруг Жукова, опубликовать эту линию романа в первоначально задуманном виде Казакевичу так и не удалось. В конце концов он вынужден был отступить и назвать Сизокрылова членом Военного совета, хотя за сохранившимися в романе поступками и разговорами Сизокрылова продолжала оставаться фигура командующего

фронтом. «Если бы раньше!» — только и мог с горечью сказать в ответ Казакевич. Роман уже вышел несколькими изданиями, и что-нибудь менять в нем было теперь поздно.

Обо всем этом я вспомнил, когда после XIX съезда вдруг оказался рядом с Жуковым за столом во время ужина, который ЦК давал присутствовавшим на съезде иностранным делегациям. И не только вспомнил, но и счел себя вправе рассказать Жукову. Я почувствовал сквозь не изменившую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью, тем сильней, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу ни словом коснуться этой несомненно больше всего волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели рядом.

Разговор шел о разных других вещах, в том числе и о моей тогда только что вышедшей и, как я теперь понимаю, не слишком удавшейся мне с художественной стороны книге «Товарищи по оружию». Но как раз этой художественной стороны Жуков в разговоре со мной не касался. Появление «Товарищей по оружию», как я понял из разговора, обрадовало его тем, что в литературе появилась первая книга, рассказывающая о дорогих его сердцу военного человека халхин-гольских событиях.

Сказав мне, что фактическая сторона дела изложена мной довольно точно, Жуков сделал мне несколько замечаний, касавшихся главным образом тех или иных не нашедших себе места в романе событий. Помню, он при этом посетовал, что, когда мы встречались в ним в 1950 году, в начале моей работы, все обошлось двумя разговорами.

— К сожалению, многое так и не успел вам рассказать,— заметил он, адресуя упрек скорей себе, чем мне, с деликатностью, которая уживалась в нем с прямотой суждений.

Более деликатных вопросов он вообще не коснулся. Дело в том, что в романе, хотя и без фамилии, был выведен командующий нашей группой войск на Халхин-Голе, за фигурой которого проглядывала личность Жукова — прототип этой фигуры.

Публикуя роман, я встретился с колебаниями в печатавшей его редакции. Некоторым из моих работавших там коллег, без труда угадавшим, кто стоит за этой фигурой, казалось, что при общей положительной характеристике мне следовало наделить ее и некоторыми отрицательными

чертами. На них повлияло критическое отношение, сложившееся в те годы к Жукову, и они опасались, как пройдет соответствующее место романа через цензуру. Опасения, впрочем, оказались напрасными. Роман благополучно прошел цензуру. Мое положение оказалось много легче, чем положение Казакевича. Халхин-Гол был далеко, а взятие Берлина — у всех на памяти, не говоря уже о разнице в масштабах этих событий.

Еще давно, сразу после войны, задумывая свой роман, я с самого начала не собирался выводить в нем под собственными именами ни Жукова, ни других исторических лиц, исходя из принципиального взгляда, что, когда речь идет о живых людях, этого вообще не следует делать в художественном повествовании; тем оно и отличается от документального. Однако, признаться, в тот вечер меня по-человечески беспокоило, как отнесется Жуков к отсутствию в романе его имени, не сочтет ли он это в сложившихся вокруг него обстоятельствах признаком моей робости или результатом привходящих соображений. И я был рад, что, не касаясь этой щепетильной темы, он говорил о романе с сочувствием, видимо, правильно поняв меня.

В 1955 году я дважды был у Жукова в Министерстве обороны. Первый раз, когда он был еще заместителем министра, а во второй — когда его уже назначили министром.

Первая встреча была связана с судьбой одного армейского политработника, которого и Жуков и я хорошо знали еще по Халхин-Голу. Достойно пройдя через всю Великую Отечественную войну, он в 1950 году вопреки своему желанию продолжать службу в армии был демобилизован якобы по болезни, а на самом деле по обстоятельствам, далеким от элементарной справедливости. Вопрос был непростой и вдобавок находился вне прямой компетенции Жукова. Сразу же без обиняков объяснив мне это, Жуков сказал, что все зависящее от него сделает, хотя поручиться за удачу не может.

Вспомнив в связи с этим разговором Халхин-Гол, он, усмехнувшись, сказал мне, что все же я, пожалуй, переборщил в своей книге, заменив в ней вымышленными не только имена живых, но и мертвых.

«Живые — ладно, так и быть, это уже дело ваше,— сказал он,— но мертвые-то? С ними-то уж, кажется, все ясно! Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин-Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким-то Сарычевым, или почему не вывели покойного

Ремизова? Это же были действительно герои! Почему у вас нет хотя бы этих имен?»

Главным в его словах и в чувстве, стоявшем за ними, была забота о своих погибших соратниках по Халхин-Голу. Но в той иронии, с которой он в этот раз заговорил со мной, я почувствовал и другое: где-то в глубине души ему все же хотелось, чтобы в книге были прямо названы и имена живых. Несколько лет назад он не думал об этом, а сейчас, как мне показалось, подумал, хотя и не сказал мне прямо.

Вторая встреча в том же году была связана с начатой мною подготовительной работой к роману «Живые и мертвые». Я попросил у Жукова, чтобы мне помогли познакомиться с некоторыми материалами начального периода войны. Он сказал, что помощь будет оказана, и адресовал меня в Военно-научное управление Генерального штаба. Потом, помолчав, добавил, что, наверное, мне было бы полезно посмотреть на начало войны не только нашими глазами, но и глазами противника — это всегда полезно для выяснения истины.

Вызвав адъютанта и коротко приказав ему: «Принесите Гальдера», он объяснил мне, что хочет дать мне прочесть обширный служебный дневник, который вел в 1941—1942 годах тогдашний начальник германского генерального штаба генерал-полковник Гальдер.

Когда через несколько минут ему на стол положили восемь толстых тетрадей дневника Гальдера, он похлопал по ним рукой и сказал, что, на его взгляд, среди всех немецких документов, которые он знает, это, пожалуй, наиболее серьезное и объективное свидетельство.

— Чтение не всегда для нашего брата приятное, но необходимое, в особенности для анализа наших собственных ошибок и просчетов, их причин и следствий.

Он заговорил на тему, которая, как и во время нашего разговора в 1950 году, продолжала его занимать,— о необходимости объективной оценки сил и возможностей противника, идет ли речь об истории или о сегодняшнем и завтрашнем дне. К сожалению, я не записал этого разговора и не могу привести его в подробностях, не рискуя нагородить отсебятины. Но в связи с ним мне кажется уместным привести именно здесь то, что Жуков говорил на эту же тему впоследствии, в беседах, содержание которых я записал. Вот некоторые из этих записей.

«Надо будет наконец посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле. Надо

оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль. Надо также признать, что немецкий генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш Генеральный штаб и вообще наши штабы, немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны, и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс. И начался этот процесс с того, что на стороне немцев было преимущество во всех отношениях.

У нас стесняются писать о неустойчивости наших войск в начальном периоде войны. А войска бывали неустойчивыми и не только отступали, но и бежали, и впадали в панику. В нежелании признать это сказывается тенденция: дескать, народ не виноват, виновато только начальство. В общей форме это верно. В итоге это действительно так. Но, говоря конкретно, в начале войны мы плохо воевали не только наверху, но и внизу. Не секрет, что у нас рядом воевали дивизии, из которых одна дралась хорошо, стойко, а соседняя с ней — бежала, испытав на себе такой же самый удар противника. Были разные командиры, разные дивизии, разные меры стойкости.

Обо всем этом следует говорить и писать, я бы сказал, что в этом есть даже педагогическая сторона: современный читатель, в том числе молодежь, не должен думать, что все зависит только от начальства. Нет, победа зависит от всех, от каждого человека, от его личной стойкости в бою. Потому что мы знаем, как в одинаковых условиях одни люди вели себя стойко, а другие — нет. И этого нельзя замалчивать».

«Говоря о том, как немцы проиграли войну, мы сейчас часто повторяем, что дело не в ошибках Гитлера, дело в ошибках немецкого генерального штаба. Но надо добавить, что Гитлер своими ошибками помогал ошибаться немецкому генеральному штабу, что он часто мешал принимать генштабу более продуманные, более верные решения. И когда в 1941 году после разгрома немцев под Москвой он снял Браухича, Бока, целый ряд других командующих

и сам возглавил немецкие сухопутные силы, он, несомненно, оказал нам этим серьезную услугу. После этого и немецкий генеральный штаб, и немецкие командующие группами армий оказались связанными в гораздо большей мере, чем раньше. Их инициатива оказалась скованной. Шедшие теперь от Гитлера как от главнокомандующего сухопутными войсками директивы стали непререкаемыми в большей степени, чем это требовалось в интересах дела. Существовавший раньше в германской армии уровень самостоятельности в решении оперативных вопросов снизился, и увольнение Браухича, с которого все это началось, было нам, конечно, на руку.

В первый период войны мы привыкали к факту наступления немцев, к темпам их наступления, привыкали к неудачам и поражениям, привыкали искать выход из самых тяжелых положений и принимать свои контрмеры. Немцы же, которые в начале войны так смело и рискованно шли вперед, ломили нас, наступали, прорывались, эти же самые немцы во втором и третьем периодах войны никак не могли привыкнуть к тому, что теперь им приходится обороняться, отступать, терпеть поражения.

Если проследить историю войны в этом втором и третьем периодах, можно насчитать много в принципе повторяющихся ситуаций, в которых немцы вновь и вновь попадают впросак, в окружения, в котлы и, несмотря на повторяемость ситуаций, все ещё не могут привыкнуть воевать в этой новой для них, непривычной обстановке поражений и отступлений.

Если взять, например, обстановку, сложившуюся перед нашим наступлением в Белоруссии летом 1944 года, то достаточно было посмотреть на карту, чтобы стало вполне очевидным: что мы должны были нанести удары именно с тех направлений, с которых мы их потом и нанесли, что мы в состоянии создать этот Белорусский котел и что в итоге это может закончиться прорывом шириной 300—400 километров, который немцам нечем будет заткнуть. Немцы могли это предвидеть.

Логика событий, элементарная военная грамотность подсказывали им необходимость вывести свои войска из будущего котла, сократить и уплотнить фронт, создать за своим фронтом оперативные резервы — словом, все, что полагается в подобных случаях. Но немцы этого не сделали и в результате подверглись разгрому в Белорусской операции.

Но в дальнейшем, оказавшись в тяжелейшем поло-

жении, когда им нечем было заткнуть прорыв в 400 километров, надо отдать им должное, они нашли смелый и верный выход из положения. Вместо того чтобы пытаться, растянувшись цепочкой, заткнуть всю эту огромную брешь, они начали с того, что сосредоточили ударную группировку и нанесли нам встречный удар в центре этого пустого пространства. Они приковали нас, заставили ввязаться в бои и приостановили таким образом наше наступление. А тем временем в тылу стали создавать новую линию обороны, и благодаря этому неожиданному для нас и смелому удару в значительной мере успели это сделать. Принятое ими после разгрома в Белорусском котле решение следует признать смелым и умным».

Приведенные здесь выписки из бесед 1965 года, как мне помнится, близко перекликаются с тем, что говорил мне Жуков десятью годами раньше в своем кабинете в Министерстве обороны. Разговор тогда шел о том же самом: об объективной оценке наших собственных действий, будь то поражения или победы.

Жуков возвращался к этой теме не раз в разные годы, и, когда я теперь перечитал все свои записи и перебрал в памяти все наши разговоры, я лишний раз подумал о том, с какой твердостью и последовательностью он бил в одну точку — при всей ненависти к врагу, отметая любые эмоции, мешающие выяснить и оценить суть дела.

4.

В мае 1956 года, после самоубийства А. Фадеева, я встретил Жукова в Колонном зале, в комнате президиума, где собрались все, кому предстояло стоять в почетном карауле у гроба Фадеева. Жуков приехал немного раньше того времени, когда ему предстояло стоять в почетном карауле, и вышло так, что мы полчаса проговорили с ним, сидя в уголке этой комнаты.

Тема разговора была неожиданной и для меня, и для обстоятельств, в которых происходил этот разговор. Жуков говорил о том, что его волновало и воодушевляло тогда, вскоре после XX съезда. Речь шла о восстановлении доброго имени людей, оказавшихся в плену главным образом в первый период войны, во время наших длительных отступлений и огромных по масштабу окружений.

Насколько я понял, вопрос этот был уже обговорен в Президиуме ЦК, и Жукову как министру обороны пред-

стояло внести соответствующие предложения для вынесения по ним окончательного решения. Он был воодушевлен предварительно полученной им принципиальной поддержкой и говорил об этом с горячностью, даже входившей в некоторый контраст с его обычной сдержанностью и немногословием. Видимо, этот вопрос касался каких-то самых сильных и глубоких струн его души. Наверное (по крайней мере мне так показалось), он давно думал об этом и много лет не мог внутренне примириться с тем несправедливым и огульным решением, которое находил этот вопрос раньше. Он с горечью говорил о том, что по английским законам оказавшимся в плену английским солдатам и офицерам за все время пребывания в плену продолжали начислять положенное им жалованье, причем даже с какой-то надбавкой, связанной с тяжестью положения, в котором они находились.

«А что у нас,— сказал он,— у нас Мехлис додумался до того, что выдвинул формулу: «Каждый, кто попал в плен,— предатель родины» и обосновывал её тем, что каждый советский человек, оказавшийся перед угрозой плена, обязан был покончить жизнь самоубийством, то есть в сущности требовал, чтобы ко всем миллионам погибших на войне прибавилось ещё несколько миллионов самоубийц. Больше половины этих людей были замучены немцами в плену, умерли от голода и болезней, но, исходя из теории Мехлиса, выходило, что даже вернувшиеся, пройдя через этот ад, должны были дома встретить такое отношение к себе, чтобы они раскаялись в том, что тогда, в 41-м или 42-м, не лишили себя жизни».

Не помню уже в точности всех слов Жукова, но смысл их сводился к тому, что позорность формулы Мехлиса — в том недоверии к солдатам и офицерам, которая лежит в её основе, в несправедливом предположении, что все они попали в плен из-за собственной трусости.

«Трусы, конечно, были, но как можно думать так о нескольких миллионах попавших в плен солдат и офицеров той армии, которая все-таки остановила и разбила немцев. Что же, они были другими людьми, чем те, которые потом вошли в Берлин? Были из другого теста, хуже, трусливей? Как можно требовать огульного презрения ко всем, кто попал в плен в результате всех постигавших нас в начале войны катастроф?..»

Снова повторив то, с чего он начал разговор, что отношение к этой трагической проблеме будет пересмотрено и

что в ЦК единодушное мнение на этот счет, Жуков сказал, что он считает своим долгом военного человека сделать сейчас все, чтобы предусмотреть наиболее полное восстановление справедливости по отношению ко всем, кто заслуживает этого, ничего не забыть и не упустить и восстановить попранное достоинство всех честно воевавших и перенесших потом трагедию плена солдат и офицеров. «Все эти дни думаю об этом и занят этим»,— сказал он.

Годом позже я увидел Жукова, выступавшего с трибуны во время одного из самых бурных заседаний, на которых мне пришлось присутствовать. Не буду касаться общего хода этого заседания, скажу только об одном на многие годы запомнившемся мне моменте. Жуков дошел в своей речи до того места, где он в резкой форме напомнил двум или трем сидевшим за его спиной в президиуме заседания людям о прямой ответственности, которую они несут за события 1937—1938 годов.

В ответ на это один из тех, кому были адресованы слова Жукова, прервал его, сказав, что время было такое, когда приходилось подписывать некоторые документы, хотел ты этого или не хотел. И сам Жуков хорошо знает это. И если порыться в документах того времени, то, наверное, можно найти среди них такие, на которых стоит и подпись Жукова.

Жуков резко повернулся и ответил:

— Нет, не найдете. Ройтесь! Моей подписи вы там не найдете.

Хорошо помню, как меня поразила тогда сила и уверенность этих слов, обращенных в прошлое.

5.

В день двадцатилетия победы над Германией уже восьмой год находившийся в отставке Жуков впервые вместе с другими маршалами занял свое место за столом президиума торжественного заседания. Это было актом справедливости. Именно так и восприняли это собравшиеся в зале люди, среди которых по крайней мере девять десятых участвовали в войне и хорошо помнили, какую роль сыграл в ней Жуков.

Когда на торжественном заседании среди имен других военачальников было названо имя Жукова, уже много лет не произносившееся ни с одной трибуны, в зале возникла

стихийная овация. С трибуны было произнесено много прославленных в годы войны имен, и, наверное, в иных обстоятельствах реакция на произнесение имени Жукова не была бы такой подчеркнуто бурной. Ему аплодировали с такой силой и единодушием, что в этот день и час была наконец восстановлена историческая справедливость, которой в душе всегда упорно жаждут люди, несмотря ни на какие привходящие обстоятельства.

Думаю, что Жукову нелегко было пережить эту радостную для него минуту, в которой, наверное, была и частица горечи, потому что, пока не произносилось его имя, время продолжало неотвратимо идти, а человек не вечен. Кто знает, может быть, рядом с другими мыслями в его голове шевелилась и та, простая в своей беспощадности,— что можно было вообще не дожить до этой минуты.

Поздний вечер этого дня и часть ночи вместе с несколькими другими военачальниками Жуков провел у нас в Доме литераторов на традиционной ежегодной встрече писателей — участников войны. И тут вновь проявилась его выдержка и сила характера.

Надо ли говорить, что в эту ночь главное внимание собравшихся на встречу было обращено прежде всего на него. Бывает в жизни так, что, от чистой души выражая всю силу своих чувств, люди где-то, сами не замечая того, теряют меру и ставят в трудное положение человека, которому адресованы их чувства.

Именно так и было в ту ночь. Некоторые из присутствовавших на встрече, радуясь восстановлению справедливости, одновременно проявляли несправедливость по отношению к другим своим военным гостям, минутами забывая об их присутствии.

Но я почувствовал, что Жуков сам не забывает об этом ни на минуту. Это явствовало из его поведения по отношению к своим присутствовавшим за столом товарищам и сослуживцам и из того краткого слова, которое он поначалу вообще, кажется, не намеревался говорить и сказал, лишь почувствовав, что без этого невозможно обойтись.

В его речи не было ни одного личного момента. Он не говорил ни о себе, ни о своем участии в войне. Это было слово об исторических заслугах народа, партии и армии, слово одного из участников огромной войны, обращенное к другим её участникам.

Думаю, что это слово было уроком тем из нас, кто, радуясь присутствию Жукова, готов был потерять чувство меры. Во всяком случае, мне так показалось, и я испытал большое чувство уважения к этому так много пережившему и с таким достоинством державшему себя человеку.

Ряд моих последующих встреч с Жуковым был связан с работой над документальным фильмом «Если дорог тебе твой дом», в котором я принимал участие как один из его авторов. Фильм был посвящен Московской битве, и Жуков, так же как и некоторые другие её участники и руководители, согласился рассказать перед киноаппаратом о нескольких решающих моментах этой битвы. Фильм в законченном виде длится всего девяносто минут, и те кадры, где Жуков рассказывает в нем о Московской битве, лишь небольшая часть всего им сказанного. Остальное — около двух тысяч метров пленки — передано в кинолетопись и хранится там для истории и для будущего использования.

Съемки фильма были долгими и трудными. Были трудности и связанные с участием в нем Жукова. Мы понимали ту моральную ответственность, которую взяли на себя, попросив Жукова принять участие в фильме, и ту тяжесть положения, которая возникла бы, если бы по независящим от нас причинам включение в фильм кадров бесед с Жуковым оказалось бы невозможным. Думаю, что это понимал сам Жуков, хотя он ни разу ни словом не коснулся этой темы.

Съемки затягивались и переносились. Не хочу входить ни в причины, ни в основательность этих причин, но то место, связанное с историей боев за Москву, где мы первоначально собирались снимать Жукова (о чем ему было известно), как выяснилось, оказалось неприемлемым для съемок — по мнению тех лиц, от которых зависело решение этого вопроса. А потом одно время стала под сомнение и сама возможность съемок. Тем не менее съемки в конце концов состоялись, правда, не там, где мы сначала предполагали, а дома у Жукова, на подмосковной даче, где он жил уже много лет.

Хорошо помню, как, приехав к нему, чтобы договориться о днях съемок и сказать, что их придется делать не там, где мы думали, а у него дома, я с тревогой ожидал вопроса: «Почему?», на который мне было бы трудно ответить. Но Жуков ничего не спросил, только понимающе усмехнулся и сказал: «Ну что ж, на даче так на даче. Как-никак — тоже зона обороны Москвы».

Накануне съемок Жукову не повезло. Он был на рыбалке и, поскользнувшись на мокрых мостках, сильно разбил ногу. Ему было трудно ходить, сидеть, вообще двигаться. Но он был готов к съемке и не захотел откладывать её. Ему предстояла трудная задача: рассказать перед аппаратом миллионам будущих зрителей о решающих моментах огромного сражения. Краткий очерк этого сражения, работу над которым он в то время заканчивал, все-таки составлял девяносто страниц на машинке. А мы еще просили у него некоторые живые подробности тех дней, не входившие в этот краткий очерк. В предшествовавших съемкам размышлениях в его памяти вставали сотни подробностей и обстоятельств битвы. Но из всего этого ему предстояло отобрать лишь наиболее существенное и рассказать об этом перед аппаратом сжато и свободно.

Я хорошо представлял себе то напряжение, какого все это требовало. А тут еще вдобавок все время напоминавшая о себе резкой болью травма ноги. Конечно, это лишь деталь человеческого поведения, но меня поразила та железная сосредоточенность, с которой в тот день рассказывал перед аппаратом Жуков о Московской битве, не забывая о ее живых подробностях и в то же время неуклонно проводя то главное, что он намеревался сказать,— историческую правду об остроте сложившегося под Москвой положения и о мере нависавшей над ней опасности. Не сказать об этом с полной определенностью значило для него не сказать и о силе того перелома в войне, который произошел под Москвой.

Необходимость сказать о Московской битве наиболее полную историческую правду была для Жукова внутренне как бы прямым продолжением того дела, которое он делал во время самой Московской битвы. В каком-то смысле это было для него как бы продолжением войны, и то, как он рассказывал о ней, заставляло меня заново думать о том, как он воевал.

Сейчас, когда я пишу эти заметки, прошло уже почти полгода с тех пор, как я в последний раз видел Жукова. В тот вечер в одном из московских домов встретились люди, главным образом военные и уже немолодые, чтобы за торжественным столом отметить круглую дату жизни и военной деятельности хозяина дома.

Среди приглашенных и пришедших на эту встречу был Жуков. И его приглашение в этот день, в этот дом, и его приход туда имели особое значение. Судьба сложилась

так, что Жукова и хозяина дома на долгие годы отдалили друг от друга обстоятельства, носившие драматический характер для них обоих, для каждого по-своему. А если заглянуть еще дальше, в войну, то и там жизнь, случалось, сталкивала их в достаточно драматической обстановке. Однако при всем том в народной памяти о войне их два имени чаще, чем чьи-нибудь другие, стояли рядом, и в этом все-таки и состояло самое главное, а все остальное было второстепенным.

И когда на вечере, о котором я вспоминаю, после обращенной к хозяину дома короткой и полной глубокого уважения речи Жукова оба эти человека обнялись, должно быть, впервые за многие годы, то на наших глазах главное снова стало главным, а второстепенное — второстепенным с такой очевидностью, которой нельзя было не порадоваться.

А потом на этом же вечере один из присутствующих, считая, что он исполняет при этом свою, как видно, непосильно высокую для него должность, вдруг произнес длиннейшую речь поучительного характера.

Стремясь подчеркнуть свою причастность к военной профессии, он стал разъяснять, что такое военачальник, в чем состоит его роль на войне и, в частности, что должны и чего не должны делать на войне командующие фронтами. В общей форме его мысль сводилась к тому, что доблесть командующего фронтом состоит в управлении войсками, а не в том, чтобы рисковать жизнью и ползать по передовой на животе, чего он не должен и не имеет права делать.

Оратор повторял эту полюбившуюся ему и в общем-то в основе здравую мысль долго, на разные лады, но всякий раз в категорической форме. С высоты своего служебного положения он поучал сидевших за столом бывших командующих фронтами тому, как они должны были себя вести тогда, на войне.

Стол был праздничным, а оратор был гостем за этим столом. В бесконечно отодвигавшемся конце своей речи он, очевидно, намерен был сказать тост за хозяина. Поэтому его не прерывали и, как это водится в таких неловких случаях, молчали, глядя в тарелки. Но где-то уже почти в конце речи при очередном упоминании о ползании на животе Жуков все-таки не выдержал.

— А я вот, будучи командующим фронтом,— медленно и громко сказал он,— неоднократно ползал на животе, когда этого требовала обстановка и особенно когда

перед наступлением своего фронта в интересах дела желал составить себе личное представление о переднем крае противника на участке будущего прорыва.

— Так что вот, признаюсь, было дело — ползал! — повторил он и развел руками, словно иронически извиняясь перед оратором в том, что он, Жуков, увы, действовал тогда вопреки этим застольным инструкциям. Сказал и уткнулся в свою тарелку среди общего молчания, впрочем, прерванного все тем же оратором, теперь перескочившим на другую тему.

Даже сам не знаю, почему мне так запомнился этот мелкий штрих в поведении Жукова в тот вечер. Скорей всего потому, что в его сердитой иронии было что-то глубоко солдатское, практическое, неискоренимо враждебное всякому суесловию о войне, и особенно суесловию людей, неосновательно считающих себя военными.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Записи бесед

На протяжении 1965—1966 годов у меня было несколько особенно длительных бесед с Жуковым. Их характер в значительной мере определялся кругом тех вопросов, с которыми я обращался к Жукову.

В связи с упоминавшейся мною работой над фильмом мне было важно знать взгляды Жукова на все случившееся в первый период войны.

В связи с работой над романом о последнем периоде войны меня интересовал характер работы Ставки и тот взгляд, который сложился у Жукова на Сталина как Верховного Главнокомандующего нашей армией.

Наконец, в лице Жукова я видел, может быть, самого незаурядного представителя того поколения наших военных, которые, так трудно начав войну, с честью вынесли ее на своих плечах. Я писал и собирался дальше писать об этих людях, и меня глубоко интересовали разные периоды военной деятельности Жукова, его оценки событий, в которых он участвовал, и людей, с которыми его сводила служба.

В итоге получились довольно обширные записи, за точность которых, разумеется, несу ответственность только я сам.

Мне кажется, что эти записи, подобранные мною по темам, имеют не только исторический, но и психологиче-

ский интерес. За ответами Жукова стоит его личность, стоит не только его отношение к тем или иным событиям, но и его манера излагать их, в которой тоже проявляются черты характера.

Некоторые места из этих бесед я уже привел в первой части «Заметок», там, где мне это казалось необходимым. Все остальное собрано здесь.

1.

«У нас часто принято говорить, в особенности в связи с предвоенной обстановкой и началом войны, о вине и об ответственности Сталина.

С одной стороны — это верно. Но с другой, думаю, что нельзя все сводить к нему одному. Это неправильно. Как очевидец и участник событий того времени, должен сказать, что со Сталиным делят ответственность и другие люди, в том числе и его ближайшее окружение — Молотов, Маленков, Каганович.

Не говорю о Берии. Он был личностью, готовой выполнить все, что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие личности и необходимы. Так что вопрос о нем — особый вопрос, и в данном случае я говорю о других людях.

Добавлю, что часть ответственности лежит и на Ворошилове, хотя он и был в 1940 году снят с поста наркома обороны, но до самого начала войны оставался председателем Государственного Комитета Обороны. Часть ответственности лежит на нас — военных. Лежит она и на целом ряде других людей в партии и государстве.

Участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина в присутствии его ближайшего окружения, я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения.

Многие предложения Сталина, касавшиеся укрепления обороны и вооружения армии, встречали сопротивление и возражения. После этого создавались комиссии, в которых шли споры, и некоторые вопросы тонули в этих спорах. Это тоже была форма сопротивления.

Представлять себе дело так, что никто из окружения Сталина никогда не спорил с ним по государственным и

хозяйственным вопросам,— неверно. Однако в то же время большинство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех политических оценках, которые сложились у него перед войной, и прежде всего в его уверенности, что если мы не дадим себя спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решится разорвать пакт и напасть на нас.

И Маленков и Каганович в этом вопросе всегда были солидарны со Сталиным; особенно активно поддерживал эту точку зрения Молотов. Молотов не только был сам человеком волевым и упрямым, которого трудно было сдвинуть с места, если уж он занял какую-нибудь позицию. По моим наблюдениям, вдобавок к этому он в то время обладал серьезным влиянием на Сталина, в особенности в вопросах внешней политики, в которой Сталин тогда, до войны, считал его компетентным. Другое дело потом, когда все расчеты оказались неправильными и рухнули, и Сталин не раз в моем присутствии упрекал Молотова в связи с этим. Причем Молотов отнюдь не всегда молчал в ответ. Молотов и после своей поездки в Берлин в ноябре 1940 года продолжал утверждать, что Гитлер не нападет на нас. Надо учесть, что в глазах Сталина в этом случае Молотов имел дополнительный авторитет человека, самолично побывавшего в Берлине.

Авторитет Молотова усиливался качествами его характера. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937—1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру.

Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто на моей памяти и в моем присутствии высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов. Он неизменно говорил о немцах очень резко и утверждал, что Гитлеру нельзя верить ни в чем.

Как сложились у Сталина его предвоенные, так дорого нам стоившие заблуждения? Думаю, что вначале у него была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта. Хотя потом все вышло как раз наоборот.

Однако несомненно, что пакт с обеих сторон заключался именно с таким намерением.

Сталин переоценил меру занятости Гитлера на Западе, считал, что он там завяз и в ближайшее время не сможет воевать против нас. Положив это в основу всех своих прогнозов, Сталин после разгрома Франции, видимо, не нашел в себе силы по-новому переоценить обстановку.

Война в Финляндии показала Гитлеру слабость нашей армии. Но одновременно она показала это и Сталину. Это было результатом 1937—1938 годов, и результатом самым тяжелым.

Если сравнить подготовку наших кадров перед событиями этих лет, в 1936 году, и после этих событий, в 1939 году, надо сказать, что уровень боевой подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями. Наблюдалось страшное падение дисциплины, дело доходило до самовольных отлучек, до дезертирства. Многие командиры чувствовали себя растерянными, неспособными навести порядок.

Когда после финских событий я был вызван с Халхин-Гола и назначен командующим Киевским военным округом, Сталин, разговаривая со мной, очень резко отозвался о Ворошилове:

— Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом, все хорошо, все в порядке, все готово, товарищ Сталин, а оказалось...

Я еще командовал Киевским военным округом, когда в декабре 1940 года мы проводили большую военную игру. В этой игре я командовал «синими», играл за немцев. А Павлов, командовавший Западным военным округом, играл за нас, командовал «красными», нашим Западным фронтом. На Юго-Западном фронте ему подыгрывал Штерн.

Взяв реальные исходные данные и силы противника — немцев, я, командуя «синими», развил операции именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы. Наносил свои главные удары там, где они их потом наносили. Группировки сложились примерно так, как потом они сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка — все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали и немцам. Игра длилась около восьми суток. Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения «синих», придерживало его. Но «синие» на восьмые сутки продвинулись до района Барановичей, причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения.

В январе 1941 года состоялся разбор этой стратегической игры на Главном Военном Совете. Делая порученный мне основной доклад, я решил остановиться на некоторых тревожных для нас вопросах. Прежде всего на вопросе о невыгодном размещении системы новых укрепленных районов вдоль новой границы. Конфигурация границ делала это размещение невыгодным. Гораздо выгодней было бы разместить их, отодвинув примерно на сто километров вглубь. Я понимал, что эта точка зрения вызовет недовольство, потому что критикуемая мною система размещения укрепленных районов была утверждена Советом Труда и Обороны, в конечном счете Сталиным. Тем не менее я решил, что делать нечего. Придется об этом сказать.

Сталин внимательно слушал доклад и задал ряд вопросов мне и другим выступавшим. В частности, он спросил: почему «синие» были так сильны, почему в исходных данных нашей игры были заложены такие крупные немецкие силы? Ему было отвечено, что эти силы соответствуют возможностям немцев и основаны на реальном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить против нас, создав на направлении своего главного удара большие преимущества. Этим и объясняется такое решительное продвижение «синих» во время игры.

Вскоре после этого разбора я был назначен начальником Генерального штаба.

Я не имел до этого опыта штабной работы и к началу войны, по моему собственному ощущению, не был достаточно опытным и подготовленным начальником Генерального штаба, не говоря уже о том, что по своей натуре и по опыту службы тяготел не к штабной, а к командной деятельности.

В начале 1941 года, когда нам стало известно о сосредоточении крупных немецких сил в Польше, Сталин обратился с личным письмом к Гитлеру, сообщив ему, что нам это известно, что нас это удивляет и создает у нас впечатление, что Гитлер собирается воевать против нас. В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное и, как он подчеркнул в тексте, доверительное. В этом письме он писал, что наши сведения верны, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но что он, будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, должен разъяснить, что сосредоточение его войск в Польше не направлено против Советского Союза, что он намерен строго соблюдать заключенный им пакт,

в чем ручается своей честью главы государства. А войска его в Польше сосредоточены в других целях. Территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток, с тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать их там, в Польше. Насколько я понимаю, Сталин поверил этому письму.

В дальнейшем становилось все более и более причин для тревоги. Перед лицом повторяющихся тревожных сигналов Наркомату обороны удалось добиться у Сталина разрешения на частичный призыв в кадры полумиллиона запасных и на переброску в западные округа еще четырех армий.

Я как начальник Генерального штаба понимал, что и переброска армий, и переброска мобилизованных к месту службы не могут остаться в секрете от немцев, должны встревожить их и обострить обстановку. А раз так, то одновременно с этими необходимыми мероприятиями нужно привести в боевую готовность войска пограничных округов. Я докладывал об этом Сталину, но он, после того как его две недели пришлось убеждать согласиться на первые два мероприятия, теперь на это третье мероприятие, непосредственно связанное с первыми двумя, согласия так и не дал. Он ответил, что приведение в боевую готовность войск, стоящих в пограничных районах, может привести к войне, а он убежден, что нам удастся славировать, объяснить и частичный призыв, и переброску армий таким образом, чтобы это не встревожило Гитлера.

Так получилось, что одни из мер были нами проведены, а другие — нет. По существу, мы остановились на полумерах, что никогда не приводит к добру.

Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертывания промышленности в военное время. В мае, на четвертый месяц после того как я принял Генеральный штаб от Мерецкова, я подписал в основном уже подготовленные еще до меня мобилизационные планы перевода промышленности на военные рельсы. Набравшись решимости, я поехал к Ворошилову, состоявшему в то время председателем Государственного Комитета Обороны, и буквально принудил его принять от меня на рассмотрение эти планы. Просто-напросто оставил их у него.

Несмотря на мои звонки, он в течение месяца так и не приступил к рассмотрению этих планов и только через месяц после нового звонка сказал, чтобы я к нему приехал: надо обсудить, как, с чьим участием и в каком порядке рассматривать планы. Поняв, что дело затягивается, я не поехал к нему, а позвонил Сталину и пожаловался на происходящее.

На следующий же день мы, военные, были вызваны на заседание Политбюро.

Последовал диалог между Сталиным и Ворошиловым.

— Почему вы не рассматриваете план?

— Мы только недавно его получили.

— Какого числа вы передали Ворошилову этот план? (Это уже был вопрос ко мне.)

Я сказал, что месяц назад.

После соответствующей реакции была назначена комиссия для рассмотрения плана. В комиссии было много споров и препирательств. Некоторые ее члены говорили, что-де у нас много других вопросов, надо все ломать, а мы не можем всего ломать и т. д.

Дело затягивалось и затягивалось. Видя это, мы решили добиться и добились, чтобы были приняты хотя бы отдельные решения по плану подготовки боеприпасов, по остальным пунктам этот план развертывания промышленности к началу войны так и не был утвержден.

Особенно тяжело обстояло в ту зиму и весну дело с боеприпасами. Новые, поставленные на вооружение артиллерийские системы, в том числе противотанковые, были обеспечены только пробными сериями снарядов. Из-за задержки со снарядами задерживалось и уже налаженное производство орудий.

Мы поставили вопрос о создании годового запаса снарядов на первый год войны, считая, что после перевода промышленности на военные рельсы производство, покрывающее нужды войны, может быть достигнуто только через год после ее начала.

Возникли споры.

Вознесенский, человек, знавший экономику, тут же мгновенно подсчитал, какое огромное количество снарядов мы хотим иметь в запасе, и с карандашом в руках начал доказывать, что согласно нашим расчетам мы планируем 500 снарядов для поражения одного танка противника.

— Разве это возможно?

Пришлось ответить ему, что это не только возможно, а необходимо, что будет отлично, если нам удастся обойтись даже не пятьюстами, а тысячью снарядов для уничтожения каждого немецкого танка.

— А как же быть с нормами поражения танков, записанными у вас во всех документах? — спросил Вознесенский.

— Так это же нормы поражения на учениях, а на войне другое дело.

Была создана комиссия.

После всех подсчетов убедились, что производство такого количества снарядов металлом обеспечить можно, но нельзя обеспечить порохами, с порохами дело обстояло из рук вон плохо.

В итоге нашу заявку пока было предложено удовлетворить только на 15—20 процентов.

Говоря о предвоенном периоде и о том, что определило наши неудачи в начале войны, нельзя сводить все только к персональным ошибкам Сталина или в какой-то мере к персональным ошибкам Тимошенко и Жукова.

Все это так. Ошибки были.

Но надо помнить и некоторые объективные данные. Надо подумать и подсчитать, что представляли тогда собой мы и наша армия и Германия и ее армия. Насколько выше был ее военный потенциал, уровень промышленности, уровень промышленной культуры, уровень общей подготовленности к войне.

После завоевания Европы немцы имели не только сильную, испытанную в боях, развернутую и находившуюся в полной боевой готовности армию, не только идеально налаженную работу штабов и отработанное буквально по часам взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. Немцы имели перед нами огромное преимущество в военно-промышленном потенциале. Почти втрое превосходили нас по углю, в два с половиной раза — по чугуну и стали. Правда, у нас оставалось преимущество по нефти — и по запасам, и по объему добычи. Но, даже несмотря на это, мы, например, к началу войны так и не имели необходимого нам количества высокооктанового бензина для поступавших на наше вооружение современных самолетов, таких, как МИГи.

Словом, нельзя забывать, что мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией.

Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не смогли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских «студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок.

То есть то развитие военной промышленности, которое осуществлялось в ходе войны, и переход ее на военные рельсы были связаны не только с нашими собственными военно-промышленными ресурсами, имевшимися к началу войны, но и с этими поставками *. И это тоже следует учитывать, сравнивая то, с чем мы вступили в войну и с чем — Германия, располагавшая притом еще и военной промышленностью всех захваченных ею стран Европы.

Наконец, надо добавить, что Гитлер со дня своего прихода к власти абсолютно все подчинил интересам будущей войны, все строилось в расчете на победу в этой войне, все делалось для этого и только для этого. А мы такой позиции не заняли, остановились на полумерах. Сталкивались друг с другом интересы ведомств, шла бесконечная торговля по каждому вопросу, связанному с вооружением армии и подготовкой к войне. Все это тоже надо класть на чашу весов, объясняя причины наших поражений и неудач первого года войны.

Сталин считал, и считал справедливо, что для того чтобы подготовиться к войне, нам нужно еще минимум два года. Они нужны были и для военно-стратегического освоения районов, занятых нами в 1939 году, и для реорганизации армии, в том числе технической, с которой мы сильно

---

* В мемуарах Г. К. Жукова по этому поводу говорится: «Из США и Англии было доставлено более 400 тыс. автомобилей, большое количество паровозов, средств связи. Но разве это могло оказать решающее влияние на ход войны?.. Мы получили по ленд-лизу из США 18,7 тыс. самолетов, 10,8 тыс. танков, 9,6 тыс. орудий. К общему числу вооружений, которыми советский народ оснастил свою армию за годы войны, эти поставки составили всего лишь 4 процента».

запоздали. Хотя за год, прошедший между концом финской кампании и началом войны, было немало сделано, но, чтобы оказаться вполне готовыми к войне, нам нужно было действительно еще около двух лет.

Сведения о предстоящем нападении немцев, шедшие от Черчилля и из других источников, Сталин считал вполне логичным стремлением англичан столкнуть нас с немцами и поскорее ввязать нас в войну, к которой мы, по его убеждению, были не готовы. Он считал также, что провокации возможны не только со стороны англичан, но и со стороны некоторых немецких генералов, склонных, по его мнению, к превентивной войне и готовых поставить Гитлера перед свершившимся фактом. О сообщениях, переданных Зорге, несмотря на занимаемую мною тогда должность начальника Генерального штаба, я в то время ровно ничего не знал. Очевидно, доклады об этом шли непосредственно к Сталину через Берию, и Сталин не счел нужным сообщать нам об этих имевшихся у него донесениях.

Сведениями о дислокации значительных военных сил в Польше мы располагали, но Сталин в принципе считал само собой разумеющимся, что немцы держат у наших границ крупные части, зная, что и мы в свою очередь держим на границе немалое количество войск, и считаясь с возможностью нарушения пакта с нашей стороны. А непосредственное сосредоточение ударных немецких группировок было произведено всего за два-три последних дня перед войной. И за эти двое-трое суток разведчики не успели передать нам сведений, которые бы составили полную картину готовящегося.

Что такое внезапность?

Трактовка внезапности, как трактуют ее сейчас, да и как трактовал ее в своих выступлениях Сталин, неполна и неправильна.

Что значит внезапность, когда мы говорим о действиях такого масштаба? Это ведь не просто внезапный переход границы, не просто внезапное нападение. Внезапность перехода границы сама по себе еще ничего не решала. Главная опасность внезапности заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том, что для нас оказалась внезапной ударная мощь немецкой армии; для нас оказалось внезапностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях; для нас оказались внезапностью и масштабы сосредоточения их войск, и сила их удара. Это и есть то

главное, что предопределило наши потери первого периода войны. А не только и не просто внезапный переход границы.

Начало войны застало меня начальником Генерального штаба. Обстановка для работы в Генеральном штабе в те дни была крайне трудной. Мы все время отставали, опаздывали, принимали запоздалые, несвоевременные решения

Наконец Сталин поставил передо мной прямой вопрос:

— Почему мы все время опаздываем?

И я ему на это тоже прямо ответил, что при сложившейся у нас системе работы иначе и быть не может.

— Я как начальник Генерального штаба получаю первую сводку в 9 утра. По ней требуется сейчас же принять срочные меры. Но я сам не могу этого сделать. Я докладываю наркому Тимошенко. Но и нарком тоже не может принять решения. Мы обязаны доложить это вам. Приехать в Кремль и дожидаться приема. В час или в два часа дня вы принимаете решения. Мы едем, оформляем их и направляем приказания на места. Тем временем обстановка уже изменилась. Мы хотели удержать такой-то пункт, скажем Ивановку,— придвинуть к ней войска. Но немцы за это время уже заняли ее. Наоборот, мы хотели вывести войска из какого-то другого пункта. А немцы тем временем уже обошли его и отрезали. Между получением данных, требующих немедленного решения, и тем решением, которое мы принимаем, проходит 7—8 часов. А за это время немецкие танки делают 40—50 километров, и мы, получив новые сведения, принимаем новое решение и снова опаздываем.

Я доложил Сталину, что, на мой взгляд, двухступенное командование невозможно.

— Либо я как начальник Генерального штаба должен докладывать Тимошенко, с тем чтобы он, ни с кем не согласовывая, немедленно принимал решения; либо я должен докладывать все это непосредственно вам, с тем чтобы эти решения немедленно принимали вы. Иначе мы будем продолжать опаздывать.

К началу июля неправильность принятой системы и гибельность проволочек стали ясны самому Сталину. Тимошенко был назначен командующим Западным направлением, а обязанности Верховного Главнокомандующего взял на себя Сталин. С ликвидацией этой двухступенности наша работа начала принимать более нормальный и более оперативный характер. Кроме того, состояние ошеломленности,

в котором мы находились в первые десять дней войны, несколько смягчилось. Продолжали происходить тяжелые события, но мы психологически уже привыкли к ним и стремились исправить положение, исходя из реально складывавшейся обстановки.

Вспоминая предвоенный период, надо сказать, что, конечно, на нас — военных — лежит ответственность за то, что мы недостаточно настойчиво требовали приведения армии в боевую готовность и скорейшего принятия ряда необходимых на случай войны мер. Очевидно, мы должны были это делать более решительно, чем делали. Тем более что, несмотря на всю непререкаемость авторитета Сталина, где-то в глубине души у тебя гнездился червь сомнения, шевелилось чувство опасности немецкого нападения. Конечно, надо реально себе представить, что значило тогда идти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. У всех на памяти еще были недавно минувшие годы; и заявить вслух, что Сталин не прав, что он ошибается, попросту говоря, могло тогда означать, что, еще не выйдя из здания, ты уже поедешь пить кофе к Берии.

И все же это лишь одна сторона правды. А я должен сказать всю. Я не чувствовал тогда, перед войной, что я умнее и дальновиднее Сталина, что я лучше него оцениваю обстановку и больше него знаю. У меня не было такой собственной оценки событий, которую я мог бы с уверенностью противопоставить как более правильную оценкам Сталина. Такого убеждения у меня не существовало. Наоборот, у меня была огромная вера в Сталина, в его политический ум, его дальновидность и способность находить выходы из самых трудных положений. В данном случае в его способность уклониться от войны, отодвинуть ее. Тревога грызла душу. Но вера в Сталина и в то, что в конце концов все выйдет именно так, как он предполагает, была сильнее. И, как бы ни смотреть на это сейчас,— это правда».

2.

В предыдущей главе даны некоторые записи, говорящие о том восприятии личности Сталина, которое сложилось у Жукова к началу войны.

В ходе войны Жуков узнал Сталина гораздо ближе. Его взгляд на Сталина, сложившийся в ходе войны, представляет особую ценность, потому что этот взгляд опирается на огромный четырехлетний опыт совместной ра-

боты. Для Жукова Сталин в годы войны — это прежде всего Верховный Главнокомандующий, с которым он все эти годы, как правило, имел дело без промежуточных инстанций, непосредственно, и в роли начальника Генерального штаба, и в роли командующего разными фронтами, оставаясь при этом членом Ставки, в роли и первого заместителя Главнокомандующего, и координатора действий нескольких фронтов.

Для Жукова Сталин во время войны — это человек, принявший на свои плечи самую трудную должность в воюющем государстве. И Жуков отмечает прежде всего те черты натуры Сталина, которые проявлялись при исполнении именно этой должности. Поэтому тот портрет Сталина, который вырастает в этих записях, сделанных со слов Жукова, хотя и не может претендовать на полноту, но отличается конкретностью наблюдений, связанных с той общей работой, которую они оба делали. Добавлю, что в этом портрете присутствуют, конечно, и личные эмоции, вносящие момент субъективности.

Группируя эти записи, я условно разделил их на две части: записи, отражающие разные моменты войны, расположены в хронологическом порядке; записи, в которых отражается общий взгляд Жукова на личность Сталина в годы войны, даны без соблюдения хронологии.

Итак, сначала записи, отражающие хронологию событий.

«Впервые в жизни я разговаривал со Сталиным в 1940 году, после своего возвращения с Халхин-Гола. Шел к нему, надо признаться, с некоторым трепетом в душе, но встретил он меня очень хорошо. Я увидел человека внешне, на первый взгляд, самого обыкновенного: небольшого роста, чуть ниже меня, спокойного, приветливого, показавшегося мне очень внимательным и человечным.

Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о событиях в Монголии, о моих выводах.

Впечатления от последующих встреч со Сталиным сложились разные, да и сами эти встречи были очень разными. Он был человеком с большим чувством юмора и иногда, когда дела шли хорошо, бывал, как в первую нашу встречу, внимательным и человечным. Но в большинстве случаев, а в общем-то почти всегда, был серьезен и напряжен. В нем почти всегда чувствовалась эта напряженность, которая действовала и на окружающих. Я всегда ценил — и этого нельзя было не ценить — ту краткость,

с которой он умел объяснять свои мысли и ставить задачи, не сказав ни единого лишнего слова. Эту краткость он в свою очередь сам ценил в других и требовал докладов содержательных и кратких. Он терпеть не мог лишних слов и заставлял в таких случаях сразу переходить к существу дела.

При своем грузинском акценте он великолепно владел русским языком и, можно без преувеличения сказать, был знатоком его. Это проявлялось даже в мелочах. Однажды, еще в период моей работы начальником Генерального штаба, диктуя мне директиву и нетерпеливо заглядывая при этом через плечо, он вдруг сказал мне:

— Ну, а запятые я буду за вас расставлять?

И когда я полушутя сказал, что я не мастер на запятые, ответил совершенно серьезно:

— А неправильно поставленная запятая иногда может изменить суть сказанного.

Бывал он и груб, очень. По своему характеру я в некоторых случаях не лез за словом в карман. Случалось даже, что резко отвечал на его грубости, причем шел на это сознательно, потому что иногда надо было спорить, иначе я бы не мог выполнить своего долга.

Однажды, полушутя, полусерьезно обратившись к двум присутствовавшим при нашем разговоре людям, он сказал:

— Что с вами говорить? Вам что ни скажешь, вы все: «Да, товарищ Сталин», «Конечно, товарищ Сталин», «Совершенно правильно, товарищ Сталин», «Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин...». Только вот один Жуков иногда спорит со мной...

В конце июля 1941 года, еще находясь в должности начальника Генерального штаба, анализируя обстановку, я пришел к выводу, что немцы в ближайшее время не будут продолжать наступать на Москву до тех пор, пока не ликвидируют угрозу правому флангу своей нацеленной на Москву группировки со стороны правого фланга нашего Юго-Западного фронта.

В связи с этим я письменно изложил свои соображения о необходимости, оставив Киев, занять прочную оборону по восточному берегу Днепра, усилить правый фланг Юго-Западного фронта и сосредоточить за ним две резервные армии для парирования удара немцев. По моим предположениям, они могли нанести этот удар по правому флангу Юго-Западного фронта с выходом в его тылы.

Прочитав написанный мною документ, Сталин вызвал меня к себе. У него находились Берия и Мехлис. Сталин в их присутствии обрушился на меня, говоря, что я пишу всякую ерунду, горожу чепуху и так далее. Все это в очень грубой форме.

Я сказал в ответ на это:

— Товарищ Сталин, прошу вас выбирать выражения. Я начальник Генерального штаба, если вы как Верховный Главнокомандующий считаете, что ваш начальник Генерального штаба городит чепуху, то его следует отрешить от должности, о чем я и прошу вас.

В ответ на это он сказал мне:

— Идите, мы обдумаем вашу просьбу.

Я снова был вызван к нему через сорок минут, и Сталин уже более спокойным тоном сказал мне:

— Мы решили удовлетворить вашу просьбу. Вы освобождены от должности начальника Генерального штаба. Что вы хотите делать? Какую работу вам дать?

Я сказал, что могу пойти командовать корпусом, могу армией, могу фронтом. Думаю, что больше пользы принесу, командуя фронтом.

В тех моих письменных соображениях, из-за которых начался этот разговор и состоялось мое снятие с должности начальника Генерального штаба, я наряду с другим писал, что на Западном фронте необходимо ликвидировать уже занятый к этому времени немцами ельнинский выступ, грозящий нам большими осложнениями.

Теперь, когда речь зашла о том, кем и куда назначить, я сказал, что хотел бы получить возможность осуществить эту операцию.

— Хотите наступать? — иронически спросил Сталин.

— Да,— ответил я.

— Считаете, что с нашими войсками можно проводить наступление? — продолжал он так же иронически.— Им еще не удалось ни одно наступление, а вы собираетесь наступать?

Я отвечал, что да, и надеюсь на успех.

После того как я был назначен командовать фронтом и провел Ельнинскую операцию, я уже в своей новой должности вновь доложил Сталину прежние соображения об опасности удара немцев с северо-запада на юго-восток, в тыл нашему Юго-Западному фронту. На сей раз он отнесся к этим соображениям по-другому. И даже нашел в себе силы сказать мне:

— Вы мне правильно докладывали тогда, но я не совсем правильно вас понял.

После этого он заговорил о том, что Буденный плохо справляется с командованием Юго-Западным направлением.

— Кем, по вашему мнению, следовало бы его заменить?

Подумав, что он, быть может, имеет в виду меня, я ответил, что, на мой взгляд, на Юго-Западное направление следовало бы направить Тимошенко, он обладает авторитетом в войсках, опытом и вдобавок по национальности украинец, что имеет свое значение в условиях операций, развертывающихся на Украине.

Помолчав и, как я понял из последующего, приняв это решение, Сталин заговорил о Ленинграде и Ленинградском фронте. Положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, он оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово «безнадежное». Он говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней и Ленинград придется считать потерянным. А с потерей Ленинграда произойдет соединение немцев с финнами, и в результате там создастся крайне опасная группировка, нависающая с севера над Москвой.

Сказав все это, он спросил меня:

— Что вы думаете делать дальше?

Я с некоторым удивлением ответил, что собираюсь ехать обратно, к себе на фронт.

— Ну а если не ехать обратно, а получить другое назначение?

Услышав это, я сказал, что, если так, я бы хотел поехать командовать Ленинградским фронтом.

— А если это безнадежное дело? — сказал он.

Я высказал надежду, что оно еще может оказаться не таким безнадежным.

— Когда можете ехать? — коротко спросил он.

Я ответил, что если ехать — предпочитаю немедленно.

— Немедленно нельзя. Надо сначала организовать вам сопровождение истребителей.

И сразу же позвонил авиаторам, запросив у них прогноз погоды. Пока ему давали прогноз погоды, он спросил, кого, по моему мнению, можно назначить моим преемником на Западном фронте. Я ответил, что командующего 19-й армией Конева.

Тем временем авиаторы дали прогноз. Прогноз на утро был плохой: туман.

Сталин сказал:

— Дают плохую погоду. А для вас, значит, хорошую.

И тут же написал короткую записку:

«Ворошилову. ГОКО назначает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом. Сталин».

Эта записка и была моим назначением.

Положив ее в карман, я утром сел в самолет, прилетел в Ленинград и принял фронт».

Следующая запись, которую я хочу привести, связана с тяжелыми для нас октябрьскими событиями, когда, прорвав фронт и окружив под Вязьмой большую часть войск Западного и Резервного фронтов, немцы шли на Москву.

«Во второй половине дня 6 октября мне в Ленинград позвонил Сталин. Поинтересовался, как идут дела на фронте, как обстановка, и после этого сказал, что мне нужно немедленно вернуться в Москву для выполнения особого задания.

Я ответил, что завтра же вылетаю. 7 октября, сдав дела по командованию Ленинградским фронтом начальнику штаба генералу Хозину, я вылетел в Москву. В Москву прилетел уже вечером и сразу направился на квартиру к Сталину. Сталин болел гриппом, но работал.

Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал:

— Не могу добиться ясного доклада, что происходит сейчас на Западном направлении. Где противник, где наши войска? Поезжайте немедленно в штаб Западного фронта и позвоните мне в любое время суток. Я буду ждать».

Опустив в данном случае рассказ Жукова о том, как он поехал в штабы и войска Западного и Резервного фронтов и разбирался там в сложившейся обстановке, я прямо перейду к записям о тех разговорах со Сталиным, которые произошли у Жукова при его последующем назначении командующим Западным фронтом.

«Сталин был в нервном настроении и в страшном гневе. Говоря со мной, он в самых сильных выражениях яростно ругал командовавших Западным и Брянским фронтами Конева и Еременко и ни словом не упомянул при этом Буденного, командовавшего Резервным фронтом. Видимо, считал, что с этого человека уже невозможно спросить. Он сказал мне, что назначает меня командующим

Западным фронтом, что Конев с этой должности снят и, после того как посланная к нему в штаб фронта правительственная комиссия сделает свои выводы, будет предан суду военного трибунала.

На это я сказал Сталину, что такими действиями ничего не исправишь и никого не оживишь. И что это только произведет тяжелое впечатление в армии. Напомнил ему, что вот расстреляли в начале войны командующего Западным фронтом Павлова, а что это дало? Ничего не дало. Было заранее хорошо известно, что из себя представляет Павлов, что у него потолок командира дивизии. Все это знали. Тем не менее он командовал фронтом и не справился с тем, с чем не мог справиться. А Конев — это не Павлов, это человек умный. Он еще пригодится.

— А вы что предлагаете делать?

Я сказал, что предлагаю оставить Конева моим заместителем.

Сталин спросил подозрительно:

— Почему защищаете Конева? Что он, ваш дружок?

Я ответил, что нет, что мы с Коневым никогда не были друзьями, я знаю его только как сослуживца по Белорусскому округу.

Сталин дал согласие.

Думаю, что это решение, принятое Сталиным до выводов комиссии, сыграло большую роль в судьбе Конева, потому что комиссия, которая выехала к нему на фронт во главе с Молотовым, наверняка предложила бы другое решение. Я, хорошо зная Молотова, не сомневался в этом.

Через день или два после того, как я вступил в командование фронтом, я направил Конева как своего заместителя на правый фланг, к Калинину. Управляя этим далеко отстоявшим флангом, он действовал там самостоятельно и удачно и вскоре вступил в командование созданным там Калининским фронтом.

Через два дня после того как я начал командовать фронтом, Молотов позвонил мне. В разговоре с ним шла речь об одном из направлений, на котором немцы продолжали продвигаться, а наши части продолжали отступать. Молотов говорил со мной в повышенном тоне. Видимо, он имел прямые сведения о продвижении немецких танков на этом участке, а я к тому времени не был до конца в курсе дела. Словом, он сказал нечто вроде того: или я остановлю это угрожающее Москве отступление, или буду расстрелян! Я ответил ему на это:

— Не пугайте меня, я не боюсь ваших угроз. Еще нет двух суток, как я вступил в командование фронтом, я еще не полностью разобрался в обстановке, не до конца знаю, где что делается. Разбираюсь в этом, принимаю войска.

В ответ он снова повысил голос и стал говорить в том же духе:

— Как же это так, не суметь разобраться за двое суток!

Я ответил, что, если он способен быстрее меня разобраться в положении, пусть приезжает и вступает в командование фронтом. Он бросил трубку, а я стал заниматься своими делами.

За несколько дней до парада на Красной площади Сталин позвонил мне и сказал, что у ГОКО есть намерение (он имел обыкновение так говорить: «ГОКО решил», «У ГОКО есть намерение») 7 ноября провести в Москве традиционный парад. Мое мнение? Не могут ли немцы помешать этому действиями с воздуха и на земле? Не сделают ли они попытки прорваться к Москве?

Я ответил, что на земле мы можем гарантировать — ничего сверх обычного в этот день не произойдет. А с воздуха парад надо дополнительно обеспечить. Может быть, следует вдобавок к имеющимся перебросить под Москву некоторые истребительные части. Заключил тем, что провести парад, по моему мнению, возможно и что это произведет ободряющее впечатление на армию.

Второй раз Сталин позвонил мне уже утром, накануне парада. Сказал, что решено проводить парад, и, добавив, что сегодня вечером будет выступать на заседании Моссовета, спросил, позволит ли мне обстановка приехать туда из штаба фронта.

Я приехал и присутствовал на этом заседании, состоявшемся в метро на станции «Маяковская».

Сталин был человеком, который если за что-то уж однажды зацепится, то потом с трудом расстанется с этой своей идеей или намерением, даже когда объективные обстоятельства прямо говорят, что с первоначальным намерением необходимо расстаться.

В мае 1942 года Сталин сравнительно мягко отнесся к виновникам керченской катастрофы, очевидно, потому, что сознавал свою персональную ответственность за нее. Во-первых, наступление там было предпринято по его настоянию, и такое количество войск тоже было сосредо-

точено по его настоянию. Ставка, Генеральный штаб предлагали другое решение. Они предлагали отвести войска с Керченского полуострова на Таманский и построить нашу оборону там. Но он не принял во внимание этих предложений, считая, что, действуя так, мы высвободим воевавшую в Крыму 11-ю немецкую армию Манштейна. В итоге вышло, что армия Манштейна все равно была высвобождена, а мы потерпели под Керчью тяжелое поражение.

Приняв неправильное решение, Сталин вдобавок отправил на Керченский полуостров таких представителей Ставки, которые обеспечили катастрофу: Мехлиса и Кулика. Последний вообще неспособен был разумно руководить чем-либо. Эти представители действовали под Керчью в сочетании со слабым, безвольным командующим фронтом Козловым. И когда это предприятие, начатое по настоянию Сталина и под руководством лично им направленных туда людей, закончилось катастрофой, они понесли меньшее наказание, чем, очевидно, понесли бы за то же самое при других обстоятельствах другие люди.

Уже в тот период, когда я стал заместителем Верховного Главнокомандующего и между выездами на фронт иногда по месяцу, по два работал в Москве, я однажды сказал Сталину, что все его ближайшие помощники, я в том числе, издергались и измотались до последней степени.

Он с некоторым удивлением спросил: «Почему?»

Я сказал ему, что, когда он работает по ночам, мы тоже в это время работаем. И пока нам не становится известным, что он уехал и лег спать, мы не уезжаем и не ложимся спать. А утром, когда он спит, у нас самое горячее время, мы вынуждены работать. Он встает в два часа и начинает работать, а мы, уже проработав к этому времени все утро, находимся в любую минуту в готовности к его вызову. Так идет день за днем, месяц за месяцем. И люди измотаны этим.

Пока я ему все это говорил, он несколько раз переспрашивал меня, уточнял, даже выразил удивление тем, что никто не ложится спать, пока не лег он. Потом сказал:

— Хорошо. Обещаю вам, что больше не будут звонить вам ночью.

И действительно, с того дня до самого конца войны он ни разу не позвонил мне позднее двенадцати часов ночи. Один раз позвонил ровно в двенадцать, но свой разговор со мной начал с вопроса: «А вы еще не ложились

спать, товарищ Жуков?» Я сказал, что нет, только собираюсь. Он задал какой-то деловой вопрос, не из числа самых существенных, и, сразу закончив разговор, сказал: «Ну, прощайте, отдыхайте».

Приведу ответ Жукова на один из моих вопросов, связанных со Сталинградской операцией. Вопрос этот был вызван тем, что в некоторых статьях и мемуарах можно было заметить различие во взглядах на то, как была введена в бой в декабре 1942 года под Котельниково находившаяся в резерве Ставки 2-я гвардейская армия Малиновского. Момент был критический, деблокирующая танковая группа Гота прорывалась все ближе к Сталинграду, и 2-я гвардейская армия была брошена ей навстречу, хотя первоначально эту армию предполагалось использовать на другом, Юго-Западном фронте. Решительным ударом на Ростов она должна была отрезать все находившиеся восточнее немецкие войска. Я столкнулся с намеками на то, что было бы правильнее, даже ценой того, что Гот прорвется еще ближе к Сталинграду, сохранить за армией Малиновского прежнюю решительную задачу отсекающего удара на Ростов.

Меня привлекала эта точка зрения, она казалась мне более смелой, и, задавая Жукову свой вопрос, я, откровенно говоря, думал, что он поддержит ее. Но мои ожидания не оправдались.

— В период, когда возник вопрос о переадресовке армии Малиновского,— сказал Жуков,— я уже был не на юге, а на Западном фронте, занимался там организацией наступления против немцев, с тем чтобы они не могли перебросить силы на юг. Организуя это наступление, которое нельзя признать удачным, я был вызван к телефону Сталиным. Он сказал мне, что есть предложение переадресовать армию Малиновского, бросить ее на помощь Сталинградскому фронту, вместо того чтобы, как раньше предполагалось, наращивать ею удар на Ростов с севера. И спросил, как мое мнение.

Я в свою очередь спросил, как смотрит на это находящийся там, на юге, Василевский.

Сталин сказал, что Василевский считает необходимым переброску этой армии на помощь Сталинграду. Уважая мнение Василевского и считая его существенным, я ответил Сталину, что если так, то это, видимо, действительно необходимо.

На этом и закончился наш разговор. И, глядя в прош-

лое, учитывая тогдашнее соотношение сил, я считаю, что в той обстановке нам ничего, кроме этого, и не оставалось. Подписываюсь под этим решением и считаю его правильным.

Кстати сказать, наш первоначальный план действительно предполагал удар на Ростов с севера, чтобы запереть у немцев все, что окажется восточнее этого удара. План этот был составлен в Ставке и подписан Василевским и мною как заместителем Верховного главнокомандующего.

Помню, как я попросил тогда Сталина подписать ту карту, на которую был нанесен этот план.

— А для чего? — сказал он.— Я знаю об этом, со мной это согласовано.

Тогда я сказал ему:

— Распишитесь для истории.

— А, для истории,— сказал он и расписался на карте.

Я хотел, чтобы он расписался на этой карте. Ответственность была огромная, решение принималось важнейшее, и было необходимо, чтобы он сам расписался на этой карте».

Следующие записи связаны с 1944—1945 годами, с последним периодом войны.

«Осенью 1944 года после завершения летней Белорусской операции во время разговора со Сталиным в Ставке по итогам этой операции он сказал мне:

— Вот видите, вы предлагали вначале, чтобы фронты наступали в иной последовательности, я с вами тогда не согласился и был прав. При той последовательности, которую мы установили, все получилось лучше.

Хорошо помня, как происходило дело при планировании этой операции, в которой я координировал действия двух фронтов, я возразил, что хотя все действительно вышло хорошо, но я и не предлагал другой последовательности действий фронтов.

— Как не предлагали? — сказал Сталин.

— Не предлагал. Давайте посмотрим директивы.

Он выдвинул ящик стола, вынул директивы, сначала сам начал читать, а потом протянул их мне и сказал:

— Читайте.

Я стал читать и вскоре дочитал до того места, из которого явствовало, что он неправ, что я действительно не предлагал иной последовательности введения в дело фронтов при проведении операции.

Он прервал меня, забрал у меня директивы и передал их Маленкову.

— Читайте.

Тот, вернувшись назад, дошел до этого же самого места и запнулся, видимо не зная, что ему делать дальше, потому что дальше шел текст, вступавший в противоречие со словами Сталина. Запнулся, но все же продолжил чтение,— что ж делать!

Сталин забрал у него бумаги и дал Берии.

— Читай!

Стал читать Берия, но при всем желании ничего другого вычитать не мог.

Сталин забрал директивы и, сунув обратно в ящик, ничего не сказал, но чувствовалось, что он был очень недоволен. Почему-то именно в этом случае ему захотелось весь успех операции, связанный с правильностью ее планирования, оставить за собой.

Разговор в тот день вообще вышел тяжелый. А вскоре после этого он заговорил со мной о том, что в предстоящих Висло-Одерской и Берлинской операциях специальной координации действий фронтов на месте вообще не потребуется. Что эту координацию сможет осуществлять Ставка непосредственно из Москвы. Сказав это, он предложил мне взять на себя командование 1-м Белорусским фронтом, который пойдет прямо на Берлин.

Я спросил у него, куда же он думает в таком случае назначить Рокоссовского, командующего этим фронтом?

Он ответил на вопрос вопросом:

— А вы как думаете в этом случае? Вы будете командовать 1-м Белорусским фронтом, куда назначить Рокоссовского?

Я ответил, что если так, то, очевидно, его следует направить командовать 2-м Белорусским фронтом, который будет взаимодействовать с 1-м Белорусским фронтом в нашем ударе на Берлин.

Вот как был решен этот вопрос, а не так, как иногда пытаются представить в последнее время. И начало этого вопроса, само возникновение его относится к более раннему времени, к подведению итогов Белорусской операции и к тому конфликту, который при этом возник. Считаю, что именно результатом этого конфликта было нежелание Сталина, чтобы я координировал действия фронтов, и его намерение направить меня командовать решающим, но одним фронтом».

«В воспоминаниях Конева о его разговоре со Сталиным в первый период Белорусской операции есть место, внушающее мне сомнение.

Конев написал, что Сталин спросил его о возможности ввода в прорыв на его фронте, через его армии, двух танковых армий 1-го Белорусского фронта. Мне трудно поверить, что Сталин мог внести такое предложение, прежде всего потому, что, как это видно из слов самого Конева, в тот момент, когда Сталин спросил о такой возможности, обе танковые армии 1-го Белорусского фронта — и армия Катукова, и армия Богданова — уже были введены мною своими первыми эшелонами в дело. Вынимать их из 1-го Белорусского фронта и перебрасывать для дальнейших действий на 1-й Украинский фронт в тот момент уже значило частично выводить их из боя. Сталин понимал, что это значит, и мне трудно представить, что он мог это предложить. Тем более трудно, что как раз в это время он спокойно отнесся к замедлению темпов нашего наступления на 1-м Белорусском фронте. Когда я доложил ему, что, как я и опасался, мы застряли, что немцы сосредоточили силы, оказывают ожесточенное сопротивление и наше продвижение замедлилось, мы все еще не можем прорваться в глубину, Сталин отреагировал на это очень спокойно.

— Ну что ж,— сказал он,— пусть подтягивают резервы, пусть цепляются. Больше перебьете здесь, меньше останется в Берлине.

Такой была его реакция в тот трудный для нас день.

Она осталась такой же и в дальнейшем. Я рассчитывал поначалу, что 1 мая мы уже доложим об окончании боев за Берлин и что об этом можно будет объявить на майском параде. Когда 30 апреля я понял, что сделать этого мы не сможем, я позвонил Сталину и сказал, что нам придется еще дня два провозиться с Берлином. Я ожидал с его стороны недовольство, а может быть, и упреки. Но он против моих ожиданий сказал очень спокойно:

— Ну что ж, пока не сообщим. В это Первое мая все и так будут в хорошем настроении. Позже сообщим. Не надо спешить там, на фронте. Некуда спешить. Берегите людей. Не надо лишних потерь. Один, два, несколько дней не играют теперь большой роли.

Такой была его реакция на мои доклады и в начале боев за Берлин, и в конце их».

3.

А теперь несколько записей, дающих представление об общем взгляде Жукова на деятельность Сталина как главнокомандующего и его отношение к людям, работавшим в годы войны под его руководством.

Личные эмоции уживаются в этих записях с несомненным стремлением к той справедливости в оценках, которая, как мне кажется, вообще присуща Жукову, несмотря на всю резкость, а порой и непримиримость его характера.

«В стратегических вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к его привычной сфере — политике, и чем в более прямое воздействие с политическими вопросами вступали вопросы стратегии, тем увереннее он чувствовал себя в них.

В вопросах оперативного искусства в начале войны он разбирался плохо. Ощущение, что он владеет оперативными вопросами, у меня лично начало складываться в последний период Сталинградской битвы, а ко времени Курской дуги уже можно было без преувеличения сказать, что он и в этих вопросах чувствует себя вполне уверенным.

Что касается вопросов тактики, строго говоря, он не разбирался в них до самого конца. Да, собственно говоря, ему как Верховному главнокомандующему и не было прямой необходимости разбираться в вопросах тактики. Куда важнее, что его ум и талант позволили ему в ходе войны овладеть оперативным искусством настолько, что, вызывая к себе командующих фронтами и разговаривая с ними на темы, связанные с проведением операций, он проявлял себя как человек, разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих подчиненных. При этом в ряде случаев он находил и подсказывал интересные оперативные решения.

К этому надо добавить, что у него был свой метод овладения конкретным материалом предстоящей операции, метод, который я, вообще говоря, считаю правильным. Перед началом подготовки той или иной операции, перед вызовом командующих фронтами, он заранее встречался с офицерами Генерального штаба — майорами, подполковниками, наблюдавшими за соответствующими оперативными направлениями. Он вызывал их одного за другим на доклад, работал с ними по полтора, по два часа, уточнял с каждым обстановку, разбирался в ней и ко времени своей встречи с командующими фронтами, ко времени постановки

им новых задач оказывался настолько хорошо подготовленным, что порой удивлял их своей осведомленностью.

Помню один из таких разговоров, когда он вдруг спросил меня про какую-то деревню, кем она занята — немцами или нашими. Мне, в то время руководившему действиями двух фронтов, было неизвестно, кем занята эта деревня. Я так и сказал ему об этом. Тогда он подвел меня к карте и, сказав, что эта деревня занята немцами, посоветовал обратить на нее внимание.

— Как населенный пункт она ничего из себя не представляет,— сказал он,— может быть, самой деревни после боев вообще не существует. Но если взять конфигурацию всего участка фронта, то пункт этот существенный и в случае активных действий немцев он может представить для нас известную опасность.

После того как я сам посмотрел на карте конфигурацию этого участка фронта, я должен был согласиться с правильностью его оценки. Это всего лишь один пример такого рода.

Пожалуй, при помощи такого метода он порой любил подчеркнуть перед нами свою осведомленность, но все же главное состояло в том, что его осведомленность была не показной, а действительной, и его предварительная работа с офицерами Генерального штаба для уточнения обстановки перед принятием будущих решений была работой в высшей степени разумной.

В начале войны — говоря так, я в этом смысле отмечаю как рубеж Сталинградскую битву — случалось, что, выслушивая доклады, он иногда делал замечания, свидетельствующие об элементарном непонимании обстановки и недостаточном знании военного дела.

Так, например, было, когда летом 1942 года мне пришлось докладывать ему по Западному фронту об операции, связанной со взятием Погорелого Городища. Я докладывал ему о нанесении двух ударов: справа — главного, слева — вспомогательного. Справа на карте была большая, глубокая красная стрела, слева — небольшая. Обратив внимание на эту вторую стрелу, он спросил:

— А это что такое?

Пришлось объяснить, что малая стрела обозначает вспомогательный удар.

— Какой еще там вспомогательный удар? Какого черта нам разбрасывать силы? Надо сосредоточить их в одном месте, а не разбрасывать.

Пришлось докладывать, как мною задуман этот вспомогательный удар, что, ударив в двух местах, мы должны создать у противника неуверенность, в каком из них наносится главный удар, должны сковать часть его резервов на направлении нашего вспомогательного удара, чтобы он не успел ими сманеврировать, когда на вторые сутки операции обнаружит, где мы в действительности наносим главный удар.

Несмотря на то что мое объяснение, казалось, было убедительным, он остался недоволен им. Я продолжал доказывать свое.

В конце концов он, так и не согласившись с моими доводами, сказал:

— Вас не переубедишь. Вы командующий фронтом и отвечаете за это.

Пришлось ответить, что я понимаю, что я командующий фронтом, и готов нести полную ответственность за то, что я предлагаю.

На этом и закончился тот разговор, довольно характерный для первого периода войны.

Впоследствии, во втором периоде, когда обсуждались планы операции, Сталин, наоборот, не раз сам ставил вопросы: нельзя ли нанести еще вспомогательный удар, продемонстрировать, растащить силы резерва противника? Именно с таким гораздо более глубоким пониманием этих вопросов было связано в дальнейшем планирование целой серии наших последовательных ударов разных фронтов, в особенности так называемых „десяти сталинских ударов“ 1944 года».

«Со времени Сталинграда Сталин придерживался своего собственного подхода к проблемам окружения и уничтожения немецких войск. Ход Сталинградской операции запал ему в память, и он неоднократно возвращался к ее опыту. Когда у нас потом намечалась операция на окружение немцев в районе Кривого Рога, мне пришлось с этим столкнуться в разговоре со Сталиным. Он возразил против наших намерений провести оперативное окружение немцев, с тем чтобы впоследствии завершить его тактическим окружением и уничтожить их в созданном нами котле. Возразил и поставил другую задачу, потребовал, чтоб мы создали угрозу окружения, которая заставила бы немцев поспешно отходить из Криворожского бассейна. Вспомнив при этом Сталинград, он сказал, что так же, как теперь, мы обещали

там окружить и уничтожить немцев за десять дней, а провозились с ними два с лишним месяца.

Схожий разговор произошел со Сталиным и в более поздний период, когда уже в 1944 году с нашим выходом на направление Черновицы — Проскуров нами по общей обстановке намечалось окружение немцев. Во всяком случае, мы об этом думали.

Сталин позвонил и сказал:

— Чувствую, что вы там затеваете окружение.

Пришлось подтвердить, что действительно такая мысль у нас есть и ее подсказывает сама обстановка.

— Не надо этого,— сказал Сталин.— Сколько времени это займет у вас?

Мы ответили, что окружение и последующее уничтожение окруженного противника, очевидно, займет около месяца.

— Месяц,— сказал он,— говорите, месяц? И в Сталинграде то же говорили. А на самом деле займет и два и три месяца. Не надо его окружать на нашей территории. Надо его вышибать. Гнать надо, скорей освобождать землю, весной надо будет сеять, нужен будет хлеб. Надо уменьшить возможность разрушений, пусть уходит. Создайте ему такую обстановку, чтобы быстрей уходил. Надо поскорее выгнать его с нашей территории. Вот наша задача. А окружение будете проводить потом, на территории противника».

«Если говорить о директивах Сталина по использованию тех или иных родов войск, в частности артиллерии, так называемых „сталинских указаниях по военным вопросам“, то с полным правом назвать их так, разумеется, нельзя. Обычно это были соображения, связанные с общим руководством войсками или с действиями тех или иных родов войск. В основе их лежали выводы, сделанные из предыдущего опыта войны, который предстояло использовать для руководства войсками в дальнейшем. Все это, как правило, разрабатывалось командующими родов войск и их штабами, Генеральным штабом, Антоновым, Василевским, мною, затем предлагалось на рассмотрение Сталина и после его утверждения как его указания шло в войска».

«Профессиональные военные знания у Сталина были недостаточными не только в начале войны, но и до самого ее конца. Однако в большинстве случаев ему нельзя было

отказать ни в уме, ни в здравом смысле, ни в понимании обстановки. Анализируя историю войны, надо в каждом конкретном случае по справедливости разбираться в том, как это было. На его совести есть такие приказания и настояния, упорные, не взирая ни на какие возражения, которые плохо и вредно сказывались на деле. Но большинство его приказаний и распоряжений были правильными и справедливыми.

Говоря это, нельзя забыть и о тех тяжелых моментах, которые бывали в разговорах со Сталиным. Однажды я был у него на докладе вместе с Василевским. Василевский докладывал истинную обстановку, не соответствующую ни нашим ожиданиям, ни нашим намерениям. Немцы делали как раз обратное тому, что мы предполагали и чего хотели. Сталина этот неприглядный доклад вывел из себя. Он подошел к Василевскому и в упор спросил его:

— Вы на кого работаете, товарищ Василевский?

Тот не понял:— То есть как, товарищ Сталин?

— Вы на кого работаете, на англичан или на немцев?

Василевский повторил:— Не понимаю вас, товарищ Сталин.

— Что вы не понимаете? Вы делаете такой доклад, как будто вы работаете не на нас, а на англичан...

Василевский побледнел. И когда мы после этого вдруг прервавшегося тяжелого разговора ехали с ним в машине, долго не мог прийти в себя. А утром мы вновь были с ним на докладе у Сталина, и Сталин вел себя так, словно этого вчерашнего разговора вообще никогда не было.

А вообще во второй период войны Сталин не был склонен к поспешности в решении вопросов, обычно выслушивал доклады, в том числе неприятные, не проявляя нервозности, не прерывал и, покуривая, ходил, присаживался, слушал.

В конце войны в нем как отрицательная черта заметна стала некоторая ревность, стало чаще и яснее чувствоваться, что ему хочется, чтобы все победы и успехи были связаны с ним, и что он ревнует к высоким оценкам тех или иных действий тех или иных командующих. Я, например, остро почувствовал это на Параде Победы, когда меня там приветствовали и кричали мне „ура",— ему это не понравилось; я видел, как он стоит и у него ходят желваки».

«Вы спрашиваете, каким был Сталин в начале войны и каким в конце? Что в нем изменилось? Заметна ли была разница?

Прежде всего надо сказать, что Сталин остался Сталиным. Его принципиальные взгляды, привычки, его отношение к обстановке и к людям не претерпели решительных изменений. Само отношение к людям у него осталось прежнее, но война переоценила людей. В ходе войны стали видней, чем в начале, их заслуги, их возможности, их необходимость для дела, и с этим все больше связывалось отношение Сталина к людям. К Коневу, например, в начале войны он относился плохо, снимал с командования фронтами, а позже, когда Конев вступил в командование Степным фронтом и дело у него пошло хорошо, успехи и удачные операции сменяли друг друга, Сталин, видя, как Конев воюет, изменил к нему свое отношение. В ходе войны сам Сталин приобретал опыт и знания, стал понимать многое из того, чего не понимал вначале. Втянулся в военную деятельность, стал глубже и справедливее в своих оценках. А кроме того, он стал вообще гораздо больше считаться с объективной действительностью. Точка зрения — „то, что я решил, может и должно быть“ — уступила место более трезвым позициям, основанным на объективной оценке реальности. „Можно сделать только то, что можно сделать; то, чего нельзя сделать,— нельзя“.

Он все более внимательно прислушивался к советам, возникала взаимосвязь между его стремлением прислушаться и считаться с советами и его все более глубоким пониманием военной обстановки. Одно рождало второе, а второе, в свою очередь, усиливало первое. Более глубокое понимание обстановки толкало на то, чтобы прислушиваться к советам, а прислушиваясь к ним, он все глубже вникал в вопросы войны».

«Как я уже упоминал, в тех разговорах со Сталиным, которые были прямо связаны с ведением военных действий, мне за годы войны неоднократно приходилось выражать свое несогласие и вступать в споры. Очевидно, все это создало у него определенное мнение обо мне.

Когда я был уже снят с должности заместителя министра и командовал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре. Был арестован целый ряд офицеров, встал вопрос о моем аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой неле-

пости и подлости, что пытались изобразить меня человеком, который во главе этих арестованных офицеров готовил военный заговор против Сталина. Но, как мне потом говорили присутствовавшие при этом разговоре люди, Сталин, выслушав предложение Берии о моем аресте, сказал:

— Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя.

Так мне передали этот разговор, после которого попытка Берии покончить со мной провалилась».

4.

Зная, что Жуков уже давно работает над воспоминаниями о своем жизненном пути, я не решался отнимать у него время просьбами рассказать мне свою биографию. Но в ходе наших бесед, главной темой которых была война, само собой вышло так, что он сам от времени до времени обращался к разным — и очень далеким, и более близким — событиям своей жизни, то давал характеристики людей, с которыми его сводила судьба, то высказывал те или иные взгляды на жизнь вообще и на свой собственный жизненный путь, в частности.

Я привожу эту часть наших бесед, хорошо сознавая всю разнохарактерность приведенных здесь записей, в которых, однако, присутствует свойственная Жукову цельность натуры.

«Когда я написал воспоминания о своих детских годах и юности, я перечитал их и подумал: до чего же похожи биографии почти у всех наших генералов и маршалов, почти каждый из какой-то далекой деревеньки или села, почти каждый из бедной, чаще всего крестьянской семьи. Удивительное сходство!

Я иногда задумываюсь над тем, почему именно так, а не иначе сложился мой жизненный путь на войне и вообще в жизни. В сущности я мог бы оказаться в царское время в школе прапорщиков. Я окончил в Брюсовском, бывшем Газетном, переулке четырехклассное училище, которое по тем временам давало достаточный образовательный ценз для поступления в школу прапорщиков.

Когда я девятнадцатилетним парнем пошел на войну солдатом, я с таким же успехом мог пойти и в школу прапорщиков. Но мне этого не захотелось. Я не написал о

своем образовании, сообщил только, что кончил два класса церковноприходской школы, и меня взяли в солдаты. Так, как я и хотел.

На мое решение повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим. Я встретил там, дома, двух прапорщиков из нашей деревни, до того плохих, неудачных, нескладных, что, глядя на них, мне было даже как-то неловко подумать, что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапорщиков и пойду командовать взводом и начальствовать над бывалыми солдатами, над бородачами, и буду в их глазах таким же, как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне не хотелось этого, было неловко.

Я пошел солдатом. Потом кончил унтер-офицерскую школу — учебную команду. Эта команда, я бы сказал, была очень серьезным учебным заведением и готовила унтер-офицеров поосновательнее, чем ныне готовят наши полковые школы.

Прошел на войне солдатскую и унтер-офицерскую науку и после февральской революции был выбран председателем эскадронного комитета, потом членом полкового.

Нельзя сказать, что я был в те годы политически сознательным человеком. Тот или иной берущий за живое лозунг, брошенный в то время в солдатскую среду не только большевиками, но и меньшевиками, и эсерами, много значил и многими подхватывался. Конечно, в душе было общее ощущение, чутье, куда идти. Но в тот момент, в те молодые годы можно было и свернуть с верного пути. Это тоже не было исключено. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером, если бы кончил школу прапорщиков, отличился в боях, получил бы уже другие офицерские чины и к этому времени разразилась бы революция. Куда бы я пошел под влиянием тех или иных обстоятельств, где бы оказался? Может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции? Конечно, потом, через год-другой, я был уже сознательным человеком, уже определил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если бы моя судьба сложилась по-другому, если бы я оказался офицером, кто знает, как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких же людей из народа, как я...»

«Двадцать пять лет я просидел на коне. Был унтер-офицером, комвзводом, комэскадроном, командиром полка, командиром дивизии и корпуса.

Началом была унтер-офицерская служба в царской армии. Роль унтер-офицеров в царской армии была очень велика. По существу, на них лежало все обучение солдат, да и немалая тяжесть повседневного руководства солдатами, в том числе и руководство ими в бою. Среди царских офицеров было немало настоящих трудяг, таких, которые все умели делать сами и делали, не жалея на это ни сил, ни времени. Но большинство все-таки сваливало черновую работу на унтер-офицеров, полагалось на них. И это определяло положение унтер-офицеров в царской армии. Они были хорошо подготовлены, служили серьезно и представляли собой большую силу».

«В 1921 году мне пришлось быть на фронте против Антонова. Надо сказать, это была довольно тяжелая война. В разгар ее против нас действовало около семидесяти тысяч штыков и сабель. Конечно, при этом у антоновцев не хватало ни средней, ни тем более тяжелой артиллерии, не хватало снарядов, бывали перебои с патронами, и они стремились не принимать больших боев. Схватились с нами, отошли, рассыпались, исчезли и возникли снова. Мы считаем, что уничтожили ту или иную бригаду или отряд антоновцев, а они просто рассыпались и тут же рядом снова появились. Серьезность борьбы объяснялась и тем, что среди антоновцев было очень много бывших фронтовиков и в их числе унтер-офицеров. И один такой чуть не отправил меня на тот свет.

В одном из боев наша бригада была потрепана, антоновцы изрядно насыпали нам. Если бы у нас не было полусотни пулеметов, которыми мы прикрылись, нам бы вообще пришлось плохо. Но мы прикрылись ими, оправились и погнали антоновцев.

Незадолго до этого у меня появился исключительный конь. Я взял его в бою, застрелив хозяина. И вот, преследуя антоновцев со своим эскадроном, я увидел, что они повернули мне навстречу. Последовала соответствующая команда, мы рванулись вперед, в атаку. Я не удержал коня. Он вынес меня шагов на сто вперед всего эскадрона. Сначала все шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время преследования я заметил, как мне показалось, кого-то из их командиров, который по снежной тропке — был уже снег — уходил к опушке леса. Я за ним. Он от меня... Догоняю его, вижу, что правой рукой он нахлестывает лошадь плеткой, а шашка у него в ножнах. Догнал его

и, вместо того чтобы стрелять, в горячке кинулся на него с шашкой. Он нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил ее и прямо сходу, без размаха вынеся шашку из ножен, рубанул меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была еще занесена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным для меня движением вынес ее из ножен и на этом же развороте ударил меня поперек груди. На мне был крытый сукном полушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ремень от бинокля. Он пересек все эти ремни, рассек сукно на полушубке, полушубок и выбил меня этим ударом из седла. И не подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, было бы мне плохо.

Потом, когда обыскивали мертвого, посмотрели его документы, письмо, которое он не дописал какой-то Галине, увидели, что это такой же кавалерийский унтер-офицер, как и я, и тоже драгун, только громаднейшего роста. У меня потом еще полмесяца болела грудь от его удара.

Так это было во время антоновщины.

Нашими войсками командовал тогда Тухачевский, а Уборевич был у него заместителем...»

Услышав это, я не удержался и спросил, как он оценивает Уборевича и Тухачевского.

«Обоих ставлю высоко, хотя они были разные люди, с разным опытом.

У Тухачевского был опыт фронтовых операций, а Уборевич командовал в гражданскую войну армией, выше этого тогда не поднимался.

И по общему характеру своего мышления, и по своему военному опыту Тухачевский был более эрудирован в вопросах стратегии. Он много занимался ими, думал над ними и писал о них. У него был глубокий, спокойный, аналитический ум.

Уборевич больше занимался вопросами оперативного искусства и тактикой. Он был большим знатоком и того и другого и непревзойденным воспитателем войск. В этом смысле он, на мой взгляд, был на три головы выше Тухачевского, которому была свойственна некоторая барственность, небрежение к черновой повседневной работе. В этом сказывалось его происхождение и воспитание.

Сталкиваться с ним мне пришлось чаще всего в 1936 году во время разработки нового боевого устава. Нужно

сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Однако занимал высокое положение, был популярен, имел претензии считать себя вполне военным и глубоко знающим военные вопросы человеком. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшемся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Ворошилов очень не любил Тухачевского, и, насколько я знаю, когда возник вопрос о подозрениях по отношению к Тухачевскому, а впоследствии и о его аресте, Ворошилов палец о палец не ударил для того, чтобы его спасти.

Во время разработки устава помню такой эпизод. При всем своем спокойствии Тухачевский умел проявлять твердость и давать отпор, когда считал это необходимым. Тухачевский как председатель комиссии по уставу докладывал Ворошилову как наркому. Я присутствовал при этом. И Ворошилов по какому-то из пунктов, уже не помню сейчас по какому, стал высказывать недовольство и предлагать что-то не шедшее к делу. Тухачевский, выслушав его, сказал своим обычным спокойным голосом:

— Товарищ нарком, комиссия не может принять ваших поправок.

— Почему? — спросил Ворошилов.

— Потому что ваши поправки являются некомпетентными, товарищ нарком.

Он умел давать резкий отпор именно в таком спокойном тоне, что, конечно, не нравилось Ворошилову.

С Уборевичем я работал вместе целых четыре года начиная с 1932-го. Я служил в Инспекции кавалерии у Буденного, а до этого был заместителем командира дивизии в Киевском округе. И вот Уборевич звонит туда, в Киевский округ, к Тимошенко, и спрашивает его, не мог ли бы он рекомендовать кого-либо из кавалеристов, чтобы навести порядок в 4-й кавалерийской дивизии. 4-я кавдивизия раньше была лучшей кавдивизией Первой Конной армии. Потом ее перебросили в Ленинградский военный округ, потом в Белоруссию, в такие места, где надо было все строить заново, занимать дивизию хозяйственным строительством. Командир дивизии оказался неудачным, за два года пребывания в Белоруссии дивизия только

и занималась строительством, запустила боевую подготовку и вообще находилась в отвратительном виде. Тимошенко порекомендовал Уборевичу взять на эту дивизию меня. Уборевич в своем обычном решительном тоне позвонил в Москву Ворошилову и попросил:

— Товарищ нарком, дайте мне на дивизию Жукова, мне его порекомендовал Тимошенко.

Ворошилов ответил, что я работаю в Инспекции кавалерии у Буденного. Но Уборевич настоял на своем:

— В инспекции народу много, там можно найти и другого, а мне нужен командир дивизии, прошу выполнить мою просьбу.

Когда меня вызвали, я, разумеется, был рад пойти на дивизию и выехал в Белорусский округ. Дивизией я еще не командовал, только бригадой.

Поначалу мои отношения с Уборевичем сложились неудачно. Примерно через полгода после того, как я принял дивизию, он влепил мне по чьему-то несправедливому докладу выговор. Была какая-то инспекционная проверка в дивизии, оказалось что-то не так, в итоге выговор в приказе по округу. Выговор несправедливый, потому что за полгода дивизию поставить на ноги невозможно. За полгода с ней можно только познакомиться и начать принимать меры. А сделать все то, что требовалось для приведения дивизии в полный порядок, я за полгода не мог при всем желании. И вот — выговор. Притом заочный. Это был первый выговор за всю мою службу, и, на мой взгляд, повторяю, совершенно несправедливый. Я возмутился и дал телеграмму.

«Командующему войсками округа Уборевичу. Вы крайне несправедливый командующий войсками округа, я не хочу служить с вами и прошу откомандировать меня в любой другой округ. Жуков».

После телеграммы прошло два дня. Звонит Уборевич и вызывает меня к телефону.

— Интересную телеграмму я от вас получил. Вы что, недовольны выговором?

Я отвечаю:— Как же я могу быть довольным, товарищ командующий, когда выговор несправедлив и не заслужен мною?

— Значит, вы считаете, что я несправедлив?

— Да, я так считаю. Иначе не отправил бы вам телеграммы.

— И ставите вопрос о том, чтобы откомандировать вас?

— Ставлю вопрос.

— Подождите с этим. Через две недели будет инспекторская поездка, мы на ней с вами поговорим. Можете подождать со своим рапортом до этого?

— Могу.

— Ну так подождите.

На этом закончился наш разговор.

На инспекторской поездке Уборевич нашел случай, отозвал меня в сторону и сказал:

— Я проверил материалы, по которым вам вынесли выговор, и вижу, что он вынесен неправильно. Продолжайте служить. Будем считать вопрос исчерпанным.

— А выговор могу считать снятым? — спросил я.

— Разумеется, раз я сказал, что он несправедлив.

На этом закончился инцидент.

Впоследствии дивизия стала лучшей в округе и одной из лучших в армии. За два года я привел ее в порядок.

Отношения с Уборевичем сложились хорошие. Я чувствовал, что он работает надо мной. Он присматривался ко мне, давал мне разные задания, вытаскивал меня на доклады. Потом поручил мне на сборе в штабе округа сделать доклад о действиях французской конницы во время сражения на реке По в первую мировую войну.

Этот доклад был для меня делом непривычным и трудным. Тем более что я, командир дивизии, должен был делать этот доклад в присутствии всех командующих родами войск округа и всех командиров корпусов. Но я подготовился к докладу и растерялся только в первый момент: развесил все карты, остановился около них; надо начинать, а я стою и молчу. Но Уборевич сумел помочь мне в этот момент, своим вопросом вызвал меня на разговор, дальше все пошло нормально, и впоследствии он оценил этот доклад как хороший.

Повторяю, я чувствовал, как он терпеливо работает надо мной.

А вообще он был строг. Если во время работы с его участием видел, что кто-то из командиров корпусов отвлекся, он мгновенно, не говоря лишнего слова, ставил ему задачу:

— Товарищ такой-то! Противник вышел отсюда, из такого-то района, туда-то, находится в таком-то пункте. Вы находитесь там-то. Что вы предполагаете делать?

Отвлекшийся командир корпуса начинал бегать глазами по карте, на которой сразу был назван целый ряд

пунктов. Если бы он неотрывно следил, он бы быстро нашел, но раз хоть немножко отвлекся, то все сразу становится трудным. Это, конечно, урок ему. После этого он уже в течение всего сбора не сводит глаз с карты.

Уборевич был бесподобным воспитателем, внимательно наблюдавшим за людьми и знавшим их, требовательным, строгим, великолепно умевшим разъяснить тебе твои ошибки. Очевидность их становилась ясной уже после трехчетырех его фраз. Его строгости боялись, хотя он не был ни резок, ни груб. Но он умел так быстро и так точно показать тебе и другим твои ошибки, твою неправоту в том или ином вопросе, что это держало людей в напряжении».

Во время своего рассказа об Уборевиче, назвав Тимошенко, Жуков вдруг вне связи с предыдущим вернулся к нему и сказал:

«Тимошенко в некоторых сочинениях оценивают совершенно неправильно, изображают его чуть ли не как человека безвольного и заискивающего перед Сталиным. Это неправда. Тимошенко старый и опытный военный, человек настойчивый, волевой и образованный и в тактическом и в оперативном отношении. Во всяком случае, наркомом он был куда лучшим, чем Ворошилов, и за тот короткий период, пока им был, кое-что успел повернуть в армии к лучшему. Случилось так, что после Харьковской катастрофы ему больше не поручалось командовать фронтами, хотя в роли командующего фронтом он мог быть много сильней некоторых других командующих, таких, например, как Еременко. Но Сталин был на него сердит и после Харькова и вообще, и это сказалось на его судьбе на протяжении всей войны. Он был человеком твердым, и как раз он никогда не занимался заискиванием перед Сталиным, если бы он этим занимался, вполне возможно, что он получил бы фронт».

Во время одной из бесед мы заговорили с Жуковым о военных мемуарах. Судя по его отзывам на разные книги и публикации, он внимательно читал почти все, что вышло, и, очевидно, этот вопрос интересовал его еще и потому, что он сам продолжал еще работать над собственными воспоминаниями о войне.

Приведу несколько связанных с этим записей.

«Не знаю, как ваше мнение, но мне кажется, что в мемуарах военачальников не место огромным спискам имен

и огромному количеству боевых эпизодов с упоминаниями тех или иных случаев героизма. В тех случаях, когда это преподносится как личные наблюдения,— это неправда. Ты, командующий фронтом, сам этого не видел, не присутствовал при этом, не знаешь лично человека, о котором идет речь, не представляешь себе подробностей его подвига. В некоторых случаях не знаешь и фамилии человека, совершившего подвиг. В большинстве случаев эти факты в мемуарах берутся из чужих материалов.

Они не характеризуют деятельности командующего фронтом, а порой мешают созданию целостной картины происходящего, изложенной с точки зрения того, кто пишет мемуары. Мне думается, что злоупотребление этим выглядит как ложный демократизм, ложное заигрывание.

Для того чтобы показать, как воюет народ, не обязательно брать из газет того времени или из политдонесений списки фамилий. Когда ты рассказываешь о том, как воюет целый фронт, как воюют входящие в него армии, как воюет вся эта огромная масса людей, какие потери они несут, чего добиваются и как побеждают,— это и есть рассказ о действиях народа на войне.

В ходе войны мы совершили немало ошибок, и об этих ошибках нам надо писать в своих мемуарах. Я, во всяком случае, пишу. В частности, пишу о тех ошибках, которые были у меня как у координатора действий двух фронтов во Львовско-Сандомирской операции, когда мы, имея более чем достаточные для выполнения задачи силы, топтались перед Львовом, а я как координатор действий двух фронтов не использовал эти силы там, где было необходимо, не сманеврировал ими своевременно для успеха более быстрого и решительного, чем тот, который был достигнут.

Большой недостаток некоторых мемуаров, которые я читал,— ограниченность кругозора и командующих армиями, и даже командующих фронтами.

Порой создается странное впечатление, что, казалось бы, опытный и образованный военный человек, действующий на войне в пределах своих разграничительных линий и имеющий соседей справа и слева, забывает о том, что с их действиями связаны не только его неудачи, но и его успехи. Забывает, что справа и слева от него действуют части той же самой советской армии, которым надо отдавать должное так же, как и собственным своим частям, забывает, что все это одна и та же армия, а не какая-то другая и что немцы действуют не специально против его армии или фронта, а против

советской армии в целом, против всех армий, всех фронтов.

И если в данный момент именно он испытывает затруднения, по нему наносится удар, против него немцы сосредоточивают крупные силы, то это связано с тем, что где-то в другом месте у них этих сил нет, что где-то они ослабили напряжение и не наносят удара, и у кого-то из его соседей справа или слева в связи с этим в данный момент легче.

Этот сосед в свою очередь не должен забывать о причинах того, почему ему в данный момент легче. Но и ты, когда пишешь мемуары, не вправе забывать, что успех твоего труда связан с тем, что в это время немцы сосредоточивали силы на другом участке, что там твоим соседям приходилось тяжело.

Нельзя забывать, что ты имел успех не только потому, что ты сам такой умный и хороший и что так хорошо действовали твои войска, но и потому, что для твоего удара сложилась благоприятная обстановка, соседи отвлекли на себя основные силы противника, а ты получил преимущества, легшие в основу твоего успеха.

Но этот твой успех — общий, а не только твой. Точно так же, как если у соседа складывается выгодная обстановка, а у тебя тяжелая, то успех соседа не только его успех, но и твой.

Вот это нередко забывают в воспоминаниях. Пишут так, как будто ведут войну только в своих разграничительных линиях, как будто твои войска нечто совершенно отдельное от всего другого. С такой узостью кругозора принципиально нельзя мириться, не говоря уже о том, что узость эта ведет к целому ряду искажений в оценке самого хода военных действий».

Видимо, то обстоятельство, что в период бесед с ним Жуков продолжал работу над своими воспоминаниями, отразилось на характере некоторых сделанных мною записей. Когда человек, проживший большую жизнь, как бы заново оглядывает ее всю наедине с собой, то какая-то часть его размышлений над собственной жизнью проникает и в его разговоры с собеседниками.

Приведу несколько записей, носящих именно такой характер.

«Бывает, чувствуешь, что все-таки не полностью используешь заложенные в тебе возможности, что в той или другой сфере тебе не хватает знаний, подготовки, система-

тического образования. Жизнь сложилась так, что многого не удалось приобрести. Скажем, знания биологии, естественных наук, с которыми сталкиваешься даже в своих чисто военных размышлениях. Меня никогда не покидало ощущение, что круг моих знаний более узок, чем тот, какой бы мне хотелось иметь и какой я испытывал необходимость иметь по роду своей деятельности. Испытывал и испытываю».

«Я никогда не был самоуверенным человеком. Отсутствие самоуверенности не мешало мне быть решительным в деле. Когда делаешь дело, несешь за него ответственность, решаешь,— тут не место сомнениям в себе или неуверенности. Ты всецело поглощен делом и тем, чтобы всего себя отдать этому делу и сделать все, на что ты способен. Но потом, когда дело закончено, когда размышляешь о сделанном, думаешь не только над прошлым, но и над будущим, обостряется чувство того, что тебе чего-то не хватает, того или иного недостает, что тебе следовало бы знать ряд вещей, которых ты не знаешь, и это снова вернувшееся чувство заставляет все заново передумывать и решать с самим собой: «А не мог бы ты сделать лучше то, что ты сделал, если бы ты обладал всем, чего тебе не хватает?»

Мне многое приходилось осваивать практически, без достаточных, предварительно накопленных широких и разносторонних знаний. Это имело и свою положительную сторону. Отвечая за дело, стремясь поступить наилучшим образом и чувствуя при этом те или иные пробелы в своей общей подготовке, я стремился решать встававшие передо мной вопросы как можно фундаментальнее, стремился докопаться до корня, не позволить себе принять первое попавшееся поверхностное решение. Было повышенное чувство ответственности по отношению к порученному делу, ощущение необходимости до всего дойти своим умом, своим опытом, стремясь тут же непосредственно пополнить свои знания всем тем, что было нужно для дела.

При всей трудности положения иногда в этом была и своя положительная сторона. Кстати сказать, некоторые из наших высокообразованных профессорского типа военных, профессоров, оказавшихся в положении командующих на тех или других фронтах войны, не проявили себя с положительной стороны. В их решениях мне случалось замечать как раз элементы поверхностности. Порой они предлагали поверхностные решения сложных проблем, не укладывав-

шихся в их профессорскую начитанность. В этом состояла оборотная сторона медали — им иногда казалось простым, само собой разумеющимся то, что на самом деле было трудным и что мне, например, казалось очень трудным для решения, да так оно и было в действительности».

«Есть в жизни вещи, которые невозможно забывать. Человек просто-напросто не в состоянии их забыть, но помнить их можно по-разному. Есть три разные памяти. Можно не забывать зло. Это одно. Можно не забывать опыта. Это другое. Можно не забывать прошлого, думая о будущем. Это третье.

Мне пришлось пережить в своей жизни три тяжелых момента. Если говорить о третьем из них, то тут в чем-то, очевидно, виноват и я,— нет дыма без огня. Но пережить это было нелегко.

Когда меня в пятьдесят седьмом году вывели из состава Президиума ЦК и из ЦК и я вернулся после этого домой, я твердо решил не потерять себя, не сломаться, не раскиснуть, не утратить силу воли, как бы ни было тяжело.

Что мне помогло? Я поступил так. Вернувшись, принял снотворное. Проспал несколько часов. Поднялся. Поел. Принял снотворное. Опять заснул. Снова проснулся, снова принял снотворное, снова заснул... Так продолжалось пятнадцать суток, которые я проспал с короткими перерывами. И я как-то пережил все то, что мучило меня, что сидело в памяти. Все то, о чем бы я думал, с чем внутренне спорил бы, что переживал бы в бодрствующем состоянии, все это я пережил, видимо, во сне. Спорил, и доказывал, и огорчался — все во сне. А потом, когда прошли эти пятнадцать суток, поехал на рыбалку.

И лишь после этого написал в ЦК, попросил разрешения уехать лечиться на курорт.

Так я пережил этот тяжелый момент».

* * *

Хочу закончить эти заметки тем же, с чего их начал.

Это не попытка написать биографию Жукова, а именно заметки к ней, и я буду рад, если впоследствии хотя бы часть сказанного и приведенного в них сослужит службу будущим биографам этого во многих отношениях выдающегося человека.

Апрель — май 1968 г.

БЕСЕДЫ С МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. С. КОНЕВЫМ

Барвиха

24 февраля 1965 года

Разговор зашел об оценке в печати и в разговорах той отрицательной роли, которую в подготовке к войне сыграли аресты тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в армии. Я в ходе разговора разделил этот вопрос на три части, вернее, на три проблемы, связанные друг с другом.

Первая — это избиение значительной части головки армии, то есть таких людей, как Тухачевский, Егоров, Якир, Уборевич, Корк, Блюхер, Дыбенко, Белов и ряд других.

Вторая проблема — это аресты, в большинстве случаев с последующим уничтожением, примерно двух третей высшего начальствующего состава — от комбригов до комкоров включительно.

И, наконец, третья проблема — это проблема воздействия самой атмосферы арестов, страха, вызванного этой атмосферой недоверия,— воздействие всего этого на моральный дух армии, на инициативу, на гражданское мужество, на умение, верней, решимость принять на себя ответственность в критической обстановке и так далее.

В связи с этим я вспомнил разговор с одним генералом, который рассказывал о сорок первом годе — как ему было приказано выходить с дивизией в приграничные лагеря без боевых патронов, без мин к минометам, без снарядов к орудиям. В таком положении он и встретил войну. Выслушав этот рассказ, я сказал своему собеседнику, что если бы не тридцать седьмой — тридцать восьмой годы со всей их атмосферой крайнего запугивания кадров, крайнего завинчивания гаек, крайней подозрительности к любому, не говоря уже о протесте,— к любому рапорту, обращению и так далее, то вы бы, очевидно, не вышли в предвоенной обстановке к границе, в лагерь без патронов и без снарядов. Очевидно, вы это считали бы невозможным для себя, вы бы подавали рапорта, вы бы что-то делали, чтобы не оказаться в таком угрожающем положении. И точно так же, как вы, так поступали бы десятки и сотни других военных, которые этого не делали только потому, что были угнетены, доведены до состояния молчания и неразумного повиновения предыдущей атмосферой тридцать седьмого — три-

дцать восьмого годов. Я имею в виду неразумное повиновение приказам нелепым и по существу преступным.

Я, говоря о третьей проблеме, изложил этот разговор Ивану Степановичу Коневу.

О второй и третьей проблемах мы говорили, в общем, мало, и к ним, очевидно, еще предстоит вернуться в разговорах. Хотя в общей форме Иван Степанович подтвердил, что все это имело глубоко отрицательное влияние на начало войны. А что касается первой проблемы — уничтожения головки армии — он высказался более подробно.

По его мнению, когда берут эту проблему отторженно и педалируют на ней, изображая дело так, что если бы эти десять, двенадцать, пять или семь человек не были бы оклеветаны и не погибли бы в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, а были бы во главе армии к началу войны, то вся война выглядела бы по-другому,— это преувеличение. С его точки зрения, если оценивать военный опыт, военный уровень и перспективы этих людей, то тут нужно подходить индивидуально к каждому.

Блюхер, по его мнению, был к тридцать седьмому году человеком с прошлым, но без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от гражданской войны и принадлежал к той категории, которую представляли собой к началу войны Ворошилов, Буденный и некоторые другие бывшие конармейцы, жившие не современными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не лучше Ворошилова или Буденного. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как хасанские события, Блюхер провалил. А кроме того, последнее время он вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился. (Я уже сейчас, записывая это, подумал о том, что этот последний момент мне не кажется достаточно убедительным, потому что в той обстановке, которая создалась к тридцать восьмому году — ко времени хасанских событий, когда Блюхер чувствовал себя уже человеком с головой, положенной под топор, трудно судить его за неудачное проведение операции. Это уже в значительной мере было результатом создавшейся атмосферы, а не только его руководства, хотя, может быть, оно и было неудачным, тут спорить не приходится. Да и опущенность, моральное состояние, пьянство — все это могло быть в значитель-

ной мере последствиями обстановки, создавшейся в армии и, в частности, на Дальнем Востоке вокруг самого Блюхера.— *К. С.*)

Тухачевский, по мнению И. С. Конева, человек даровитый, сильный, волевой, теоретически хорошо подкованный. Это его достоинства. К его недостаткам принадлежал известный налет авантюризма, который проявился еще в польской кампании, в сражении под Варшавой. И. С. Конев говорил, что он подробнейшим образом изучал эту кампанию, и, каковы бы ни были ошибки Егорова, Сталина на Юго-Западном фронте, целиком сваливать на них вину за неудачу под Варшавой Тухачевского не было оснований. Само его движение с оголенными флангами, с растянувшимися коммуникациями и все его поведение в этот период не производят солидного, положительного впечатления. По мнению И. С. Конева, некоторые замашки бонапартистского оттенка были у Тухачевского и потом. Но главным недостатком Тухачевского он считает, что тот не прошел ступень за ступенью всю военную лестницу и, хотя некоторое время был командующим округом, но непосредственно войсками командовал мало, командного опыта после гражданской войны имел недостаточно. Тем не менее если подводить итоги, то Тухачевского можно представить себе на одном из высших командных постов во время Великой Отечественной войны с пользой для дела.

Якир, по мнению Конева, человек умный, со способностями, но без настоящей военной школы, без настоящего военного образования, человек, не лишенный блеска, но не обладавший сколько-нибудь основательным военным опытом для руководства операциями крупного масштаба. Его Конев с трудом представляет себе в роли, скажем, командующего фронтом на Великой Отечественной войне.

Егорова и Корка он считает людьми средних способностей, образованными, знающими, выдержанными, но не блиставшими сколько-нибудь заметными военными дарованиями. Дыбенко и Белова он относит к той категории людей, таких, как Ворошилов и как Буденный, которые в военном отношении были целиком в прошлом, в гражданской войне, и, будь они живы, они были бы обречены на то, чтобы показать в условиях большой войны свою отсталость и беспомощность.

Самым крупным военным деятелем из числа всех погибших И. С. Конев считает Уборевича, оценивает его чрезвычайно высоко. Высоко оценивает его опыт в период

гражданской войны. Высоко оценивает его как командующего округом, как человека, прекрасно знавшего войска, пристально и умело занимавшегося боевой подготовкой, умевшего смотреть вперед и воспитывать кадры. Плюс ко всему сказанному, по мнению И. С. Конева, Уборевич был человеком с незаурядным военным дарованием, в его лице наша армия понесла самую тяжелую потерю, ибо этот человек мог и успешно командовать фронтом, и вообще быть на одной из ведущих ролей в армии во время войны.

Потом И. С. Конев говорил о том, что в общем в Отечественную войну, которая произвела отбор кадров, выдвинулись люди, хотя в большинстве своем и участвовавшие в гражданской войне, но без громкого прошлого за плечами. Это прошлое на них не давило, не навязывало им своих концепций, не заставляло смотреть назад — в гражданскую войну. Они заканчивали оформляться как военачальники уже после гражданской войны, проходили одну за другой нормальные ступени службы и именно поэтому шли вперед, а не останавливались на месте и не жили старым. И то, что из числа именно этих людей выдвинулись все ведущие кадры Великой Отечественной войны, не случайно.

Я согласился с этим, но сказал в ответ, что хотя война и производит отбор кадров, но она производила его после тридцать седьмого и тридцать восьмого годов на суженной, если можно так выразиться, основе. Тот материал, из которого войне предстояло отобрать кадры военачальников, этот материал произволом был сужен втрое,— кто знает, сколько могло выдвинуться способных людей из тех двух третей высшего командного состава, которые были уничтожены в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах и не участвовали в этом отборе кадров войной.

И. С. Конев говорил о том, как после тридцать седьмого года Сталин приглядывался к оставшимся кадрам и брал на заметку людей, которых он собирался выдвигать, на которых собирался делать ставку в будущей войне. Сам он, Конев, ощущал себя одним из таких людей, ощущал на себе внимание Сталина и его заинтересованность.

К таким людям, по его мнению, принадлежали в равной мере Жуков, за выдвижением которого Сталин очень следил и выдвижению которого активно помогал; Павлов, который не оправдал ожиданий Сталина, растерялся в первые дни войны на Западном фронте, но с которым до этого Сталин связывал большие надежды; Маркиан По-

пов, с которым Сталин тоже связывал большие надежды и не ошибался с точки зрения военных данных этого человека, но Попов сам помешал себе выдвинуться своим все усиливавшимся год от года пьянством.

В дальнейшем разговоре о предшествовавших войне военных биографиях ряда командармов, командующих фронтами И. С. Конев проводил мысль, что полноценного военачальника, способного командовать крупными соединениями, может создать только долгая военная школа, прохождение целого ряда ее ступеней — неторопливое, основательное, связанное с устойчивой любовью к пребыванию в войсках, проведению учений, к непосредственному командованию, к действиям в поле. Он, отзываясь о ряде людей, давал понять, что без этого разносторонний человек, с хорошим военным образованием, волевой и имеющий свой почерк в действиях на поле боя не может родиться. Одной штабной подготовки, длительной службы в штабах для этого недостаточно. Без того чтобы покомандовать полком, дивизией, корпусом, трудно стать командиром и командующим фронтом.

Я среди прочих вопросов задал вопрос о том, приходило ли ему как командующему фронтом когда-нибудь в голову, почему Сталин не бывает на фронтах, не посещает фронты, ставил ли он внутренне когда-нибудь это лыко в строку Сталину. Он наотрез сказал, что нет, он об этом никогда не думал, верней, никогда не ощущал как необходимость приездов Сталина на фронт и поэтому и не ждал их и не ставил в упрек Сталину то, что он этого не делает. В этом не было никакой нужды. Находясь в Москве, в Ставке Верховного главнокомандования, Сталин был именно в том месте, где он и должен был находиться, откуда он мог управлять всем, чем ему должно было управлять. Он не был человеком поля боя, он неважно разбирался в топографии, не чувствовал ее. Он воспринимал географию, большие категории, крупные населенные пункты, общую стратегическую обстановку, и, для того чтобы разбираться в этих вопросах, руководить, исходя из этого, ему не было никакой необходимости выезжать на фронт.

О себе И. С. Конев сказал, что к началу войны он безгранично верил Сталину, любил его, находился под его обаянием.

Первые сомнения, связанные со Сталиным, первые разочарования возникли в ходе войны. Взрыв этих чувств был дважды. В первые дни войны, в первые ее недели,

когда он почувствовал, что происходит что-то не то, ощутил утрату волевого начала оттуда, сверху, этого привычного волевого начала, которое исходило от Сталина. Да, у него было тогда ощущение, что Сталин в начале войны растерялся. И второй раз такое же ощущение, еще более сильное, было в начале Московского сражения, когда Сталин, несмотря на явную очевидность этого, несмотря на обращение фронта к нему, не согласился на своевременный отвод войск на можайский рубеж, а потом, когда развернулось немецкое наступление и обстановка стала крайне тяжелой, почти катастрофической, Сталин тоже растерялся.

Именно тогда он позвонил на Западный фронт с почти истерическими словами о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает все, что в его силах, чтобы исправить сложившееся положение». Вот тут И. С. Конев почувствовал крайнюю растерянность Сталина, отсутствие волевого начала.

А когда на фронт приехал с комиссией Молотов, который, вообще говоря, человек крайне неумный, и те, кто о нем жалеет, просто плохо знают его,— вот тогда при участии Молотова попытались свалить всю вину на военных, объявить их ответственными за создавшееся положение,— вот тут у Конева возникло ощущение, что Сталин не соответствует тому представлению о нем, которое сложилось у него, Конева, представлению о чем-то бесконечно сильном. Представление это оставалось, но за ним стоял растерявшийся в тот момент человек. Растерявшийся и во многом виновный.

Но ви́ны считать было не время, и в обстановке этого вакуума, растерянности надо было возмещать своими волями отсутствие воли сверху и делать все возможное для спасения положения.

Потом И. С. Конев коснулся своей биографии. Он пять лет командовал полком и в общей сложности семь лет дивизией, потом — корпусом, потом — армией, потом — фронтом. А начал солдатом. Практически прошел все военные ступени, которые существуют. Прошел все должности,— как он выразился,— и каждая меня учила. Был в Академии Фрунзе, но все-таки главную академию прошел в полку, за пять лет службы командиром полка. Я человек поля. Я, если на что-то способен,— то на поле боя, принимать там решения и учить войска, проводить

учения. Я люблю это страстно. Люблю это и знаю, и умею это делать. К учениям я отношусь с вдохновением. И всегда относился. Будучи командиром полка, относился к этому с вдохновением. Без вдохновенья нет ученья. И вообще, когда я вам рассказывал о боевых действиях, не знаю, почувствовали ли вы это, сумел ли я передать, но я хотел вам показать, что руководство боевыми действиями — это прежде всего вдохновение, кроме всего прочего, кроме остальных факторов, требуется вдохновение и интуиция, чтобы принять ряд решений. Слова Суворова «Тяжело в ученье — легко в бою» для меня не фраза, а основа жизни на протяжении многих лет, основа деятельности.

Для меня было большой радостью, когда на учениях в Московском военном округе Шапошников, после того как я вышел со своим полком на командный пункт «синей» дивизии, смешав все карты и оборвав, по существу, учения, Шапошников мне с глазу на глаз сказал: «У вас есть задатки к вождению войск, чувствуется, что вы можете стать мастером маневра». Мне было и приятно это слышать и немножко даже страшновато, как бы налагало какую-то ответственность за будущие мои действия.

Работал в войсках страстно, днем и ночью. Без страсти нельзя командовать полком. И всегда учился. Учил и учился. Хорошо владел оружием — и наганом, и винтовкой, но хромало дело с пулеметом, с «дегтяревым» и со станковым. А в то время мастера-пулеметчики в стрелковых частях были знаменитые фигуры.

И я изучил пулемет. У меня палатка была на краю всего строя палаток полка в лагере, перед ней поставил станок с пулеметом. Каждый день ко мне приходил Буров — начальник боевого питания полка, замечательный мастер пулеметного дела, старый пулеметчик, и вот мы с ним занимались. Научился разбирать и собирать с закрытыми глазами пулемет, потом — стрельбы, одни, другие, тир. В итоге я оказался в числе трех лучших стрелков из пулемета в полку.

Очевидно, в связи с этим Уборевич, который командовал тогда Московским военным округом, потом вызвал меня на «Выстрел», и там я руководил сбором командиров пулеметных рот. Был затем вызван на сбор Уборевичем в Гороховецкие лагеря. Он приказал мне провести переправу, показать образцовую переправу командирам дивизий, которые никак не могли организовать этой переправы. Я ее осуществил удачно.

Через некоторое время, когда Уборевич был назначен командующим Белорусским военным округом, он забрал меня туда командиром 37-й стрелковой дивизии. Там во время учений в присутствии иностранных гостей я отказался от принятого тогда метода рыть одиночные ячейки и организовал целый укрепленный район с отрытием траншей и ходов сообщения, с возможностью полного маневрирования внутри этого района, не поднимая головы выше уровня земли. Оборудовал командный пункт, на который, кстати сказать, приводили тогдашнего начальника штаба французской армии генерала Гамелена, показывали ему как образцовый командный пункт.

Вот, пожалуй, все, что запомнилось из разговора. Теперь некоторые мысли в связи с этим разговором.

Во-первых, нельзя ставить точку на арестах тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Атмосфера продолжала оставаться напряженной. Хотя в тридцать девятом году довольно много военных выпустили, но и после этого бывали аресты. В частности, перед самой войной, пятнадцатого и шестнадцатого июня,— и в армии это знали — были арестованы ни больше ни меньше как командующий всей авиацией, главный инспектор авиации и начальник войск ПВО Рычагов, Смушкевич и Штерн. Как это могло дополнительно воздействовать на армию в такой момент? Хорошо бы выяснить, что означал этот арест, как все это произошло, по каким мотивам.

Аресты весны и лета сорок первого года, происшедшие после обострения ситуации, после нападения Германии на Югославию и после выявившейся уже совершенно четко опасности войны, видимо, носили тот самый превентивный характер, который носили и другие акции такого рода. Арестованы были Штерн, Смушкевич, Рычагов, ряд командующих авиационными округами, некоторые другие генералы. А ряд людей был подготовлен к аресту. Как теперь выяснилось, должны были арестовать, например, Говорова.

Видимо, цель этой акции — в предвидении войны ликвидировать еще каких-то недостаточно надежных, с точки зрения Сталина или не его прямо, а соответствующих органов и анкет, людей.

Вместо того чтобы в преддверии войны собрать армию в кулак и думать о действительной опасности, об опасности, надвигавшейся на границах, о приведении войск к предельной боевой готовности, думали о том, кто еще

может оказаться изменником, кто еще может оказаться на подозрении, кого еще надо изъять до того, как немцы нападут на нас, если нападут. Вот о чем заботился в это время Сталин. Наряду с другими, конечно, делами. Но эти заботы отнимали у него немало внимания.

А теперь в связи с разговором.

Определение меры ущерба, нанесенного армии арестами тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, выбытием огромного количества командных кадров, в том числе высших,— проблема очень сложная психологически. К ней надо подходить очень осторожно и очень справедливо. В конце концов надо взять как аксиому, что, по нашим представлениям, сложившимся к тридцать седьмому — тридцать восьмому годам, мы не можем делать окончательные выводы о том, кто бы и как воевал в сорок первом году с немцами. Это один из коренных вопросов. Ответить на то, кто из погибших тогда людей как воевал бы с немцами, как мы и в какой срок победили бы немцев, будь живы эти люди,— все это вопросы, к сожалению, умозрительные.

В то же время существует факт непреложный, что те люди, которые остались, выросли в ходе войны и оказались у руководства армией, именно они и выиграли войну, находясь на тех постах, которые они постепенно заняли. И их право — помнить об этом и относиться с известной горячностью и нервозностью к разговорам о том, что все бы пошло по-другому, если бы были живы те, кто погиб в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах.

Мне кажется, что справедливее ставить вопрос в другом аспекте. Неизвестно, как бы воевали Тухачевский или Дыбенко — беру крайние точки,— но не подлежит сомнению, что если бы тридцать седьмого — тридцать восьмого годов не было, и не только в армии, но и в партии, в стране, то мы к сорок первому году были бы несравненно сильней, чем мы были. В том числе и в военном отношении. Во-первых, были бы сильнее, потому что у нас было бы еще несколько сот тысяч передовых, преданных коммунизму людей, которых ни за что ни про что погубили в те годы. Эти люди находились бы на командных постах в стране и в армии, на разных командных постах от самых высоких до самых маленьких. Находились бы не только они, но и они, и они составляли бы больше половины командного состава и в армии, и в промышленности, и в хозяйстве, и в партийных органах. И вот все они без всяких оснований были

уничтожены. И мы начали, если говорить о руководящих кадрах во всех сферах, войну с тридцатью или сорока процентами тех кадров, которые могли бы иметь, не будь тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Тут не надо персонифицировать: такой-то воевал бы так-то, такой-то — так-то. Не в этом дело. Дело в том, что воевали бы и все они, те, которые выбыли. И не только воевали — в армии и партизанских отрядах, но и хозяйствовали, работали в тылу, вообще занимались бы важным делом, вместо того чтобы пилить дрова, рубить лес, если только не были поставлены к стенке.

И наконец, атмосфера. Представим себе войну сорок первого года с иной атмосферой, с тем, что не было тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, не было запуганности, не было недоверия, не было шпиономании. Если бы всего этого не было, очевидно, страна ни в коем случае не оказалась бы такой неготовой к войне, какой она оказалась. Это исключено. Только обстановкой чудовищного террора и его отрыжкой, растянувшейся на ряд лет, можно объяснить нелепые предвоенные распоряжения.

---

6 марта 1965 года

При моем назначении на Степной фронт Сталин вдруг задал мне вопрос:

— А Захаров вам нужен?

Меня такой вопрос насторожил. Почему он об этом спрашивает?

— Как вы его оцениваете? — спросил Сталин прежде, чем я успел ответить.

— Высоко оцениваю,— ответил я.— Он у меня был начальником штаба на Калининском фронте. Это сильный начальник штаба, я его хорошо знаю, положительно оцениваю.

Сталин обратился к присутствовавшему здесь же Жукову:

— А вы как оцениваете Захарова?

Жуков поддержал меня, сказал:

— Я согласен с Коневым в оценке Захарова.

Тогда Сталин расхохотался и говорит:

— Ну вот, видите, какие мнения — высоко оцениваете его, хороший начальник штаба, а Мехлис поставил вопрос о его снятии, о том, что он ему не доверяет.

Так Захаров остался начальником штаба Степного

фронта — он пошел на эту должность до моего назначения,— а я узнал еще об одном очередном художестве Мехлиса.

Однажды летом сорок второго года вдруг Сталин звонит ко мне на фронт и спрашивает:

— Можете ли вы приехать?

— Могу.

— Приезжайте.

Я был тогда на Калининском фронте. Взял самолет, прилетел в Москву. Являюсь к Сталину. У него Жуков и, уже не могу вспомнить, кто-то еще из нашего брата. Сталин с места в карьер спрашивает меня:

— Пьесу Корнейчука «Фронт» в «Правде» читали?

— Читал, товарищ Сталин.

— Какое ваше мнение?

— Очень плохое, товарищ Сталин.

— Почему плохое?

Чувствую, что попадаю не в тон настроения, но уже начал говорить — говорю дальше. Говорю, что неправильно, вредно так высмеивать командующего фронтом. Если плохой командующий, в вашей власти его снять, но, когда командующего фронтом шельмуют, высмеивают в произведении, напечатанном в «Правде», это уже имеет не частное значение, речь идет не о ком-то одном, это бросает тень на всех.

Сталин сердито меня прервал:

— Ничего вы не понимаете. Это политический вопрос, политическая необходимость. В этой пьесе идет борьба с отжившим, устарелым, с теми, кто тянет нас назад. Это хорошая пьеса, в ней правильно поставлен вопрос.

Я сказал, что, по-моему, в пьесе много неправды. В частности, когда Огнев, назначенный вместо командующего фронтом, сам вручает ему предписание о снятии и о своем назначении, то это, с точки зрения любого военного, не лезет ни в какие ворота, так не делается. Тут у меня сорвалась фраза, что я не защищаю Горлова, я скорей из людей, которых подразумевают под Огневым, но в пьесе мне все это не нравится.

Тут Сталин окончательно взъелся на меня:

— Ну да, вы Огнев! Вы не Огнев, вы зазнались. Вы уже тоже зазнались. Вы зарвались, зазнались. Вы военные, вы все понимаете, вы все знаете, а мы, гражданские, не понимаем. Мы лучше вас это понимаем, что надо и что не надо.

Он еще несколько раз возвращался к тому, что я зазнался, и пушил меня, горячо настаивая на правильности и полезности пьесы Корнейчука. Потом он обратился к Жукову:

— А вы какого мнения о пьесе Корнейчука?

Жукову повезло больше, чем мне: оказалось, что он еще не читал этой пьесы, так что весь удар в данном случае пришелся по мне.

Однако — и это характерно для Сталина — потом он дал указание: всем членам Военных советов фронтов опросить командующих и всех высших генералов, какого они мнения о пьесе Корнейчука. И это было сделано. В частности, Булганин разговаривал у нас на фронте с командующим артиллерией Западного фронта генералом Камерой. Тот ему резанул со всей прямотой: «Я бы не знаю что сделал с этим писателем, который написал эту пьесу. Это безобразная пьеса, я бы с ним разделался за такую пьесу». Ну, это, разумеется, пошло в донесение, этот разговор с Камерой.

В следующий мой приезд в Москву Сталин спрашивает меня, кто такой Камера. Пришлось долго убеждать его, что это хороший, сильный командующий артиллерией фронта с большими заслугами в прошлом, таким образом отстаивать Камеру. Это удалось сделать, но, повернись все немного по-другому, отзыв о пьесе Корнейчука мог ему дорого обойтись.

Очень интересной была реакция Сталина на наше предложение присвоить ему звание генералиссимуса. Это было уже после войны. На заседании Политбюро, где обсуждался этот вопрос, присутствовали Жуков, Василевский, я и Рокоссовский (если не ошибаюсь). Сталин сначала отказывался, но мы настойчиво выдвигали это предложение. Я дважды говорил об этом. И должен сказать, что в тот момент искренне считал это необходимым и заслуженным. Мотивировали мы тем, что по статуту русской армии полководцу, одержавшему большие победы, победоносно окончившему кампанию, присваивается такое звание.

Сталин несколько раз прерывал нас, говорил: «Садитесь», а потом сказал о себе в третьем лице:

— Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса. Зачем это нужно товарищу Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без этого имеет авторитет. Это вам нужны звания для авторитета. То-

варищу Сталину не нужны никакие звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для товарища Сталина — генералиссимус. Чан Кайши — генералиссимус, Франко — генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы маршалы, и я маршал, вы что, меня хотите выставить из маршалов? В какие-то генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне.

Пришлось тащить разные исторические книги и статуты и объяснять, что это в четвертый раз в истории русской армии после Меншикова и еще кого-то, и Суворова.

В конце концов он согласился. Но во всей этой сцене была очень характерная для поведения Сталина противоречивость: пренебрежение ко всякому блеску, ко всякому формальному чинопочитанию и в то же время чрезвычайное высокомерие, прятавшееся за той скромностью, которая паче гордости.

* * *

Вы знаете, какая вещь? Сталин очень верил людям, как это ни странно звучит. Он был очень доверчивым человеком. Это была своеобразная сторона его мании величия, его очень высокого мнения о самом себе. И, когда он смотрел на человека, разговаривал с ним, он считал, что человек, глядя ему в глаза, не может ему соврать, что он должен сказать ему правду и говорит ему правду. Вот почему он оказывался доверчивым, и люди преспокойно ему лгали и втирали очки.

И вы не совсем правы, когда говорите, что Сталин знал цену Ежову, Берии, всегда знал и что они были просто орудием в его руках. Это, с одной стороны, так, а с другой стороны, они его и обманывали. В особенности Берия. Это был человек умный, хитрый, сильный, и он был большой мастер втирать очки. Такой авантюрист, который шел на все. И Сталину он втирал очки. Тот считал, что он его не может обмануть, а он его преспокойно обманывал. А Сталин ему доверял. А к старости особенно. Тут сказывалась к старости и национальная черта, возвращалась привязанность национальная: говорил с ним на одном языке — это все тоже играло роль.

В связи с этими словами Конева у меня родилось одно возражение и одна мысль. Возражение такое. Если у Сталина была эта уверенность, что ему не могут врать,— а я склонен в это верить, это очень психологически точно: слепота, рождающаяся в результате сознания собственного

величия, вера в то, что люди не могут солгать, рождающаяся в результате собственного самоощущения. Если это было так — а это, очевидно, было так,— то как объяснить, что, имея это все в душе, в характере, в складе психическом, он не допросил лично никого из своих соратников, посаженных им и казненных в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах? Никого из военных, таких, как Тухачевский, Уборевич, Якир и другие? Почему он не стал с ними разговаривать? Почему он не перепроверил, зная методы допросов, на которые он сам дал санкцию вместе со Ждановым в тридцать шестом году, в конце его? Видимо, не хотел. Видимо, боялся наткнуться на то, что они будут отрицать первоначальные показания, поставят его в сложное положение. Или он должен будет поверить им — тогда надо их выпустить, тогда нет непогрешимости ни у него, ни у НКВД, тогда все это подвергается сомнению; или ему надо будет делать вид, что он им не поверил, а это тоже усложняло дело.

А правда, как мне кажется, заключалась в том, что он, конечно, не верил всем возводимым на них обвинениям, но он охотно шел навстречу этим обвинениям. Он хотел определенную категорию людей ликвидировать, считал, что он справится и без них, а эти люди, связанные с прошлым, связанные с прошлой оценкой его деятельности, относятся к нему в душе слишком критически для того, чтобы он мог их оставить живыми. Они были ему не нужны — так он считал. И они могли исчезнуть.

Ведь при всех реабилитациях тридцать девятого года, которые втихую производились довольно широко, при том, что вернулось тогда довольно много людей, в том числе и военных, это все была относительно мелкая сошка по занимаемым должностям,— конечно, в сравнении с теми, кто прошел по первому военному процессу. Это были комбриги. Не знаю, были ли комдивы. Может, были, но не выше того. Из комкоров и командармов 2-го и 1-го ранга никто не вернулся. На сколько-нибудь известной фигуре правильность действий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов не была поставлена под сомнение; она была поставлена под сомнение только на тех фигурах, об аресте которых товарищ Сталин мог не знать, на арест которых товарищ Сталин мог не давать санкции, арест которых произошел из-за увлечения местных органов, из-за их искривления правильной линии бдительности, из-за их ошибок, из-за их вредных действий. А ни одного такого человека, о ко-

тором могли бы предполагать, что только Сталин мог дать санкцию на его арест, а потом Сталин же его и выпустил, то есть признал свою ошибку, ни одного такого человека — ни военного, ни гражданского — выпущено не было.

А мысль по этому поводу такая. Да, это верно, конечно, что Сталин настолько верил в свою проницательность, что, решившись его обмануть, это было не так трудно сделать, особенно при внутреннем цинизме, той внутренней подлости, которой было достаточно у такого человека, как Берия, скажем. Но, вообще говоря, это ощущение, что ты стоишь перед ним, как стеклянный, что он смотрит и видит тебя насквозь,— это ощущение, пожалуй, возникало не от каких-то качеств его натуры или гипнотической силы его взгляда. Это не он смотрел на нас. Это мы видели себя насквозь его глазами — вот в чем ирония судьбы. Вот в чем, пожалуй, суть всего этого и опасность всего этого. Поэтому человек честный, преданный делу, а через это дело преданный и Сталину, считал, что Сталин видит его насквозь, и говорил ему правду. А человек, переступивший порог, грань цинизма и не веривший ни в дело, ни в Сталина, ни в бога, ни в черта, преспокойно врал ему,— и это ему сходило самым наилучшим образом, как сходило столько раз Берии, несмотря на всю проницательность, которая приписывалась Сталину.

Еще одна мысль в связи с разговорами с Коневым.

Я много думал над тем, в чем секрет того драматического звонка Сталина Коневу под Вязьму, когда Сталин говорил о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает все, что в его силах, чтобы исправить создавшееся положение». В чем дело? Почему он так говорил в тот момент? И вдруг я вспомнил Павлова, Климовских, весь этот июльский расстрел сорок первого года, когда были расстреляны командующий, начальник штаба Западного фронта, еще несколько генералов за мнимую их измену, когда они были объявлены изменниками и предателями, хотя они просто-напросто были, очевидно, людьми, слабо справлявшимися со своими обязанностями, с масштабом этих обязанностей, растерявшимися, но субъективно абсолютно далекими от какого бы то ни было намека на предательство. Значит, когда произошли вот эти тяжкие неудачи начала войны, Сталин думал о предательстве. Он объяснял это

предательством. В какой мере искренне и в какой мере неискренне — это другой вопрос. Я думаю, имело место и то и другое. В какой-то мере он искренне считал сложившуюся ситуацию неожиданной и невероятной, потому что сам до этого отметал от себя всякие тревожные доклады и заставлял докладывать себе в определенном духе. Таким образом, несмотря на весь поворот после финской войны, он все-таки до конца не знал положения, потому что не хотел его знать, считал его лучшим, искренне считал его лучшим, чем оно было, поэтому тяжесть поражений первых недель войны произвела на него особенно потрясающий эффект. Но в то же время — одно вполне могло сочетаться с другим — он считал это простейшим выходом из положения, самым понятным объяснением, отводившим упреки от него, переносившим удар на других. Это было важно для него, потому что период его растерянности первых дней, о котором много говорится,— это период, видимо, психологически сложный. Не просто он растерялся, струсил — он почувствовал ответственность. Он понимал, что ответственность на нем. Он понимал, что неверно оценил политическое положение, не прислушался к сигналам. Все он это понимал. И это тоже является причиной его растерянности первых дней.

И вот тут-то, когда наступил следующий приступ растерянности и отчаяния в критические октябрьские дни,— в этот момент он подумал о себе, как о Павлове и иже с ним, что его теперь могут счесть предателем, его могут счесть изменником после всех неудач, его могут обвинить, как предателя родины, на него могут поднять руку. И психологическое потрясение, сознание, что то обвинение, которое он обращал против других, может быть вдруг в этот критический момент повернуто против него, и вызвали этот крик души.

Представим себе, что самолет наших военно-воздушных сил, посадив на борт все то высшее начальство армии, которое погибло в результате процесса тридцать седьмого года, начиная с Тухачевского, Уборевича и Якира, просто гробанулся, и все эти 10—15—20 человек наиболее видных военачальников нашей армии погибли. И все. И на этом была бы поставлена точка. Сыграло бы это отрицательную роль в войне, которая началась через четыре года после этого? Разумеется, какую-то отрицательную роль сыграло. Но в нормальной обстановке на месте

погибших выросли бы новые кадры, они бы заменили их, концепции и стратегические и оперативные не были бы подвергнуты сомнению, процесс арестов и избиений в армии не развернулся бы, и все это было бы не столь чувствительно. Поэтому абстрактно говорить, что вот были бы эти 15 человек во главе армии, то в сорок первом году было бы все в порядке,— неправильно. Дело не в этих пятнадцати, хотя потеря их очень чувствительна для армии, тем более такая чудовищная потеря и такая трагическая, бессмысленная, нелепая. Дело в том, что вслед за ними были выбиты тысячи людей, что была обезглавлена армия, обезглавлена в самом широком масштабе, когда, если взять тот пример, что приводил Москаленко, на Хасане бригаду вел заместитель командира одного из батальонов или командир роты, потому что командир бригады был посажен и все командиры батальонов тоже. И начальник штаба просил, умолял не сажать его прежде, чем он не сводит бригаду в бой, если не убьют — потом посадят. Но его, конечно, посадили, и не повел он бригаду в бой, а бригаду повел какой-то комроты и засадил ее в болото. Так вот, если бы всего этого не было, то не произвела бы такого оглушительного впечатления гибель даже пятнадцати лучших военачальников. И не произвела бы она таких сокрушительных последствий.

А главное, помимо всех потерь в людях, не было бы той тяжелой атмосферы, разлагавшей армию, и государство, и народ, и партию, которая была создана в результате репрессий тридцать седьмого года, не было бы атмосферы этого всеобщего страха.

И, думая над темой — Сталин и война, очень важно установить для себя этапы психологии Сталина, этапы его отношений к людям, к командующим фронтами в том числе. Это очень важно, потому что этапы это были разные, и личность Сталина как главнокомандующего формировалась во время войны. Сначала, в 37-м году, Сталин считал, что любые кадры «под моим руководством сделают все». Потом, в войну, стало очевидным, что — нет, не любые. Отсюда — перемена отношения к кадрам во время войны.

Размышляя над отношением Сталина к командующим фронтами и другим лицам высшего военного командования, следует напомнить одно немаловажное обстоятельство.

При том, что Сталин соединял в одних руках и власть

председателя Совнаркома, потом Совета Министров, и власть руководителя партии и ее генерального секретаря, среди всех его должностей, которые соединялись все вместе в эту власть, единую власть,— была одна временная, особая, определявшая собой и его временное особое отношение к определенной категории людей. Это должность Верховного главнокомандующего.

По отношению к командующим фронтами Сталин был не только руководитель государства, партии, то есть человек, в этой ипостаси своей находившийся на много ступеней от них, отделенный от них целой иерархией — партийной, государственной. В должности главнокомандующего Сталин был их непосредственным начальником. Это были его прямые подчиненные. И это отражалось на его отношении к ним. Это было временно, на время войны, его собственное ведомство. Его люди, его подчиненные, его самые близкие, непосредственные подчиненные.

В каком-то смысле между ним и этими подчиненными были посредники в качестве представителя Ставки, или заместителя главнокомандующего, или начальника Генерального штаба, но это в одних случаях было, а в других не было. Во многих случаях никакого средостения не было. Был командующий фронтом и над ним Сталин. Сталин и под ним командующий фронтом.

Главнокомандование во время войны для него было новым видом деятельности, и успехи в этом новом виде деятельности, так же как и неудачи, были для него особенно чувствительны. И он гордился своими успехами в этом новом для него виде деятельности и гордился успехами своих подчиненных. Прямых подчиненных, людей, с которыми он повседневно имел дело.

Вот, между прочим, секрет того положения, которое по отношению к командующим занимали члены военных советов. Сталин в конфликтах, возникавших в этих случаях, чаще становился на сторону командующих. Эти четырнадцать или пятнадцать человек были его непосредственные подчиненные как Верховного главнокомандующего.

Это было нечто новое в сфере его деятельности и самое важное на этот период. А членами военных советов могли быть те или другие люди, они могли быть взяты из других сфер деятельности и присланы сюда, могли быть забраны отсюда в другие сферы деятельности. Это для Сталина было дело второе. Члены Военного совета были люди,

работавшие в одной из сфер политической деятельности. Важной, но все-таки лишь одной из сфер, и он с ними считался, конечно, гораздо меньше, чем с командующими фронтами, которые работали в этот период в главной сфере деятельности и казались ему в гораздо большей мере незаменимыми, чем состоявшие при них политические работники.

Конечно, когда членами военных советов были члены Политбюро, такие, как Булганин, Хрущев, Каганович, Жданов, это давало им дополнительный авторитет на фронте в силу их политического положения, но в то же время Сталин с большой простотой и без колебаний заменял их тогда, когда это казалось ему необходимым, другими членами военных советов, просто корпусными комиссарами, старыми армейскими политработниками, которые, по его мнению, могли бы не хуже их исполнять ту конкретную военно-политическую работу, которая связана с положением члена Военного совета.

Тут были оттенки, но не было кардинальной разницы, и когда надо было переменить положение в Ленинграде и постараться его спасти, то Сталин заменил не Жданова на другого члена Военного совета, а командующего фронтом Ворошилова на другого командующего фронтом Жукова.

То же самое в большинстве случаев происходило и в другие критические минуты. Меняли командующих фронтами, потому что считалось, что дело в первую очередь зависит от них. А члены Военного совета сплошь и рядом оставались.

А вот в тех случаях, когда возникал конфликт между командующим фронтом и членом Военного совета, то, как правило, с фронта вынужден был уезжать член Военного совета, оставался командующий. Обычно Сталин принимал именно такое решение, за редким исключением.

Военные — это было его ведомство, его личное ведомство, и он во время войны не давал их в обиду, умел заставить их уважать, склонен был принимать меры для того, чтобы поднять их значение, роль, авторитет и все, что с этим было связано.

О донесениях и сообщениях о некоторых завивах в мозгах у того или иного командующего фронтом или командарма, о том, что мало считается со своим членом Военного совета,— знал, но относился спокойно. «Пока пусть. Придет время, в два счета укоротим».

В противоположность некоторым командующим фронтами он вовсе не думал, что они и после войны останутся или должны остаться в сознании общества фигурами того ранга, которыми их сделала война. Он достаточно сознавал полноту и силу своей власти для того, чтобы, когда понадобится, поставить их на место не только в смысле практическом, но и в смысле даже изменения их места в сознании общества. Он считал, что и это вполне в его власти и возможностях.

Когда была переведена отчаянная радиограмма из Праги во время восстания, в которой открытым текстом передавался призыв ко всем, всем, всем прийти на помощь, и когда состоялся разговор со Сталиным по этому поводу, Сталин сказал по ВЧ недовольным тоном: «Какое там восстание! Какое восстание! Какие-то два дурачка перепугались, заключили соглашение, дали себя обмануть буржуазии». Этот разговор происходил в первые же часы после получения первых радиограмм из Праги. Как впоследствии выяснилось, он был хорошо информирован из каких-то других источников и имел в виду то, что двое коммунистов, вошедших в руководящий комитет Пражского восстания, присоединились к тому решению, согласно которому предполагалось в целях спасения Праги беспрепятственно пропустить через нее войска Шернера.

Кто-то, не помню уже сейчас кто, рассказывал мне о Потсдамской конференции и о том случае, который имел там якобы место. К этому времени труп Гитлера был найден, опознан и где-то хранился в том первозданном виде, в каком его нашли. Кто-то, видимо Берия, или, может быть, Серов, доложив об этом Сталину, предложил не то привезти показать труп, не то поехать посмотреть. Сталин сказал: «Хорошо, завтра утром поеду посмотрю». Потом, когда утром к нему пришли с тем, что нужно ехать, он махнул рукой и сказал: «Не поеду. Пусть Молотов и Берия едут смотрят. Я не поеду».

В одном из наших разговоров я как-то обронил Коневу, что, очевидно, поворот танковых армий на Берлин являлся как бы высшей точкой его военной судьбы. Он довольно резко запротестовал: «Нет, какая же это высшая точка? Это не высшая точка. Ничего общего не имеет с высшей точкой». Потом объяснил свою мысль: «Высшая точка моей военной судьбы — это Москва, Московское сражение, когда терпели поражения от немцев, потом погнали их от Москвы. Вот это высшая точка моей воен-

ной судьбы, как я ее воспринимаю. Потому что, хотя поворот танковых армий на Берлин был важным делом, я горжусь им с точки зрения оперативного искусства и так далее, с точки зрения каких-то собственных оценок своих действий, но это не был поворотный пункт в войне. Это ничего в большом плане не решало...»

В одном из разговоров с И. С. Коневым мне приоткрылись некоторые черты быта Сталина. Видимо, их тоже стоит записать.

Квартира Сталина в Кремле, недалеко от Свердловского зала, была небольшая, кажется, три комнаты и кухня. Большая комната была одновременно и столовой и кабинетом. Во всяком случае, в углу ее стоял письменный стол, на котором лежало много книг и журналов. Некоторые — с закладками. Было ощущение, что Сталин много читал.

Обеденный стол занимал большую часть комнаты. Стол был длинный, но не грандиозный. Очевидно, за ним могли усесться человек пятнадцать-шестнадцать, может быть, немного больше.

Обслуживала Сталина на квартире одна женщина — русская, немолодая — Матрена Ивановна, простая, но очень опытная, вышколенная, в белой косыночке на голове. Очень аккуратная, чистюля.

На столе обычно бывали перцовка, коньяк и всякие вина грузинские, привезенные оттуда, с наклейками, напечатанными на пишущей машинке. Сталин хорошо разбирался в винах и любил говорить о них со знанием дела: какое вино, какими качествами отличается, какое количество его производится, из какой деревни, чем обусловливаются его особенности.

Сталин очень любил напаивать тех, кто пришел к нему в гости, а сам пил мало, во всяком случае, на людях. Пил из небольшой рюмки и обычно только вино. Иногда, как сказал мой собеседник, он пил из этой небольшой рюмки, поставив ее в большой бокал, так, чтобы внешне выглядело, что он поднимает большую посуду в руке. Но я не уяснил себе, как это практически могло быть.

Если остальные собеседники были свои, московские, а гость — приезжий, из округа или с фронта, то он сажал гостя неизменно с правой стороны от себя и оказывал ему по ходу ужина наибольшее внимание. Не любил, когда отказывались пить, но если ссылались на здоровье и если он этому верил, знал, что это действительно так,— хотя

и морщился, но проявлял известную терпимость, заставлял выпить рюмку перцовки, а потом не настаивал. Угощая перцовкой, любил шутить. Если там присутствовал Ворошилов, говорил: «Вот смотрите, какой цвет лица у Ворошилова. Это потому, что он пьет перцовку, поэтому такой здоровый». Тех, кто поддавался на это, он напаивал. Напаивал и своих ближайших соратников. Видимо, это уже вошло у него в привычку и было частью программы, включавшей для него элемент развлечения.

А может быть,— это я уж добавлю от себя — и элемент издевки над людьми, элемент самоощущения своей власти, что он мог сделать с людьми все, мог даже напоить их, невзирая на их возражения.

Принимая кого-то из приезжающих военных на даче — иногда это было на даче,— он после разговора к обеду или к ужину вызывал членов Политбюро, тех или иных, передавая это через Власика, начальника охраны своей, и предполагалось, что все быстро и беспрекословно явятся. Так было заведено.

И, очевидно, не являться (это добавляю от себя) было опасно. Почему не явился? Это выглядело бы как эксцесс, как нечто странное и неожиданное. Думаю, странным и неожиданным выглядел бы ответ, что я занят теми или другими делами. Как так занят другими делами, когда Сталин не занят делами! Допускаю, что какое-то исключение в этом смысле могло делаться только для Молотова в том случае, если он именно в этот момент был занят с иностранцами.

После обеда иногда играли в городки. Сталин сам неплохо играл в городки, кидал как-то странно, тычком, но ловко, выбивая фигуры. Видимо привычно и здорово играли в городки Молотов, Маленков и Каганович. Однажды состоялся матч в городки, на котором с одной стороны играли маршалы, а с другой — гражданские. Так это и было предложено Сталиным. Сам он играл на стороне маршалов. Непривычные, вернее, отвыкшие от игры в городки маршалы играли хуже наторелых гражданских. Сталин был недоволен этим, так как один при всем своем умении не мог выручить свою команду.

На биллиарде он играл неплохо, тихими точными ударами, никогда не бил сильно, тщательно целился. Однажды он играл вдвоем с одним из моих собеседников против Берии и Маленкова. Те оба сильно играли на биллиарде. Сталин взял в компанию моего собеседника, потому что

считал, что тот хорошо играет. Но тот играл посредственно, и они, несмотря на все старания Сталина, чем дальше, тем все безнадежнее проигрывали. Сталин злился, в конце концов бросил кий и прервал игру, перед этим выругав соперников, сказав моему собеседнику: «Ну, где нам с ними играть? Смотрите, какие они бандиты. Это же бандиты. Вы посмотрите на них, какие они». За этими словами слышался еще и призыв посмотреть на то, какие они здоровые, толстые бугаи. В этом смысле мне было рассказано, так и понял.

На мои вопросы по поводу того, не пил ли Сталин сам, следовал один и тот же решительный ответ: нет, он никогда, на памяти моего собеседника, и этого, и других, с кем я до сих пор говорил, пьян не бывал. Любил напоить, но сам пьян не бывал.

Одна любопытная подробность. Уже после войны однажды он, будучи еще, кажется, министром обороны,— Булганин был его первым заместителем,— вызвал несколько военных, шли деловые разговоры, потом встал вопрос об отпуске.

— Как ваше здоровье?

— Здоровье так себе, товарищ Сталин.

— В отпуск идете?

— Да, иду.

— На сколько?

— На полтора месяца.

— Это что, Булганин вам полтора месяца дает?

— Да, больше не положено, товарищ Сталин.

— Как так не положено?

Обращается к Булганину:

— Дайте ему три месяца. И ему три месяца, и ему три месяца, и ему три месяца. Надо понимать, чтó люди вынесли на своих плечах. Какая была тяжесть, как устали. Надо понимать, как устали люди. Что такое полтора месяца? Надо три месяца, чтобы почувствовали, привели себя в порядок, отдохнули, полечились. Как так не понимать? Не понимает этого Булганин, не понимает. Не понимаю, как может не понимать. Нет, не понимает. Что он понимает? Ничего он не понимает.

Примерно такой разговор, за которым, мне кажется, стояла привычка показать себя, обойтись гуманно, широко,— используя свою безграничную власть, конечно, при этом,— понимающе подойти к людям, сделать то, что им другой не сделает, и при этом обрушиться на одного из

своих ближайших помощников, который, конечно, в этом смысле безответен, потому что он сам не может дать три месяца отпуска и обратиться к Сталину, возможно, не может по этому вопросу, потому что Сталин не хочет, чтобы он обратился к нему по этому вопросу, а хочет, чтобы к нему никто не обратился, чтобы он сам, Сталин, сделал это своей властью, своей добротой, своей широтой, вопреки этим бюрократам, этим догматикам, этим мелким, маленьким людям, которые не соображают, сколько надо дать отпуска военному человеку, который так устал на войне, столько сделал.

И, конечно, люди, окружавшие Сталина, хорошо знали эту его повадку и беспрекословно сносили этот момент игры, который был понятен для них и в котором им отводилась роль мальчика для битья по тому или иному поводу. Это была как бы игра, разумеется, придуманная Сталиным, но в то же время от повторения уже казавшаяся заранее условленной между ним и окружавшими его людьми, но производившая сильное впечатление на людей, которые впервые попадали или редко бывали и которых непосредственно касалось это неожиданное внимание, проявленное к ним Сталиным,— вот эта его так называемая забота о человеке. Но в данном случае эта забота о человеке не помешала через два-три года человека, которому с такой широтой давали три месяца отпуска, без всяких причин снять с поста и загнать куда-то в округ.

Перед войной Сталин предоставлял вести Военный совет Ворошилову, тот сидел за председательским столом, а Сталин за крайним столиком в овальном зале справа. Когда оратор выходил на трибуну и докладывал, Сталин, задавая ему вопросы, подходил вплотную и задавал вопросы лицом к лицу, стоя перед этой трибункой.

Характерный, хотя и малозначительный, может быть, диалог:

— Так вы в Монголии запрещаете пить нашим командирам?

— Запрещаю, товарищ Сталин.

— Может быть, не рекомендуете, скажем так.

— Не рекомендую, товарищ Сталин.

— Ну, это другое дело.

Допускаю, что терпимость Сталина к пьющим людям связана с его национальностью, с его грузинскими повадками. И она, эта терпимость, могла рождать мысль о том, что он сам пьет, в то время когда сам он не пил много.

Поездка в Брест.

Сентябрь 1965 года

Перед тем как Жукова первый раз снимали, было заседание Главного военного совета с участием всех маршалов. На нем выступал Сталин. Сталин очень резко говорил о Жукове. Говорил, что он неправильно ведет себя, что у него есть высказывания против правительства, что он преувеличивает свою роль в войне, делает вид, что все победы связаны с ним, дает интервью в иностранную печать.

— Вы читали, что там пишут? — спрашивал Сталин.

Мы, конечно, не читали, что там пишут. В общем, обвинения были самые грозные. И самое грозное сводилось к тому, что Жукову было брошено обвинение, что он плохо отзывается о правительстве. Смысл этого обвинения состоял в том, что он выступает, можно сказать, против правительства.

В речи Сталина приводились, в частности, показания в это время арестованного и сидевшего Новикова. После Сталина выступали Берия, Каганович. Они подбавляли жару, говорили то же самое, развивали его мысли.

Жуков сидел потрясенный всем этим, бледный. Потом Сталин обратился к нам:

— Ну, а вы что скажете?

Я попросил слова. Обстановка для выступления после того, что говорил Сталин, была тяжелой. Но я все же сказал, что, конечно, у Жукова есть ошибки и были ошибки, что с ним трудно работать, что он бывает резок, нетерпим, самолюбив. Но что я считаю — я глубоко в этом убежден,— что Жуков честный человек, то, что там написано про то, что он якобы говорил про правительство, это неправда. Он предан правительству, предан стране. Человек, который не был бы предан стране, не стал бы ползать под огнем на войне, рискуя жизнью, выполняя ваши указания,— это я обратился к Сталину. И в заключение еще раз повторил, что глубоко верю в честность Жукова.

После меня выступал Павел Семенович Рыбалко. Он вообще человек решительный, твердый, и он сказал о Жукове, тоже критикуя его за недостатки, в целом положительно, подчеркнув его честность и преданность Родине. Затем выступил Соколовский. Соколовский говорил

несколько более уклончиво, но в общем, надо отдать ему должное, тоже в целом сказал в защиту Жукова.

Потом выступал Рокоссовский. Говорил витиевато. Мне почувствовалась в его словах обида на то, что в свое время Жуков сдвинул, заменил его на 1-м Белорусском фронте и ему пришлось перейти на второстепенный — 2-й Белорусский фронт. Хотя, конечно, с точки зрения масштабов командующих фронтами это, на мой взгляд, величины несоизмеримые, и сделано это было правильно.

Выступали и другие. Потом снова взял слово Сталин.

Да, когда я выступил, он в конце бросил мне реплику:

— Вот вы говорите тут. А вы знаете, что Жуков пытался присваивать себе вашу победу под Корсунь-Шевченковским? Говорил, что это результат его деятельности.

Я на это ответил, что я этого не знаю, не слышал и что вопрос этот для меня несомненный. И кто бы что ни говорил на эту тему — тут история разберется. На этом сел.

Вот после всех выступлений выступал Сталин. Он опять говорил резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова после этого Военного совета. Но, почувствовав наше внутреннее, да и не только внутреннее, сопротивление, почувствовав известную солидарность военных по отношению к Жукову и оценке его деятельности, он, видимо, сориентировался и отступил от первоначального намерения. Так мне показалось.

В итоге Жуков был снят со своего поста и назначен командующим Одесским военным округом.

Так проходил этот Военный совет. Он должен много дать для понимания всей последующей обстановки в армии, многих личных отношений, сложившихся впоследствии. Историкам, которые этим будут заниматься, надо найти и прочесть протокол этого Военного совета.

БЕСЕДЫ С АДМИРАЛОМ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. С. ИСАКОВЫМ

21 мая 1962 года

Человек, рассказывавший мне все это, стремился быть предельно объективным, стремился рассказать о разных чертах Сталина — и привлекавших и отталкивавших. Воспоминания касались главным образом предвоенных лет, отчасти военных. Буду приводить их так, как запомнил, не соблюдая последовательности.

По-моему, это было вскоре после убийства Кирова. Я в то время состоял в одной из комиссий, связанных с крупным военным строительством. Заседания этой комиссии происходили регулярно каждую неделю — иногда в кабинете у Сталина, иногда в других местах. После таких заседаний бывали иногда ужины в довольно узком кругу или смотрели кино, тоже в довольно узком кругу. Смотрели и одновременно выпивали и закусывали.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, ужин происходил в одной из нижних комнат: довольно узкий зал, сравнительно небольшой, заставленный со всех сторон книжными шкафами. А к этому залу от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли часовые — не часовые, а дежурные офицеры НКВД. Помню, после заседания пришли мы в этот зал, и, еще не садясь за стол, Сталин вдруг сказал: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идешь мимо них по коридору и думаешь...» Я, как и все, слушал это в молчании. Тогда этот случай меня потряс. Сейчас, спустя много лет, он мне кое-что, пожалуй, объясняет в жизни и поведении Сталина.

Второй случай.

Я вернулся из поездки на Север. Там строили один военный объект, крупное предприятие. А дорога к этому объекту никуда не годилась. Сначала там через болото провели шоссе, которое было, как подушка, и все шевелилось, когда проезжали машины, а потом, чтобы ускорить дело, не закончив строительство железной дороги,

просто положили на это шоссе сверху железнодорожное полотно. Часть пути приходилось ехать на машинах, часть на дрезинах или на железнодорожном составе, который состоял всего из двух грузовых вагонов. В общем ерунда, так дело не делается.

Я был в составе комиссии, в которую входили представители разных ведомств. Руководитель комиссии не имел касательства к Наркомату путей сообщения, поэтому не был заинтересован в дороге. Несмотря на мои возражения, докладывая Сталину, он сказал, что все хорошо, все в порядке, и формально был прав, потому что по линии объекта, находившегося непосредственно в его подчинении, все действительно было в порядке, а о дороге он даже не заикнулся. Тогда я попросил слова и, горячась, сказал об этой железнодорожной ветке, о том, что это не лезет ни в какие ворота, что так мы предприятия не построим и что вообще эта накладка железнодорожных путей на шоссе, причем единственное,— не что иное, как вредительство. Тогда «вредительство» относилось к терминологии, можно сказать, модной, бывшей в ходу, и я употребил именно это выражение.

Сталин дослушал до конца, потом сказал спокойно: «Вы довольно убедительно, товарищ (он назвал мою фамилию), проанализировали состояние дела. Действительно, объективно говоря, эта дорога в таком виде, в каком она сейчас есть, не что иное, как вредительство. Но прежде всего тут надо выяснить, кто вредитель? Я — вредитель. Я дал указание построить эту дорогу. Доложили мне, что другого выхода нет, что это ускорит темпы, подробностей не доложили, доложили в общих чертах. Я согласился для ускорения темпов. Так что вредитель в данном случае я. Восстановим истину. А теперь давайте принимать решение, как быть в дальнейшем».

Это был один из многих случаев, когда он демонстрировал и чувство юмора, в высшей степени ему свойственное, очень своеобразного юмора, и в общем-то способность сказать о своей ошибке или заблуждении, сказать самому.

Третий случай.

Стоял вопрос о строительстве крупных кораблей. Был спроектирован линкор, по всем основным данным первоклассный в то время. Предполагалось, что это будут наиболее мощные линкоры в мире. В то же время на этом линкоре было запроектировано всего шесть крупнокалиберных зенитных орудий. Происходило заседание в Сове-

те Труда и Обороны под председательством Сталина. Докладывала комиссия. Ну, доложили. Я был не согласен и долго до этого боролся на разных этапах, но сломить упорство моих коллег по комиссии не мог. Пришлось говорить здесь. Я сказал, что на английских линкорах менее мощного типа ставятся не менее двенадцати зенитных орудий, а если мы, не учитывая развитие авиации, ее перспективы, поставим на наши новые линкоры такое малое количество крупнокалиберных орудий, то этим самым мы обречем их на то, что их потопит авиация, и миллиарды пустим на ветер. Лучше затратить большие деньги, но переделать проект. Я понимал, что переделка будет основательная, потому что это непросто — поставить орудия, увеличение количества орудий связано с целым рядом конструктивных изменений, с установкой целых новых отсеков, с изменением сочетаний всех основных показателей корабля. В общем, это большая неприятность для проектировщиков. Но тем не менее я не видел другого выхода. Со мной стали спорить, я тоже спорил и, горячась, спорил. Последний гвоздь в мой гроб забил Ворошилов, сказавший: «Что он хочет? На ростовском мосту, на котором сидит весь Кавказ и все Закавказье, все коммуникации,— на нем у нас стоят восемь зенитных орудий. А на один линкор ему мало шести!»

Это всем показалось очень убедительным, хотя на самом деле ничего убедительного в этом не было. На мосту стояло мало зенитной артиллерии, на мосту, к которому подвешены целые фронты, должно было стоять гораздо больше артиллерии. Да и вообще это не имело никакого отношения к линкорам. Но внешне это было убедительно, и дело уже шло к тому, чтобы утвердить проект.

Я был подавлен, отошел в сторону, сел на стул. Сел и сижу, мысли мои ушли куда-то, как это иногда бывает, совершенно далеко. Я понял, что здесь я не проломлю стенки, и под общий гул голосов заканчивавшегося заседания думал о чем-то другом, не помню сейчас о чем... И вдруг, как иногда человека выводит из состояния задумчивости шум, так меня вывела внезапно установившаяся тишина. Я поднял глаза и увидел, что передо мной стоит Сталин.

— Зачем товарищ Исаков такой грустный? А?

Тишина установилась двойная. Во-первых, оттого, что он подошел ко мне, во-вторых, оттого, что он заговорил.

— Интересно,— повторил он,— почему товарищ Исаков такой грустный?

Я встал и сказал:

— Товарищ Сталин, я высказал свою точку зрения, ее не приняли, а я ее по-прежнему считаю правильной.

— Так,— сказал он и отошел к столу.— Значит, утверждаем в основном проект?

Все хором сказали, что утверждаем.

Тогда он сказал:

— И внесем туда одно дополнение: «с учетом установки дополнительно еще четырех зенитных орудий того же калибра». Это вас будет устраивать, товарищ Исаков?

Меня это не вполне устраивало, но я уже понял, что это максимум того, на что можно рассчитывать, что все равно ничего большего никогда и нигде мне не удастся добиться, и сказал:

— Да, конечно, спасибо, товарищ Сталин.

— Значит, так и запишем,— заключил он заседание.

Еще одно воспоминание... Или нет, сначала вообще о том, как он вел заседания.

Надо сказать, что он вел заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводил итоги. Так было в тех случаях, когда он не становился на совершенно определенную точку зрения с самого начала. Ну, речь идет в данном случае, разумеется, о вопросах военных, технических и военных, а не общеполитических. На них я, к сожалению, не присутствовал.

Когда же у него было ощущение предварительное, что вопрос в генеральном направлении нужно решить таким, а не иным образом,— это называлось «подготовить вопрос», так, кстати, и до сих пор называется,— он вызывал двух-трех человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении. И людям, которые уже не по первому разу присутствовали на таких заседаниях, было по выступлениям этих людей ясно, куда клонится дело. Но и при таких обсуждениях, тем не менее, он не торопился, не обрывал и не мешал высказать иные точки зрения, которые иногда какими-то своими частностями, сто-

ронами попадали в орбиту его зрения и входили в последующие его резюме и выработанные на их основе резолюции, то есть учитывались тоже, несмотря на предрешенность,— в какой-то мере, конечно.

И еще одна история.

Это было тоже в середине тридцатых годов. Не помню, кажется, это было после парада 1 Мая, когда принимались участники парада. Ну, это так называется «участники парада», это были не командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования. Не помню уже точно, в каком году это было, но помню, что в этот раз зашла речь о скорейшем развертывании строительства Тихоокеанского флота, а я по своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином во главе стола сидел Сталин и рядом с ним сидел Жданов. Жданов вел стол, а Сталин ему довольно явственно подсказывал, за кого и когда пить и о ком (в известной мере даже что) говорить.

Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не бываю, на этот раз вдруг почему-то очень крепко выпил. И понимая, что очень крепко выпил, всю энергию употреблял на то, чтобы держаться, чтобы со стороны не было заметно.

Однако когда Сталин, вернее, Жданов по подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за которого еще не пили, поднял тост за меня, я в ответ встал и тоже выпил. Все уже стали вставать из-за столов, все смешалось, и я подошел к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошел к нему и сказал:

— Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.

И взял его под руку и повел к громадной карте, которая висела как раз напротив того места, где я сидел за столом. Видимо, эта карта Дальневосточного театра и навела меня на эту пьяную мысль: именно сейчас доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем, связанных со строительством Тихоокеанского флота. Я подвел его к карте и стал ему показывать, в какую мышеловку попадает наш флот из-за того, что мы не вернем Сахалин. Я ему сказал:

— Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. По-

ка мы не возвратим этот Южный Сахалин, до тех пор у нас все равно не будет выхода в океан.

Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сказал:

— Подождите, будет вам Южный Сахалин!

Но я это воспринял как шутку и снова стал убеждать его с пьяным упорством, что флот наш будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там большой флот.

— Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! — повторил он уже немного сердито, но в то же время усмехаясь.

Я стал говорить что-то еще, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо было, все столпились вокруг нас, и сказал:

— Вот, понимаете, требует от меня Исаков, чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему отвечаю, что будем обладать, а он не верит мне...

Этот разговор вспомнился мне потом, в сорок пятом году. Тогда он мне вспомнился, не мог не вспомниться.

Еще одно воспоминание.

Сталин в гневе был страшен, вернее, опасен, трудно было на него смотреть в это время и трудно было присутствовать при таких сценах. Я присутствовал при нескольких таких сильных вспышках гнева, но все происходило не так, как можно себе представить, не зная этого.

Вот одна из таких вспышек гнева, как это выглядело.

Но прежде чем говорить о том, как это выглядело в этом конкретном случае, хочу сказать вообще о том, с чем у меня связываются воспоминания об этих вспышках гнева. В прусском уставе еще бог весть с каких времен, чуть ли не с Фридриха, в уставе, действующем и сейчас в германской армии, в обоих — восточной и западной, между прочим, есть такое правило: назначать меры дисциплинарного взыскания нельзя в тот день, когда совершен проступок. А надо сделать это не ранее, чем на следующий день. То есть можно сказать, что вы за это будете отправлены на гауптвахту, но на сколько суток — на пять, на десять, на двадцать,— этого сказать сразу нельзя, не положено. Это можно определить на следующий день. Для чего это делается? Для повышения авторитета командира, для того, чтобы он имел время обдумать свое решение, чтобы не принял его сгоряча, чтобы не вышло так, что он

назначит слишком слабое или слишком сильное наказание, не выяснив всего и не обдумав на холодную голову. В результате всем будет ясно, что это неверное приказание, а отменить он уже не сможет, потому что оно, это взыскание, будет уже наложено. Вот это первое, что вспоминается мне, когда я думаю о гневе Сталина. У него было — во всяком случае в те времена, о которых я вспоминаю,— такое обыкновение — задержать немного решение, которое он собирался принять в гневе.

Второе, вторая ассоциация. Видели ли вы, как в зоологическом парке тигры играют с тигрятами? Это очень интересное зрелище. Он лежит ленивый, большой, величественный, а тигренок к нему лезет, лезет, лезет. Тормошит его, кусает, надоедает... Потом вдруг тигр заносит лапу и ударяет его, но в самую последнюю секунду задерживает удар, девять десятых удара придерживает и ударяет только одной десятой всей своей силы. Удерживает, помня всю мощь этой лапы и понимая, что если ударить всей силой, то он сломает хребет, убьет...

Эта ассоциация тоже у меня возникла в связи с теми моими воспоминаниями, о которых я говорю.

Вот одно из них. Это происходило на Военном совете, незадолго до войны, совсем незадолго, перед самой войной. Речь шла об аварийности в авиации, аварийность была большая. Сталин по своей привычке, как обычно на таких заседаниях, курил трубку и ходил вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины.

Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда Военно-воздушными силами Рычагова. Он был, кажется, генерал-лейтенантом, вообще был молод, а уж выглядел совершенным мальчишкой по внешности. И вот когда до него дошла очередь, он вдруг говорит:

— Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах.

Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина. Стоял только Рычагов, еще не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Вообще-то он ходил, но когда Рычагов сказал это, Сталин остановился.

Скажу свое мнение. Говорить это в такой форме на Военном совете не следовало. Сталин много усилий от·

давал авиации, много ею занимался и разбирался в связанных с нею вопросах довольно основательно, во всяком случае, куда более основательно, чем большинство людей, возглавлявших в то время Наркомат обороны. Он гораздо лучше знал авиацию. Несомненно, эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и это все понимали.

Сталин остановился и молчал. Все ждали, что будет.

Он постоял, потом пошел мимо стола, в том же направлении, в каком и шел. Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад в полной тишине, снова повернулся и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса:

— Вы не должны были так сказать!

И пошел опять. Опять дошел до конца, повернулся снова, прошел всю комнату, опять повернулся и остановился почти на том же самом месте, что и в первый раз, снова сказал тем же низким спокойным голосом:

— Вы не должны были так сказать,— и, сделав крошечную паузу, добавил:— Заседание закрывается.

И первым вышел из комнаты.

Все стали собирать свои папки, портфели, ушли, ожидая, что будет дальше.

Ни завтра, ни послезавтра, ни через два дня, ни через три ничего не было. А через неделю Рычагов был арестован и исчез навсегда.

Вот так это происходило. Вот так выглядела вспышка гнева у Сталина.

Когда я сказал, что видел Сталина во гневе только несколько раз, надо учесть, что он умел прятать свои чувства, и умел это очень хорошо. Для этого у него были давно выработанные навыки. Он ходил, отворачивался, смотрел в пол, курил трубку, возился с ней... Все это были средства для того, чтобы сдержать себя, не проявить своих чувств, не выдать их. И это надо было знать для того, чтобы учитывать, что значит в те или иные минуты это его мнимое спокойствие.

20 сентября 1962 года

Бывший командующий фронтом Рокоссовский рассказал мне, как он случайно оказался свидетелем последнего разговора Сталина с Козловым, уже смещенным с должности командующего Крымским фронтом после Керченской катастрофы.

Рокоссовский получил новое назначение, кажется, шел с армии на фронт. Это было в конце мая или в июне 1942 года. В самом конце разговора у Сталина на эту тему, когда Рокоссовский уже собирался попрощаться, вошел Поскребышев и сказал, что прибыл и ждет приема Козлов. Сталин сначала было простился с Рокоссовским, а потом вдруг задержал его и сказал:

— Подождите немного, тут у меня будет один разговор, интересный, может быть, для вас. Побудьте.

И, обращаясь к Поскребышеву, приказал вызвать Козлова. Козлов вошел, и хотя это было вскоре после Керченской катастрофы, все это было еще очень свежо в памяти, Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал:

— Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы?

Козлов, который сам попросился на прием к Сталину после того как был издан приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему, что он делал все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил он все это в очень взвинченном, истерическом тоне.

Сталин спокойно выслушал его, не перебивая. Слушал долго. Потом спросил:

— У вас все?

— Да.

— Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что были должны сделать.

В ответ на эти слова, сказанные очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым.

Сталин спокойно остановил его и спросил:

— Подождите, товарищ Козлов! Скажите, кто был у вас командующим фронтом, вы или Мехлис?

— Я.

— Значит, вы командовали фронтом?

— Да.

— Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте?

— Да, но...

— Вы как командующий отвечали за ход операции?

— Да, но...

— Подождите. Мехлис не был командующим фронтом?

— Не был...

— Значит, вы командующий фронтом, а Мехлис не командующий фронтом? Значит, вы должны были командовать, а не Мехлис, да?

— Да, но...

— Подождите. Вы командующий фронтом?

— Я, но он мне не давал командовать.

— Почему же вы не позвонили и не сообщили?

— Я хотел позвонить, но не имел возможности.

— Почему?

— Со мною все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне пришлось бы звонить в его присутствии.

— Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии?

Молчит.

— Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в его присутствии? Очевидно, вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев?

— Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин,— воскликнул Козлов.

— Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А теперь хочу вас спросить: почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали за действия фронта, с вас за это спрашивается, вы за это смещены. Я считаю, что все правильно сделано с вами, товарищ Козлов.

Потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, сказал:

— Вот какой интересный разговор, товарищ Рокоссовский.

После этого Исаков рассказал мне о том, как он был дважды поздней осенью, вернее, зимой сорок первого года у Сталина в его подземном кабинете в Кремле — и оба раза мой собеседник был там во время воздушных тревог, в часы, когда Сталин спускался туда.

Любопытная подробность, что из себя представлял этот кабинет: ход туда был обыкновенный, забетонированный, со всеми полагающимися в таких случаях устройствами, но когда вы из тамбура входили в самый кабинет, то вы как бы оказывались не внизу, а наверху. Это был точно такой же кабинет, как кабинет Сталина в ЦК. Такие же высокие дубовые панели, такой же стол, стулья, такой же письменный стол, те же портреты Ленина и Маркса на стене, и даже гардины висели такие же самые, закрывая несуществующие окна. Только (это даже не сразу бросалось в глаза) площадь кабинета была раза в два меньше того, верхнего.

Одна из встреч в этом кабинете была очень короткой. Это было через несколько дней после начала войны между Японией и Америкой. Сталин поздоровался с Исаковым, пожал ему руку и сказал:

— Поезжайте на Дальний Восток. Посмотрите, как там обстоят дела, чтобы японцы не устроили нам тоже Пирл-Харбор. Ясна вам задача?

— Ясна.

— Поезжайте.

Вот и весь разговор. Задача была действительно ясна.

На этом свидании присутствовал и Апанасенко, в то время командующий Дальневосточным фронтом. Он просил танков, указывая, что у японцев в составе Квантунской армии большие танковые силы, а у нас на Дальнем Востоке совершенно нет новых Т-34. Апанасенко говорил об этом в нервном тоне и просил дать ему много танков, чуть ли не корпус.

Сталин сказал:

— Нет, мы не можем дать вам танки. Он еще не воюет, а хочет танков! Танки нам здесь нужны, где мы воюем: нам их и здесь не хватает.

Потом обратился, как помнится Исакову, к Шапошникову и сказал:

— Нам танки надо будет дать все-таки товарищу Апанасенко, чтобы они знали, что такое «тридцатьчетверки», чтобы обучались ими владеть, чтобы можно было пропустить часть людей через эти танки.

С тем Апанасенко и уехал.

Второй раз мой собеседник был в этом подземном кабинете уже в конце зимы сорок первого — сорок второго года, после возвращения с Дальнего Востока. Сначала докладывал, а потом присутствовал при докладе Щаденко, ведавшего тогда вопросами формирования.

Щаденко докладывал о сложности пополнения частей обученными кадрами. Сложности эти, уже обнаружившиеся к тому времени, были связаны с тем, что во многих национальных республиках почти не было обученных национальных кадров, прошедших действительную военную службу. В связи с этим Сталин сказал буквально следующее:

— Вы говорите, что некоторые национальные кадры плохо воюют. А что вы хотите?! Те народы, которые десятилетиями откупались от воинской повинности и у которых никогда не было своей военной интеллигенции, все равно не будут хорошо воевать, не могут хорошо воевать при том положении, которое исторически сложилось.

Рассказывая об этом, мой собеседник перешел к тому впечатлению, которое произвел на него Сталин в эти два посещения.

За две недели до войны я докладывал Сталину по разным текущим вопросам. Это были действительно текущие вопросы и некоторые из них даже не были срочные. Я помню это свидание и абсолютно уверен, что Сталин был тогда совершенно убежден в том, что войны не будет, что немцы на нас не нападут. Он был абсолютно в этом убежден. Когда несколькими днями позднее я докладывал своему прямому начальнику о тех сведениях, которые свидетельствовали о совершенно очевидных симптомах подготовки немцев к войне и близком ее начале, и просил его доложить об этом Сталину, то мой прямой начальник сказал:

— Да говорили ему уже, говорили... Все это он знает. Все знает, думаешь, не знает? Знает. Все знает!

Я несу тоже свою долю ответственности за то, что не перешагнул через это и не предпринял попытки лично доложить Сталину то, что я докладывал своему прямому начальнику. Но, чувствуя на себе бремя этой вины и не снимая ее с себя, должен сказать, что слова эти, что Сталин «все знает», были для меня в сочетании с тем авторитетом, которым пользовался тогда в моих глазах Сталин, убедительными.

Я много раз на протяжении ряда лет своей службы убеждался, что Сталин действительно имел великолепную информацию по разным каналам: по линии партийных и

советских органов, по линии НКВД и по линии разведки. Бывало часто так, что мы еще только собирались о чем-то информировать, а он уже знал о случившемся. Например, в случаях крупных авиационных аварий, морских аварий, различных происшествий на крупных объектах в армии. Соответствующее начальство, понимая, что как ни неприятно, но надо об очередной аварии или происшествии доносить, составляло донесения в предварительной форме. Скажем: «Произошла воздушная катастрофа в таком-то районе, причины выясняются и будут доложены». Или: «Произошло столкновение кораблей, создана комиссия. Размеры аварии и количество жертв выясняются».

Писали так, оттягивая время, хотя уже знали, что один из кораблей пошел на дно, другой находится в доке. Погибло при этом 62 человека. Те, кто за это отвечал, склонны были доносить таким образом, чтобы оттягивать дальнейшее созданием различных комиссий и т. п. Но те, кто не отвечал за это, наоборот, спешили донести Сталину и даже соревновались, кто скорее донесет о случившемся. И он почти всегда имел информацию с какой-то другой стороны, а не с той, которая обязана была донести о случившемся и лежавшей на ней ответственности.

Помню один звонок Сталина, когда мы с моим непосредственным начальником обсуждали, как донести о случившейся аварии, в которой погибло несколько десятков человек, когда Сталин позвонил и спросил:

— Что у вас там произошло?

Мой непосредственный начальник стал говорить, что выясняется, уточняется...

В ответ на это Сталин сказал:

— Вы выясняете — это хорошо. Только не забудьте уточнить: 62 человека погибло или 63?

Таким образом, у меня было чувство, что он действительно знает все, что ему будут докладывать, что я не скажу новости. Я не оправдываюсь этим, так и было, ему, конечно, докладывали, и по многим каналам. Но он имел предвзятое мнение, которое вообще в военном деле самое страшное из всех возможных вещей,— когда у командующего, у человека, стоящего во главе, твердое предвзятое мнение относительно того, как будет действовать противник и как развернутся события. Это одна из самых частых причин самых больших катастроф.

Насколько я помню, Сталин был очень потрясен случившимся — таким началом войны. Он категорически

не допускал этой возможности. Размеры потрясения были связаны и с масштабом ответственности, а также и с тем, что Сталину, привыкшему к полному повиновению, к абсолютной власти, к отсутствию сопротивления своей воле, вдруг пришлось в первые же дни войны столкнуться с силой, которая в тот момент оказалась сильнее его. Ему была противопоставлена сила, с которой он в тот момент не мог совладать. Это было потрясение огромное, насколько я знаю, он несколько дней находился в состоянии, близком к прострации. Думаю, что с этим связано и то, что не он, а Молотов выступил по радио и говорил о начале войны, хотя естественно было бы ждать такого выступления именно Сталина. И только третьего июля Сталин заговорил и заговорил так, как он никогда не говорил до тех пор, заговорил словами: «Братья и сестры...» В этой речи я лично чувствовал присутствие глубокого человеческого потрясения у человека, произносившего ее.

Так вот, когда я увидел Сталина в начале декабря сорок первого года, а я его до этого во время войны не видел,— Сталин уже был точно таким, каким он был раньше. Это был прежний, все тот же Сталин. Та же медлительность, то же хождение мягкими шагами, чаще всего сзади стульев, на которых сидят присутствующие, та же ленивая размеренность шагов. Та же тщательно выработанная медлительная манера речи, с короткими абзацами и длинными паузами, тот же низкий, спокойный голос.

Трудно сказать, был ли он сдержан вообще, очевидно, нет. Но личину эту он давно надел на себя, как шкуру, к которой привык до такой степени, что она стала его второй натурой. Это была не просто сдержанность, это была манера, повадка, настолько тщательно разработанная, что она уже не воспринималась как манера. Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова. Манера, выработанная настолько, что она воспринималась как естественная. Но на самом деле в ней был расчет на то, чтобы не показать никому, что он думает, не дать угадать своих мыслей, не дать никому составить заранее представление о том, что он может сказать и как он может решить. Это с одной стороны. С другой, медлительность, паузы были связаны с желанием не сказать ничего такого, что придется брать обратно, не сказать ничего сгоряча, успеть взвесить каждое свое слово.

Надо, забегая вперед, сказать, что он сохранил эту сдержанность и потом, среди побед и ликований, когда люди вокруг него были возбуждены этими победами. Он был

просто несколько веселее, чаще шутил, улыбался, но к этому и сводились, пожалуй, все перемены в его поведении, скажем, в сорок четвертом году по сравнению с сорок первым.

Когда он говорил, он умел превосходно прятать себя и свое мнение. Я уже вам говорил об этом, но хочу повторить: мимика его была чрезвычайно бедной, скупой; он не делал подчеркнуто непроницаемого выражения лица, но лицо его было спокойно. А кроме того, он любил ходить так, чтобы присутствующие не видели его лица, и так как он сам выбирал эти моменты, то это тоже помогало ему скрывать свои чувства и мысли. По его лицу невозможно или почти невозможно было угадать направление его мыслей. И в этом был смысл, потому что охотников угадывать его мысли было много, он знал это, знал и меру своего авторитета, а также и меру того подхалимажа, на который способны люди, старающиеся ему поддакнуть. Поэтому он был осторожен, особенно тогда, когда речь шла о вопросе, который был ему относительно мало знаком, и он хотел узнать в подробностях чужие мнения. Он даже провоцировал столкновения мнений, спрашивал: «А что скажет такой-то?.. А что скажет такой-то?..» Выслушивая людей и выслушивая разные мнения, он, видимо, проверял себя и корректировал. В иных случаях искал опору для своего предвзятого мнения, искал мнения,подтверждающие его правоту, и если находил достаточную опору, то в конце высказывал свое мнение с известными коррективами, родившимися в ходе обсуждения. Иногда, думаю, когда он сталкивался с суждениями, которые опровергали его собственное первоначальное мнение и заставляли изменить его, он сворачивал разговор, откладывал его, давая себе возможность обдумать сложившуюся ситуацию.

Когда он бывал в хорошем настроении или что-либо его смешило, он улыбался. Но улыбался сдержанно, одними уголками рта, и даже и эту скупую улыбку прикрывал рукой и трубкой.

У меня лично вызывает удивление то, что он объявил себя генералиссимусом и стал носить маршальскую форму. Тем более это было странно, что к его полувоенному облику давно привык весь мир, и этот облик, известный всем, вполне вязался с войной. В звании и форме было что-то мелочное, шедшее откуда-то из молодости, с тех времен, когда он был маленьким по общественному положению человеком — наблюдателем тифлисской метеостанции. Както странно сочетать положение вождя партии, мира со зва-

нием генералиссимуса, с желанием носить маршальскую форму, с брюками, на которых красный лампас — одна из самых одиозных примет царского времени. Мне невольно вспоминается снимок тех ранних лет — знаете, тот, с шеей, замотанной кашне, и по контрасту с этим снимком торчащая из-под стола нога в шевровом, хорошо начищенном ботинке, и брючина с красным лампасом и штрипкой.

Между прочим, он вообще придавал, на мой взгляд, излишнее значение форме, и люди, которые страшно были увлечены по своей службе изобретением новых мундиров или восстановлением старых русских мундиров, находили какой-то отзвук в нем, одобрение. Помню, как всерьез обсуждался вопрос о введении адьютантских аксельбантов и эполет; помню, как в закрытых машинах везли в Кремль шесть человек, обмундированных в армейские мундиры с эполетами, и шесть человек, одетых во флотские кители с эполетами... И это было не в конце войны, а в разгар ее.

Но был разговор со Сталиным, который запомнился, потому что очень поднимал его в моих глазах. Это было в 1933 году после проводки первого маленького каравана военных судов через Беломорско-Балтийский канал, из Балтийского моря в Белое. В Полярном, в кают-компании миноносца, глядя в иллюминатор и словно разговаривая с самим собой, Сталин вдруг сказал:

— Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда!

Это было сказано в те времена, когда идея создания Большого флота на Севере еще не созрела даже у самых передовых морских деятелей. А после того как он это все сказал, продолжая глядеть в иллюминатор на серый невеселый горизонт, он добавил:

— Надо попробовать в этом году еще караван военных судов перебросить с Балтики. Как, можно это сделать?

И второе, связанное с этим же годом воспоминание. В Сороках, когда прошли Беломорско-Балтийский канал, был небольшой митинг, на котором выступили то ли начальник, то ли заместитель начальника Беломорстроя Рапопорт, начальник ГПУ Ленинграда Медведь и еще кто-то. Стали просить выступить Сталина. Сталин отнекивался, не хотел выступать, потом начал как-то нехотя, себе под нос.

А перед этим, надо сказать, все речи были очень и даже чересчур пламенны, говорили, что мы теперь здесь встали по воле Сталина и отсюда никуда не уйдем, что море наше, что мы завоюем Север, что мы разобьем здесь любого врага, и т. д. И вот после всех этих речей Сталин, как бы нехотя взял слово и сказал:

— Что тут говорили: возьмем, победим, завоюем... Война, война... Это еще неизвестно, когда будет война. Когда будет — тогда будет! Это север!..— И еще раз повторил: — Это север, его надо знать, надо изучить, освоить, привыкнуть к нему, овладеть им, а потом говорить все остальное.

Мне тоже понравилось это тогда, понравилось серьезное, глубокое отношение к сложному вопросу, с которым мы только еще начинали иметь дело.

Потом в разговоре мой собеседник — это уже не относилось прямо к Сталину — вернулся к Керченской катастрофе и в связи с этим вспомнил Мехлиса.

Я видел Мехлиса, когда нам было приказано эвакуировать то, что еще можно было эвакуировать с Керченского полуострова. Кстати сказать, мы эвакуировали все-таки 121 000 человек, и, несмотря на позор нашего поражения и размеры его, об этом тоже нельзя забывать. Нельзя представлять себе дело так, что все там погибли и никто не выжил. Так вот, в эти последние дни, когда мне было приказано участвовать в эвакуации, я видел там, под Керчью, Мехлиса. Он делал вид, что ищет смерти. У него был не то разбит, не то легко ранен лоб, но повязки не было, там была кровавая царапина с кровоподтеками; он был небрит несколько дней. Руки и ноги были в грязи, он, видимо, помогал шоферу вытаскивать машину и после этого не счел нужным привести себя в порядок. Вид был отчаянный. Машина у него тоже была какая-то имевшая совершенно отчаянный вид, и ездил он вдвоем с шофером, без всякой охраны. Несмотря на трагичность положения, было что-то в этом показное,— человек показывает, что он ищет смерти.

В ответ на эти слова Исакова я сказал, что Мехлис, может быть, не только показывал, что ищет смерти, но и действительно искал ее тогда.

— Возможно,— сказал он.— Может быть, и искал. Но при этом показывал, что ищет смерти, подчеркивал и

это, и мне было противно от этого, и до сих пор остается противным.

Я сказал, что, по моим наблюдениям, Мехлис храбрый человек.

— Да, если хотите. Он там, под Керчью, лез все время вперед, вперед. Знаю также, что на финском фронте он бывал в боях, ходил в рядах батальона в атаку. Но, во-первых, это ни в чем не оправдывает его — ни в бездарных действиях в финскую войну, ни в керченской катастрофе, за которую на нем лежит главная ответственность. На мой взгляд, он не храбрый, он нервозный, взвинченный, фанатичный. Между прочим, я присутствовал у Сталина на обсуждении итогов финской войны, и там был Мехлис, был Тимошенко, был Ворошилов. Мехлис несколько раз вылезал то с комментариями, то с репликой, после чего вдруг Сталин сказал:

— А Мехлис вообще фанатик, его нельзя подпускать к армии.

Я помню, меня тогда удивило, что, несмотря на эти слова, Мехлис продолжал на этом заседании держаться как ни в чем не бывало и еще не раз вылезал со своими репликами.

БЕСЕДЫ С МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКИМ

1967 год

Со Сталиным я впервые встретился во время финской войны — 30 декабря 1939 года.

К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления явился вместе с ним. И с этого времени я бывал и на последующих заседаниях Высшего военного совета.

30 декабря 1939 года Шапошников был вызван к Сталину, вызван из отпуска, и у этого вызова была своя предыстория.

Как началась финская война? Когда переговоры с Финляндией относительно передвижки границ и уступки нам — за соответствующую компенсацию — территории на Карельском перешейке, необходимой для безопасности Ленинграда, окончательно не увенчались успехом, Сталин, созвав Военный совет, поставил вопрос о том, что раз так, то нам придется воевать с Финляндией. Шапошников как начальник Генерального штаба был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укрепленных районов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции.

Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.

После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно?»

Мерецков ответил:

— Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.

После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».

Он таким образом заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.

Что произошло дальше — известно. Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понес тяжелые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошел к самой линии Маннергейма, но подошел выдохшийся, брать ее было уже нечем.

Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят. Встал вопрос о том, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Сталин сказал, что Мерецкову мы это не поручим, он с этим не справится. Спросил:

— Так кто готов взять на себя командование войсками на Карельском перешейке?

Наступило молчание, довольно долгое. Наконец поднялся Тимошенко и сказал:

— Если вы мне дадите все то, о чем здесь было сказано, то я готов взять командование войсками на себя и надеюсь, что не подведу вас.

Так был назначен Тимошенко.

На фронте наступила месячная пауза. По существу, военные действия заново начались только в феврале. Этот месяц ушел на детальную разработку плана операции, на подтягивание войск и техники, на обучение войск. Этим занимался там, на Карельском перешейке, Тимошенко, и занимался, надо отдать ему должное, очень энергично,

тренировал, обучал войска, готовил их. Были подброшены авиация, танки, тяжелая, сверхмощная артиллерия. В итоге, когда заново начали операцию с этими силами и средствами, которые были для этого необходимы, она увенчалась успехом, линия Маннергейма была довольно быстро прорвана.

Говоря о первом периоде финской войны, надо добавить, что при огромных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безобразным образом. Надо только удивляться тому, как можно было за такой короткий период буквально ограбить всю армию. Щаденко, по распоряжению Сталина, в тот период брал из разных округов, в том числе из особых пограничных округов, по одной роте из каждого полка в качестве пополнения для воевавших на Карельском перешейке частей.

Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны. Все это надо было как-то объяснить. Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимым косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба и назначен заместителем наркома с задачей наблюдать за укреплением новых границ. Эта новая для него работа была мотивирована как крайне необходимая, государственно важная и требующая для своего осуществления именно такого специалиста, как он.

После этого встал вопрос о том, кому же быть начальником Генерального штаба. Сталин прямо тут же, на Совете, не разговаривая ни с кем предварительно, обратился к новому наркому Тимошенко и спросил:

— Кого вы рекомендуете в начальники Генерального штаба?

Тот замялся.

— Ну, с кем из старших штабов вы работали?

Обстоятельства сложились так, что как раз на финской войне Тимошенко из старших штабов работал с Мерецковым. Он сказал об этом.

— Так как, подходит вам Мерецков начальником Генерального штаба? Как он у вас работал?

Тимошенко сказал, что работал неплохо и что подходит.

Так состоялось назначение нового начальника Генерального штаба.

Мерецков пробыл, правда, в этой должности недолго. В феврале 1941 года, когда состоялась большая штабная игра и ему пришлось как начальнику Генерального штаба делать доклад, он провалился с этим докладом совершенно ясно для всех, а Жуков; командовавший к этому времени Киевским особым военным округом, как раз на этих играх показал себя с наилучшей стороны и был тогда же назначен начальником Генерального штаба. На этой должности он пробыл до 28 июля 1941 года, когда сам попросил освободить его от этих обязанностей и направить на один из фронтов. Сталин удовлетворил тогда его просьбу и назначил вместо него Шапошникова, а Шапошников вошел с соответствующим представлением, и я был тогда же назначен его заместителем и начальником оперативного управления.

В должность начальника Генерального штаба я фактически вступил 15 октября 1941 года. Шапошников в то время приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генерального штаба в Москве при нем, оставив для этой работы восемь офицеров Генерального штаба. Я стал возражать, что такое количество офицеров — восемь человек — не может обеспечить необходимый масштаб работы, что с таким количеством людей работать нельзя, что нужно гораздо больше людей. Но Сталин стоял на своем и, несмотря на мои повторные возражения, повторил, чтобы я оставил себе восемь офицеров Генерального штаба и я сам — девятый.

Только уже позднее я понял его упорство в тот день. Оказывается, на аэродроме уже стояли в полной готовности самолеты на случай эвакуации Ставки и правительства из Москвы, и на этих самолетах были расписаны все места, по этому расписанию на всю группу Генерального штаба было оставлено девять мест — для меня и моих восьми офицеров. Об этом мне потом рассказал Поскребышев. Вообще говоря, то, что самолеты стояли в готовности, было абсолютно правильным мероприятием в той обстановке, когда прорвавшимся немецким танкам нужно было всего несколько часов ходу для того, чтобы быть в центре Москвы.

Надо сказать, что в начале войны Генеральный штаб был растащен и, собственно говоря, его работу нельзя было назвать нормальной. Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин был отправлен на фронт, Шарохин тоже, начальник оперативного управления Маландин тоже.

Все те, кто составлял головку Генерального штаба, были отправлены на разные фронты и в армии, что, конечно, не способствовало нормальной работе Генерального штаба. Сталин в начале войны разогнал Генеральный штаб. Ватутин, Соколовский, Шарохин, Маландин — все были отправлены на фронт.

Что сказать о последствиях для армии тридцать седьмого — тридцать восьмого года? Вы говорите, что без тридцать седьмого года не было бы поражений сорок первого, а я скажу больше. Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. Да что говорить, когда в тридцать девятом году мне пришлось быть в комиссии во время передачи Ленинградского военного округа от Хозина Мерецкову, был ряд дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы.

В сорок первом году Сталин хорошо знал, что армия не готова к войне, и всеми правдами и неправдами стремился оттянуть войну. Он пытался это делать и до финской войны, которая в еще большей степени открыла ему глаза на нашу неподготовленность к войне. Сначала он пытался договориться с западными державами. К тому времени, когда уже стало ясно, что они всерьез договариваться с нами не желают, стали прощупывать почву немцы. В результате чего и был заключен тот пакт с Гитлером, при помощи которого Гитлер обвел нас вокруг пальца.

Когда в тридцать девятом году Риббентроп летел в Москву на своем самолете, то по дороге, в районе Великих Лук (не убежден, точно ли называю пункт.— *К. С.*), он был обстрелян нашей зенитной батареей. Командир зенитной батареи приказал открыть стрельбу по этому самолету — таково, видимо, было его настроение в отношении немцев. Мало того, что была открыта стрельба, на самолете, как впоследствии выяснилось, уже после посадки в Москве, были пробоины от попадания осколков.

Я знаю всю эту историю, потому что был направлен с комиссией для расследования этого дела на месте. Но самое интересное, что, хотя мы ждали заявления от немцев, их протеста, ни заявления, ни протеста с их стороны не последовало. Ни Риббентроп, ни сопровождающие его лица, ни сотрудники германского посольства в Москве никому не

сообщили ни одного слова об этом факте. (Мои собственные соображения, что реакция немцев очень показательна. Видимо, они решили добиться заключения договора во что бы то ни стало, невзирая ни на что, именно поэтому не заявили протеста, который мог хотя бы в какой-то мере помешать намеченному.— *К. С.*)

Что немцы готовились к войне и что она будет, несмотря на пакт, были убеждены все, кто ездил в ноябре сорокового года вместе с Молотовым в Берлин. Я тоже ездил в составе этой делегации как один из представителей Генерального штаба. После этой поездки, после приемов, разговоров там ни у кого из нас не было ни малейших сомнений в том, что Гитлер держит камень за пазухой. Об этом говорили и самому Молотову. Насколько я понял, он тоже придерживался этой точки зрения.

Больше того, германский посол в Москве Шуленбург, который сопровождал нас туда и обратно, нашел возможным, несмотря на всю рискованность этого его положения, на обратном пути говорить о пакте, в то же время настойчиво намекая на то, что взаимоотношения между нашими странами оставляют желать много лучшего. Короче говоря, он старался нам дать понять, что считает возможным возникновение войны.

Во время пребывания в Берлине на приеме я сидел рядом с Браухичем. Хотя я был в штатском и официально не фигурировал как представитель Генерального штаба, но он знал, кто я, и через переводчика спросил меня, помню ли я о том, что мы знакомы, что это не первая наша встреча. Я, разумеется, помнил это. А первая наша встреча была еще в тридцать втором году на больших маневрах в районе Овруча (не убежден в точности названного пункта.— *К. С.*). В тот период отношения наши с Германией были весьма тесными. В ряде пунктов на нашей территории находились немецкие центры, в которых происходила подготовка офицеров, так как немцы, согласно условиям Версальского мира, не имели права делать это в Германии. Были танковые и авиационные центры. На маневрах тридцать второго года, где мы впервые показали достоинства крупных (по тому времени) механизированных соединений — танковых бригад, были военные атташе целого ряда армий, в том числе германский представитель. Но если представителям других армий показали лишь часть происходящего, то немцам показали все. Их возили по другим маршрутам, в другие места, на других машинах скрытно от представителей других

армий. Я участвовал в этих маневрах, и у меня на командном пункте вместе с Ворошиловым и Смородиновым был Браухич. Он наблюдал за ходом боевых действий в течение довольно длительного времени, потом он отошел, потом Смородинов вернулся ко мне и сказал, что Браухич сделал вам комплимент, заявив, что все, что он наблюдал здесь, делается в лучших традициях немецкой военной школы. Такой была наша первая встреча с ним. Но, конечно, в сороковом году, во время встречи в Берлине, это был уже не тот, другой, совсем другой Браухич.

Помимо событий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, большой вред в подготовке армии к войне принесли известные выводы, сделанные после испанской войны. Под влиянием таких, возвысившихся после испанской войны деятелей, как Кулик, были пересмотрены взгляды на использование танковых войск, ликвидированы уже имевшиеся крупные механизированные соединения,— пошла в ход теория, что они не нужны, что танки нужны только непосредственно для поддержки пехоты. Заново крупные механизированные соединения стали создавать уже только перед войной, после того как немцы показали на деле, что́ такие соединения могут делать для разгрома противника. Была потеряна масса времени.

После прихода Гитлера к власти отношения с Германией резко изменились. Немецкие военные учебные центры на нашей территории были ликвидированы, отношения становились все более враждебными. В связи с этим стали пересматриваться и оперативные планы. Раньше, по прежнему оперативному плану, как основной наш противник на западе рассматривалась Польша, теперь, по новому оперативному плану, как основной противник рассматривалась гитлеровская Германия.

Когда имевшие отношение к военному делу люди задают вопросы, имелись ли у нас перед войной оперативные планы войны, то это звучит по меньшей мере нелепо. Разумеется, оперативные планы имелись, и весьма подробно разработанные, точно так же, как и мобилизационные планы. Мобилизационные планы были доведены до каждой части буквально, включая самые второстепенные тыловые части вроде каких-нибудь тыловых складов и хозяйственных команд. Планы были доведены, проверены. Мало того, была произведена специальная мобилизационная проверка.

Что касается оперативных планов, то я как человек,

по долгу своей службы сидевший в Генеральном штабе на разработке оперативных планов по Северному флоту, Балтийскому флоту, Ленинградскому округу, Северо-Западному округу и Западному особому округу, хорошо знаю, насколько подробно были разработаны все эти планы. Я сидел на этих планах и на внесении в них всех необходимых коррективов с сорокового года. Так как эти планы были связаны с действием двух флотов, то я также не вылезал в то время из кабинетов Кузнецова и его начальника штаба Галлера.

Беда не в отсутствии у нас оперативных планов, а в невозможности их выполнить в той обстановке, которая сложилась. А сложилась она так потому, что Сталин, как я уже сказал, любыми средствами, всеми правдами и неправдами старался оттянуть войну. И хотя мы располагали обширными сведениями о сосредоточении крупных контингентов германских войск в непосредственной близости от наших границ уже начиная с февраля сорок первого года, он отвечал категорическим отказом на все предложения о приведении наших войск где-то, в каких-то пограничных районах в боевую готовность. На все у него был один и тот же ответ: «Не занимайтесь провокациями» или «Не поддавайтесь на провокацию». Он считал, что немцы могут воспользоваться любыми сведениями о приведении наших войск в боевую готовность для того, чтобы начать войну. А в то, что они могут начать войну без всяких поводов с нашей стороны, при наличии пакта, до самого конца не верил. Больше того, он гневно одергивал людей, вносивших предложения об обеспечении боевой готовности в приграничных районах, видимо, считая, что и наши военные способны своими действиями спровоцировать войну с немцами.

Тимошенко бесконечное количество раз докладывал Сталину сведения о сосредоточении немецких войск и о необходимости принять меры к усилению боевой готовности, но неизменно получал в ответ категорическое запрещение. Больше того, пользуясь своим правом наркома, он старался сделать все, что мог, в обход этих запрещений, в том числе проводил местные учебные мобилизации и некоторые другие меры.

Но при всем том, что я сказал, о Сталине как о военном руководителе в годы войны необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел глубоко проникать в сущность дела и подсказывать военное решение.

В связи с вашей книгой скажу кое-что о Сталинградской операции, которой мне пришлось заниматься.

В последний период, перед началом нашего ноябрьского наступления, я был на Сталинградском фронте. Облазил там буквально все, готовя наступление. Наступление было назначено на девятнадцатое — по Юго-Западному и Донскому фронтам, на двадцатое — по Сталинградскому.

Вдруг семнадцатого вечером, когда я вернулся из частей, на командном пункте раздается звонок из Ставки. Звонит Сталин.

— Здравствуйте. Есть к вам срочное дело. Вам надо прибыть в Москву.

— Как прибыть в Москву, товарищ Сталин? Послезавтра начинается наступление, я не могу ехать!

— Дело такого рода, что вам необходимо прибыть в Москву. Успеете вернуться. Надо обсудить с вами...

Я пробовал еще объяснить невозможность своего отъезда с фронта, но Сталин еще раз повторил, что дело такого рода, что мне необходимо быть завтра в Москве у него. Ни в какие объяснения он при этом не вдавался.

Утром я вылетел. Прилетел в Москву около одиннадцати утра. Позвонил Поскребышеву. Он сказал, что Сталин на «ближней даче», но, очевидно, еще спит. Я позвонил туда, Сталин действительно еще спал, и мне оставалось только ждать. Я попросил передать, что прибыл и жду его распоряжений.

Через два или три часа позвонил Поскребышев и сказал, чтобы я прибыл к шести часам вечера «на уголок». Так называлась квартира Сталина в Кремле. Если на дачу в Кунцеве — говорили «ближняя дача», если в Кремль — «на уголок».

Когда я в шесть часов приехал, совершенно не представляя, что случилось и зачем я вызван, в кабинете у Сталина шло совещание Государственного комитета обороны. Были Маленков, Берия, Микоян, Вознесенский, Молотов.

Сталин поздоровался со мной, предложил присесть. Потом подошел к своему письменному столу, взял какой-то конверт и, сев за стол, бросил его по столу мне.

— Вот, почитайте, пока мы здесь кончим свою гражданскую войну...

Он с членами Государственного комитета обороны продолжал обсуждать какие-то начатые еще до моего прихода вопросы, а я вынул из конверта лежавшие там листы и стал их читать с величайшим изумлением.

Сталину писал командир танкового корпуса генерал Вольский. Этот танковый корпус, сводный, полнокомплектный, хорошо подготовленный, должен был стать главной ударной силой нашего прорыва на Сталинградском фронте. Именно ему предстояло отрезать немцев с юга, прорваться к Калачу навстречу танковым частям Юго-Западного фронта. Именно на этот корпус на Сталинградском фронте делалась ставка как на ударную силу. Именно в этом корпусе я особенно часто бывал в последнее время, дневал и ночевал там, проверял его подготовку, многократно разговаривал с производившим на меня отличное впечатление его командиром генералом Вольским. Именно с этим Вольским я расстался только вчера днем, из его корпуса поехал на командный пункт фронта, где меня застал звонок Сталина.

Вольский писал Сталину примерно следующее. Дорогой товарищ Сталин. Считаю своим долгом сообщить вам, что я не верю в успех предстоящего наступления. У нас недостаточно сил и средств для него. Я убежден, что мы не сумеем прорвать немецкую оборону и выполнить поставленную перед нами задачу. Что вся эта операция может закончиться катастрофой, что такая катастрофа вызовет неисчислимые последствия, принесет нам потери, вредно отразится на всем положении страны, и немцы после этого смогут оказаться не только на Волге, но и за Волгой...

Дальше следовала поразившая меня подпись: Вольский.

Я прочел эту бумагу с величайшим изумлением и недоумением. Ничто, абсолютно ничто в поведении Вольского, в его настроении, в состоянии его войск не давало возможности поверить, что именно этот человек мог написать эту бумагу.

Я прочел письмо, положил в конверт и несколько минут ждал.

Сталин закончил обсуждение вопроса, которым они занимались, поднял на меня глаза и спросил:

— Ну, что вы скажете об этом письме, товарищ Василевский?

Я сказал, что поражен этим письмом.

— А что вы думаете насчет предстоящих действий после того, как прочли это письмо?

Я ответил, что по поводу предстоящих действий продолжаю и после этого письма думать то же, что и думал:

наступление надо начинать в установленные сроки, по моему глубокому убеждению, оно увенчается успехом.

Сталин выслушал меня, потом спросил:

— А как вы объясняете это письмо?

Я сказал, что не могу объяснить это письмо.

— Как вы оцениваете автора этого письма?

Я ответил, что считаю Вольского отличным командиром корпуса, способным выполнить возложенное на него задание.

— А теперь, после этого письма? — спросил Сталин.— Можно ли его оставить на корпусе, по вашему мнению?

Я несколько секунд думал над этим, потом сказал, что я лично считаю невозможным снимать командира корпуса накануне наступления и считаю правильным оставить Вольского на его должности, но, конечно, с ним необходимо говорить.

— А вы можете меня соединить с Вольским,— спросил Сталин,— чтобы я с ним поговорил?

Я сказал, что сейчас постараюсь это сделать. Вызвал по ВЧ командный пункт фронта, приказал найти Вольского и соединиться с ним через ВЧ и полевой телефон.

Через некоторое время Вольского нашли.

Сталин взял трубку. Этот разговор мне запомнился, и был он примерно такого содержания.

— Здравствуйте, Вольский. Я прочел ваше письмо. Я никому его не показывал, о нем никто не знает. Я думаю, что вы неправильно оцениваете наши и свои возможности. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас задачами и сделаете все, чтобы ваш корпус выполнил все и добился успеха. Готовы ли вы сделать все от вас зависящее, чтобы выполнить поставленную перед вами задачу?

Очевидно, последовал ответ, что готов.

Тогда Сталин сказал:

— Я верю в то, что вы выполните вашу задачу, товарищ Вольский. Желаю вам успеха. Повторяю, о вашем письме не знает никто, кроме меня и Василевского, которому я показал его. Желаю успеха. До свидания.

Он говорил все это абсолютно спокойно, с полной выдержкой, я бы сказал даже, что говорил он с Вольским мягко.

Надо сказать, что я видел Сталина в разных видах и, не преувеличивая, могу сказать, что знаю его вдоль и поперек. И если говорить о людях, которые натерпелись от него, то я натерпелся от него как никто. Бывал он и со мной,

и с другими груб, непозволительно, нестерпимо груб и несправедлив. Но надо сказать правду, что бывал и таким, каким был в этом случае.

После того как он кончил разговор, он сказал, что я могу отправиться на фронт.

В предыдущий период мы готовили предстоящие удары вместе с Жуковым: он — на севере, я — на юге. К этому времени Жуков уже уехал для выполнения других, новых заданий, и я остался в качестве представителя Ставки на всей этой операции. И летел я из Москвы утром уже не на Сталинградский фронт, а на Юго-Западный, на котором наносился главный удар.

Прибыл я туда уже днем, через несколько часов после начала наступления, которое началось в соответствии с планом, но без меня.

Прилетев, выехал к танкистам на направление главного удара. Был там. Потом, когда задержалось дело в армии Чистякова и у танкистов Кравченко, выехал к Чистякову с намерением навалиться на них, дать им духу за нерешительные действия, хотя это вообще не в моем характере, но необходимо было крупно поговорить. К счастью для Чистякова и Кравченко, положение, пока я туда добрался, исправилось, Кравченко прорвался наконец, и предстоящий нам крупный разговор не состоялся, к счастью для них, да и к счастью для меня, конечно.

На юге Сталинградского фронта дело тоже шло хорошо: румын, конечно, прорвали. Вольский действовал решительно и удачно, полностью выполнил свою задачу. Когда оба фронта соединились в районе Калача, через день или два после соединения я впервые после всего происшедшего вновь увидел Вольского.

Я был еще на Юго-Западном фронте и докладывал Сталину о соединении фронтов и об организации внутреннего и внешнего фронта окружения. При этом докладе он спросил меня, как действовал Вольский и его корпус. Я сказал так, как оно и было, что корпус Вольского и его командир действовали отлично.

— Вот что, товарищ Василевский,— сказал Сталин.— Раз так, то я прошу вас найти там, на фронте, хоть что-нибудь пока, чтобы немедленно от моего имени наградить Вольского. Передайте ему мою благодарность, наградите его от моего имени и дайте понять, что другие награды ему и другим — впереди.

После этого звонка я подумал: чем же наградить

Вольского? У меня был трофейный немецкий «вальтер», и я приказал там же, на месте, прикрепить к нему дощечку с соответствующей надписью, и, когда мы встретились с Вольским, я поздравил его с успехо́м, поблагодарил за хорошие действия, передал ему слова Сталина и от его имени этот пистолет. Мы стояли с Вольским, смотрели друг на друга, и с ним было такое потрясение, что этот человек в моем присутствии зарыдал, как ребенок.

Так выглядит эта история с Вольским, который и до этого и в дальнейшем был в моих глазах превосходным танкистским начальником и отличным человеком.

Вы спрашиваете: чем было вызвано его письмо? Думаю, что с ним произошел перед наступлением шок, потрясение. Он действительно испугался. Ему показалось, что ничего не выйдет. Напряжение, потрясение — это случалось с людьми на войне, и бывало не только тогда, когда мы только еще начинали побеждать, а и потом, много позже,— нервы не выдерживали. А в данном случае чувство страшной ответственности и страх, что все поставлено на карту и вдруг мы не сделаем того, чего ждет от нас страна,— все это было особенно острым. Особенно остро испытывали это чувство люди, которым еще не приходилось побывать ни в одном удачном наступлении. Ко времени Сталинградской операции те начальники, командующие, которые участвовали в Московской битве, которым уже пришлось наступать, гнать немцев, ощущали бо́льшую уверенность. А те, которым этого не приходилось еще до сих пор делать,— а таких было большинство,— находились в страшном напряжении ожидания: выйдет ли то, что мы задумали? Так было и под Сталинградом. Но было и потом. Бывали моменты, когда люди от перенапряжения вдруг переставали верить в успех.

Помню, например, как на реке Миус, когда уже было подготовлено наступление, я приехал в армию Герасименко. Герасименко не играл главной роли в предстоящем наступлении, она была отведена Цветаеву и другим, но его армия тоже выполняла наступательные задачи. И вот мы приехали утром накануне наступления на КП вместе с Толбухиным. Разговаривали с Герасименко. Все было нормально. Я и до этого у него бывал. Он готовился к наступлению, и к нему не было никаких особых замечаний ни у меня, ни у Толбухина. В разговоре я его спросил:

— Ну, как у вас войска, как они себя чувствуют?

И вдруг он, срываясь на крик, сказал:

— Войска... Войска...— и, махнув рукой, добавил: — Ничего у нас не выйдет!

— Как не выйдет?

— Ничего у нас не выйдет...

Мы вызвали в его присутствии начальника штаба армии, спросили его мнение о готовности частей армии к операции. Он сказал, что все в порядке, все подготовлено, есть уверенность в успехе. Тогда я вынужден был сказать в присутствии Толбухина, что раз командующий армией не верит в успех и заявляет об этом перед началом наступления, то нам придется поставить вопрос перед Ставкой о его отстранении, потому что с таким настроением идти в наступление невозможно.

И вдруг Герасименко как-то весь обмяк и произнес почти, можно сказать, со слезой в голосе, и вид у него был совершенно измученный:

— Извините, не знаю, что со мной случилось, как все это у меня вырвалось. Измаялся. Всю ночь не спал, думал, как выйдет, как получится... Изнервничался, издергался... Устал. Надо поспать.

В Ставку мы не доложили, от армии его не отстранили. Он выспался, пришел в себя и в дальнейшем выполнил причитавшуюся на его долю задачу.

Возвращаясь к Сталинградской операции, не могу не удивляться тем неточностям, которые я обнаружил в мемуарах Н. Н. Воронова. Мы с ним вместе работали как представители Ставки в период Сталинградской операции. Он много сделал во время этой операции. У нас были хорошие взаимоотношения. Но одно место в его мемуарах меня удивляет, а именно то, где он описывает, как мы с ним накануне наступления будто бы были вызваны Сталиным и вылетели вместе с Юго-Западного фронта, а прилетев в Москву, прослонялись там день, так и не попав на прием к Сталину, то есть были вызваны неизвестно зачем. Затем нам было сказано, что мы можем вернуться обратно, и мы вместе вернулись на Юго-Западный фронт.

Здесь все неверно. Что касается моего прилета в Москву, то он был связан с письмом Вольского, о чем я рассказывал. Летели мы в Москву не вместе и лететь вместе не могли, потому что Воронов был на Юго-Западном фронте, а я на Сталинградском. И летели мы, если он тоже летел в Москву, из совершенно разных мест. И возвращался я, насколько помню, тоже один, а не вместе с Вороновым, и сразу поехал к танкистам, и увидел его только через три дня в

армии Чистякова. Непонятно, как все это могло оказаться в его воспоминаниях.

(Хочу дать свою собственную догадку. Быть может, Н. Н. Воронов забыл подробности. Может быть, он летел отдельно от А. М. Василевского и запамятовал это. Но мне трудно предположить, что Н. Н. Воронов вообще не летал в Москву и что его до такой степени подвела память. Не правильно ли было бы предположить, что, получив письмо Вольского, которое, по существу, ставило под сомнение не только действия Сталинградского фронта, но и всю операцию в целом, то есть действия всех трех фронтов, Сталин из-за этого письма вызвал не только А. М. Василевского со Сталинградского фронта, но одновременно, тоже без объяснения причин, вызвал и Н. Н. Воронова с Юго-Западного фронта? А когда Н. Н. Воронов уже прилетел в Москву, Сталин решил не ставить его в известность об этом письме и вызвал к себе только А. М. Василевского и говорил об этом только с ним. У Н. Н. Воронова, так ничего и не узнавшего обо всем этом, создалось впечатление, и вполне естественное, что его накануне ответственнейшей операции вызвали в Москву неизвестно зачем и, продержав там и ничего не сказав, отправили обратно.

Мне думается, что это очень логичное объяснение. А уж то обстоятельство, что Н. Н. Воронов забыл, вместе или порознь они летали в Москву с А. М. Василевским, носит второстепенный характер, тут можно было и запамятовать.— *К. С.*)

У вас в романе проскальзывает мысль, что переадресовка Второй гвардейской армии Малиновского с севера на юг, в распоряжение Сталинградского фронта для контрудара по Манштейну и Готу была ошибкой. (Я в ответ сказал, что я не считал себя вправе становиться сторонником такой концепции, но, зная, что вокруг этого шли споры, я хотел дать в романе представление о существовании разных точек зрения на этот вопрос.— *К. С.*) За то, что Вторая гвардейская армия была передана Сталинградскому фронту и направлена против Манштейна, отвечаю я. Я этого добивался, я на этом настаивал. И я считал и считаю, что это было необходимо.

В период наступления Манштейна на Сталинградский фронт я был в частях отступавшего кавалерийского корпуса Шапкина и в других отступавших частях. Положение

складывалось грозное. До соединения наступавших частей Манштейна и армии Паулюса оставались считанные дни. Я считал, что пройдут еще сутки, максимум двое, и уже поздно будет этому помешать. Они соединятся, и Паулюс уйдет из Сталинграда, и это приведет не только к тому, что рухнет кольцо окружения, рухнет надежда на уничтожение группировки Паулюса в кольце, созданном с таким трудом, но и вообще это будет иметь неисчислимые последствия для всего хода военных действий.

Мы сначала просчитались, недооценили количества окруженных войск. На самом деле в окружении было 300 000 человек, и все они могли прорваться и после соединения с Манштейном уйти, и последствия, повторяю, были бы неисчислимыми.

Считаю, что Сталинградский фронт наличными силами уже не в состоянии был сдержать наступление Манштейна. Наблюдая это своими глазами, я, поехав на командный пункт Юго-Западного фронта, позвонил оттуда Сталину и настойчиво попросил, чтобы для контрудара по Манштейну Сталинградскому фронту была придана Вторая гвардейская армия, которая по первоначальному плану действительно была предназначена для наращивания удара на Ростов с тем, чтобы в результате этого удара отрезать не только войска, окруженные под Сталинградом, но и кавказскую группировку немцев. Я это знал, разумеется, но тем не менее в сложившемся критическом положении настаивал на переадресовании армии.

Сталин эту армию отдавать категорически не хотел, не хотел менять для нее первоначально поставленную задачу. После моих решительных настояний он сказал, что обдумает этот вопрос и даст ответ. В ожидании этого ответа я на свой страх и риск приказал Малиновскому начать движение частей армии в новый район, из которого она должна была действовать против Манштейна, приказал ему также садиться на командный пункт к Толбухину, забрать у него линии связи, для того чтобы сразу наладить управление вновь прибывающими войсками. Это приказание было дано поздно вечером, а ответа от Сталина еще не было.

Как я впоследствии узнал, Сталин в эту ночь обсуждал в Ставке мое требование, и там были высказаны различные мнения. В частности, Жуков считал, что армию переадресовывать не надо, что пусть в крайнем случае Паулюс прорывается из Сталинграда навстречу Манштейну и движется дальше на запад. Все равно ничего изменять не надо,

и надо в соответствии с прежним планом наносить удар Второй гвардейской армией и другими частями на Ростов. Об этом шли в ту ночь споры в Ставке.

А я ходил из угла в угол и ожидал, что мне ответят, потому что фактически я уже двинул армию. Наконец, в 5 часов утра Сталин позвонил мне и сказал злобно, раздраженно всего четыре слова:

— Черт с вами, берите!

И бросил трубку.

Так был решен этот вопрос.

А то, как было с Вольским и Герасименко, это бывает на войне. Вроде все ничего, а в последний момент перед наступлением вдруг «затряслась портянка»!

Видел Сталина в гневе, в раздражении, даже в исступлении. Ругаться он умел, беспощадным быть тоже. Помню историю в районе, кажется, Холма (не уверен в пункте.— *К. С.*) в сорок втором году зимой, когда дивизия Масленникова попала в окружение и осталась на голодном пайке. Мне как начальнику Генерального штаба было поручено организовать ее снабжение по воздуху. Непосредственно как авиатор занимался этим делом Жигарев. И вот случись же так, что целый отряд транспортных самолетов, который сбрасывал провиант, промахнулся, и весь груз сбросил на глазах у дивизии Масленникова немцам. Масленников, видя это, дает отчаянную радиограмму: «Мы подыхаем с голоду, а вы кормите немцев!» Радиограмма попала к Сталину. Сталин вызвал меня и Жигарева и был во время этого разговора настолько вне себя, что я один момент боялся, что он своими руками расстреляет Жигарева тут же, у себя в кабинете.

К зиме сорок третьего — сорок четвертого года, когда мы вышли 4-м и 3-м Украинскими фронтами на нижнее течение Днепра и отрезали Крым, но не ворвались в него, у немцев оставался против нас на восточном берегу Днепра так называемый Никопольский плацдарм. Я так же, как и командующие фронтами, не считал, что плацдарм представляет для нас непосредственную опасность, и считал необходимым решать дальнейший исход дела на западном берегу Днепра — нанося удары вглубь, через Днепр, значительно севернее плацдарма. Мы считали, что тем самым заставим немцев самих уйти с этого плацдарма.

Именно так мы докладывали Сталину и докладывали не один раз. Но он в этом случае уперся. Его крайне беспокоил этот плацдарм; он боялся, что немцы сосредоточат

на нем силы и ударом с плацдарма на юго-восток, к морю отрежут 4-й Украинский фронт. Никакие наши убеждения на него не действовали, и он требовал от нас во что бы то ни стало отнять у немцев этот плацдарм. И сколько мы положили людей в безуспешных атаках на этот плацдарм, один бог знает! Несколько раз настаивали на отмене приказа, мотивируя невыгодность для нас лобовых ударов по этому плацдарму,— ничего не помогло.

Через два или три месяца, уже в разгаре зимы, Сталин запросил наши соображения о предстоящем наступлении 4-го и 3-го Украинских фронтов. Я как представитель Ставки, координировавший действия обоих фронтов, представил вместе с командующими наши соображения. У нас, особенно после потерь на Никопольском плацдарме, с силами было не так густо, и мы запросили значительное количество сил и средств, необходимое, по нашему мнению, для решительного наступления обоих фронтов.

Через день после того как наши соображения были направлены в Ставку, раздался звонок Сталина.

— Говорит Сталин. Василевский?

— Да. Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Скажите, Василевский, кто у нас начальник Генерального штаба?

Что ответить на такой вопрос? Я ответил, что официально начальником штаба по сей день являюсь я. Во всяком случае, я так считаю.

Сталин на это отвечает:

— И я так до сих пор считаю. Но если вы начальник Генерального штаба, почему же вы пишете в Ставку такую ерунду, которую вы написали в своем проекте директивы? Начальник Генерального штаба не имеет права писать такую ерунду. Вы требуете у Ставки того-то и того-то, того-то и того-то, но вы как начальник Генерального штаба должны знать, что у нас этого нет и что нам сейчас неоткуда взять то, что вы требуете.

Я ответил, что мы указали то, что нам необходимо для наступления, и я считаю, что, во всяком случае, часть этого можно взять с других фронтов.

— Другим фронтам тоже надо наступать,— отвечает Сталин,— и вы это знаете как начальник Генерального штаба. А пишете такую ерунду.

Несколько секунд я молчу, и он молчит. Потом он говорит:

— Выходите из положения своими средствами. Ограбь-

те Толбухина. У него есть авиационный корпус, есть механизированный корпус, в тылу, во втором эшелоне, у него есть армия. Заберите все это у него, ограбьте его, поставьте в оборону весь 4-й Украинский фронт, а все это отдайте Малиновскому. Вы же сами не так давно предлагали решать дело на западном берегу Днепра, вот и решайте дело не сразу обоими фронтами, а последовательно. Ограбьте Толбухина, поставьте его в оборону, отдайте все, чем он располагает, Малиновскому, наносите удар войсками Малиновского, и не откладывая до весны, а сейчас же, зимой, чем раньше — тем лучше. А когда добьетесь успеха и Малиновский продвинется, поставьте его в оборону, ограбьте его, отдайте все Толбухину и всеми силами идите по Крыму.

Форма разговора устроить не могла, но с существом нельзя было не согласиться. Во многих случаях — и чем дальше, тем чаще — Сталин умел правильно и глубоко решать стратегические оперативные вопросы и подсказывал наиболее верные решения. И говоря о нем, этого тоже не следует упускать из виду.

Я поехал к Малиновскому, поговорил с ним, и мы в соответствии с предложением Сталина спланировали операцию, которая впоследствии оправдала себя на деле.

Я говорил о некоторых существенных недочетах в нашей мемуарной литературе. В частности, такие недочеты есть в воспоминаниях Рокоссовского о Белорусской операции, там, где он рассказывает о ее планировании. Он рассказывает там о том, как он был вызван в Ставку, как он предложил наносить на своем фронте не один, а два одновременных удара и как Сталин отверг это предложение. Как он снова предложил это, как Сталин снова отверг и сказал ему, чтобы он пошел и подумал. И когда он, вернувшись, снова предложил этот же план двойного удара на одном фронте, как Сталин в конце концов махнул рукой и согласился.

Я координировал в этой операции действия 3-го Белорусского фронта Черняховского и 1-го Прибалтийского фронта Баграмяна, присутствовал на этом обсуждении плана операции и, во-первых, не помню такого спора, а во-вторых, в воспоминаниях Рокоссовского сам этот момент — предложение о двойных ударах, наносимых на одном фронте,— трактуется как некое оперативное новшество. И это уже вовсе странно. Двойные удары силами одного фронта не были для нас новшеством в сорок четвертом году. Такие удары наносились и раньше. Достаточно

привести пример Московской операции, где контрудары по немцам наносились и на южном и на северном флангах Западного фронта, и Сталинградской операции, где Сталинградским фронтом наносились удары на двух направлениях, да и ряд других операций, предшествовавших Белорусской.

В воспоминаниях надо быть точным, не прибавляя и не убавляя, не преувеличивая своих заслуг и не снимая с себя ответственности за те ошибки, за которые ее несешь именно ты. Я, скажем, знаю и понимаю, что именно я как начальник Генерального штаба нес ответственность за запоздалую организацию Воронежского фронта. Именно я по своим обязанностям должен был поставить вовремя вопрос о его организации. А я этого не сделал, и это моя, а не чья-либо еще ошибка, и я не переваливаю эту ответственность ни на кого другого.

Удивительное дело, как мы мало пользуемся документами. Прошло двадцать лет со времени окончания войны, люди вспоминают, спорят, но спорят часто без документов, без проверки, которую легко можно провести. Совсем недавно, разыскивая некоторые документы, я обнаружил в одном из отделов Генерального штаба огромное количество документов. Донесения, переговоры по важнейшим операциям войны, которые с абсолютной точностью свидетельствуют о том, как в действительности происходило дело. Но с самой войны и по сегодняшний день, как эти документы были положены, так они и лежат. В них никто не заглядывал.

Работа Генерального штаба, в которой были достижения и ошибки, требует внимания и серьезного анализа. Генштаб есть генштаб. Это мозг армии. Я читал книгу Степана Злобина «Пропавшие без вести». Это хорошая книга. Многие страницы я не мог читать без волнения, но ее восьмую главу, связанную с работой Генерального штаба, я не мог читать без возмущения. Это поверхностное описание, без знания дела, без знания обстановки. Описание работников генштаба как каких-то белоручек. А если хотите знать, то генштаб с начала войны работал в самых тяжелых, отвратительных условиях. Несмотря на все наши настояния до войны, нам не было разрешено даже организовать подземный командный пункт, подземное рабочее помещение. Только в первый день войны, примерно в то же время, когда началась мобилизация, а мобилизация — как ни странно это звучит — была объявлена в четырнадцать часов двадцать второго июня, то есть через двенадцать часов после начала войны, в это время во дворе 1-го Дома

Наркомата обороны начали ковырять землю, рыть убежище. До августа месяца Генеральный штаб работал в подвалах Наркомата обороны. Смешно сказать, но оперативный отдел Генерального штаба работал в вещевом складе. И только к августу месяцу было оборудовано помещение на станции метро «Кировская» и в примыкающем к нему здании, там, где потом, в ходе войны, размещался генштаб. Вот как обстояло дело в действительности.

Читаешь многотомную Историю Великой Отечественной войны,— сейчас в однотомнике кое-что исправлено, но еще далеко не все, что следует исправить,— и иногда удивляешься. В период подготовки Сталинградской операции и в период самой операции, в том числе в период самых ожесточенных боев с Котельнической группировкой немцев, я ездил из одной армии в другую, из одних частей в другие буквально все время в одной машине с Хрущевым. Он не вылезал из моей машины, всегда, где был я, был и он. Но вот читаешь эту историю, и в ней написано: «Товарищ Хрущев приехал туда-то», «Товарищ Хрущев прибыл на командный пункт в такой-то корпус», «Товарищ Хрущев говорил там-то и с тем-то» и так далее, и так далее. А где начальник Генерального штаба, так и остается неизвестным.

Еще более странно описано в этой Истории планирование операции на Курской дуге. Из этого описания может создаться ощущение, что эта операция была в основном спланирована на Воронежском фронте, тогда как на самом деле для планирования этой операции съехались и участвовали в ней Жуков, Рокоссовский, я, Ватутин, подъехал туда во время этой работы и Хрущев. Это действительно так, но не сверх того.

Что касается начала войны, то надо сказать, что о том, что немцы к ней готовятся и как готовятся, знали многие, а ждали войны все.

Из больничных бесед

Апрель — 2 мая 1976 года

В течение этих двух недель несколько раз виделся и разговаривал с Александром Михайловичем Василевским.

Ощущение, что в этом человеке сочетается большая мягкость с большой твердостью воли, сейчас, последние годы, проявляемой не только в том, что он пишет, в отстаивании собственного взгляда, как мне думается, наиболее самокритического среди всех военных мемуаристов, во вся-

ком случае, среди всего того, что появилось в печати. Воля проявляется и в отношении к себе, своему здоровью, своему распорядку жизни, своей приверженности к работе.

Человек, давно и тяжело больной, он выработал в себе привычку к этой болезни, к этой постоянно обременяющей его тяжести, и эта выработанная привычка к болезни связалась воедино с еще более давно выработанной привычкой к регулярной и неукоснительной работе.

Сознавая свое нездоровье и планомерно противоборствуя ему, этот человек в то же время не стал рабом своих болезней, не окунулся в них, не сделал их предметом своих главных разговоров или главных размышлений.

Есть люди, которые любят говорить о том, что болезнь мешает им работать. Он принадлежит к другой категории людей, постоянно сознающих, что болезнь и мешает их работе, и может прервать эту работу, но при этом думающих о своих болезнях именно с этих позиций, а не вообще. Размышления о том, лучше или хуже себя я чувствую,— это размышления, связанные прежде всего с тем, меньше или больше, лучше или хуже мне удается работать при такой, меняющей свои параметры, но постоянной данности, как болезнь.

Поистине стоит поучиться такому отношению к болезни, к работе и в общем-то к жизни.

Говорили на разные темы. Сначала зашел разговор о Еременко. Я услышал довольно жесткую характеристику Еременко как человека искательного, ловкого и способного в одних случаях на подхалимство, а в других и на обман, на введение в заблуждение.

По словам моего собеседника, Еременко, в частности, в тяжелые для Сталинграда дни, когда у Чуйкова все висело на волоске и когда Сталин потребовал через Василевского, чтобы Еременко выехал туда, на правый берег Волги, к Чуйкову и помог ему,— именно такое выражение употребил Василевский и, очевидно, это было выражение Сталина,— Еременко два дня откручивался от этого и поехал только на третий день, при этом выполнив приказ Сталина довольно своеобразно.

Александр Михайлович Василевский с большим чувством, очень добрым, вспоминал фотокорреспондента «Правды» Михаила Калашникова, рассказывал о том, какой это был сдержанный, скромный, не похожий по своему характеру и повадкам на большинство других фотокорреспондентов человек. У меня сохранился снимок, сказал

Александр Михайлович, этот снимок сделан уже после того, как мы ворвались в Крым. На этом снимке я, Ворошилов и Михаил Калашников. А делал этот снимок мой тогдашний водитель, который неплохо фотографировал вообще и был, так сказать, моим штатным фотокорреспондентом. Снялись, и Калашников уехал вперед, в один из наших корпусов, а через три часа мне позвонили, что он убит. Снимок этот у меня есть, добавил Александр Михайлович, если хотите, я вам могу его дать.

Вернувшись к прерванному разговору о Еременко, он сказал, что дело тогда в Сталинграде обстояло так: немцы очень сильно нажимали на Чуйкова, и это беспокоило Сталина. К этому времени, сказал о себе Василевский, я находился на левом берегу Волги, там же, где и Еременко, который перебрался туда из Сталинграда еще в первой половине сентября. Еременко как командующий фронтом занимался Сталинградом, а мне было поручено готовить нашу будущую наступательную операцию. Меня вызвал в один из тяжелых для Сталинграда дней к телефону Сталин. Сказав о том, что его тревожит положение в Сталинграде у Чуйкова, велел передать его приказание Еременко: переправиться через Волгу самому в Сталинград и помочь, как он выразился, там Чуйкову. Звонок был уже вечерний. Я связался с Еременко и передал ему приказание Сталина. Он ответил, что все будет сделано, что он ночью выедет в Сталинград. Утром я, к своему удивлению, узнал, что в Сталинград он не выехал, находился по-прежнему здесь, на командном пункте. В разговоре со мной Еременко сказал, что он посылал людей на переправу, но обстановка там была такая, при которой переправляться оказалось в эту ночь невозможным. Он переправится следующей ночью.

В разговоре со Сталиным, который звонил и вызывал меня каждый день, я ответил на его вопрос, что через Волгу, как доложил Еременко, оказалось невозможным переправиться предыдущей ночью и он переправится к Чуйкову в следующую.

Вечером я узнал, что Еременко отправился на переправу через Волгу, но утром выяснилось, что он и на этот раз не переправился туда, потому что ему якобы не позволила это сделать обстановка. Маркиан Михайлович Попов, который был его заместителем и выезжал с ним вместе на переправу, говорил мне потом, что обстановка на переправе была в ту ночь нормальная, такая же, как и в другие ночи;

риск, конечно, существовал, но люди в продолжение ночи переправлялись и туда, и обратно.

Пришлось при очередном разговоре со Сталиным в ответ на его вопрос доложить, что Еременко пока еще не удалось переправиться в Сталинград.

— Выгоните его туда,— сердито приказал Сталин,— чтоб он был сегодня ночью там, у Чуйкова.

Пришлось передать Еременко это приказание. Ночью он снова поехал на переправу, связавшись предварительно с Чуйковым и договорившись, где и как тот его будет встречать. Но переправился он через Волгу не там, где договорились, а в другом месте. Чуйков ждал его несколько часов на этой переправе, а Еременко все не было и не было. А он тем временем, переправившись в другом месте, приехал в дивизию, помнится, к Людникову, связался от Людникова еще с одним командиром дивизии, поговорил с тем и с другим и, вернувшись на переправу, к утру был обратно на левом берегу Волги, так и не повидавшись с напрасно прождавшим его командармом.

Он умел выкручиваться и вместе с тем имел большие способности к подхалимажу. Вылезать наружу из блиндажа или подземелья, по моим наблюдениям, он не любил. (Очень не любил,— сказал Александр Михайлович.— *К. С.*) В период наступления южнее Сталинграда и событий под Котельниково мне довелось много ездить, но с Еременко я не помню чтобы приходилось ездить. Со мной обычно ездил не он, а Хрущев. Тот много действительно ездил, всюду бывал.

Я спросил, чем, по его мнению, объясняется, что Сталин, изменивший свое мнение к концу войны о целом ряде людей, у которых были заслуги в прошлом, но которые, как выяснилось, не принадлежали к числу наиболее способных и перспективных людей в эту войну, не переменил свое мнение о Еременко и много раз назначал его на разные фронты, хотя количество фронтов, которыми в разное время Еременко командовал, в то же время говорит само за себя, что он был, очевидно, далеко не всегда на высоте.

— Видите ли,— сказал Александр Михайлович,— сыграло роль то, что я вам уже говорил,— его умение выкручиваться, втирать очки и умение заниматься подхалимажем, но у Сталина, надо сказать, были известные основания и к положительной оценке деятельности Еременко в такой тяжелый момент, как начало сталинградских

событий. На подступах к Сталинграду в августе месяце Еременко действовал упорно и умело, он, надо отдать ему должное, многое сделал для того, чтобы сдержать наступление немцев. И Сталин это высоко оценил. Впоследствии он говорил о Еременко, что это генерал обороны. Когда наступление Сталинградского, переименованного уже к этому времени в Южный, фронта продолжало развиваться дальше и дальше, Сталин счел целесообразным заменить командующего фронтом. Он меня спросил, кого я считаю возможным выдвинуть на роль командующего фронтом. Я сказал ему, что на эту роль подходит Малиновский, который успешно командовал армией под Котельниково и впоследствии, имел и опыт командования фронтом. Сталин при этом вспомнил Малиновскому его неудачу в роли командующего фронтом во время летнего прорыва немцев, взятие ими Ростова и Новочеркасска, но тем не менее, после того как я повторил свою положительную характеристику Малиновского, согласился и принял решение назначить его командующим фронтом, а Еременко перевести на Северо-Западный фронт.

Генералом обороны называл Сталин и Ивана Ефимовича Петрова. О Петрове у него сложилось мнение по его действиям в Одессе, в Севастополе и на Кавказе, что он способен к упорной обороне, но не проявляет достаточной энергии, напора в наступлении. По отношению к Петрову, как мне кажется, мнение это было несправедливым. Петров обладал всеми данными, необходимыми командующему фронтом для действий в любой обстановке — и в обороне, и в наступлении.

Я вернулся к упоминанию о Хрущеве. Спросил, какого мнения Александр Михайлович об этом человеке. Василевский сказал, что в тот период, когда Хрущев был членом Военного совета фронта, когда ему с ним много в такой роли приходилось встречаться, он оценивал его положительно. Хрущев был человеком энергичным, смелым, постоянно бывал в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми, и, надо сказать, люди его любили.

Однажды мы прилетели вместе с Хрущевым в Заволжье из Москвы, вспомнил Василевский, и, пересев на машины, поехали по голой заволжской степи в направлении к командному пункту фронта. Мы проехали некоторое время, увидели какой-то навес, строение неподалеку от него, решили остановиться, чтобы перекусить. В Москве сделать это оказалось недосуг — ни мне, ни Хрущеву. Пока те, кто

нас сопровождал, устраивали на скорую руку перекус, Хрущев увидел в отдалении около какого-то небольшого строения женщину и мужчину и вместе со мной пошел к ним: «Давай пойдем, поговорим». Люди это были пожилые, мужчина был хмурый, бородатый, на приветствие Хрущева и на вопрос: «Ну, как вы тут, как идет жизнь?» — сначала ничего не ответил, хмуро молчал, а потом так же хмуро сказал:

— Ну какая тут жизнь, что это за жизнь?

— А вы здешний?

— Какой я здешний. Я не здешний, я николаевский.

— А кем вы там были?

— Председателем колхоза. Вот там была жизнь, на Николаевщине. Там была жизнь, колхоз был хороший. Был я на съезде колхозников, выступал, рассказывал о колхозе своем. С Микитой встречался, беседовал, хвалил он наш колхоз за нашу работу.

Надо сказать, что Хрущев был в такой бекеше, в шапке не генеральской, знаков различия не было видно, и я обратился к этому бывшему председателю колхоза и спросил:

— А вот этого человека вы не знаете?

— Не знаю.

— Может, знаете. Ну-ка, приглядитесь.

Он пригляделся, как вскрикнул:

— Так то же Микита. Ты тоже здесь?

Страшно обрадовался Хрущеву и стал его обнимать, а тот с неменьшей охотой стал обнимать его. И потом, конечно, позвал позавтракать вместе с нами. Вот такая произошла встреча там, в заволжской степи, неожиданная для нас обоих.

По словам Василевского, Хрущев при своем положении члена Военного совета фронта и члена Политбюро тем не менее, на его памяти, сам не звонил Сталину, и были случаи, когда он просил позвонить Василевского, Сталин вызывал Василевского в Москву, об этом узнавал Хрущев и говорил ему:

— Мне тоже надо поехать в Москву, зайти в Политуправление, поговорить со Щербаковым, хорошо бы мне слетать вместе с вами; позвоните Сталину, чтобы он меня вызвал в Москву.

Василевский отвечал:

— Позвоните сами.

Но Хрущев отнекивался и настаивал на своей просьбе:

— Вам удобнее, он вас уже вызвал, вы объясните ему, что мне нужно встретиться со Щербаковым.

В общем итоге я звонил, сказал Василевский. Сталин спрашивал:

— А что, чего он хочет в Москву, что там ему нужно?

Я объяснил, что ему нужно быть в Политуправлении, встретиться со Щербаковым.

— Ну, возьмите его с собой, пусть прилетает,— говорил Сталин.

И мы летели вместе и вместе возвращались. Там, в Москве, насколько мне известно, со Сталиным в эти прилеты свои Хрущев не виделся и видеться не пытался.

Судя по тому, как рассказывал об этом Василевский, это происходило не однажды, а по крайней мере хотя бы два раза, во всяком случае, он рассказывал это так, как будто было несколько таких случаев на его памяти.

В одном из дальнейших разговоров Александр Михайлович коротко охарактеризовал Штеменко. Сказал, что это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами. В свое время, когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генерального штаба ему взять с собой, и мы ему порекомендовали, сказал Александр Михайлович, Штеменко как молодого и способного штабного работника, он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении.

Начальником Генерального штаба он был назначен совершенно неожиданно для Василевского. В послевоенное время, когда Булганин был министром, а Василевский в течение довольно продолжительного времени был и первым заместителем министра, и начальником Генерального штаба, он обратился к Булганину с предложением освободить его от одной из этих обязанностей, потому что ему просто невмоготу справляться с ними с обеими.

— А кого же назначить? — спросил Булганин.

— Антонова,— сказал Василевский.

И охарактеризовал Антонова самым отменным образом, указав при этом, что он уже имеет опыт работы начальником Генерального штаба, уже побывал в этой роли. К тому времени, когда возник этот разговор, Антонов был первым заместителем Василевского по Генеральному штабу. Бул-

ганин согласился, с этим они и пришли на Политбюро, Но там, на Политбюро, произошло нечто совершенно неожиданное для Василевского. Когда они доложили о предложении, Сталин сказал, что на пост начальника Генерального штаба следует выдвинуть Штеменко. Попытки настоять на назначении Антонова ни к чему не привели. Вопрос был предрешен еще до заседания. С тем они ушли. Штеменко был назначен начальником Генерального штаба прямо из начальников Оперативного управления.

А Антонов с должности заместителя начальника Генерального штаба поехал на должность заместителя командующего Кавказским военным округом. Когда я сказал ему об этой, совершенно неожиданной для него новости, он чуть не заплакал, рассказывал Василевский.

Снятие Штеменко с должности начальника Генерального штаба произошло тоже при Сталине и столь же неожиданно, как и его назначение.

Однажды — к тому времени Василевский был уже министром обороны — его вызвали на Политбюро, был доклад об очередных делах, вместе с ним был Соколовский — первый заместитель министра и Штеменко как начальник Генерального штаба.

Сталин выслушал доклады и сказал:

— А теперь еще один вопрос надо решить. Надо назначить нового начальника Генерального штаба вместо товарища Штеменко. Какие у вас будут предложения? — обратился он к Василевскому.

Василевский сказал, что он предложение внести не готов, что ему надо подумать.

— Вот всегда так, надо отложить, подумать,— сказал Сталин.— Почему у вас нет предложений?

Я, рассказывал Василевский, был совершенно не готов к такому серьезному делу, как замена одного начальника Генерального штаба другим. Вносить предложение по такому вопросу непросто.

В это время сидевший рядом со мной Соколовский толкнул меня в бок и тихо говорит:

— Саша, я готов пойти на это, на Генеральный штаб.

— А как же ты как мой заместитель, кто же вместо тебя?

— Там посмотрим,— так же тихо сказал Соколовский,— я пока буду и то, и другое. Не подведу.

Соколовского я знал как очень сильного штабного работника и после того, как он предложил мне себя на этот

пост, я тут же сказал Сталину, что, вот, считаю, что можно на этот пост назначить Соколовского.

Сталин задал тот же вопрос, что задал Соколовскому я:

— А как же будет с исполнением обязанностей заместителя министра?

Я ответил словами Соколовского, сказал, что надеюсь, что он справится с тем и с другим. Тут же было принято и записано соответствующее решение.

После этого мы ушли. Первый ушел Штеменко. Потом мы с Соколовским. Штеменко так и не сказал за все заседание ни слова. Когда я, уходя последним, уже был в дверях, Сталин позвал меня обратно. Я зашел, поняв, что он хочет говорить со мной, с одним из нас троих.

— Чтоб вы знали, товарищ Василевский, почему мы освободили Штеменко. Потому что он все время пишет и пишет на вас, надоело. Поэтому решили освободить.

Так Сталин объяснил мне тогда причины снятия Штеменко.

Впоследствии я мог убедиться в правильности его слов, держа в руках документы.

Назначение Штеменко начальником Генерального штаба, очевидно, было подготовлено Берией, который, с одной стороны, оценил его как сильного работника, когда был с ним вместе на Кавказе, а с другой стороны, имел на него, очевидно, свои виды. (А этого Василевский не говорил, это уж мое собственное соображение или, точнее, домысел. Думается мне, что именно это, то, что Берия имел на Штеменко свои виды, и послужило причиной его снятия Сталиным. Слишком большого и непосредственного влияния Берии на военные дела Сталин не хотел. Очевидно, усмотрев через какое-то время, что Берия осуществляет такое влияние и имеет соответствующую информацию от Штеменко, решил вопрос о его снятии с поста начальника Генерального штаба.— *К. С.*)

Штеменко поехал заместителем командующего Приволжского военного округа. Может быть, я запамятовал, какого именно округа, но должность — после должности начальника Генерального штаба — у него стала именно такого масштаба.

Василевский рассказывал о том, что Берия был очень груб и очень активен. В частности, он привел такой эпизод.

Когда в период боев за освобождение Крыма машина, на которой я ехал, наскочила на мину, это вывело меня на

время из строя. Но как впоследствии выяснилось (это было дело рук Берии), Сталину не сообщили о том, что машина наскочила на мину, не сообщили о том, что я был легко контужен и ранен, и Сталин пребывал в убеждении, что я заболел, что у меня грипп. Только когда я прилетел в Москву и явился на прием к Сталину, то, увидев меня с перевязкой на голове и спросив, что со мной, Сталин узнал о том, что произошло.

У меня была с собой фотография. Мы, в общем, чудом остались целы, и мне хотелось показать Сталину фотографию того, во что превратилась наша машина. Я вынул эту фотографию и хотел показать Сталину, но Берия буквально вырвал ее у меня и порвал на кусочки, говоря:

— Зачем показывать, зачем беспокоить.

Так он и не дал мне показать эту фотографию Сталину.

Случай этот Александр Михайлович в разговоре со мной не комментировал, я даже не очень понял, когда произошло это — перед приемом у Сталина, когда Сталина не было, а Берия был, или когда Сталин отвернулся или отошел,— переспрашивать было неудобно, но случай этот был, видимо, навсегда запомнившимся.

(Мой же собственный домысел состоит в том, что и история с мнимым гриппом Василевского, и история с разорванной фотографией — все это связано с очень простой вещью: по своей должности Берия имел касательство к охране командующих фронтами и армиями и тем более членов Ставки и ее представителей. Таким образом, косвенно ответственность за то, что Василевский чуть не взлетел на мине, только чудом остался цел, лежала на его ведомстве и, в конечном итоге, на нем. Вот поэтому-то он и не хотел, чтобы Сталин вообще об этом знал, а уж раз Сталин об этом узнал, не хотел никаких дополнительных подробностей, не хотел, чтоб к этому было привлечено внимание Сталина. Убежден, что именно так.— *К. С.*)

Рассказывал Василевский и о том, как он был вынужден уйти в отставку. Он был к тому времени — это было уже при Хрущеве — первым заместителем Жукова, они однажды ехали с Жуковым в машине, и Жуков говорит ему:

— Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться историей войны?

Этот вопрос был для меня неожиданным, сказал Василевский, но я сразу понял, что за этим стоит, и прямо спросил Жукова:

— Что, Георгий, как это понять? Понять так что надо уходить в отставку? Пора уходить?

И Жуков так же прямо ответил:

— Да. Было обсуждение этого вопроса, и Хрущев настаивает на твоем уходе в отставку.

Я подал после этого в отставку. Мне сохранили все, чем я располагал, полный оклад, все соответствующие блага — адъютанта, машину и так далее. Я вскоре заболел, был первый инсульт. А когда поправился, Жуков был уже снят с должности министра. И вдруг мне приходит бумага от Голикова, к тому времени назначенного начальником Политуправления, о том, чтоб я снимался с партийного учета в Генеральном штабе и переходил на учет в другое место. Я позвонил Голикову, спросил, куда же мне переходить на учет, я на партийном учете нахожусь в армии, привык к этому.

— Переходите по месту жительства, на улице Грановского,— был ответ.

Я спросил: нельзя ли как-то по-другому поступить? Голиков сказал, что он выполняет распоряжение, есть такое решение, не ему его отменять, что это общее решение. Тогда я позвонил Малиновскому, рассказал ему о том, что произошло. Он меня успокоил, сказал:

— Порви к черту эту бумажку, переделаем это, сделаем по-другому.

И сделал. А вскоре была создана группа генеральных инспекторов, и я вернулся из отставки в состав этой группы.

Вспоминая Жукова, Василевский рассказывал, как они оба пришли в Управление боевой подготовки,— это было в самом начале тридцатых годов. Жукова на организационном собрании — Управление было новым, и там создали новую парторганизацию — избрали секретарем партийной организации.

— И надо сказать, Георгий круто взялся за дело,— рассказывал Василевский.— У него должности роли не играли, у него, пока он был секретарем парторганизации, все большие начальники, оказавшиеся в составе парторганизации, вольностей себе не позволяли, ходили по струнке: Виталий Маркович Примаков и сам начальник Управления Александр Игнатьевич Седякин — все без исключения. Он был строг на этой должности так же, как и на всех других своих должностях.

Затем Василевский вспомнил, как он сам переходил в это Управление.

К тому времени командирам полка — а я был командиром полка в Твери — были созданы хорошие условия, было решение, по которому все мы имели машины — «фордики» тогдашнего выпуска, каждый командир полка имел, получали квартиры — в одних случаях отдельные квартиры, в других даже особняки, имели верховую лошадь, имели, кроме машины, выезд. И вот после всего этого меня назначили в Управление, дали вместо трех шпал командира полка один ромб по должности, званий тогда еще не было, и сообщили адрес, где я буду жить. Поехал я в Сокольники, нашел этот дом — новые дома с тесными квартирами, нашел свой номер квартиры — квартира из нескольких комнат, мне отведена одна, а нас четверо: я, жена, теща, сын. Вот так мне предстояло жить после тех условий, в которых находился как командир полка. Такое же положение было и у Жукова, когда он был тоже назначен туда, в это Управление, а до этого он был заместителем командира дивизии.

Помню, однажды выхожу я из наркомата и вижу, на стоянке трамвая стоит Георгий с большой этажеркой для книг. Я говорю:

— Что ты тут стоишь?

— Да вот квартира-то пустая, в комнате ничего не стоит, хоть взял здесь, в АХО, выписал себе этажерку для книг, чтобы было, куда книги положить. Да уже стою полчаса — три трамвая или четыре пропустил, никак не могу ни в один из этих трамваев сесть, народу битком, видишь, висят.

— Ну, ладно, я подожду, с тобой вместе поедем.

Ждали, ждали, еще пять или шесть трамваев переждали, ни в один не можем сесть. Тогда Жуков говорит:

— Ну, ты езжай, а я пойду пешком.

— Куда, в Сокольники?

— Ну да, в Сокольники, а что же делать с этой, с этажеркой, не обратно же ее нести.

Я тогда сказал ему, что уж раз такая судьба, давай пойдем пешком вместе, я тебе помогу ее тащить. Так мы и шли с Жуковым через весь город, до Сокольников, несли эту этажерку к месту его нового жительства.

П. И. Батову *

Москва, 7 ноября 1965 года

Дорогой Павел Иванович, простите великодушно за то, что, к моему великому сожалению, немножко задержался с чтением Вашего «Перекопа». Но я весь октябрь провел в командировке за границей и лишь теперь, вернувшись, смог засесть за чтение.

Ваш «Перекоп» меня очень взволновал, напомнил те трудные времена, а многое совершенно по-другому открыл для меня. Поскольку Вы захотели узнать мое мнение, хочу высказаться вполне прямодушно. Общее впечатление от этих глав Ваших мемуаров у меня очень сильное. Это откровенный рассказ об очень трудном времени. Все, что там написано об этом трудном времени, написано с большой душой, с любовью к людям, с верой в них, с горечью за наши несовершенства, за наши неудачи, просчеты, ошибки. Я бы даже сказал, что это именно сочетание веры в людей, в наши возможности и способности и горечи перед лицом того, как они недостаточно или плохо используются,— вот это главное ощущение и дает представление о духе людей, переживших эту трудную эпоху и в конце концов приведших нашу армию к победам — несмотря ни на что, несмотря ни на какие испытания и того и последующего времени.

....

...Еще одно соображение. С моей точки зрения, крайне важно то, как Вы говорите о сложностях и трагических обстоятельствах, возникших для нашей армии в результате тридцать седьмого — тридцать восьмого года, я вполне разделяю Ваши взгляды на этот вопрос, и мне кажется необыкновенно важным то место, где Вы, упоминая об уполномоченном в дивизии Первушина, говорите о XX съезде и о том, что Вы никому не позволите поставить под сомнение то правильное, что было сделано в этом смысле на XX съезде, и то, что стало навсегда преградой для повторения вещей такого рода. Я глубоко уверен, что этот вопрос надо ставить так и только так, что забывать тридцать седьмой — тридцать восьмой год нельзя, а те, кто его пытается забыть или опять свести к формулам отдельных ошибок, несправедливости и отдельных нарушений законности, те

ведут политику страусов — трусливую, недостойную. Это люди, которые не хотят сказать правду о том, в какой обстановке и с какими отягчающими и трагическими обстоятельствами мы начинали войну, а поэтому и не могут сказать всей правды о мере подвига нашей партии, армии и народа во время войны, потому что для того, чтобы дойти до Берлина, нужно понять и то, с чего мы начинали, то, чем был тридцать седьмой год, и то, к чему это привело армию перед началом войны. Словом, я совершенно солидарен с Вами в этом вопросе. И, ради бога, не поддавайтесь тут никаким советчикам, редакторам, которые иногда шаг за шагом начинают по фразочке, по слову приглушать звучание очень важных проблем. Я в жизни много сталкивался с этим, поднаторел в борьбе с этими товарищами на литературном поприще и в данном случае чувствую себя вправе дать Вам совет. Не давайте им мизинца. Дадите мизинец — постепенно отжуют всю руку, кусочек за кусочком.

Но у меня есть несколько мелких замечаний в связи с затронутой Вами темой. Может быть, они Вам пригодятся, сейчас изложу их.

На 26-й странице у Вас есть фраза, которая звучит так: «К счастью, наша партия сумела еще до войны если не сорвать, то в большей мере ослабить коварный удар, нанесенный по военным кадрам Берией и его подручными. Много командиров высшего звена были перед войной оправданы и возвращены в строй». Я меньше всего склонен обелять Берию, но думаю, что здесь у Вас некоторый сдвиг во времени. Берия в тридцать седьмом году и вплоть до осени тридцать восьмого, когда он прибыл в Москву, или, во всяком случае, до лета тридцать восьмого, то есть в первый период и самый жестокий период избиения военных кадров был еще злодеем, так сказать, республиканского масштаба, сидел в Тбилиси и уничтожал кадры там. Может быть, шире — по Закавказью. А в Москве этим в тот период занимался Ежов.

В этом контексте, в той фразе, о которой я говорю, получается как бы выведение из-под огня Сталина. А это неправильно. Сначала под руководством Сталина действовал Ежов, потом Ежов был сам уничтожен. Потом под руководством Сталина действовал Берия. И, конечно, главная ответственность за тридцать седьмой — тридцать восьмой год, как это ни горько признавать, лежит на Сталине. В конце концов, и Ежов, и Берия были перчатками на его

руке. Хотя, конечно, не следует и недооценивать и того страшного вклада, который оба эти мерзавца внесли в уничтожение кадров по собственной инициативе и в меру своего тщания и своей подлости.

Я понимаю, что формулировки в этом вопросе могут быть разными, но мне как-то не ложится на душу такая формулировка, при которой как бы снимается со Сталина и перекладывается только на одного Берию вся ответственность за происшедшее в тридцать седьмом — тридцать восьмом году.

Второе соображение касается страницы 27-й. «Некоторые из возвращенных старых товарищей,— пишете Вы,— оказались все же морально сломленными настолько, что работа в качестве старших начальников, на генеральских постах уже была им не по плечу». Это, конечно, правильно, но мне кажется, что у нас тогда среди этих людей могло оказаться меньше морально сломленных, если бы атмосфера их реабилитации была иной, если бы они не оставались под известным наблюдением и известным подозрением, если бы было открыто и прямо сказано, что с ними совершена чудовищная ошибка, что они чисты, ни в чем не виноваты, если бы было выражено публичное сожаление о случившемся. Я говорю не о публичном сожалении в газетах — этого не позволяла, может быть, международная обстановка,— но если бы этих людей вызывали к Сталину, к Ворошилову, торжественно вручали им ордена, партийные документы, приносили извинения за случившееся, выражали им полное доверие, если бы вся эта реабилитация не проводилась, если можно так выразиться, втихую,— вот если бы было сделано так — это бы носило и принципиальный характер. И я убежден, что сломленных людей оказалось бы гораздо меньше, чем их оказалось в действительности.

Я не к тому, чтобы обо всем этом говорить в рукописи, но просто хочу поделиться теми раздумьями, которые вызвало у меня это место в Ваших мемуарах.

На странице 155-й, где Вы говорите о генерале Иванове, я не понял, что означает фраза: «К несчастью, тоже пришлось ему побывать в руках контрольных органов». Такая формулировка может повлечь разные толкования. Очевидно, он был арестован и сидел, но, по-моему, в этом случае надо так прямо и сказать. Все-таки контрольные органы ассоциируются с Контрольной комиссией, с Комитетом партийного контроля. Если это было с Ивановым так,

что его исключали из партии, потом восстанавливали, тогда другой вопрос, но тогда нехорошо говорить «в руках контрольных органов». Слово «в руках» тут не подходит. Если же он был в руках других органов, то эти органы не контрольные, а карательные, во всяком случае такими были в то время, и стоит сказать об этом более недвусмысленно.

И, наконец, еще одно маленькое замечание, уже совершенно не касающееся этой темы, а просто я хочу обратить внимание на одну неясность на страницах 177-й и 178-й. В одном месте говорится, что Петров привел с собой три дивизии Приморской армии. В другом месте упоминается еще несколько дивизий. Видимо, надо уточнить здесь, что всего из Одессы было эвакуировано столько-то дивизий тогда-то и тогда-то, а Петров непосредственно с собой, при своем движении на север Крыма, вел столько-то дивизий. А то могут быть разночтения, если это не уточнить.

И еще одно соображение. Я не отметил и уж не помню, на какой это странице идет речь о том, что командующий армией снял с должностей двух командиров дивизий, о которых Вы до этого пишете как о людях, самоотверженно и стойко воевавших. Мне как читателю здесь не хватило как-то Вашей реакции на это снятие, неожиданное, очевидно, для Вас. Я чувствую, что Вам было это горько и тяжело, но мне как-то не хватает здесь Ваших размышлений по этому поводу и оценки ситуации и обстановки, оценки действий в данном случае командующего армией, неправоты его в этом вопросе, Вашего тогдашнего отношения к этому, возможности или невозможности как-то помешать этому решению, меры его неожиданности. Словом, об этом говорится как-то мимоходом, и я это воспринимаю как пробел в рукописи, мне здесь чего-то не хватает.

В заключение еще раз хочу сказать, что прочел Ваши мемуары с пристальным, большим интересом и с огромным чувством уважения и симпатии к их автору.

....

Крепко жму Вашу руку. От души желаю успеха Вашей книге.

Ваш Константин Симонов

---

* Письмо дано в сокращении *(ред.)*.

К. С. Москаленко

Дорогой Кирилл Семенович, прошу великодушно извинить меня за то, что я так задержал обещанное. Единственная причина — то, что я никак не мог кончить свою книгу из-за огромного объема работы. Каждую неделю казалось, что вот-вот кончу, а практически кончил только три дня назад и лишь после этого сумел сделать обещанное.

Хочу сказать о том, что я сделал и чего не сделал.

В данном случае речь в Вашей работе идет о событиях, которых я самостоятельно не изучал и о ходе которых собственного представления у меня не сложилось. Поэтому я видел свою задачу единственно в том, чтобы в меру своих сил помочь Вам в качестве, если так можно выразиться, литературного редактора. Я с пером в руке прошелся по Вашей рукописи с точки зрения стилистической, имея в виду, что она адресована не только военным специалистам, но и более широкому кругу читателей.

Собственно говоря, Ваша работа распадается на три части. Первая часть — введение и заключение — связана с общими концепциями предвоенной и военной обстановки и роли Сталина. Вторая часть — история первых боев Вашей бригады — тяготеет к мемуарному жанру. Третья часть — история киевского окружения — представляет собой скорее оперативный очерк событий с использованием целого ряда необыкновенно интересных и значительных документов. [...]

Работу я Вашу читал с большим интересом. Конечно, многое, связанное с киевским окружением, читать тяжело. Но тут без правды не обойдешься. Да и вообще в конечном итоге нигде и ни в чем не обойдешься без правды. И этой правдой мне и дорога прежде всего Ваша работа. Поэтому я и рад был оказаться Вам хоть в какой-то мере полезным как литератор. Считаю товарищеским долгом высказать Вам некоторые возникшие у меня сомнения и вопросы.

Первое. Документы, связанные с Шапошниковым, конечно, говорят об очень большой мере его ответственности за все случившееся под Киевом. Но для меня лично остается открытым вопрос — состоит ли его ответственность в том, что он сам был от начала и до конца яростным противником отвода войск из киевского мешка, или его ответственность состоит в том, что он целиком подчинил свою

волю и свои взгляды на эту проблему воле и взглядам Верховного Главнокомандующего и как начальник Генерального Штаба не сумел убедить Верховного Главнокомандующего в неправильности принимаемых решений.

У Вас получается, что вроде бы Сталин в этом вопросе поддался Шапошникову. Не располагаю возможностью доказать обратное, в то же время психологически чувствую, что тут что-то не так. Сталин поддался Шапошникову — мало вероятно. Шапошников поддался Сталину — это более психологически вероятно.

Второе. Почему Тимошенко столь ответственное решение, как решение на отвод войск Юго-Западного фронта, передал Кирпоносу в устной форме через Баграмяна? Вы этого не объясняете.

Думая над этим, я пришел к предположению, что, может быть, имея абсолютно жесткую директиву Сталина, запрещавшую еще и тогда, 16 сентября, отход войскам Юго-Западного фронта, а в то же время понимая, что каждый час промедления гибелен, Тимошенко, не решившись дать письменную директиву, прямо противоположную директиве Ставки, дал устный приказ Кирпоносу делать то, что все равно придется делать, но не стал закреплять этот приказ в документе.

Может быть, это и не так, но у меня рождается именно такое предположение. В этих условиях, когда командующий направлением, имея полную возможность отдать письменный приказ на отход, отдает вместо него устный, Кирпоносу, конечно, требовалось огромное гражданское мужество для того, чтобы выполнить этот устный приказ, учитывая все предыдущие запреты отхода, шедшие от Ставки.

На фоне всех тех документов, которые Вы приводите, на фоне всего того страшного нажима Ставки на Кирпоноса, который был до этого, запрос Кирпоноса в Ставку после получения устного приказа от Тимошенко кажется мне, в общем-то, естественным. Кирпонос всеми предыдущими приказами Ставки был буквально загнан в такое положение, когда ему пришлось запрашивать.

Я решился поделиться с Вами этими моими читательскими недоумениями и размышлениями потому, что они, видимо, могут возникнуть и у других читателей.

Буду очень рад, если моя скромная литературная помощь в какой-то мере окажется полезной для Вас.

Жму Вашу руку

14 июня 1966 года Ваш Константин Симонов

В редакцию современной советской литературы
Гослитиздата

10 ноября 1961 года

Дорогие товарищи!

Я внимательно посмотрел все те места в своих романах «Товарищи по оружию» и «Живые и мертвые», на которые вы просили меня обратить внимание перед тем, как печатать второй завод этого двухтомника. Я как автор этих книг по здравому размышлению не вижу никакой необходимости вносить в них какие бы то ни было изменения. Поэтому прошу вас печатать второй завод точно по тексту первого завода, и, естественно, как автор сейчас так же, как и раньше, всецело принимаю на себя полную ответственность за каждое слово, написанное мною в обеих этих моих книгах.

Собственно говоря, сказанным можно было бы и ограничиться. Но так как этот вопрос имеет еще и принципиальную сторону, хочу кое-что добавить к сказанному.

Все места в обоих романах, на которые редакция обратила мое внимание, связаны с упоминанием фамилии Сталина, а одно место с упоминанием фамилии Ворошилова.

Начну с этого последнего частного случая. Фамилия Ворошилова упомянута в романе «Товарищи по оружию» в связи с тем, что именно он как тогдашний нарком обороны делал в 1939 году доклад на сессии Верховного Совета об изменениях в законе о воинской повинности. Какие бы тяжелые ошибки ни совершил Ворошилов как в давнем, так и в недавнем прошлом, на мой взгляд, это вовсе не требует механического вычеркивания его фамилии в тех случаях, когда ее упоминание необходимо в связи с теми или иными реально имевшими место историческими фактами.

В романе «Товарищи по оружию» несколько раз говорится о Сталине тоже в связи с реальными историческими фактами, имевшими место в 1939 году (прием слушателей военных академий, интервью с Роем Говардом, халхингольские события). Все эти упоминания (так же, кстати, как и упоминание в одном, не замеченном вами месте, фамилии Молотова, ведшего переговоры с японским послом Того) являются в романе «Товарищи по оружию», как это нетрудно заметить, чисто фактическими упоминаниями, отражающими историческую действительность того вре-

мени. У меня, перерабатывавшего этот роман в прошлом году для нового издания, не было ни малейшего желания без нужды упоминать имя Сталина или другие имена, о которых я сказал выше. Но я не считаю нужным и правильным вычеркивать имя Сталина там, где было исторически необходимо его упомянуть. Я не считаю нужным и правильным делать это и сейчас. Роман о событиях 1939 года без упоминания имени Сталина там, где в этом есть историческая необходимость, выглядел бы странно и глупо.

Еще большее удивление вызвали у меня те места, на которые редакция обратила мое внимание в романе «Живые и мертвые». Роман этот, начатый в 1955 году, в основном был написан мною после XX съезда партии. Глубоко разделяя и всей душой поддерживая все то, что было сказано на XX съезде о культе личности и его тяжелейших последствиях, я стремился в своем романе всеми доступными мне художественными средствами показать тяжелейшую ответственность Сталина за трагедию 1941 года и в этой связи и за события 1937 года. В моем писательском сознании романом «Живые и мертвые» я в меру своих скромных сил старался выполнить хотя бы маленькую часть той задачи по разоблачению культа личности, которая была поставлена перед литературой XX съездом партии.

Я рад, что, прислушиваясь к разумным советам, в то же время в период подготовки романа к печати не отступил перед некоторыми неправильными требованиями, сводившимися к попыткам приглушить некоторые места романа, в наиболее острой форме касавшиеся как причин трагедии 1941 года, так и событий 1937 года.

Именно благодаря тому, что я не отступил тогда, мне нечего и незачем ничего переделывать в своей книге сейчас, после XXII съезда партии, который вдохновляет меня, так же как, конечно, и многих моих товарищей по перу, на еще более глубокую разработку тех тем, которые я, в частности, начал разрабатывать в романе «Живые и мертвые».

Вот почему меня крайне удивило то, что редакция сочла нужным обратить мое внимание на все те места романа «Живые и мертвые», где упоминается имя Сталина. Такое механическое подчеркивание могло бы быть понятно только со стороны людей, не читавших романа и поэтому не знающих, в чем состоит его пафос и как выглядит в нем позиция автора.

В связи со сказанным хочу коснуться еще одного вопроса. Невозможно писать роман о Великой Отечествен-

ной войне, не упоминая там, где это исторически необходимо, имени Сталина. Но это еще не все. В художественном произведении, посвященном прошлому, писатель обязан не только выразить свое собственное, сегодняшнее отношение к этому прошлому, в том числе и к личности, и к действиям Сталина, но обязан, показывая людей, живших в реальной обстановке этого прошлого, изобразить там, где это необходимо, тогдашнее отношение этих людей к Сталину. У разных людей — разное, с разными оттенками, но, конечно, у большинства из них очень далекое от того, что сейчас думаем мы, знающие многое такое, о чем они не имели представления. Больше того, я думаю, что весь трагизм этой темы можно показать, лишь если дать всю силу контраста между тем, что мы знаем о Сталине сейчас, и тем, что́ подавляющее большинство людей знало о нем тогда, в те годы войны; между теми чувствами, которые мы испытываем сейчас, и теми чувствами, которые в силу незнания подлинных фактов испытывало громадное число людей тогда. Без этого контраста, данного в полных его масштабах, не будет ни подлинной трагедии, ни полного историзма.

Прошу прощения, что отнимаю много времени на чтение этого письма, но мне кажется, что это вопрос принципиальный, имеющий отношение не только к моим книгам.

С товарищеским приветом

Константин Симонов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Константин Михайлович Симонов

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О И. В. СТАЛИНЕ

Редактор Э. Б. Кузьмина
Технический редактор А. З. Коган
Корректор Я. Ю. Терещенкова
ИБ 1878

Сдано в набор 18.04.89 Подписано в печать 03.11.89. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 1. Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68+0,11. Усл. кр.-отт. 22,79. Уч.-изд. л. 23,39+0,09. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4829. Заказ 9—1631. Цена 3 р. 60 коп.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

Симонов К. М.

С37 Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. / Предисл. Л. Лазарева.— М.: Книга, 1990.—(Время и судьбы). 431 с.
ISBN 5-212-00176-5

Воспоминания известного советского писателя Константина Симонова, наполненные размышлениями о сложностях и противоречиях эпохи, рассказывают о его детстве, юности, становлении личности, встречах со Сталиным. Второй раздел книги — «Сталин и война», заметки к биографии маршала Г. К. Жукова, записи о встречах с И. С. Коневым и другими крупными военачальниками.

С $\frac{4702010201-020}{002(01)-90}$ 27-90 ББК 84Р7-4